ISSN 0131-6095

Русская литература

4

2008

Санкт-Петербург
«НАУКА»

280 лет Академическое книгоиздательство России

Русская литература
4
2008

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№ 4 Историко-литературный журнал 2008

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. К. Лопачева. Радость отраженья (Иннокентий Анненский в художественном сознании Георгия Иванова) 3

В. С. Киссель (*ФРГ*). О немецких пфеннигах и русском золотом фонде: тема денег в романе В. Набокова «Дар» 23

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. К. АЗАДОВСКОГО

А. А. Горелов. Подвижник фольклористики и литературоведения 37

М. К. Азадовский. «Онежские былины» Гильфердинга (вступительная статья и подготовка текста К. М. Азадовского) 41

В. И. Еремина. Сказочный сюжет «Путешествие за царской короной» в его исторической перспективе 64

А. П. Рифтин. Отзыв о труде М. К. Азадовского «История русской фольклористики» (публикация А. И. Васкул) 79

Т. Г. Иванова. М. К. Азадовский и Б. Н. Путилов (преемственность научных традиций в фольклористике) 89

ПОЛЕМИКА

С. Н. Азбелев. Напрасная попытка уберечь от критики анонимное сочинение о Валаамском монастыре (по поводу статьи А. Г. Боброва) 99

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Л. И. Черемисинова. Кто познакомил Тютчева и Фета? 106

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»

Переписка В. В. Розанова и С. Ф. Шарапова (1893—1910) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко) 110
А. С. Александров. А. А. Измайлов — реформатор «Петроградского листка» (1916—1918) 134
Письмо Д. П. Святополк-Мирского В. М. Жирмунскому (1922) (публикация В. В. Перхина) 143
К истории «Левого фланга» Ленинградского отделения Союза поэтов (вступительная статья, подготовка текста и комментарии Т. М. Двинятиной и А. В. Крусанова) 147
А. Г. Тимофеев. О неизвестных русских брошюрах, изданных в Финляндии 207
Олена Сигал (*Украина*). Русская литература на страницах журнала «Japanese Slavic and East European Studies» (JSSEES) 213
А. И. Рубашкин. Еще о Федоре Абрамове (1920—1983). Взгляд из XXI века 219

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Е. Д. Кукушкина. Новый сборник статей о Г. Р. Державине. 225
С. А. Кибальник. Проза философа в зеркале филологического дискурса 229

ХРОНИКА

Н. В. Калинина. IV Международная научная конференция «И. А. Гончаров и XXI век: творческий диалог» 232
М. Ю. Степина. XXXIV Всероссийская Некрасовская конференция 236
Е. Д. Конусова. XXXII Малышевские чтения 239
Е. Р. Обатнина. XI Научные чтения Рукописного отдела Пушкинского Дома «Памяти Л. Н. Ивановой» 242

Н. Н. Скатов. Ответ на открытое письмо главному редактору журнала «Русская литература», опубликованное в «Книжном обозрении» 245

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 2008 году 246

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, *Д. М. БУЛАНИН*, *Г. Я. ГАЛАГАН* (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ*, *В. Я. ГРЕЧНЕВ*, *И. Ф. ДАНИЛОВА* (отв. секретарь редакции), *Н. Н. КАЗАНСКИЙ*, *В. А. КОТЕЛЬНИКОВ*, *Н. Д. КОЧЕТКОВА*, *А. В. ЛАВРОВ*, *Ю. М. ПРОЗОРОВ*, *С. А. ФОМИЧЕВ*, *Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Телефон/факс (812) 328-16-01
e-mail: rusliter@mail.ru

Санкт-Петербург
Издательство «Наука»

© Российская академия наук, 2008 г.
© Редколлегия журнала «Русская литература» (составитель), 2008 г.

© *М. К. ЛОПАЧЕВА*

РАДОСТЬ ОТРАЖЕНЬЯ

(ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА)

На страницах «Петербургских зим» — книги Георгия Иванова, впервые изданной в 1928 году в Париже, — то и дело возникает «тень» Иннокентия Анненского, маркируя главную тему произведения — «закат» Петербурга, гибельные дни великой культуры. За обманутые ожидания достоверных «воспоминаний» автору немало досталось от современных ему читателей и критиков. Эти уникальные художественные «мемуары», написанные в «трудном» жанре (М. Алданов), окончательно с этой точки зрения так и не идентифицированные ни самим Г. Ивановым, ни исследователями его творчества, можно рассматривать и как своего рода «Легенды и мифы о богах и героях» Серебряного века, ибо в них писатель выступает как мифологизатор, стремясь передать доподлинно не столько детали, сколько дух эпохи, воплотившейся для него прежде всего в самом Петербурге.

Образ Анненского, сублимируя щемящее чувство неотвратимой гибели «тонущего» города («К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно...»),[1] предстает одним из его трагических мифов и потому естественно присутствует в ряду других символов, характеризующих разные ипостаси столицы: «Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вокзала, прямо

В желтый пар петербургской зимы,
В желтый снег, облипающий плиты,

которые он так мучительно любил».[2]

Цитируются в книге многие современники автора, но именно эти строчки из «Петербурга» Анненского многократным эхо напоминают о лирической теме пестрых «мемуарных» зарисовок, делая их одним целым. Само название и замысел книги, в которой смешиваются явь, художественное обобщение и открытый лиризм, возможно, навеяны стихами И. Анненского. Г. Иванов этим рефреном по сути приоткрывает жанровую природу произведения, откровенно субъективный характер «воспоминаний», ведь в продолжении текста — ключ к этому:

Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.[3]

---

[1] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 6.

[2] Там же. С. 31.

[3] Здесь и далее стихи И. Анненского цит. по изд.: *Анненский И.* Избр. произведения. Л., 1988.

Почти дословно повторяется приведенный фрагмент об Анненском в «Закате Петербурга» (1953), последнем из опубликованных при жизни Г. Иванова эссе «мемуарного» характера. В нем он возвращается к своим впечатлениям от последних дней «блистательной столицы», «восхитительного, чудеснейшего города мира».[4] На страницах эссе сплетаются в сложное переживание восторг, гордость Петербургом, этим шедевром аполлинизма, и скорбь при воспоминании о том, как у него на глазах «после разгрома белых армий» город умирал: «Столица мельчала, обезличивалась, вырождалась...».[5] Одним из первых в своем поколении Г. Иванов разглядел тревожное предвестие-символ этого как в финале личной судьбы Анненского, так и в его поэзии, содержавшей, по словам В. Топорова, «прочувствование и осознание трагичности аполлинического начала еще до того, как слова о кризисе его в русской культуре стали расхожими высказываниями».[6] Безусловно, личный опыт утраты России, воплощенной для Иванова прежде всего в Петербурге, актуализировал эту поэзию для него и для многих в литературном зарубежье. Ведь именно в стихах И. Анненского отражено, как «явные признаки умирания среди, казалось бы, цветения аполлинизма придают особую обостренность, пронзительность происходящему расставанию с тем, что так дорого и близко, и вводят в аполлоновский текст и контекст тему сочувствия, жалости-сострадания ко всем, кто страдает, и понимание, что бывают ситуации, когда у гармонии и страдания могут быть общие корни».[7] Все это оказалось страшно близко многим поэтам-эмигрантам.

На литературном «иконостасе», десятилетиями составлявшемся эмиграцией, И. Анненскому принадлежало особое место. И отбор имен для «канонизации», и сам факт ее очевидно были связаны с процессом формирования самосознания «русской литературы в изгнании», особенно важным для младших ее представителей.

Уже в 1930-е годы повышенную актуальность обретает проблема литературного воспитания, составляющей которой было уяснение молодыми авторами собственной литературной генеалогии. Для старшего поколения поэтов и писателей, напоминавшего «последние ветви классического древа российской словесности»,[8] важно было ощущение связи со стволовой частью национальной культуры. В то же время тяготение к тем или иным «учителям» немало говорило о личном экзистенциальном опыте литераторов-эмигрантов. О вечном споре «между Пушкиным и Лермонтовым» и корнях культа младшего гения в эмигрантских кругах размышлял в 1942 году Г. П. Федотов: «Пушкин слишком ясный и земной, слишком утверждает жизнь и слишком закончен в своей форме. Парижане ощущают землю скорее как ад и хотят разбивать всякие найденные формы, становящиеся оковами. Лермонтов им ближе, злой и нежный, не устоявшийся, в страстях земли тоскующий о небе».[9] Не вступали в противоречие с этим предпочтением и два других имени из числа «канонизированных» — Блок и Анненский. Именно через них воспринималось и осмысливалось поэтами-эмигрантами наследие Серебряного века. И тот и другой в их сознании были слиты с лермонтовской линией развития поэзии.

---

[4] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 457.

[5] Там же. С. 460.

[6] *Топоров В.* Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М., 2004. С. 63.

[7] Там же.

[8] *Ульянов Н.* Внуки Лескова // Критика русского зарубежья: В 2 кн. М., 2002. Кн. 2. С. 280.

[9] *Федотов Г.* О парижской поэзии // Там же. С. 362. Кн. 1. С. 362.

Однако «черная музыка» Блока (Г. Иванов) далеко не всем и не сразу стала слышна. Эмигрантское восприятие блоковских ритмов было затруднено представлением о некоей «вине» Блока перед прежней Россией, о чем говорится в известном парадоксе З. Гиппиус: «Я не прощу. Душа твоя невинна. / Я не прощу ей никогда». Анненский и драматизмом литературной судьбы, и обособленностью художественной системы, соотносимой то с символизмом, то с акмеизмом, а главное, самим содержанием творчества, оказался ближе для многих поэтов-эмигрантов. «Немногие в России знали этого поэта, немногое любили, — писал Г. П. Федотов. — Он был очень одинок в Петербурге декадентов и символистов. Но в Париже оценили его строгую честность, его умную ясность и безнадежную грусть. Это наш Чехов в стихах».[10]

И. Анненского активно цитируют поэты и критики. Лично знавшими его написаны воспоминания.[11] Не раз цитировала и упоминала имя Анненского М. Цветаева. Так, полемизируя с Пастернаком о проблеме первенства в искусстве, дважды (в статье о Брюсове и письме к Пастернаку) приводит она в пример «уединенное» творчество Анненского, повторяя: «Единственный не бывает первым».[12]

В эмигрантской критике 1920—1950-х годов диагностировалось влияние Анненского как на поэтов старшего поколения (Г. Адамович, Г. Иванов, Н. Оцуп), так и на сформировавшихся уже за границей Б. Поплавского, А. Штейгера, И. Чиннова, П. Ставрова, Л. Червинскую, Б. Заковича, Ю. Терапиано... Это не было литературной модой, но, скорее, знаком определенной тенденции, состояния сознания. Об этом размышляет Петр Бицилли в рецензии на «Антологию зарубежной поэзии», составленную Г. Адамовичем и М. Кантором (Париж, 1936). Голоса литературных кумиров, явственно слышимые в стихах, по мнению критика, говорят не о подражательности и однообразии, а о времени и судьбе, актуализировавших для этих поэтов не дневное пушкинское мироощущение, а «ночное сознание Рембо, Блока, Анненского, А. Белого, выводящее в четвертое „измерение". ⟨...⟩ Это была их реакция на „прогресс Разума"...»[13]

Наконец, сложилось так, что в контексте Серебряного века именно Анненский, как писал в своем очерке С. Маковский, в глазах эмигрантов «совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале двадцатого века тревогой противоречивых дерзаний и неутолимой мечтательности».[14] Это имя, выхваченное из полумрака забвения, в которое оно постепенно погружалось в советской России, несмотря на экзальтированное преклонение ряда избранных (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам), в эмиграции становится символом своей эпохи.

Вместе с тем нельзя сказать, что отношение к поэту в эмигрантской литературной среде было однозначным. Так, не принимала Анненского З. Гиппиус и, по воспоминаниям Ю. Терапиано, «удивлялась искренне», восклицая: «Что вы в нем находите?»[15] Наряду с тем что Г. Иванов в одном из писем к Р. Гулю говорит о «Книгах отражений» как об «уровне, никем, кроме

---

[10] Там же. С. 361.

[11] *Маковский С.* Портреты современников. Нью-Йорк, 1955; *Кленовский Д.* Поэты царскосельской гимназии // Новый журнал. 1952. № 29; *Адамович Г.* (Запись бесед с Г. Адамовичем, сделанная Ю. Иваском в Париже в 1960 г.) // Новое литературное обозрение. 2002. № 58 и др.

[12] *Цветаева М.* Об искусстве. М., 1991. С. 129, 392.

[13] Критика русского зарубежья. Кн. 1. С. 162.

[14] *Маковский С.* Портреты современников. М., 2000. С. 236. Далее цит. по этому изданию.

[15] *Терапиано Ю.* Встречи: 1926—1971. М., 2002. С. 40.

Анненского, не достигавшемся»,[16] В. Марков в статье «О свободе в поэзии», рассуждая о восприятии эмигрантами творчества Фета и комментируя один из пассажей книги Адамовича «Одиночество и свобода» с упоминанием Анненского, раздраженно замечает: «Характерна эта ссылка на верховный авторитет Анненского, хотя, положа руку на сердце, ведь Анненский, при всех своих достоинствах, поэт просто меньше Фета, не говоря уже о том, что его критической проницательностью ⟨...⟩ только с трудом можно восхищаться: так невыносимо манерно написаны эти статьи».[17]

Отзывается в оценках Анненского и знаменитая вражда двух «партий» парижской литературной эмиграции: «партии» В. Ходасевича — В. Набокова и Г. Адамовича — Г. Иванова. «Случай» Ходасевича, думается, был наиболее сложным. Создается впечатление, что иные эмоциональные высказывания поклонников Анненского о своем кумире родились в пылу полемики с известной статьей Ходасевича «Об Анненском». Выраженное в ней отношение к творчеству этого поэта было частью более широкого спора Ходасевича с Гумилевым, начатого еще при жизни последнего и продолжавшегося с постакмеистами-эмигрантами, благодаря которым культ Анненского возник и за границей. Это был спор об идейности и о значении формы в поэзии. Гумилев, высоко оценивая завоевания Анненского в технике стиха и поэтического синтаксиса, писал также и о новизне его идей, их блеске и парадоксальности, о глубине трагизма, отражавшего кризисное сознание современности.[18] Однако В. Ходасевич в названной статье, отдавая должное мастерству Анненского-поэта, выносит суровый приговор Анненскому-человеку, чье «индивидуалистичное, замкнутое в себе сознание» воплощено в его лирике, нравственно ущербной, поэтому «пышное растение» этой поэзии «зачахло, не принеся плода».[19]

В запоздалой отповеди Ходасевичу (почти через 20 лет после его смерти), назвав эту статью клеветой, С. Маковский возражает против объяснения поэзии Анненского эгоцентризмом и испугом перед смертью: «Нет, люди такого духовного склада, как Анненский, не боятся физиологической смерти. Испуг, даже ужас Анненского, разумеется, совсем другого, метафизического порядка, и звучит он, скорее, как *страх жизни,* а не страх смерти».[20] Суждение далеко не бесспорное, но, возможно, во многом этими «метафизическими», экзистенциальными прорывами поэзии Анненского объяснялась ее востребованность в среде эмигрантских литераторов.

Как уже сказано выше, своим возникновением парижский культ Анненского во многом был обязан бывшим акмеистам — Г. Адамовичу, Г. Иванову, Н. Оцупу. Первый из названных, будучи лидером «парижской ноты», передал примкнувшей к нему молодежи свое представление об Анненском как о «единственно возможном, вместе с Блоком, претенденте на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова...».[21] Сами программные принципы поэтики «ноты» Адамович выводит из его лирики: простота и «будничность» слова, аскетизм в средствах выразительности, конкретность предметного ряда («Анненский неизмеримо „гуще" Блока, всегда вещественнее его»),[22] открытый трагизм мотивов.

---

[16] *Иванов Г.* Девять писем к Роману Гулю // Знамя. 1999. № 3. С. 148.

[17] *Марков В.* О свободе в поэзии: статьи, эссе, разное. СПб., 1994. С. 33.

[18] *Гумилев Н.* Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 58.

[19] *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 106.

[20] *Маковский С.* Портреты современников. С. 250.

[21] *Адамович Г.* Комментарии // Адамович Г. Одиночество и свобода / Сост., автор предисл. и прим. В. Крейд. М., 1996. С. 220.

[22] Там же.

Георгий Иванов принадлежал как раз к тем поэтам, благодаря которым созданный акмеистами культ Анненского был перенесен в эмиграцию. Его поэтическое творчество — яркое доказательство того, что «пышное растение» лирики Анненского, вопреки утверждению Ходасевича, оказалось отнюдь не бесплодным, что многое из открытого им «проросло» в поэзии XX века. В стихах «переимчивого» (Ходасевич) Георгия Иванова легко различить голоса современников, близких и дальних предшественников, чье влияние оказалось решающим для его художественного становления. Однако назвать его, несмотря на принадлежность ранней биографией к школе Гумилева, чьим-либо последовательным учеником вряд ли возможно. Как и подобает большому художнику, он учился у всей литературы, как русской, так и западной. Но вопрос о литературной родословной считал (особенно в эмигрантские годы) чрезвычайно важным и свое «происхождение» как поэта числил по линии Пушкин—Лермонтов—Тютчев—Блок—Анненский. Были и другие влияния — можно услышать и Фета, и Кузмина, и Верлена в его стихах. Но именно с названными выше поэтами, а также с друзьями — Мандельштамом, Гумилевым — вел он нескончаемый поэтический диалог.

Оставался ли Г. Иванов ко времени создания эмигрантского культа Анненского акмеистом? Был ли он им в действительности и раньше, когда (после краткого пребывания в кругу эго-футуристов) со старанием неофита выполнял установки мэтра — Гумилева? Вопросы эти требуют специального обсуждения, однако рассмотрение ивановского варианта следования традиции Анненского может несколько прояснить эту проблему. Судя по тому, как был им прочитан Анненский, по тому, какую художественную интерпретацию этой поэтической линии мы находим не только в зрелом, но и в юношеском творчестве Г. Иванова, поэт, даже еще принадлежа к «Цеху», довольно рано почувствовал, что по существу эстетика акмеистов «мало имела общего с поэзией Анненского».[23] Вопреки призывам «старших» поэтов гумилевского круга обратить внимание на аполлинические черты образного строя Анненского — четкость, предметность, зримость, — молодой Г. Иванов учился этому не столько у него, сколько, например, у М. Кузмина. Под сильным влиянием его эстетизма и призывов к «прекрасной ясности» молодой поэт пребывал какое-то время.

Безусловно, и Анненский слышен в ранних стихах Г. Иванова, что естественно: ведь он делает первые шаги в литературном пространстве Петербурга начала 1910-х годов, когда читающая и пишущая публика столицы на какое-то время буквально «заболела» этим поэтом, интерес к которому подогревало трагическое стечение обстоятельств — выход лучшей его книги («Кипарисовый ларец») вскоре после внезапной смерти. Так, вариации на тему «Трилистника вагонного» в одном из ранних стихотворений Г. Иванова «В вагоне» отсылают не только к тексту Анненского с тем же названием, но и к «Зимнему поезду» общим настроением ночной «вагонной тоски» (Г. Иванов), перекличкой лексики. У Анненского: «И дребезжит сильнее стук, / Дробя налеты обмерзанья...» У Иванова: «Сердце мое дребезжит / Или разбитый вагон!»[24] Отзвуки «Трактира жизни» можно услышать в ивановском описании пивной («Поблекшим золотом и гипсовою лепкой...»), где, как и у Анненского, дано предельно натуралистичное изображение реалий («Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат...» — у Анненского; «Прилавок с пальмами, с Венерою калекой, / И стонет граммофон у выщербленных ног...» — у Г. Иванова) и где звучит, сплетаясь с блоковским,

---

[23] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996. С. 215.

[24] Здесь и далее лирика Г. Иванова цит. по изд.: *Иванов Г.* Стихотворения. СПб., 2005.

тот же, что и у Анненского, мотив бегства от «скуки» жизни: «Я за бутылкою спасаюсь от тоски...»

В целом молодой участник заседаний «Цеха поэтов» был прилежен в следовании установкам на аполлиническое, «дневное» начало, весьма преуспевая в воплощении акмеистской пластической концепции красоты, в изяществе экфрастических этюдов. Однако своеволие поэта все-таки давало о себе знать. Так, не нашли в нем активного отклика программные призывы Гумилева и Городецкого к «мужественно твердому и ясному взгляду на жизнь». Зато уже в поэтической юности прочтя Анненского по-своему, он, вероятно, обнаружил немало близкого для себя — не только предметность, густоту материальной среды, но и томящую мелодику, уводящую к границам осязаемого пространства, к границам аполлинического и дионисийского миров. Услышал и подхватил он у Анненского щемящую ночную тоску, предчувствие неразрешимости «постылого ребуса бытия», тревожную музыку осени: «И ветер с севера, свища, / Летает в парке, дик и злостен, / Срывая золото с плаща, Тобою вышитого, осень...» («Все бездыханней, все желтей...»). В этом ивановском тексте 1913 года, по предположению комментаторов его лирики, реминисцируется переведенная В. Комаровским «Ода греческой вазе» Китса,[25] но можно здесь услышать и отзвук «Трилистника осеннего» Анненского («Ты опять со мной, подруга осень...»).

Как и у Анненского, лирический герой раннего Г. Иванова зачарованно и всматривается, и вслушивается в окружающее. Безусловно, в ранней лирике Г. Иванова из-за акмеистской ориентированности на пластику преобладает первое, но иногда совершенно в духе «Нервов» Анненского (имевших подзаголовок «Пластинка для граммофона») «фонограммой», фиксирующей многоголосие реальности, начинают звучать строки у Г. Иванова:

Прохладно... До-ре-ми-фа-соль
Летит в открытое окно.
Какая грусть, какая боль!
А впрочем, это все равно!

Но должен ли литератор уподобляться бесстрастному «фотографу» или «фонографу»? Таким вопросом задается И. Анненский, приступая к анализу «Трех сестер» А. П. Чехова.[26] По мнению Н. Гумилева, на такую опасную тропу начинал сворачивать молодой Г. Иванов. В гумилевских разборах его ранних сборников («Отплытие на о. Цитеру», 1912; «Горница», 1914; «Вереск», 1916) лейтмотивно проходят две важные мысли. С одной стороны, утверждает мэтр, автор овладел поэтической техникой настолько, что «каждое стихотворение при чтении дает почти физическое чувство довольства»,[27] что есть среди них стихи, «читая которые, не знаешь, ощущение ли так легко оковывается ритмом, или ритм сам порождает ощущение...».[28] Но с другой стороны, Гумилев с тревогой отмечает, что тексты молодого соратника по «Цеху поэтов» объединяет «психология фланера, охотно останавливающегося и перед пестро размалеванной афишей и перед негром в хламиде красной, перед гравюрой и перед ощущением, готового слиться с каждым встречным ритмом, слиться на минуту без всякого удовольствия или любопытства».[29] Наряду с «наивным романтизмом», Гумилев увидел в этих сти-

[25] См.: *Иванов Г.* Стихотворения. С. 534 (комм. А. Арьева); *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 600 (комм. Г. Мосешвили).
[26] *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 82.
[27] *Гумилев Н.* Соч.: В 3 т. Т. 3. С. 292.
[28] Там же. С. 360.
[29] Там же. С. 341—342.

хах «инстинкт созерцателя, желающего от жизни прежде всего зрелища». Он пытается встряхнуть «созерцателя», призывает к деятельному обобщению, поскольку его, как наставника молодого поэта, заботит, что тот «не мыслит образами», и более того — что «он никак не мыслит».[30] Указывая на этот опасный «симптом», мэтр восклицает: «Что это? Почему поэт только видит, а не чувствует, только описывает, а не говорит о себе, живом и настоящем? Ведь он по-прежнему слышит ритм, эту творящую волю стиха».[31] Упреки Гумилева были не совсем справедливыми хотя бы уже потому, что именно умение «видеть» и создавать зримые образы, как уже отмечалось, особенно ценилось в акмеистской среде, а Георгий Иванов в этом весьма преуспел.

В работах о Г. Иванове разных лет при переходе к эмигрантскому периоду его творчества авторы часто вспоминали эти гумилевские оценки и признавали, что беспокойство мэтра было отчасти оправданным, но что художник, безусловно, «оплатил» выданный Гумилевым «вексель»,[32] ибо «в конце своей жизни перестал быть пустоватым, хоть и весьма искусным стихотворцем и стал подлинным поэтом».[33] Означает ли это, что Г. Иванов изменился, вняв призывам Гумилева, звучавшим после 1921 года как заветы? Смог ли он преодолеть в себе привычку к неспешному описанию, вырвался ли из рядов представителей «одной из отраслей русского прикладного искусства начала XX века» (В. Ходасевич)? Если да, то как же понимать написанные в 1940-е годы строки увенчанного славой «первого поэта русской эмиграции», где он признается: «Я не стал ни лучше и ни хуже. / Под ногами тот же прах земной...»? А «верных рыцарей приличья» поэт явно дразнит порой почти гротескными описаниями разного рода мелочей, кажется случайно прихваченных скользящим взором «созерцателя»-«фланера»: «...вечный сон: забор, на нем слова...» и т. д. При этом и в зрелой лирике Г. Иванова поэтическая индукция далеко не всегда завершалась выводами, обобщениями. Поэт оставлял их читателю и лишь изредка проговаривался о «самом главном» в подтексте своих стихов:

То, о чем искусство лжет,
Ничего не открывая,
То, что сердце бережет —
Вечный свет, вода живая...

Остальное пустяки.
Вьются у зажженной свечки
Комары и мотыльки,
Суетятся человечки,
Умники и дураки.

Впрочем, взгляд Г. Иванова до конца жизни цеплялся именно за эти «пустяки». Поэт не только не гнушался ими, но, как и Анненский, предельно дорожил этими мелочами, в которых, особенно в конце жизни, чувствовал не бесформенную дробящуюся аморфность «мировой чепухи», но отблески того света, что «сердце бережет», «миллионнолетнюю земную красоту». Он до болезненности чуток к мимолетности жизни, потому и дорожит трепетными мгновениями ее проявления. И. Анненский, вслушиваясь, как

---

[30] Там же. С. 342.
[31] Там же. С. 360.
[32] *Витковский Е.* «Жизнь, которая мне снилась» // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 11.
[33] *Вейдле В.* О поэтах и поэзии. Paris: YMCA-PRESS, 1973. С. 125.

вспорхнувшей птицей «Миг ушел — еще живой, / Но ему уж не светиться...» («Миг»), оплакивает эту бессмысленно исчезающую жизнь: «Я жалею, что даром поблекла / Позабытая в книге фиалка, / Мне тумана, покрывшего стекла / И слезами разнятого, жалко» («Наша жизнь и светла и легка мне...»). Образную параллель данных строк найдем в одном из ивановских текстов, где мотив Анненского получает характерную для позднего Иванова жестко прямолинейную трактовку: «Не люблю расцветающих роз ⟨...⟩ / А люблю только то, что цвело, / Отцвело и быльем поросло, / И томится теперь где-то там / По его обманувшим мечтам» («Никому я не враг и не друг...»). Обращенность к творчеству предшественника подчеркнута здесь реминисценциями из ряда его стихов, таких как «Я люблю», а также «О нет, не стан...» (см., например, в последнем: «А если грязь и низость — только мука / По где-то там сияющей красе?»).

Какое-то время с «жалостью» да и самим «призраком» Анненского, воплощавшим ее, Иванов пытался бороться, как это видно в «Распаде атома». Но и в этой поэме в прозе, и в знаменитых стихах о розе, судьба которой быть брошенной «в помойное ведро» («Еще я нахожу очарованье...») по сути признается, что макрокосм имеет для него значение лишь в его связи с жизнью микрокосма, миром «случайных мелочей и пустяков». О внимании Г. Иванова к этим «пустякам» писала И. Одоевцева: «Я удивлялась, как стихи сравнительно мало места занимали в разговорах Адамовича и Георгия Иванова, предпочитавших им „пустяки" и говоривших о поэзии легкомысленно. Я привыкла к серьезному благоговейному отношению Гумилева к поэзии».[34] Но, по словам С. Бочарова, «„пустяки" смыкались с вечностью для поэта Иванова, кажется, легче, чем с громоздкой историей».[35] Предельная антиномичность этих понятий совершенно естественно оборачивается синонимичностью их у Г. Иванова: «Поговори со мной о пустяках, / О вечности поговори со мной...»

Георгий Иванов бесконечно ценил ту школу, что дали ему годы тесного знакомства с Н. Гумилевым. О работе в журнале «Аполлон» (1909—1917) в конце жизни поэт вспоминал как о самом светлом периоде своей биографии, как о времени, когда он носил казавшееся ему «наивысшим в мире звание постоянного сотрудника „Аполлона", заместителя Н. Гумилева».[36] Несколько лет, вплоть до самого дня ареста Гумилева, прошли под знаком дружбы, совместной деятельности. По выражению биографа Г. Иванова, их связь «продолжалась и посмертно».[37] Георгий Иванов сделал немало для сохранения памяти о своем наставнике и друге, для издания его произведений.

Однако, чрезвычайно высоко ценя Н. Гумилева, понимая масштаб этого, как он писал, «исключительного, замечательного явления en bloc в русской литературе»,[38] последователем его в поэзии Георгий Иванов себя не ощущал. Г. Адамович, имея в виду себя и Иванова, сказал об этом: «Мы условно считали себя его учениками, но, читая его сборники, ими не были...»[39] Между тем диалог с мэтром и другом не прекращался в лирике Г. Иванова. Одной из полемических реплик в этом неумолкавшем диалоге звучит стихотворение 60-летнего Иванова, в котором он, наконец, прямо

---

[34] *Одоевцева И.* Избранное. Стихи. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998. С. 697—698.

[35] *Бочаров С.* Филологические сюжеты. М., 2007. С. 421.

[36] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 636.

[37] *Крейд В.* Георгий Иванов. М., 2007. С. 127.

[38] Цит. по: *Крейд В.* Георгий Иванов. С. 176.

[39] Проект «Акмеизм» // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 148.

противопоставляет гумилевскому свой тип художественного мышления, заявляя о «генетическом» родстве с поэтикой Анненского:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего нетерпел Гумилев.

В этом часто цитируемом парафразе стихотворения Анненского «Я люблю» в сгущенном виде предстают знаковые приметы лирики «предтечи» акмеизма — безнадежность, «хризантемы», «огоньки», «нищета» заката. Но действительно «программный», как отмечает Г. Мосешвили, этот текст позднего Иванова свидетельствует все-таки не об «окончательном разрыве с эстетикой акмеизма»[40] (от нее он ушел давно), а о некоем итоге раздумий о «себе, живом и настоящем». Это ответ Гумилеву. Иванов не изменил «психологии фланера», «созерцателя», которую хотел искоренить в нем лидер акмеизма. Пережив своего наставника на тридцать семь лет, на склоне жизни поэт декларирует не «разрыв», а верность. Верность собственной натуре. Эту натуру еще в юности помогла ему осознать именно лирика Анненского. И в течение всей поэтической жизни Иванова она была чем-то вроде медиатора, усиливавшего подлинно органичные для него звучания. Да и среди других «певцов», по-настоящему волновавших Иванова и чьи «блуждающие сны» (Мандельштам) проникают в его стихи, преобладали те, кто не чужд был медитации и созерцанию — Тютчев, Лермонтов, Блок. Одним из лейтмотивов «Распада атома» становится не раз цитируемая Ивановым и за пределами этого текста строчка, наверное, самого созерцательного стихотворения Пушкина — «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Ну а «тютчевское созерцательное безделье (минус его политический темперамент) для позднего Георгия Иванова — самодостаточное состояние».[41]

Свои взгляды на творчество Г. Иванов обозначал еще при жизни Гумилева. Характерно в этом смысле стихотворение 1920 года «Петергоф». В его подтексте сплетаются мотивы Гумилева и Анненского:

Опять заря! Осенний ветер влажен,
И над землею, за день не согретой,
Вздыхает дуб, который был посажен
Императрицею Елизаветой.

Как холодно! На горизонте дынном
Трепещет диск тускнеющим сияньем...
О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И, смутно грезя мучившим когда-то,

---

[40] См.: *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 620.

[41] *Арьев А.* Пока догорала свеча (о лирике Георгия Иванова) // Иванов Г. Стихотворения. С. 83.

Прекрасным рисоваться силуэтом
На зареве осеннего заката...

Внешним знаком «сцепления» здесь становится метафорический эпитет «дынный», реминисцирующий гумилевское стихотворение «Вечер» («Как этот ветер грузен, не крылат...»), где в свою очередь отзывались строки Анненского из надписи на книге, подаренной Гумилеву: «И мой закат холодно-дынный / С отрадой смотрит на зарю». Но в гумилевском тексте подчеркнуто, что лирическому герою чужда медлительность закатных часов. Это видно уже в снижении изящного эпитета Анненского: «С надтреснутою дыней схож закат...» Лирический субъект Гумилева полон кипящей энергии деяния, он готов «подталкивать слегка / Катящиеся вяло облака», понимая миссию поэта, которому доверены судьбы «Вселенского движенья», как борьбу с «косным сном стихий».[42]

Исследователями отмечена полемичность текста Иванова по отношению к гумилевскому. По словам В. Крейда, из стихотворения Г. Иванова видно, что миссия художника в нем трактуется иначе, что «поэт частный человек, и никакой космической роли он не должен и не может играть. Быть поэтом — обреченность».[43] А. Арьев справедливо уточняет: для Г. Иванова «в этой „обреченности" — вся сладостная суть, знак избранничества. Поэт вписывается в „космическое бытие", в не преодолимую никакой „волей" систему „метаморфоз". Традиционное для русской эстетики противоположение „природы" и „культуры" устраняется».[44]

Следует добавить, в этой дискуссии Георгий Иванов опирается на Анненского, что маркируется эпитетом «дынный», которому возвращается его холодная красота. Кроме того, в подтексте стихотворения можно услышать созвучия со многими «созерцательными» произведениями старшего из поэтов, столь любившего переходные состояния реальности (от лета — к зиме, от дня — к ночи, от звука — к тишине и т. д.), а особенно ценившего «последнее вечернее мгновенье», ведь в нем «все, что прожито, — желанье и тоска, / Там все, что близится, — унылость и забвенье...» («Тоска мимолетности»). Эта привязанность к «пограничным» состояниям передастся Г. Иванову в полной мере, многократным эхо отзовется в его лирике. Может быть, поэтому так обильно представлены у него, как и у Анненского, тексты, в которых для разворачивания лирических сюжетов выбран именно вечер — время созерцания и медитации, время итогов («Вечер. Может быть последний...», «Летний вечер прозрачный и грузный...» и др.). Иванова, как и Анненского, гипнотически влечет это «мгновенье — на границе тьмы». В попытках объяснить загадочную притягательность его, перефразируя «Тоску мимолетности», в одном из ранних петербургских стихотворений он дает свою философскую формулировку: «Как будто в этот миг в тускнеющем эфире / Играет отблеск золотой / Всех человеческих надежд, которых в мире / Зовут несбыточной мечтой» («Вечерний небосклон. С младенчества нам мило...», 1921).

Вечер — это и время «метаморфоз». Превращения, бесконечные «слияния» противоположностей и их инверсия — важнейшая тема зрелого Иванова, подхваченная у Анненского (см., например, у последнего: «Истомились и все не слились / Этот сумрак голубоватый / И белесая высь...»; «К нему прильнув из полутьмы, / В минутном млеет позлащеньи / Тот мир,

---

[42] *Гумилев Н.* Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 249.
[43] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 129—130.
[44] *Иванов Г.* Стихотворения. С. 249.

которым были мы... / Иль будем, в вечном превращеньи?»). В позднем творчестве Г. Иванова тема разветвляется, варьируется, вырастает в универсальную формулу приближения к «Тайне бытия» (например: «День превратился в свое отраженье, / В изнеможенье, головокруженье. / В звезды и музыку день превратился...»). Но в «Петергофе» говорится о превращении другого типа — лирический герой хочет «застыть», жаждет растворения в вечернем парковом пространстве. Созерцание, дойдя до кульминации, переходит в потребность полного «слияния» с миром. В зрелом творчестве поэта этот мотив попадает в разные контексты, получает различные интерпретации. Это и «по-анненски» понимаемый один из главных принципов искусства — самодостаточная сопричастность изображаемому (см. у Анненского в «Миражах»: «Пусть я — радость отраженья, / Но не то ль и вы, поэты?»). Это и смутно угадываемое знание того, что ответы на мучительные вопросы о смысле бытия надо искать, погружаясь в само бытие, сохраняя в себе способность видеть, слышать, чувствовать. На склоне лет этой способностью, как спасительным даром свыше, Г. Иванов особенно дорожил:

Звезды меркли в бледнеющем небе,
Все слабей отражаясь в воде.
Облака проплывали, как лебеди,

Лебедями проплыли сомнения,
И тревога в сияньи померкла,
Без следа растворившись в душе.

И глядела душа, хорошея,
Как влюбленная женщина в зеркало,
В торжество, неизвестное мне.

(Ср. у Анненского: «Облака мои, лебеди нежные...»)

В стихотворении «Петергоф» желание «застыть» можно рассматривать и как вариацию на тему романтического «ухода», что относит текст к обширному эсхатологическому дискурсу Г. Иванова, также легко соотносимому с лирикой Анненского, измученный герой которого тоскует о «забытье». Однако к окончательному финалу, уходу в «тот» мир он еще не готов, ибо чувствует неразрывную потребность в мире «этом»: «Когда б не смерть, а забытье, / Чтоб ни движения, ни звука... / Ведь если вслушаться в нее, / Вся жизнь моя — не жизнь, а мука...» («Когда б не смерть, а забытье...»). Герой позднего Иванова не менее измучен, и первая строфа стихотворения из цикла «Дневник» звучит парафразом текста Анненского:

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало.

Но во второй строфе прямо указывается на пратекст обоих стихотворений:

Наконец — угомонилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела...

Подобного рода «тройные» созвучия для лирики Г. Иванова — явление обычное. Зачастую в одном его тексте можно услышать гораздо больше «голосов». Однако данное созвучие интересно тем, что в очередной раз подтверждает типологическое сходство художественного мировосприятия Иванова и Анненского. В поэтических системах обоих художников Лермонтов занимал особое место. Лермонтовская составляющая — одна из самых значительных в слоях подтекстов лирики Г. Иванова, с юности особо почитавшего этого классика. Возможно, многое актуализировали для него размышления о лермонтовском творчестве И. Анненского. Лермонтов — один из любимых персонажей Анненского-критика, видевшего в нем то «разбойника, и при том не столько шотландского, сколько степного русского разбойника»,[45] то философа-фаталиста, который «перед бестолковостью жизни ⟨...⟩ одинаковым высокомерием отвечал как на ее соблазны, так и на ее вызов», то тихого созерцателя: «Может быть, не менее Бодлера Лермонтов любил недвижное созерцание, но не одна реальная жизнь, а и самая мечта жизни сделала его скитальцем...»[46]

Г. Иванов, как уже говорилось, высоко ценил критическую прозу И. Анненского и, вероятно, часто ее перечитывал, поскольку многое, сказанное там о Лермонтове, созвучно мотивам лирики самого поэта. Так, о независимости личности Лермонтова у Анненского сказано: «И чувство свободы, и сама гордая мысль учили, что человек должен быть равнодушен там, где он не может быть сильным».[47] В ивановской интерпретации темы судьбы мотив равнодушия в его модальной версии звучит неоднократно, при этом в различных вариациях, порой полных самоиронии, константой остается трагическая суть этого вывода («С бесчеловечною судьбой / Какой же спор? Какой же бой? / Все это наважденье...»; или: «...От безразличья погибая, / Гляжу на вечер голубой...»). Как Лермонтов в интерпретации Анненского-критика, как лирический субъект Анненского-поэта, персонаж лирики Иванова балансирует между покорностью и отрицанием, между надеждой и безнадежностью. Последнее превалирует во всех трех случаях.

Мотив безнадежности, подхваченный у Анненского, тотально распространился в стихах поэтов-эмигрантов, прочитавших в нем правду о самих себе, сказанную с горькой простотой. «У Анненского надежд нет: огни догорели, цветы облетели», — писал Г. Адамович.[48] В лирике Иванова мотив получает весьма самобытную трактовку. Раскачивающееся между надеждой и отчаянием мироощущение приводит к созданию оксюморонной формулы — «надежда безнадежная». Поэт понимает, что этот компромисс — фантом, «тень». Но «тень надежды безнадежной / Превращается в сиянье» («В шуме ветра, в детском плаче...»). Не факт, что это «сиянье» спасительное, но оно, «вспыхивая» то и дело в стихах Иванова, получая разное наполнение, так или иначе указывает на некую экзистенциальную координату.

Именно в эмиграции, в 1930-е годы, когда с выходом сборника «Розы» открылся «новый» Георгий Иванов, по сути начался настоящий творческий диалог его с поэзией И. Анненского, диалог, не прекращавшийся до конца жизни младшего из поэтов. Он нашел выражение не только во множестве рассыпанных по стихам реминисценций, не просто в ритмико-мелодических созвучиях, не в перепевах мотивов. Это был подлинный диалог в бахтинском его понимании, когда рождается новое, т. е. информация, «которая

---

[45] *Анненский И.* Книги отражений. С. 133.
[46] Там же. С. 136.
[47] Там же.
[48] *Адамович Г.* Указ. соч. С. 229.

до начала диалогического контакта не существовала, но возникла в его процессе».[49] Найденное одним из поэтов прорастает в лирическом пространстве другого, рождая новые смыслы, оттенки, звучания. Исследователями творчества Г. Иванова зафиксированы и прокомментированы главные сюжеты этого диалога. К числу их относится не раз упомянутая тема «безнадежности», о которой неоднократно писал В. Крейд, отмечавший также продолженный за Анненским «мотив щемящей жалости перед лицом умирания, всеобщей обреченности».[50] А. Арьев, размышляя о ключевом и для Анненского, и для Иванова понятии «тоска», замечает: «Разумеется, кто из поэтов не тосковал. ⟨...⟩ Но Анненский, а вслед за ним и Георгий Иванов создали своего рода эстетику тоски, эквивалентную эросу и эстетике невозможного ⟨...⟩ Счастье для обоих поэтов оказывается нежелательным, страшным, заключенным в каратаевский бредень фантом. При осязании его русский человек все равно чувствует неполноту, ни в какое сравнение с полнотой тоски не идущую».[51]

По мнению Д. Бобышева, Г. Иванов, «как бы „внучатый" (через Гумилева) последователь Анненского ⟨...⟩ наиболее полно осуществляет эстетический принцип Анненского».[52] Имеется в виду «мука идеала», а точнее, «мука по идеалу. В муке по красоте проявляется особая красота муки, содержащаяся, возможно, в искусстве, то есть в попытке ее выразить».[53] Суждение справедливое, но требующее разъяснения. Возможно, в романтической тоске по идеалу, мучившей и Анненского, и Иванова, «виновата» в немалой степени гамлетовская составляющая художественного сознания обоих поэтов.[54] Чего стоит хотя бы пристрастие их к конструкциям с союзом «или» и риторическим вопросам (Анненский: «Что счастье? Чад безумной речи?..»; «Из разбитого фиала / Всюду в мире разлита / Или мука идеала, / Или муки красота»; Г. Иванов: «Страсть? А если нет и страсти? ⟨...⟩ / Вот и надо выбирать — / Или жить, как все на свете, / Или умирать...»). Безусловно, имеется в виду та интерпретация Гамлета, что была рождена Серебряным веком и, в частности, звучит во «Второй книге отражений», автор которой не раз подчеркивал субъективность своих критических этюдов. Тем важнее это для понимания лирической природы его поэзии: ведь, по Анненскому, Гамлет — не мстительный мизантроп, а «артист и художник», он «смотрит на жизнь сквозь призму своей мечты о прекрасном. Отец осуществил для него идеал красоты».[55] Гамлет в трактовке Анненского завистлив, и тоже как художник: «Для художника это — болезненное сознание своей ограниченности и желание делать творческую жизнь свою как можно полнее. Истинный художник и завистлив и жаден...»[56] И наконец, сами страдания души шекспировского героя, уязвленного кощунством над красотой, критик объясняет представлениями, лежащими в основе миропонимания того типа художника, который он воплощает. Вступивший в контакт (через призрак отца) с Тем миром, тоскующий по чему-то в Этом, «Гамлет символизи-

---

[49] *Лотман Ю.* Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. История и типология русской литературы. СПб., 2002. С. 155.

[50] *Крейд В.* Георгий Иванов. С. 214.

[51] *Арьев А.* Пока догорала свеча. С. 92—93.

[52] *Бобышев Д.* Эстетическая формула Иннокентия Анненского в отражениях его антагонистов и последователей // Иннокентий Анненский и русская культура XX века: Сб. науч. трудов. СПб., 1996. С. 47.

[53] Там же. С. 45.

[54] Отметим попутно и важность гамлетовской темы у Блока, диалог с которым, как и с Анненским, Иванов вел в течение всей творческой жизни.

[55] *Анненский И.* Книги отражений. С. 168.

[56] Там же. С. 169.

рует не только чувство красоты, но еще и в сильнейшей мере ее чуткое и тревожное искание, ее музыку...»[57]

Многое и в лирике самого Анненского, и в поэзии Г. Иванова соотносимо с этими суждениями. И если сравнить Гамлета в интерпретации Анненского, его же лирического героя и лирическое «я» Г. Иванова, — снова увидим очевидное сходство. Прежде всего оно в двойственности, дихотомичности мышления, в тютчевском «двойном бытие», а по версии Иванова — в мучительном «таланте двойного зренья». Раздираемые вечными сомнениями («Те иль эти?» и т. д.), искушенною мыслью своей бесконечно раскачивающие смыслы «добра» и «зла», персонажи эти все время мечутся между противоположностями в поисках или равновесия, или окончательного выбора, какого-то ответа на свою риторику. И понимают, что окончательного ответа нет. Но не прекращается в стихах Анненского кружение риторических вопросов с интенцией невозможности выбора между полярностями, «контрфакциями», заключенными, например, в «рокоте фортепианном»: «И мука там иль торжество, / Разоблаченье иль загадка, / Но он — ничей, а вы — его, / И вам сознанье это сладко» («Он и я»). Оттого же выстраиваются бесконечно инверсирующие противоположности в цепочки антитез у Георгия Иванова: «И тьма — уже не тьма, а свет, / И да — уже не да, а нет». Но у Иванова все гораздо жестче. Там, где у Анненского предчувствие, у него — уверенность, где у первого — догадка, у второго — знание, основанное на личном опыте. Там, где у Анненского только брезжит «слияние» («...в поцелуе жадной встречи / Слилось неслышное *прости*...»), у Иванова появляются горько-оксюморонные сращения — «долгожданная встреча-прощанье», «надежда безнадежная». Если у Анненского «или» намекает на возможность выбора, то у Иванова союз этот часто не разделяет, а соединяет, делая синонимичными антитетические пары: «Жду, когда исчезнут все слова / И душа провалится в сиянье / Катастрофы или торжества». Есть у Г. Иванова и прямые выходы к Шекспиру: «Он спал, и Офелия снилась ему / В болотных огнях, / В подвенечном дыму...» Как и для Анненского, для Г. Иванова, примеряющего на себя бремя терзаний шекспировского героя, суть его в художнической «муке» поиска (ценою жизни) неуловимого и невыразимого:

...Как просто страдать. Можно душу отдать,
И все-таки сна не суметь передать.
И зная, что гибель стоит за плечом,
Грустить ни о чем, мечтать ни о чем...

Оба поэта много думали о смерти. Младшему из них, испытавшему жизненное «пограничье» эмиграции, развернувшее его сознание к экзистенциализму, открылось горестное понимание того, что перед поглощающей все и вся «мглою», похожей «на сиянье», сливаются «добро и зло», «надежда, отчаянье, вера, неверие». С границы между «тем» и «этим» мирами ему видно, что «там» — «все, навсегда, потеряло значение». Но гамлетовский тип сознания даже перед этим тупиковым «смыслом, раскаленным добела», не дает затихнуть процессу разгадывания «постылого ребуса бытия», поиска ответов:

Сознанье, как море, не может молчать,
Стремится сдержаться, не может сдержаться,

[57] Там же. С. 170.

Все рвется на все и всему отвечать,
Всему удивляться, на все раздражаться.

В результате «волненья, броженья, движенья» этого беспокойного сознания рождается убеждение в двойственной сущности самого бытия, восходящее к древнему буддийскому представлению о единстве противоположностей. Возможно, прорыв к разгадке «муки идеала» Иванов видел именно в этой остро им ощущаемой «непререкаемой реальности целого», в том, что «негатив и позитив, яростно „отрицая" друг друга, повторяют, как известно, с одинаковой точностью тот же самый „кусок жизни"».[58] Потому-то, как и для Анненского, предположившего, что «грязь и низость — только мука / По где-то там сияющей красе», для Г. Иванова неотделимы «пустяки» и «банальности» от «вечного света», «воды живой». Однако это отнюдь не снимает «муки», «тоски» по идеалу, на которую добровольно обрекают себя «гамлетизирующие» (Анненский) искатели смыслов. «И в чем тайна красоты, в чем тайна и обаяние искусства: в сознательной ли, вдохновенной победе над мукой или в бессознательной тоске человеческого духа, который не видит выхода из круга пошлости, убожества или недомыслия...» — заключает свое «Сентиментальное воспоминание» И. Анненский.[59] Выхода не видно, но почему-то вера в эту «где-то там сияющую красу» остается. Ведь она иногда дает о себе знать и, угаданная, как писал Гумилев, «шестым чувством», пробуждает вдохновение самим только созерцанием ее, свидетельствовал Г. Иванов:

Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума.

Оно никак не воплотится,
Но через годы и века
Такой же луч зазолотится
Сквозь гаснущие облака,

Сливая счастье и страданье
В неясной прелести земной...
И это будет оправданье
Всего, погубленного мной.

Объединяет поэтов и то, что оба тупиковые «логические» построения сознания преодолевали с помощью «музыки». У Анненского, как правило, это музыка в прямом ее значении. Как для символистов, для него это главное из искусств, которое одно только и может приблизить идеальное. Музыка — посредница миров, поэтому ей у Анненского даже отдано звездное «сияние» — этот знак «высшей красы»: «Что звуков пролито, взлелеянных в тиши, / Сиреневых, и ласковых, и звездных!» («После концерта»). Только «музыкальная греза» мистическим образом переносит в другое измерение. Умение «дышать» ритмами может помочь постижению смысла незнакомых «тысячелетних слов», если в них вам «музыка понятна» («Буддийская месса в Париже»).

У зрелого Г. Иванова «музыка» вырастает в ключевую для его художественной системы метафору, указывая на то таинственное, метафизическое, без чего невозможно искусство, на дионисийское начало в творчестве, кото-

---

[58] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 570.
[59] *Анненский И.* Избр. произведения. С. 181.

рым уравновешивается «дневное» аполлиническое. «Музыка» — это и поэзия, ибо в ней соединены гармонично мелодика и пластика, смыслы и непостижимое мыслью. Для Иванова «музыка» — знак найденного равновесия всего этого и многого другого. Это, например, лаконичное до предела объяснение тайны гения Пушкина, владевшего секретом «чудной музыки, слышной только ему», или Блока с его «черной музыкой». Ивановское понимание «музыки» как выражения неких «трансцендентальных» сущностей, а также как способа, отдавшись кружению «музыкальной спирали», вырваться за пределы материального говорит о типологическом родстве его системы не только с Анненским, но и с эстетикой символизма, воспринятой через Блока, Сологуба. В зрелые годы способность улавливать созвучия становится у Г. Иванова критерием творческой формы и соответственно о кризисных состояниях поэта возвещает утрата ее: «Музыка мне больше не нужна. / Музыка мне больше не слышна...» Впрочем, это были лишь моменты. Способность «слышать», упиваться мелодикой слов, как и владение «аппаратом» (так поэт называл стихотворную технику), сохранялись в Г. Иванове до самого конца. Неизжитая жажда звучащей гармонии запечатлена в его предсмертных строчках:

Поговори со мной еще немного...
...Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.

Возможно, определенную роль в развитии этой способности питало рано усвоенное, отмечает А. Жолковский, «влияние Иннокентия Анненского с его металингвистическим сосредоточением на звуковом составе слов (классический случай «Невозможно», 1907, п. 1910)».[60] Действительно, в мастерстве, с каким использует Иванов языковую игру, например с омонимами и паронимами («Листья падали, падали, падали, / И никто им не мог помешать. / От гниющей листвы, как от падали, / Тяжело становилось дышать...» или неоднократно появляющаяся пара «благообразный» / «безобразный»), хочется видеть именно «школу» Анненского («Сила господняя с нами, / Снами измучен я, снами...» и др.). Но важно и то, что для обоих поэтов языковая игра ни в коей мере не была самоцелью. Оба инструментарий ставили на «службу своим экзистенциальным смыслам».[61] Оба были зачарованы тайной воплощения этих смыслов в музыке слова. Об этом говорится в упомянутом стихотворении Анненского «Невозможно», написанном за пять лет до манифестов футуристов:

Есть слова — их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно.*

Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.

---

[60] *Жолковский А. Так* и *этак* Георгия Иванова («Луны начищенный пятак...») // Звезда. 2007. № 9. С. 188.

[61] Там же.

Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих *ве*, этих *зэ*, этих *эм*
Различить я сумел дуновенья...

Тема Анненского была подхвачена и получила развитие спустя полвека в шедевре суггестивной ивановской лирики — стихотворении «„Желтофиоль" — похоже на виолу...» (1954). Присутствие Анненского обозначено в нем не только последней строкой-цитатой из стихотворения «О нет, не стан...», но и первой: «желтофиоль» — вариант названия левкоя, одного из флористических пристрастий старшего поэта. В типично ивановской манере, при внешней лапидарности текста, тема Анненского расширяется, «смыслы» сгущаются и монолог разворачивается в размышление о поэзии, о «музыке»:

«Желтофиоль» — похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне — безмолвие и боль.
И, подчиняясь рифмы произволу,
Мне все равно — пароль или король.

Поэзия — точнейшая наука:
Друг друга отражают зеркала,
Срывается с натянутого лука
Отравленная музыкой стрела
И в пустоту летит, быстрее звука...
«...Оставь меня. Мне ложе стелет скука!»

С пушкинско-«анненской» легкостью жонглируя созвучиями и мерцающими в них смысловыми ассоциациями, поэт обращается к своему излюбленному многозначному образу — «Друг друга отражают зеркала...», восходящему не то к «Зеркалам повсюду» З. Гиппиус, не то к «Книгам отражений» и «Миражам» Анненского. И проглядывавший уже в первой строфе экзистенциальный план (см. 2, 3 и 4-ю строки) во второй строфе обнажается со всей очевидностью. Речь идет все-таки не об «искажении», по словам А. Арьева,[62] изображаемого, недаром автоцитата в этом тексте урезана (в стихотворении 1950 года было: «Друг друга отражают зеркала, / Взаимно искажая отраженье...»), но о той бесконечности отражений, что открывается по обе стороны поставленных друг против друга зеркал. Речь идет о «пустоте» — неведомом и невидимом пространстве, в которое летит «отравленная музыкой стрела», о бесконечности полета стрелы и сладостной боли уязвленной ею души. Текст этот, вариация на тему мифа о вечном возвращении, — из разряда загадочных, что признано читателями и критиками разных эпох. Магическая сила воздействия этих строк под стать заложенной в них мысли о тайне гармонии, о неумолкаемой природе поэтического слова, о пронизывающем пространство и время звучании «цитаты-цикады» (Мандельштам), что живет своей, отделившейся от автора жизнью. «Точность» науки, возможно, в том, чтоб верно рассчитать полет «стрелы», чтоб отыскала она в «пустоте» точку резонанса, чтоб не нарушилась «мера» («Нет новизны, есть мера...») в процессе вечных обновлений и превращений «мелодии». Полет строчки-стрелы из загадочного стихотворения Иннокентия Анненского «отражается» в поэтическом космосе Георгия Иванова, и рож-

[62] См.: *Иванов Г.* Стихотворения. С. 632.

дается «„Желтофиоль"...», как писал В. Марков, — «чудо», которое «ни одна эстетика не может определить».[63]

Поэт, из жизни которого старшие акмеисты начали создавать легенду, для никогда не видевшего его Г. Иванова в зрелые годы стал близким и живым «собеседником». Мелодии Анненского резонируют звучаниям Иванова, бесконечно интерпретируются младшим поэтом. Ряд стихотворений Анненского становится пратекстом ивановских лирических миниатюр: «Снег» («Полюбил бы я зиму...»), «Баллада», «То и Это» и др. Они любят одно и то же, а ряд вкусовых совпадений, приведенный Г. Ивановым в «Я люблю...», поэт мог бы, наверное, и продолжить. Отметим, например, цветовые пристрастия: оба любили как дымно-тусклую гамму, так и чистоту сине-голубой краски, правда, Анненскому все-таки ближе были разные оттенки сиреневого. Роза — своеобразная эмблема лирики Иванова начиная с 1930-х годов, но после нее второе место в его стихах «делят» сирень и хризантема — любимейшие цветы Анненского. Обоих поэтов, как уже говорилось, влекло «пограничье» в разных его проявлениях, например в полутонах. Возможно, поэтому столь часто в их стихах можно увидеть попытки запечатлеть то полуцвета, то полусостояния. Например, у Анненского: «душно-мягкий день», «полусон, полусознанье...», «И мерзок тем, кто не заснул, / Хаос полусуществований!». У Г. Иванова: «Образ полусотворенный, / Шепот, недоговоренный, / Полужизнь, полуусталость — / Это все, что мне осталось...», «Полу-жалость. Полу-отвращенье / Полу-память. Полу-ощущенье, / Полу-неизвестно что...». Скорее всего, у Анненского был позаимствован Ивановым такой способ передачи неявного, как соединение в одном эпитете наречия и прилагательного. Подобные определения щедро разбросаны по стихам Анненского: «бледно-безбрежные выси», тени «нежно-желанны» и т. д. У Иванова найдем их также немало: «замысел странно-порочен», «день влажно-сиренево-солнечный» и др.

Следует отметить еще один важный параметр, позволяющий судить о близости художественных систем И. Анненского и Г. Иванова, — их принадлежность «петербургской поэтике», которая, как писал в 1968 году Владимир Вейдле, в эмигрантской поэзии 1920—1940-х годов «господствовала почти безраздельно». Выделяя в этой эстетике такие черты, как эмоциональная сдержанность в сочетании с глубиной мысли и чувства, «преобладание предметного значения слов ⟨...⟩ над обобщающим их смыслом»,[64] эталоном этой «петербургскости» для поэтов русского зарубежья критик называет Анненского.

Как и для «глубоко петербургского» (Вейдле) поэта Анненского, для Г. Иванова Петербург был не просто темой. В пассеистическом контексте его зрелой лирики, насквозь пропитанной «сладким ядом воспоминаний» (Анненский), он предстает как многозначный символ, вобравший в себя и утраченную родину, и культуру, которой гордились эмигранты, и молодость самого поэта. Более того, в его сознании в поздние годы сложилось представление об исторической важности собственной миссии: он чувствовал себя ответственным за сохранение не только «поэтики», школы, стиля, но и самого духа Серебряного века, как он считал, ярче всего выразившегося именно в атмосфере Петербурга начала XX века. Современники чувствовали это в Г. Иванове. В 1955 году об этом писал Р. Гуль: «В русской поэзии остались только два больших „петербургских голоса": Ахматова и Георгий Иванов».[65]

---

[63] *Марков В.* О поэзии Георгия Иванова // Критика русского зарубежья. Кн. 2. С. 417.
[64] *Вейдле В.* Умирание искусства. М., 2001. С. 320.
[65] *Гуль Р.* Георгий Иванов // Критика русского зарубежья. Кн. 2. С. 211.

В эмигрантском литературном пространстве для многих, и прежде всего для себя, он был самым последним. «Да, как это ни грустно и ни странно, — я последний из петербургских поэтов, еще продолжающий гулять по этой становящейся все более неуютной и негостеприимной земле», — писал он в конце жизни.[66] Анна Ахматова пережила на восемь лет написавшего эти строки, но важно здесь осознание поэтом в лежащей на нем миссии такой составляющей, как завершение. «У Георгия Иванова, — пишет А. Арьев, — здесь скрыта та же поэтическая тавтология, что и в „бедных людях": всякий человек — „бедный человек" и всякий „последний поэт" — „петербургский поэт"».[67]

Но ведь и Анненский, проложивший дорогу многому в русской поэзии XX века, вместе с тем воспринимался современниками как представитель исчезнувшей с его уходом особой литературной «породы», как «последний из царскосельских лебедей» (Гумилев).

Однако вернемся к «Петербургским зимам», этому типичному для европейской и русской литературы 1920-х годов «неомифологическому» тексту. Фактический субстрат и вымысел сплавляются в нем в сложное целое. Мифологизированный образ-символ Анненского имеет в книге тенденцию к некоторому развитию. Кульминацией в этом плане звучит придуманный Г. Ивановым (в чем он позднее с иронией признавался) эпизод, изображающий зимнюю поездку изрядно разгоряченных «чаем» главных акмеистов и повествователя в Царское Село. Несмотря на поздний час, их соблазнила идея «царскоселов» Гумилева и Ахматовой посмотреть на любимую скамейку Анненского. Достигнув цели, в ночном парке акмеисты видят: «...снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи... ⟨...⟩ На минуту становится жутко, — а ну, как... Но нет, это не призрак Анненского...»[68] Это был поэт Василий Комаровский.

Ироничный тон описания этого приключения смешивается в сложном составе с другими красками. Кому же адресована здесь ирония? Скорее всего — экзальтации в преклонении «предтече», но никак не самому поэту. Эпизод этот, вероятно, был нужен Иванову по ряду серьезных причин, среди которых одна из важных — стремление показать особую атмосферу дружеских отношений, что он вынес из тех лет навсегда. История, современная поэту реальность и художественный вымысел, столкнувшись в этом фрагменте, говорят об одухотворенности эпохи, не стыдившейся романтического поклонения кумирам, об органичной для автора циклической концепции мира, о «вечном возвращении» (Ницше), о бесконечной череде превращений и «отражений». В «зеркале» этого паркового сюжета вполне ощутима влекущая в глубину временно́го пространства цепь созвучий и соответствий, создаваемая интертекстуальной ретроспективой. Эпизод вызывает ассоциацию с уже цитированным стихотворением Гумилева «Памяти Анненского»:

...Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.
Там вечером и страшно и красиво...[69]

---

[66] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 470.
[67] *Арьев А.* Пока догорала свеча. С. 54.
[68] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 120.
[69] *Гумилев Н.* Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 211—212.

Очевидно здесь и присутствие самого Анненского-поэта, поскольку эпизод из «Петербургских зим» можно прочесть как перифраз (с заменой персонажа) стихотворения «Бронзовый поэт» из «Трилистника в парке». Те же атрибуты — ночь, царскосельский парк, на глазах сгущающаяся атмосфера таинственности, наполненная в ожидании встречи с «призраками» трепетом перед столкновением бытия с небытием:

...И стали — и скамья и человек на ней
В недвижном сумраке тяжеле и страшней...

Наконец, в читающем среди ночи стихи персонаже Г. Иванова и «бронзовом поэте» Анненского, готовом, «стряхнув дремоты гнет», спрыгнуть с постамента, отзывается восходящий к Пушкину («Каменный гость», «Медный всадник», «Золотой петушок») и далее — в глубину культуры — архетипический мотив оживающей статуи. Все это, по Г. Иванову, должно служить доказательством неумолкаемой жизни «мелодии».

Таким образом, можно заключить, что при всей свободе обращения литературной эмиграции с дореволюционной культурной традицией, пример «отражений» в творчестве Георгия Иванова наследия Иннокентия Анненского подтверждает справедливость суждения В. Вейдле о русской зарубежной поэзии как о «хранительнице этой традиции, этой поэтики, тех представлений о стихотворном искусстве, которые воспреобладали у нас в золотую пору нашего так называемого серебряного века».[70]

[70] *Вейдле В.* Умирание искусства. С. 320.

© *В. С. КИССЕЛЬ (ФРГ)*

О НЕМЕЦКИХ ПФЕННИГАХ И РУССКОМ ЗОЛОТОМ ФОНДЕ: ТЕМА ДЕНЕГ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»

Последний из законченных русских романов В. Набокова «Дар» (1937—1938) обычно рассматривается критикой как неповторимый синтез элементов романа о художниках, об образовании и воспитании, о приключениях, путешествиях, а также в качестве полудокументальной биографии или же фиктивной автобиографии.[1] Указание писателя на то обстоятельство, что темой романа, по сути дела, является сама русская литература, уже плодотворно использовалось в науке и позволило проникнуть в рекурсивную структуру[2] и интертекстуальность произведения.[3] При этом была открыта мерцающая многозначность названия: литературный дар протагониста, его одаренность любовью к Зинаиде Мерц и чудесный дар человеческой памяти.

Истории, которые рассказываются в романе об этих дарах, проникнуты порой дополняющим, порой контрастирующим мотивом, выраженным в мыслях, действиях, разговорах и символах, чье присутствие и значение до сих пор оставалось незамеченным в структуре романа: это мотив денег. Протагонист романа молодой поэт-лирик, изгнанник Федор Константинович Годунов-Чердынцев, которому Набоков придал автобиографические черты, живет в Берлине в 1926—1929 годах. Он полностью погружен в свой внутренний мир, сосредоточен на становлении и развитии своего лирического дара, углублен в проблемы рифмы и метра, находится в постоянном поиске тем и мотивов. Убожество внешней стороны жизни странным образом вовсе не беспокоит его, постоянная нехватка денег не угнетает и не замыкает в лирическом мире собственного Я, напротив, лишения еще более побуждают его к творчеству. Однако при всей интенсивности внутренней жизни Годунов-Чердынцев не остается независимым, он вынужден вступать в отношения обмена с внешним миром, в данном случае с неприятным, даже ненавистным немецким бытом. Правда, чтобы удовлетворить насущные потребности в продуктах питания, в одежде и жилище он довольствуется минимумом денег в кармане. Но именно эти потребности его повседневной жизни задают ритм первых сцен романа.

---

[1] *Boyd B.* Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, 1990. P. 447—478.

[2] *Dolinin A.* The Gift // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / V. E. Alexandrov (Hg.). New York; London, 1995. P. 135—169.

[3] См.: *Davydov S.* 1) The Gift: Nabokov's Aesthetic Exorcism of Chernyshevskii // Canadian American Slavic Studies. 1985. T. 19. N 3. P. 35—374; 2) Weighing Nabokov's Gift on Pushkin's Scales // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden to the Silver Age / Hg. v. B. Gasparov, R. P. Hughes, I. Paperno. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 415—428; *Paperno I.* How Nabokov's Gift is made // Literature, Culture, and Society in the Modern Age. In Honor of Joseph Frank. Stanford, 1992. 295—322; *Greenleaf M.* Fathers, Sons and Impostors: Pushkin's Trace in The Gift // Slavic Review. 1994. P. 53, 140—158.

В понятии «деньги» сконцентрировано целесообразно-утилитарное мышление, которое герой пытается опровергнуть в пародийно-иронической биографии убежденного материалиста Чернышевского. Все яснее проступающая к концу произведения асимметрия бедности и богатства, материальной потери и интеллектуально-художественного обретения в жизни протагониста может быть понята как критика власти денег или же морально обоснованное их отвержение, которое особенно преобладало в классической русской литературе XIX века.[4] К тому же в течение столетий между западноевропейским и русским пониманием денег образовалась довольно глубокая пропасть. Конечно, превращение денег в лейтмедиум современного мира поначалу было воспринято критически и в культурном пространстве Западной Европы; христианская мораль начала нового времени видела в их разлагающей силе угрозу существующему порядку и обычаям. Однако уже в XVIII веке в философии и экономике появились «компромиссные фигуры», которые доказывали пользу денег для повышения благосостояния большого количества людей, уменьшали недоверие к ним, способствуя тем самым их признанию.[5] Против принятия денег в качестве лейтмедиума модерна русская литература протестовала вплоть до начала XX века и искала иные модели обмена благами.[6]

Роман Набокова как произведение литературы изгнания, действие которого происходит в Берлине и общая «экономика» которого приводится в движение напряженным противостоянием немецких денег в конкретном смысле и русского золота — в метафорическом, безусловно выходит за узкие рамки русской критики денег. Даже заниженная оценка, даваемая Годуновым-Чердынцевым лейтмедиуму современного мира, отнюдь не означала, что деньги в романе игнорировались или оценивались односторонне, отбрасывались вовсе как разлагающие и разрушающие мораль. При этом следует учитывать, что роман «Дар» строился как металитература, т. е. литература, которая создается из литературы и о ней рассказывает. И если речь идет о деньгах, то всегда о таких деньгах, которые, по крайней мере, имеют значение для литературы. Если проследить этот мотив дальше, то он приведет к центральным вопросам о создании и восприятии литературы в изгнании, обнаружит новый подход к семантической многозначности заглавия и лейтмотива произведения.

* * *

В начале романа Годунов-Чердынцев только что переехал на Танненбергштрассе, 7 и во время первой прогулки наблюдает, как перед его домом выгружается имущество русской супружеской пары. Поиск жилища принадлежал к наиболее насущным повседневным заботам часто переезжавших эмигрантов. Годунов-Чердынцев также переживает «одиссею» перемещений из одной меблированной комнаты в другую, отягощен беспокойством о плате за жилье, зависит от готовности хозяина ее отсрочить. Однако на этот раз судьба улыбнулась ему: вследствие очередного переезда его комната оказалась рядом с комнатой его будущей возлюбленной Зинаиды Мерц. Знакомство с супружеской парой Лоренц, за приездом которой Годунов-Чер-

[4] *Guski A.* Zwischen Tempel und Werkstatt. Literatur und Kommerz in Rußland // Guski Andreas. Literatur und Kommerz im Rußland des 19. Jahrhunderts: Institutionen, Akteure, Symbole / Ulrich Schmid (Hg.). Zürich, 2005. S. 7—28.

[5] *Hörisch J.* Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt am Main, 1998.

[6] *Guski A.* Op. cit. S. 17f.

дынцев наблюдал перед домом, могло бы прямой дорогой привести его к будущей жене, так как Зина Мерц время от времени посещала свою старую учительницу рисования. Однако один из ближайших друзей этих супругов настраивал его против общения с последними.

Ознакомительная прогулка по новому району привела Годунова-Чердынцева к магазинам, где продавались товары повседневного спроса: овощная и фруктовая лавка, аптека, табачные изделия, от которых заядлый курильщик не мог отказаться никоим образом. Эта прогулка делает читателя свидетелем резкого протеста героя против мира товаров, различных ритуалов их приобретения через посредство денег. В этом немом протесте проявляется своеобычность молодого поэта, его одиночество, его гордая независимость, но одновременно и его оригинальный, творческий, отчужденный взгляд на реальный мир: «Боже мой, как я ненавижу все это, лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру...»[7]

Саркастически «очеловеченное» описание цен, скидок и рекламы позволяет по-новому увидеть привычные для горожанина витрины, отчуждает их и тем самым дает возможность новой оценки декораций, т. е. разрывает лживую паутину рекламы и одновременно противопоставляет ей мир идей. Вместе с тем Годунов-Чердынцев является не только бунтующим сторонним наблюдателем. На свой лад он даже извлекает выгоду из всеобщего стремления к наживе, из товарного изобилия, потому что за свои деньги получает не только товары, но и материал для будущих произведений: «Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне» (с. 12).

Здесь происходит «товарный» обмен совершенно особого свойства, о котором одна из сторон даже не подозревает. В качестве возмещения за слишком дорогие товары, которые навязывались несостоятельному эмигранту, его острый взгляд проникает в убийственные детали, позволяющие развенчать местную жизнь с ее ограниченностью, алчностью, подлостью и пошлостью. В то время как немецкие торгаши пытаются обмануть чужака и нажить несколько пфеннигов, они богато одаривают его другой валютой, чью ценность им не дано понять: жестами, словами, визуальными впечатлениями, которые сохраняются в его памяти, чтобы войти впоследствии в литературное произведение.

В начале второй главы Годунов-Чердынцев изображен по дороге на опостылевший урок французского языка. Небольшой инцидент в трамвае вызывает в нем приступ резкого отторжения Германии и немцев, у которых наряду с другими пороками и изъянами он особенно выделяет навязчивую идею постоянно пересчитывать деньги, а также «услужливость, с которой человек пять прохожих помогают ⟨тебе⟩ подбирать оброненные гроши» (с. 133). Он принимает решение пропустить урок и продолжить путешествие в мир русской поэзии: «Он знал, что нынче получил бы за несколько уроков

---

[7] *Набоков В.* Дар. 2-е изд. Ann Arbor: Ardis, 1975. С. 11. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

плату, знал, что иначе придется опять в долг курить и обедать, но совершенно мирился с этим ради той деятельной лени (все тут, в этом сочетании), ради возвышенного прогула, который он себе разрешал. И разрешал не впервые. Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы на преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем, словно на заре в мифологической роще, он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок» (с. 96).

Так внутреннее богатство, избыток творческой одаренности становились причиной бедности и одиночества молодого поэта-изгнанника в Берлине. Ему претит переводить на медные гроши свои знания, образование, которым он, как потомок состоятельной дворянской семьи, мог наслаждаться в дореволюционной России. Его стремление заработать деньги в качестве учителя иностранных языков не находит достойного применения, уроки французского и английского, даваемые бездарным или ленивым ученикам, мучительны для обеих сторон. Да и приносящие доход переводы специальных статей о низкой звукопроводности плиточных полов или же трактата о подшипниках вряд ли годились для того, чтобы серьезно увлечь Годунова-Чердынцева. Впрочем, у него слабо выражено и желание извлечь доход из собственных литературных амбиций, хотя даже скромный заработок, приносимый стихами, наполняет его некоторой гордостью (с. 101). Таким образом, молодой поэт попросту живет в долг, часто одалживая деньги у немногочисленных русских любителей литературы. «...И Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки ⟨...⟩» (с. 62).

Годунов-Чердынцев похож на большинство молодых русских писателей, осевших в Берлине в начале двадцатых годов. Инфляция, которая поначалу обеспечивала обладателям валюты в Германии выгодные условия существования, после консолидации немецкой экономики способствовала их быстрой утрате. Но обедневший поэт не только презирает стремящихся к материальной стабильности местных жителей, в отсутствии собственности он даже видит обоснование своей духовной и культурной исключительности. Годунова-Чердынцева не затрагивают многочисленные унижения и оскорбления, которым часто подвергаются в Берлине изгнанники, привыкшие к благополучию. Напротив, он преисполнен гордости, что может укрыть «незаконное сокровище» (с. 93) от взглядов «гнусных кумушек и гнилых торгашей» (там же). Переживаемые потери не могут умалить тех даров, которыми наградила его судьба. К таким дарам относятся его исключительные эйдетические способности, склонность к «audition colorée» — умению слышать цвета, т. е. синестезия, его память места, позволяющая точно воспроизводить словами русскую топографию, его знание языков, его страсть к науке о бабочках и к сложным шахматным комбинациям.

В начале романа герой опубликовал книгу стихов о своем петербургском детстве, однако ему даже не пришло в голову выделить экземпляры для рецензий, так как механизмы литературного производства совершенно не интересовали его. Лишь немногие посвященные знают его стихи. И когда старший друг, любитель литературы Александр Чернышевский, приглашает его к себе и цитирует выдержки из хвалебной рецензии, которая якобы только что появилась, Годунов-Чердынцев остроумно и заинтересованно обсуждает содержание некоторых страниц, где приводятся конкретные примеры из его лирики. В одном из этих стихотворений пародируется реклама как ничтожная, опошленная, превратившаяся в инструмент форма искусства, т. е. про-

должается та же мысль, которая возникла у героя во время первой прогулки в районе расположения его новой квартиры. На литературном вечере у своих друзей поэт-лирик с бесконечным разочарованием должен был признать, что Чернышевский позволил себе грубую «первоапрельскую» шутку. Все это свидетельствует о том, что молодой творец живет в «splendid isolation», свой поэтический дар он ощущает в данный момент скорее как бремя и ищет что-то новое, неизвестное (с. 108). Чтобы в полной мере осознать свой творческий потенциал, оценить свои писательские способности, требуется большая литературная и человеческая отдача.

* * *

Литературная деятельность героя теснейшим образом связана с жизнью и творчеством Пушкина. В конце первой главы романа Годунов-Чердынцев принимает участие в собрании русских писателей-изгнанников, на котором некий бездарный поэт из Риги читает свою невыносимо скучную мистическую поэму. Покидая собрание, Годунов-Чердынцев вступает в разговор с поэтом Кончеевым.[8] И только позднее вдруг осознает, что разговор произошел лишь в его воображении. Однако это обстоятельство ни в коей мере не умаляет значения данного эпизода. Кончеев играет в романе «Дар» совершенно особую роль, это поистине легендарная фигура, единственный поэт, суждения которого уважает Годунов-Чердынцев, считая его равным себе. Участники воображаемого разговора, порой соглашаясь друг с другом, порой прибегая к полемике или пародии, выстраивают в ряд всех великих писателей и поэтов XIX века. В своем большинстве «классики» удостаиваются лишь уничижительно-иронических замечаний. Не в последнюю очередь высмеивается роман Достоевского «Преступление и наказание» как смесь экзальтированного христианства и смятения духа.[9] Сколь дерзки и неуважительны отзывы о признанных великих писателях, столь неколебимо центральное положение Пушкина и Гоголя: «Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы... Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим» (с. 83).

С одной стороны, метафора «золотой фонд» остро задевает грошовый торгашеский дух немцев, но одновременно указывает на золотой стандарт как на конкретную экономическую реальность двадцатых и тридцатых годов. Со второй половины XIX века и до начала Первой мировой войны золотой стандарт представлял собой тип мировой валюты, которая должна была обеспечивать покрытие всех, находящихся в обращении денежных знаков за счет золотых резервов центральных национальных банков. В первые военные годы, в связи с необходимостью финансировать неожиданные материальные потери, от стандарта отказались. После войны ведущие финансовые круги пытались вернуть золотой стандарт, который постепенно стал восстанавливаться к 1928 году. Однако уже через год мировой экономический кризис свел все стремления к стабильности на нет, и между 1931-м и 1937 годом ведущие экономические державы отказались от золотого стан-

---

[8] Образ поэта-эмигранта Кончеева напоминает Вл. Ходасевича (ср.: *Bethea D.* Nabokov and Khodasevich // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 452—463). Певец «Европейской ночи» принадлежал к немногим поэтам русской эмиграции, относительно которых Набоков не скупился на похвалы. Когда в 1939 году Ходасевич умер, Набоков посвятил ему напечатанный в «Современных записках» некролог, в котором назвал его самым значительным поэтом эпохи, поэтическая генеалогия которого через Тютчева восходит к Пушкину.

[9] Ср.: «Бедлам превращенный в Вифлеем — вот ваш Достоевский» (с. 83).

дарта. Время действия романа — с 1926-го по 1929 год и время его создания — с 1933-го по 1938-й хронологически совпадают с этими процессами, поэтому не исключено, что Набоков ассоциировал изображаемое с актуальными историческими событиями. С уверенностью можно констатировать интерес Набокова к одному значительному роману того времени, в котором также использовалась метафора денег для того, чтобы обозначить кризис материальных и духовных ценностей модерна. Речь идет о романе Андре Жида «Фальшивомонетчики» («Les Faux-Monnayeurs»), который Набоков, в целях наиболее резкого иронического дистанцирования, включил в сеть интертекстуальных аллюзий «Отчаяния».[10]

Но и литература, как можно понять из этих намеков и ассоциаций, отошла от золотого стандарта и вместе с тем в ранний период модернизма, в беспримерном напряжении творческих сил, продемонстрировала мощный потенциал таланта, умений и знаний, достаточный для того, чтобы обеспечить прорыв к чему-то абсолютно новому. Годунов-Чердынцев, сам дитя этой эпохи, восхищался в России оригинальностью и новизной символизма, особенно Бальмонтом, Брюсовым, Блоком, Белым и стоящим между символизмом и неореализмом Буниным. «Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на „Б", — пять чувств новой русской поэзии» (с. 85).

И только после войны, революции и распада русской культуры на ту, что существовала в условиях диктаторского режима Советского Союза, и другую, распространившуюся в изгнании по всем континентам, кажется, пришло время подвести баланс прихода и расхода. Эта задача становилась совершенно безотлагательной, ибо глубокие «трещины» эпохи мировой войны грозили прервать передачу основ культуры от предыдущего поколения — следующему. Разрыв многих традиций порождал в сознании эмигрантов всеохватывающее чувство обнищания, ограбления, потери, которое часто описывалось как коллективное переживание смерти, как жертвенный акт целого поколения. В эмигрантских кругах сравнительно рано проявилась критическая оценка довоенного периода. С этой точки зрения литература модернизма имела дело со многими «необеспеченными» чеками, способствуя тем самым стремительному обесцениванию литературного слова, литературных ценностей и ценности литературы: «Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что естественно продолжает Пушкина, между тем, как пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски бездарности и ходули таланта — все то, что когда-то моя любовь прощала или освещала по-своему ⟨...⟩ теперь так устарело, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина ⟨...⟩» (с. 168).

Такому быстрому, неконтролируемому распространению литературных «фальшивых банкнот» канон романа «Дар» противопоставляет волю к избирательности или же к ограничению, которое было призвано привязать литературу к «золотому стандарту» Пушкина и Гоголя. Свое понимание золотого стандарта Набоков пояснил и прокомментировал в 1937 году в Париже в публичном выступлении, посвященном столетию со дня смерти Пушкина. Впоследствии оно было опубликовано в «Nouvelle Revue Française» под названием «Пушкин или правда и правдоподобие» («Poushkine ou le vrai et le vraisemblable»). Здесь он с необыкновенной выразительностью продемонст-

[10] *Захарьин Д.* «Отчаяние» — roman du roman // Гипертекст — Отчаяние — Сверхтекст — Despair. Studien zu Vladimir Nabokovs Roman-Rätsel / I. Smirnov (Hg.). München, 2000. S. 265—279.

рировал свою близость к пушкинскому направлению в русской литературе.[11]

В этом выступлении, отдающем дань уважения Пушкину, Набоков особо указал на коллизии «biographie romancée», вызывающие соблазн превратить жизнь поэта в роман, соблазн, которому не может противостоять даже «целомудренный ученый». В последнем замечании, вероятно, скрывается намек на теоретика-формалиста и пушкиниста Юрия Тынянова, ставшего после филологических штудий автором трилогии исторических романов.[12] Но прежде всего выступление Набокова направлено против того типа литературной биографии, который приспосабливает описание жизни творческого человека к низкопробным вкусам толпы. Тогда знания о «классике» сводятся в конечном итоге к ряду клише: амурные похождения Пушкина, босой Толстой посреди поля, Достоевский в цепях, благородная седина Тургенева. Набору подобных банальностей Набоков резко противопоставляет погружение в литературное творчество, беззаветное постижение внутреннего мира автора, «культа горения и чистоты».[13]

Для автора романа «Дар» любая биографическая конструкция носит приблизительный характер, биографу доступна лишь вероятная, но не действительная версия жизни. Для более позднего исследователя чужая жизнь остается непостижимой, а разделительная черта между воссозданной литературно и некогда бывшей реальностью — непреодолимой. Биограф, утверждающий, что он в полной мере отобразил жизнь творца («автора»), либо намеренно вводит своих читателей в заблуждение, и тогда он лжец, либо сам становится жертвой заблуждения, и в этом случае его духовные способности недостаточны для поставленной задачи. Чтобы правдиво описать творческое существование, должно наблюдать или же реконструировать возникновение творений, что опять-таки возможно лишь прибегая к фикции.[14] Но именно такое представление складывается у Годунова-Чердынцева о своем призвании, более того, именно это наблюдение над генезисом литературного творчества демонстрируется в романе «Дар».

* * *

Когда мать героя приезжает к нему на несколько дней из Парижа, их разговор неизбежно замыкается на судьбе отца, который пропал без вести незадолго до начала Первой мировой войны, возвращаясь из научной экспедиции. Ни мать, ни сын не хотят верить в его смерть. Вскоре после этого посещения, а также нового прочтения «Путешествия в Арзрум» Пушкина в Годунове-Чердынцеве пробуждается желание соединить биографию отца с

---

[11] См.: *Kissel W. S.* Самоутверждение в изгнании. Моменты озарения в автобиографии Набокова *Speak, Memory* // Russische Emigration im 20. Jahrhundert. Literatur — Sprache — Kultur / F. Goebler (Hg.). München, 2005. S. 189—225.

[12] *Кацис Л. Ф.* Набоков и Тынянов // Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 275—293.

[13] *Nabokov V.* Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable // La Nouvelle Revue Française. 1937. XLVIII. P. 367.

[14] И во время пребывания в Америке Набоков на свой лад хранил «золотой фонд» Пушкина: старательно и тщательно переводил и комментировал в 1952/53—1957 годах пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин»; его комментарий охватывает всю историю культуры начала XIX века и вносит неоценимый вклад в создание истории дворянской культуры Петербурга, в улучшение восприятия Пушкина в западных культурах. В четырехтомном издании, содержавшем переводы и комментарии, которое увидело свет только в 1964 году в Bollingen Press, он достигает нового уровня знания, самопознания и мастерства переводчика.

достойной оценкой его научных экспедиций. В такой художественный монтаж включаются и отрывки из путевых заметок, которые близки подлинным отчетам великих русских ученых и путешественников XIX века, таких как Николай Пржевальский и Григорий Грум-Гржимайло.[15] Годунов-Чердынцев обрабатывает материал по принципу отчуждения, допуская мелкие, но характерные отклонения от оригинала. Эта работа становится поворотным пунктом в его собственной писательской жизни, началом его становления как русского прозаика: «Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами „Пугачева", выученными наизусть. ⟨...⟩ Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. ⟨...⟩ Без отдыха, с упоением, он теперь ⟨...⟩ по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца» (с. 111—112).

Его отец, известный натуралист, исследователь бабочек, ученый-путешественник был воплощением таких идеалов дворянской культуры, как чувство чести, рыцарство, мужество и презрение к смерти. Повинуясь неукротимой жажде знания, он пошел на большой риск, связанный с путешествием в Азию. Непонятное исчезновение отца, невыносимая мысль о его вероятной гибели стимулировали первую попытку Годунова-Чердынцева создать прозаическое произведение, попытку письменно представить жизнь и деятельность своего отца. Пока он заново перечитывает отцовские научные работы, глядя через призму прозы Пушкина, роман продвигается вперед, в той мере, насколько сложная передача литературной и культурной традиции достижима в условиях изгнания.[16]

Дворянская фамилия Годунов-Чердынцев намекает на историческую драму Пушкина «Борис Годунов» и одновременно связывается с образом узурпатора (самозванца) Лжедмитрия.[17] Уже сама фамилия протагониста указывает на опасность опоры на авторитет, на лжецов, мошенников и конкурентов в деле передачи литературной или культурной традиции. По мере того как сын перенимает импульсы, идущие от отца и Пушкина, растет его уверенность в своих способностях, прежде всего языковая состоятельность и умение вспоминать. Постепенно возникает инструмент, с помощью которого он может дать хотя бы приблизительное представление о неизменной индивидуальности человеческого сознания. Так в процессе поисков большой темы для биографии молодой лирик получил дары от отца и соответственно от Пушкина.

Через некоторое время Годунов-Чердынцев заметил, что между ним и образом его высокочтимого отца пропадает дистанция, настолько, что возникает опасность контаминации биографий отца и фантазирующего сына. В одном из писем к матери он объясняет, почему не может завершить свой

---

[15] *Paperno I.* Op. cit. P. 295—322.

[16] Отец самого Набокова, Владимир Дмитриевич, как известно, погиб в 1922 году в Берлине, спасая своего политического соратника П. Милюкова от расправы монархистов-фанатиков. Как юрист и политик, он представлял слишком поздно развившуюся и слишком рано прервавшуюся русскую традицию государственного права и просвещенного либерализма. Несмотря на свою принадлежность к высокопоставленному дворянству, он являлся одним из самых острых критиков Ancien régime, бесстрашно противостоял реакционной политике царя. В автобиографии Набокова «Speak, memory» («Память, говори») подробно описываются его широкая образованность, самообладание и радость открывателя в таких особых областях, как наука о бабочках.

[17] *Greenleaf M.* Op. cit. P. 140—158.

первоначальный замысел. Однако эта неудача оказывается плодотворной, так как Годунов-Чердынцев решает вместо прежнего замысла воплотить другой: создать фиктивную биографию русского писателя и революционера Николая Чернышевского. Четвертая глава романа содержит это «произведение в произведении», биографию Чернышевского, которую поэт рассматривает как свое первое настоящее прозаическое творение и одновременно как шедевр пародии. Здесь «демонтируется» культовая фигура не только социалистического литературного канона, но и русского революционного движения в целом, литературная продукция Чернышевского показывается во всей ее эстетической беспомощности и банальности.[18] Все заканчивается безжалостно резким разрывом с одним из самых мощных течений русской духовной жизни — материализмом. При этом начинающий прозаик пользуется тем же методом, что и его отец в научных отчетах: привлекает богатый биографический материал о Чернышевском, но делает это с характерной отчужденностью, на этот раз без той нерешительности, которая погубила его первое произведение. Перед публикацией «Дара» в парижском эмигрантском журнале «Современные записки» либеральные, по русским понятиям, издатели опасались, что ироничное изображение Чернышевского может вызвать возмущение в широких читательских кругах. «Дар» мог появиться только при условии исключения четвертой главы — своеобразный случай цензуры в эмигрантской печати.

Во время написания биографии Чернышевского крепнет любовное чувство героя к Зине Мерц; после переезда на Агамемнонштрассе, 15 он живет с ней буквально дверь в дверь. Зина, приемная дочь его нового хозяина, страдает от неблагополучия в семье. Она упрекает мать в предательстве памяти покойного отца, в мезальянсе с вульгарным русским антисемитом, на чьи претензии реагирует с отвращением. Своего отца, образованного состоятельного еврейского предпринимателя, в разговорах с Годуновым-Чердынцевым Зина провозглашает любителем искусства вроде Свана из романа Марселя Пруста «В поисках потерянного времени» («A la recherche du temps perdu»). Зина Мерц принадлежала к немногим читателям первой книги стихов Годунова-Чердынцева и все более заявляла о себе как о равной и взыскательной собеседнице, которая может освободить его от гордого одиночества.

Их любовное притяжение постепенно растет, но до конца романа не завершается физической близостью, не в последнюю очередь из-за тесного соседства с матерью и отчимом. Во время ежевечерних встреч Зина Мерц принимает самое живое участие в создании биографии Чернышевского, вплоть до отдельных формулировок. Однако она не только в состоянии понять литературные амбиции своего друга, оценить его потенциальные возможности. Зина служит связующим звеном между Годуновым-Чердынцевым и той сферой, которая носит для него чуждый и отталкивающий характер. И хотя она также презирает скучную бумажную работу в адвокатской конторе Траума, Баума и Кэзебира, которую вынуждена выполнять, чтобы достичь финансовой независимости от отчима, ей все-таки знакомы правила обыденного зарабатывания денег и — в широком смысле — практика немецкой рабочей повседневности.

Поэтому Зина Мерц — самый дорогой дар судьбы Годунова-Чердынцева — в состоянии соединить его с денежной сферой. Говоря другими словами, Зина Мерц воплощает тот принцип, который «укрощает» аристократи-

---

[18] *Davydov S.* The Gift: Nabokov's Aesthetic Exorcism of Chernyshevskii. P. 357—374.

ческое предубеждение против денег, господствовавшее в русской литературе со времен Пушкина. По мере того как из двух одиноких мятежных молодых людей формируется будущая супружеская пара, унаследованные сословные привилегии, особенно бессмысленные в изгнании, уступают место, хотя и не безоговорочно, прагматическим денежным отношениям.[19]

* * *

Во всем происходящем вокруг публикации биографии Чернышевского, которая означает для Годунова-Чердынцева прорыв к успеху, с полной очевидностью проявляется внимание его будущей жены к практической стороне литературного ремесла. Поначалу публикация и вовсе грозит сорваться в связи с материальными затратами на печать и не в последнюю очередь вследствие постоянного настроя автора против любых усилий, направленных на зарабатывание денег. Зина Мерц, напротив, точно высчитывает, какую часть денег, дополнительно заработанных в свободное время в конторе, она может вложить в печать; не пугают ее и возможные долги: «Она где-то заняла полтораста марок, добавила семьдесят своих, с трудом отложенных за зиму, — но этой суммы было недостаточно, и Федор Константинович решил написать в Америку дяде Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изредка и ему по несколько долларов. Составление этого письма он со дня на день откладывал, так же, как откладывал, несмотря на Зинины уговоры, попытку поместить свою вещь в толстом журнале, выходящем в Париже, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевские стихи. Она затеяла в свободное время переписку рукописи на машинке, в конторе родственника, и набрала у него же еще пятьдесят марок. Ее сердила вялость Федора, — следствие ненависти ко всяческой практической суете» (с. 234).

Наконец, на помощь влюбленным приходит счастливый поворот судьбы, который избавляет Зину Мерц от дальнейших мучений в конторе. Годунов-Чердынцев случайно встречает плохо образованного псевдомистика из Риги Германа Буша. Автор переложений из «Фауста», он хотя и неверно понимает направленность биографии Чернышевского исключительно как политический акт, но симпатизирует молодому поэту, приводит в движение все свои связи и находит столь же абсолютно несведущего издателя. С ним и заключается договор, так что публикация получает формальную юридическую правомерность: «Аванса он не давал никакого, с первой тысячи проданных экземпляров предлагал пять процентов, но зато со следующей доводил авторские до тридцати, что показалось Федору Константиновичу и справедливым, и щедрым. Впрочем, к этой стороне дела он чувствовал полнейшее равнодушие» (с. 237).

Договор знаменует решающий этап на пути героя к профессиональному писательству, переход к прозаическим жанрам влечет за собой переход к прозе литературного труда. Никому не известный поэт-лирик мог себе позволить презирать деньги, начинающий прозаик еще мог остаться равнодушным к некоторым деталям договора. Но как только перейден порог об-

---

[19] Нетрудно догадаться, что в образе Зинаиды Мерц присутствует сходство с женой Набокова Верой Слоним, чье участие во всех его достижениях невозможно переоценить. Она была для своего мужа секретаршей, переводчицей, литературным агентом, критиком и советчицей во всех практических вопросах (см.: *Schiff St.* Véra (Mrs Vladimir Nabokov). New York, 1999. P. 49—56).

щественного признания, уважающий себя писатель должен уметь обращаться с лейтмедиумом, рассчитывая на энергичную помощь своей будущей супруги. В точно сформулированных условиях договора, по меньшей мере, прочитывается растущая интеграция героя в тот непрерывный процесс, который управляется и узаконивается ролью денег. Завуалированное свидетельство постижения «денежных обстоятельств» как будто невзначай вдруг появляется в его последнем письме к матери: «Между прочим, мой Чернышевский сравнительно неплохо идет» (с. 392).

Вскоре после публикации биографии на него обрушивается настоящий вал рецензий — словно компенсация за грубую насмешку с воображаемой рецензией в начале романа. Вместе с тем эти рецензии дают представление о развитии литературы в изгнании; в них доводятся до крайности и шаржируются острые литературные споры между разными партиями, группами и кружками. Между писателями-эмигрантами возникала жесточайшая конкуренция, борьба за каждого читателя, однако, за редким исключением, они должны были мириться с тем, что не могут прожить литературным трудом. Они были обречены на исчезновение литературных институтов, потерю книжного рынка, большинства читателей и ведущих критиков. Несмотря на то что в центрах эмиграции, особенно в Берлине начала двадцатых годов и в Париже во второй половине этого десятилетия, возникали русские колонии с жизнеспособными учреждениями культуры, издательствами, книжными магазинами, театрами, однако сузившийся книжный рынок никогда не приближался к потенциальным возможностям их родины. В романе «Дар» эта безнадежная ситуация нашла отражение во втором из двух изображенных в нем собраний писателей; оно оставляет неприятное впечатление хаоса и интриг при сомнительных денежных манипуляциях руководства.

Даже на пути к успеху и признанию Годунов-Чердынцев умеет держаться от этого подальше. Его призванием остается наслаждение полнотой маленьких земных «даров» вдали от повседневности и всесилия денег. После публикации биографии Чернышевского во время поездки в солнечный Грюневальд писатель переживает состояние, близкое к экстазу: «Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим, гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленно-прозрачным, наливаюсь пламенем и существую только, поскольку существует оно. Как сочинение переводится на экзотическое наречие, я был переведен на солнце» (с. 373).

Солнце, в которое словно превращается Годунов-Чердынцев, являет собой чистое воздаяние и дар неизъяснимой полноты, существующей в пространстве времени, превосходящем человеческое понимание. В экстазе счастья писательское Я покидает пределы времени и возвращается к самому себе в один из великих моментов божественного озарения в творчестве Набокова.[20] Писатель, который «переводит ⟨себя⟩ на солнце», обладает даром прозрения. То обстоятельство, что именно в момент экстаза у него украли одежду и он в купальных трусах должен пробираться домой под любопытными взглядами прохожих и полицейских, свидетельствует о насмешливом и упорном сопротивлении материального мира духовному превращению.

После приключения в Грюневальде еще один поворот судьбы открывает перед любящей парой приятную перспективу: остаться в квартире наедине, по крайней мере, на несколько недель, так как отчим Зины получил должность в Копенгагене, а ее мать следует за ним. Зина Мерц заботится

[20] См.: *Kissel W. S.* Op. cit. S. 189—225.

о том, чтобы начало их совместной жизни имело финансовый фундамент. Она доверяет Федору свои сбережения с условием отдать матери долги за квартиру, что также означало бы освобождение его будущей жены от ненавистной зависимости от матери и отчима: «Дверь вдруг открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то.

Это заплатите маме, — сказала она; прищурилась — и исчезла.

Он развернул бумажку. Двести. Сумма представилась огромной, но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца, восемьдесят плюс восемьдесят, и за ближайший тридцать пять, уже без еды. Но все вдруг спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, зато получал более сытный ужин; кроме того, внес за это время десять (или пятнадцать) марок, а, с другой стороны, должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как например сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам, скучно; он засунул деньги под словарь» (с. 392).

В небрежном, почти пренебрежительном жесте, которым Зина Мерц бросает деньги своему будущему мужу, и в той покорности, с которой Годунов-Чердынцев их берет, угадывается своего рода соглашение, взаимное согласие в денежных делах. Однако неспособность и нежелание писателя сколько-нибудь разбираться в практических потребностях своего существования, проявляются снова, лишь только он безнадежно начинает высчитывать приход и расход и тут же избавляется от этого занятия: засовывает деньги под словарь, *под слова*, которые для него несомненно важнее. И все-таки благодаря этой нервной реакции происходит сближение слов и денежных купюр — никогда прежде в романе они не находились в столь непосредственной близости. Это можно истолковать как предзнаменование плодотворного единства, взаимообусловленного умножения слов и денежных знаков.

После вычета квартирного долга не без досады выясняется, сколько остается Годунову-Чердынцеву: «После расчета, от двухсот марок Федору Константиновичу осталось три с полтиной, и он пошел спать» (с. 395).

На следующий день эта сумма еще более уменьшается вследствие покупки сигарет (с. 583), затем, ближе к концу романа, во время последней встречи влюбленной пары, деньги играют конкретную и примечательную роль: Зина Мерц уговаривает своего возлюбленного сложить всю наличность и побаловать себя ужином в ресторане. Однако нелюдимый Годунов-Чердынцев соглашается на это весьма неохотно: «Жалованье я получаю только завтра, так у меня сейчас всего две марки. Сколько у тебя? — Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной, но из них больше половины уже ухнуло» (с. 404).

Во время ужина отчужденность писателя постепенно тает, и он начинает набрасывать общие очертания книги, в которой будет описана предыстория его любви к Зине Мерц, т. е. той самой книги, которую читатель держит в руках или только что прочел. Подобная «круговая» форма автобиографии художника дает ему возможность вернуть русской литературе и ее читателям посредством творчества все дары, которыми наградила его судьба: прежде всего дар любви к Зине Мерц, произведение русской литературы и дар памяти. Это отвечает самой сути романа: он как литература о литературе в полном смысле является ответным даром. Но когда влюбленные вволю насладились мечтаниями о будущих писательских свершениях, деньги снова вступают в свои права, и после всего произошедшего неудивительно, что Зина Мерц способствует этому: «Надо заплатить. ⟨...⟩ После этого у них ос-

талось одиннадцать пфеннигов, считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели: приносит счастье» (с. 410).

Наконец все пересчитывается на немецкие деньги — геллеры и пфенниги. После всех выплат у влюбленной пары остается немного: состояние в целых одиннадцать пфеннигов. Но ведь среди них находится один счастливый, поднятый Зиной Мерц с берлинской мостовой, а он может умножиться — благодаря «словам» Годунова-Чердынцева, или же превратиться в валюту, которую время от времени присылает из Америки богатый дядюшка. Затем пара влюбленных, бедная в материальном смысле и сверхбогатая дарами любви и литературы, направляется к дому, не предполагая, что все ключи забыты там и им снова придется провести ночь, гуляя по улицам Берлина.[21]

* * *

С тонкой иронией и в то же время совершенно конкретно Набоков рассказывает в «Даре» историю о деньгах и их значении для литературы изгнания. Превращение Годунова-Чердынцева из едва известного, борющегося за признание лирического поэта в остро критикуемого, но уверенного в себе прозаика, который хочет пробиться на книжном рынке, также немыслимо без участия денег. *Дар* нуждается в деньгах и пользуется ими, чтобы воплотить удивительные метаморфозы: превратить отсутствие в присутствие, недостаточность в полноту, ограбленность в одаренность. Описанная здесь история подтверждает тезисы о переменах в восприятии понятий денег и даров, которые прежде, начиная с нового времени, развивались в исследованиях историков культуры и которые в некоторых важных аспектах были уточнены Марселем Мауссом в основополагающем «Эссе о даре».[22] На место дихотомии дара как явления, предшествующего модерну, и денег как лейтмедиума модерна, вытесняющего дары и одаренность, заступает полная нюансов история сложных переплетений дара и денег.

Однако, несмотря на повсеместное распространение денег, последнее слово в романе «Дар» — в форме завершающего восхваления Пушкина — относится не к ним, а к цене дара. В этих заключительных строках чувствуется нечто от метафизического беспокойства, которое пронизывает все произведение Набокова, беспокойства по поводу происхождения собственного дара, который дает способность романисту заселять чужие миры придуманными созданиями. Автор, творец, умножающий литературу (а в случае успеха на книжном рынке умножающий деньги), наделяет придуманные создания по выбору своими дарами, на долгое время дает им фиктивную

---

[21] В своей автобиографии «Память, говори» В. Набоков мимоходом упоминает о потере многомиллионного состояния, которое он должен был оставить в России, когда восемнадцатилетним юношей вместе со своей семьей бежал от большевистской революции сначала в Крым, а оттуда в Западную Европу. Потеря состояния и последовавшее за ним тяжелое материальное положение были значительно смягчены жизнью «в вещественной нищете и духовной неге» — формулировка, хорошо применимая к Годунову-Чердынцеву и Зине Мерц. В русской редакции выделяется синтаксическая антитеза в существительном «нега» (см.: *Набоков В.* Другие берега // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 283). Слово вмещает в себя множество значений — от удовлетворения, умиротворения и наслаждения до беззаботности, причем с эротическими нюансами нежности или любовного влечения. Слегка архаическая окраска слова «нега» отмечает близость к элегической поэзии, к языку Пушкина, а тем самым к «золотому веку», времени первого расцвета русской поэзии.

[22] Ср.: *Mauss M.* Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt am Main, 1990.

жизнь. Собственное существование этих созданий, которые, являясь плодом его фантазии, продолжают жить в фантазии читателей и тем самым навсегда уходят из-под контроля романиста, непрерывно вызывают его удивление, любопытство и озабоченность. Нередко в конце вымышленных историй представление о «реальном» мире овладевает придуманными образами их создателя, в то время как он охвачен ощущением силы, создавшей его самого. Поэтому последние слова «Дара», написанные онегинской строкой, утверждают бесконечность, *не*скончаемость писания, неисчерпаемость дара бытия. Тени, играющие в утренних облаках, может быть, призраки, а может, и контуры иных миров, которые предчувствует ясновидец по ту сторону «границы».[23]

[23] Авторизованный перевод с немецкого Г. А. Тиме.

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. К. АЗАДОВСКОГО

© *А. А. ГОРЕЛОВ*

ПОДВИЖНИК ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

История отсчитала уже 120 лет с момента рождения выдающегося филолога-фольклориста Марка Константиновича Азадовского, чье имя и труды обладали вчера и обладают сегодня силой притяжения и влиятельности. Ученый и организатор науки, он остался жить в своих учениках и преемниках. Он ведет разговор с читателями написанных им книг, предлагающих воспринимать историю культуры как единство сложного непрерывного процесса, где инструментами познания выступают одновременно литературоведение и фольклористика, искусствознание и этнография, общая история народа и история общественной мысли.

Профессору Азадовскому суждено было прожить 66 лет, но его взнос в литературоведение и народознание с 1910-х до середины 1950-х годов оказался одним из самых серьезных личностных капиталовложений в гуманитарную науку XX века, которая на определенных этапах развития советской государственности подвергалась произвольно-несправедливой властной критике, переливавшейся в политические репрессии и поддерживавшей их.

Известно, что становление научных интересов М. К. Азадовского и начало его разносторонней научной работы происходили в Петербургском университете под влиянием авторитетных филологов А. А. Шахматова, И. А. Шляпкина, С. А. Венгерова, этнографа Л. Я. Штернберга. Самостоятельная же деятельность уроженца Иркутска в народознании начиналась с миссии собирателя устной народной поэзии.

Перед носителями фольклора Азадовский благоговел, и в 1913—1915 годах он станет жадно записывать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке образцы традиционного искусства народа, не делая жанровых предпочтений, вдохновляясь диалектным словом, сюжетной формой былин, сказок, стилистической экспрессией причитаний, постоянно поражаясь богатству и глубине чувства, раскрываемого поэзией простолюдина.

Коллекция собранных Азадовским материалов фольклора погибнет в хаотичную пору Гражданской войны, но ученый, став преподавателем литературы в Томске, затем в Чите, Иркутске, устремится в новые сибирские экспедиции. Серьезность его краеведческих взглядов найдет опору в кипучей фольклористической деятельности. Результатом работы будет появление собранных личными усилиями «Сказок Верхнеленского края» (1925—1928) и собранных его учениками «Сказок из разных мест Сибири» (1928). Та и другая книги приобретут значение уникальных классических трудов. Однако, невзирая на призывы М. К. Азадовского к расширению собирательства, заполнению белых пятен в представлениях о народной культуре сибиряков (а такие призывы звучали в его собственных лекционных курсах и были закреплены двумя изданиями книжечки «Беседы собирателя. О собирании и записывании памятников устного творчества. Применительно к Сибири» — Иркутск, 1924, 1925), исследователь народной культуры очень скоро поймет

силу вступавшего в права официального противодействия фронтальному изучению памятников-подлинников устного народного творчества.

В фольклоре современности начнет усматриваться несоответствие политическим (неизбежно переменчивым) лозунгам и несовпадение политической репутации отдельных исторических личностей из круга вождей с ее песенной интерпретацией. Долго ли могла легально звучать ходовая иркутская частушка: «Ленин, Троцкий — наша двойка: / Вот попробуй-ка, покрой-ка!», которую пели студенты Иркутского университета 1920-х годов?.. В фольклорной же старине как реальности многовековой традиции будет выявлена «старорежимность» убеждений населения, его «несознательность», политическая «безграмотность», «отсталость», предосудительная религиозность. Следование архаическим обрядам, рассказывание сказок, действительно коренящихся в древних поверьях, плохо уживались с новью социальных порядков, хрустящими кожаными куртками комиссаров, будёновками красноармейцев. Вот так же старая архитектура трудно увязывалась с обновленными названиями знакомых улиц и городов.

Именно тогда будет санкционирован запуск тезиса о необходимости искоренения «великодержавного шовинизма», а он с момента коллективизации превратится в практику истребления генетической культуры русского крестьянства. И в тот же период от записей фольклора потребуется державно-приемлемый отклик на события современности — подтверждение и подкрепление гласом народного творчества безраздельной солидарности масс с зигзагами политического курса.

Все эти процессы скажутся давлением на гуманитарное знание. М. К. Азадовский ощутит его при издании «Верхнеленских сказок» и при выпуске основанного им вместе с Г. С. Виноградовым журнала «Сибирская живая старина» (1923—1929).

В письмах европейски знаменитому сказковеду Ю. И. Поливке 6 ноября 1927 года и 26 июля 1928 года, А. М. Горькому 24 апреля 1929 года М. К. Азадовский прямо скажет о трудностях с публикациями в тогдашней России первоклассных русских фольклорных материалов, а также исследований. Он констатирует отсутствие серьезных этнографических штудий, в первую очередь «русского населения Сибири, обычно оставляемого в стороне и до сих пор весьма скудно изученного в этнографическом и фольклористическом отношении».[1]

Когда грянул «год великого перелома», пресеклась работа любителей «живой старины» всех рангов, с их наивно-реалистическим подходом к действительности, т. е. приверженностью к честному краеведческому описанию и изучению реалий сущего. Даже из художественной литературы исчезнут картины традиционных крестьянских праздников, великолепие которых доносят фотографии экспедиций этнографов на доколхозный Русский Север: отныне их изображение будет трактоваться как культивирование изгоняемой из быта многовековой дореволюционной обрядности.

Азадовский, высылая Горькому свои сборники сибирских сказок, попытается внушить каприйскому отшельнику необходимость печатно привлечь «общественное внимание к работе фольклористов», что могло бы стать «событием крупнейшего масштаба в истории нашего собирательства».[2] Будущий доклад Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей, с его акцентом на роли фольклора в развитии мировой литературы, возникал от-

---

[1] Из писем М. К. Азадовского (1912—1941) / Публ. Л. В. Азадовской // Из истории русской фольклористики. Л., 1978. [Вып. 1]. С. 222.

[2] Там же. С. 225.

нюдь не помимо забот отечественных фольклористов о статусе их науки и самого фольклора, нуждавшихся в государственном внимании.

Но здесь завязывались узлы новых противоречий, новых противостояний науки и недреманного ока партийного идеологического аппарата, стремившегося вменить в обязанности ученым стимулирование творчества даровитых мастеров-носителей фольклора методами опеки над самим процессом создания произведений, методами фактического навязывания сказителям, сказочникам, певцам своеобразного сотрудничества ради получения произведений с запрограммированным идейным результатом.

Таким было поле, которым пришлось идти в 1930-е годы и фольклористам концептуально определившихся направлений работы, имевшим особенные теоретико-исследовательские привязанности и склонности. У всех ли из них было достаточно изобретательности и интеллектуальной виртуозности, чтобы наиболее вульгарные политические посягательства на их индивидуальность отвести в русло внешнего согласия с установками и требованиями режима?..

Нет. Даже виднейшие фольклористы, протестуя против «практики мгновенного создавания фольклора», т. е. псевдофольклора (этим грешили и вузовские фольклористы, и поставщики устной словесности для домов народного творчества), стремясь «устранить» из материалов печатных трудов «явные подделки или литературную работу различных „советников"», менторски помогавших сказителям,[3] оказались не в состоянии проводить четкую разграничительную линию между естественно возникавшим натуральным фольклором (менее всего записывавшимся вследствие его «избыточной» искренности и протестного характера) и продукцией «художественной самодеятельности» клубно-«организованного», стенгазетного пошиба. Это обрекало несколько поколений фольклористов, взятых в свинцовый обруч 1930—1950-х годов, на духовную драму.

«Не стало науки о фольклоре. Недаром же никто не хочет заниматься ею», — писал М. К. Азадовский Н. К. Гудзию 3 октября 1950 года.[4] И это было стойкое критическое осознание переживаемого момента. Семилетием прежде он же, оглядываясь вокруг, вдруг увидел, что «в области филологической науки» наступил канун «катастроф», предвестье «полного регресса».[5]

Значительнейшие из ученых сумели и в трудную эпоху не просто достичь научного самоспасения, но отстоять высокие принципы Знания, создав труды непреходящей ценности.

Среди выпущенных М. К. Азадовским разновременных работ свидетельствующих о горизонте мысли исследователя, книги «Литература и фольклор» (1938) и «Статьи о литературе и фольклоре» (1960), библиография «Литература по этнографии Сибири за последнее десятилетие XIX века» (1924), «Очерки литературы и культуры Сибири» (1947), критико-биографический очерк «В. К. Арсеньев» (1956), а также издания памятников литературы и фольклора: «Воспоминания Бестужевых» (серия «Литературные памятники», 1951), открывающаяся оригинальной сказковедческой монографией об индивидуальностях сказителей антология «Русская сказка. Избранные мастера» (в двух томах, 1932), сборники «Ленские причитания» (1922), «Сказки Магая» (1940), «Русские сказки в Карелии» (1947).

Но книгой, которую М. К. Азадовский в одном из писем последнего года жизни назвал своим «основным трудом»,[6] явилась фундаментальная

---

[3] Там же. С. 272.

[4] Цит. по: Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944—1954 / Изд. подг. Константин Азадовский. М., 1998. С. 21.

[5] Из письма Н. К. Гудзию от 4 августа 1943 года // Там же. С. 18.

[6] Письмо Ю. Г. Оксману от 25 августа 1954 года // Там же. С. 372.

двухтомная «История русской фольклористики» (1958, 1963), вот уже в течение полувека играющая роль главного фактологического источника сведений о становлении и развитии отечественного народознания.

Ее судьба окрашена особенным драматизмом. Исследование, приобретшее позднее мировую известность, создавалось с 1938 по 1941 год, но получило свое завершение в первую ленинградскую блокадную зиму подлинно героическими усилиями автора. Одно из его писем военного времени воспроизводит «жуткую поэзию» пережитых дней: «Объявление войны (сообщение радио) меня застало по дороге к машинистке, которой я относил последние страницы для перепечатки.

Но целый ряд глав второго тома, а также общее предисловие и пр. писались и завершались в дни и вечера бомбёжек, в ночные часы дежурств, в Институте, ⟨...⟩ холодеющими пальцами ⟨...⟩ на краешке стола, заваленного всем, что попало, в единственной оставшейся жилой (полужилой) комнатке, при свете коптилки или ёлочных восковых свечек.

И в этих же условиях их перепечатывала на машинке Лидия Владимировна. Последние странички она допечатала 5—6 февраля, а 10-го свалилась от той тяжелой болезни, которая чуть было не унесла ее совсем. ⟨...⟩ Ночь. В углу в ватном мешке спит наш малютка; под грудой одеял тяжело дремлет Лидия Владимировна. А я в это время то развожу буржуйку, ⟨...⟩ готовлю всем ужин, и в промежутках дописываю какие-нибудь лакуны. Но вот буржуйка разгорелась ⟨...⟩, мы раскрываем наконец нашего мальчика, чтобы его переложить ⟨...⟩, доедаем свои 200 граммов ⟨...⟩, а затем: уложен сын, уложена и снова закутана Лидуська, а я один, среди ночи опять со своей книгой, пока холод и усталость не загонят меня на тот же широкий диван, чтоб в шесть утра вскочить и жадно прильнуть к радио...

И, право, в эти минуты, в эти часы, в эти ночи написаны некоторые страницы, которые я считаю лучшими в книге».[7]

Монография уже в 1942 и 1943 годах дважды выдвигалась на Сталинскую премию, но премии не была удостоена, не будучи еще изданной и тиражированной, хотя она была высоко оценена учеными-рецензентами и явилась одной из самых ярких и очевидных гражданских акций ее автора. Когда же вслед за окончанием войны пришли карательные партийные постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», от всех издательских учреждений потребовался учет новых обстоятельств, а там и доработки, переутверждения готовых к выпуску книг. Появление «Истории русской фольклористики» автоматически отодвинулось на неопределенный срок. «Не наша еда — лимоны!» — повторял Азадовский любимую поговорку ссыльного декабриста Артамона Муравьёва.[8]

Между тем «лучшие страницы» не просто книги Азадовского как частного лица, но отечественной фольклорной историографии будут в недалеком будущем восприняты в их высшей значимости уже самыми первыми читателями труда — А. П. Рифтиным и В. М. Жирмунским, Э. В. Померанцевой и Б. Н. Путиловым, поскольку одним из принципиальных достижений «Истории русской фольклористики» явилось гармоничное воссоединение истории науки о фольклоре со всей историей русской общественной мысли, с освободительным движением, с идеями народности, синхронно отстаивавшимися и литературой, и публицистикой, и академической наукой.

С последней смывался жупел буржуазности, ибо факты свидетельствовали: крупнейшие представители русского академического мира вол-

[7] Из истории русской советской фольклористики. Л., 1981. С. 227.
[8] Там же. С. 229.

новались общественными вопросами и будущим народа не менее, нежели представители революционной демократии, хотя достижение ими сближавшихся в перспективе целей имело свои пределы. В 1862 году, например, рецензия Ф. И. Буслаева на сборники песен П. В. Киреевского и П. Н. Рыбникова выражала энергию подлинного народного защитника: «Заботливое собирание и теоретическое изучение народных преданий, песен, пословиц, легенд не есть явление, изолированное от разнообразных идей политических и вообще практических нашего времени: это один из моментов той же дружной деятельности, которая освобождает рабов от крепостного ярма, отнимает у монополии права обогащаться на счёт бедствующих масс, ниспровергает застарелые касты и, распространяя повсеместно грамотность, отбирает у них вековые привилегии на исключительную образованность, ведущую свое начало чуть ли не от мифических жрецов, хранивших под спудом свою таинственную премудрость для острастки профанов».[9] И тот же пафос владел гениальным ученым еще до падения крепостного права.

Демонстрацией подобных материалов М. К. Азадовский вносил необходимую лепту в качественное осмысление демократизма русской академической науки. В свою очередь равный академическому потенциал вскрывался им, например, при оценке суммы литературно-критических работ В. Г. Белинского — при оценке, возрождавшей характеристику наследия великого критика устами С. А. Венгерова. Последний в начале XX столетия признавал: «Такой всеобъемлющей картины всей совокупности русского народного творчества (как статьи Белинского о народной поэзии. — *А. Г.*) нет у нас и до настоящего времени».[10]

Объективность, материализованная в тщательных подборках документов разных эпох, прослеживается на всем пространстве двухтомного труда М. К. Азадовского. Это принцип освещения всех этапов истории русского народоведения.

Автор монументальной патриотической книги не увидел ее выхода из печати, а с 1949 года разделил участь «безродных космополитов», жестокая публичная оценка которых не имела фактических причин.

Основной труд ученого остается в базовом фонде русской гуманитарной историографии, как остаются и его работы иного типа: разнообразие материала и методик отпечатлели в них истинный масштаб личности первостроителя Отдела фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

---

[9] *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. М., 1963. Т. II. С. 54—55.
[10] Там же. Т. I. С. 441.

© М. К. АЗАДОВСКИЙ

«ОНЕЖСКИЕ БЫЛИНЫ» ГИЛЬФЕРДИНГА

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА © К. М. АЗАДОВСКОГО)

Не только книги, — случается, и научные работы обретают уникальную, подчас драматическую судьбу. Это с полным правом можно сказать о статье М. К. Азадовского «„Онежские былины" Гильфердинга».

Первое (однотомное) издание «Онежских былин» — классического памятника русской фольклористики — относится к 1873 году: начатое при жизни Гильфердинга, оно было закончено уже после его смерти. Второе издание появилось в 1896 году. Будучи по существу перепечаткой первого издания, оно отличалось от него лишь форматом, количеством томов (три тома) и сопроводительным очерком, посвященным Гильфердингу (автор — К. Н. Бестужев-Рюмин).

Третье (и первое подлинно научное) издание «Онежских былин» было предпринято во второй половине 1930-х годов Институтом антропологии, этнографии и археологии Академии наук СССР по инициативе М. К. Азадовского, в то время — председателя Фольклорной Комиссии (в 1939 году передана в ведение Пушкинского Дома; ныне — Отдел народно-поэтического творчества). В письме к В. Ю. Крупянской (фольклористу и другу семьи Азадовских) Марк Константинович вспоминал 20 октября 1950 года: «Я разработал большой план переиздания классиков фольклора (Гильфердинг, Киреевский, Барсов, Афанасьев, Худяков и др.) в издании Академии Наук; подал докладную записку Мещанинову,[1] — он доложил ее в РИСО, — записку утвердили и решили начать с Гильфердинга».[2] Издание готовили к печати известные фольклористы А. И. Никифоров и Г. С. Виноградов, общую редакцию осуществляла коллегия в составе М. К. Азадовского, И. И. Мещанинова, А. С. Орлова и Ю. М. Соколова.

Издание было задумано в трех томах. В 1938 году Издательство АН СССР выпустило второй том, в 1940 году — третий. Первый том был полностью подготовлен (вступительная статья, написанная М. К. Азадовским, была завершена летом 1941 года), сдан в набор и — в сентябре 1941 года! — подписан к печати.[3]

3 сентября 1941 года Марк Константинович писал В. Ю. Крупянской из осажденного Ленинграда: «Как всегда бывает, многое движется по инерции, — и вчера мы с Анной Мих⟨айловной⟩[4] весело смеялись, когда вдруг совершенно неожиданно нам прислали корректуру первого тома Гильфердинга».[5] Том был вычитан и сдан обратно в типографию. Однако изданию — в условиях военного времени — не суждено было состояться. Корректурный экземпляр, видимо, погиб в блокадном Ленинграде, и третье издание «Онежских былин» осталось, таким образом, незавершенным.[6]

---

[1] Мещанинов Иван Иванович (1883—1967) — языковед и археолог; академик (1932); в 1934—1950 годах — академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР.

[2] Письмо хранится в личном архиве К. М. Азадовского.

[3] В одном из отзывов о научной деятельности М. К. Азадовского, составленном дирекцией Пушкинского Дома (судя по содержанию, в 1941 году), отмечалось: «М. К. Азадовский явился также инициатором и участником переиздания классического наследия в области фольклора — 3-го издания „Онежских былин" А. Ф. Гильфердинга I—III (т. 1 в производстве) М.—Л., 1938—1941 (Азадовскому принадлежит редакция и предисловие)...» (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 647. Л. 30 об.).

[4] Астахова Анна Михайловна (1886—1971) — фольклорист, этнограф.

[5] См.: Из писем М. К. Азадовского (1941—1954) / Публ. Л. В. Азадовской // Из истории русской советской фольклористики. Л., 1978. С. 205.

[6] См.: *Азадовская Л. В.* Из научного наследия М. К. Азадовского. (Замыслы и начинания) // Азадовский М. Статьи и письма. Неизданное и забытое. Новосибирск, 1978. С. 202. Ср. также в письме М. К. Азадовского к Г. С. Виноградову от 10 октября 1943 года: «Недавно, м. пр., запрашивала меня А⟨нна⟩ Мих⟨айловна⟩ Астахова ⟨...⟩ о судьбе первого тома Гильфердинга, — который она надеется, почему-то, увидеть в печати. Отписал все, что знал. Но не знаю, по существу, где он: остался ли он в Ленинграде в типографии, или где-либо в эвакуации с издательством. Как жаль, что ни у кого из нас не осталось... корректурного экземпляра» (*Акулич О. А.* Письма сибирских ученых периода Великой Отечественной войны (по материалам архива Г. С. Виноградова) // Краеведческие записки. Иркутск, 2003. Вып. 10. С. 104—105).

Сразу же после войны началась работа над четвертым изданием. В его основу был положен сохранившийся рукописный экземпляр, подготовленный в 1930-е годы А. И. Никифоровым и Г. С. Виноградовым. Вступительная статья для первого тома была заново написана М. К. Азадовским. В конце 1948 года подготовленное к печати издание поступило в Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР. 7 января Марк Константинович поставил свою подпись на титульном листе первого тома; 8 января 1949 года книга была отправлена в набор. На титульном листе значилось: «А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Том первый. Издание четвертое. Под общей редакцией М. К. Азадовского. Издательство Академии Наук СССР. Москва 1949 Ленинград».[7] (Издательский договор на редактирование был подписан 5 февраля 1949 года.)

Однако именно в феврале-марте 1949 года начались печально известные события, радикально изменившие судьбу Азадовского. Причисленный — наряду с другими ведущими ленинградскими учеными-филологами — к «безродным космополитам», Марк Константинович стал одной из наиболее заметных жертв той погромной кампании, что достигла наивысшего накала в апреле 1949 года на проработочных заседаниях в Ленинградском университете и Пушкинском Доме.[8] Имя Азадовского на несколько лет оказалось вычеркнутым из отечественной науки. При этом публичному осуждению и поношению подвергались, в первую очередь, его фольклористические работы. Через несколько недель после апрельских «проработок» Азадовский был отчислен из Университета, где с 1938 года возглавлял кафедру фольклора, а также — из Академии наук.[9] 9 мая 1949 года заместитель директора Пушкинского Дома (Б. П. Городецкий) официально уведомил Марка Константиновича о том, что «в соответствии со ст. 47 п. „ж" Кодекса законов о труде об истечении двух месяцев со дня утраты трудоспособности» он (М. К. Азадовский) освобождается от работы в Институте литературы АН СССР с 23 мая 1949 года.[10]

---

[7] Личный архив К. М. Азадовского. На сохранившемся титульном листе машинописи, предназначенной для типографского набора, — пометы и подписи: «В набор 8/I ⟨19⟩49. А. Соболев. Стр. 1 — 840. 7/I 1949 М. А⟨задовский⟩. Зак⟨аз⟩ 1321. Титул не набирать — титул и шмуцтитул — все клишированные».

[8] Приведем характерный документ того времени — выписку из постановления Ученого совета Пушкинского Дома от 8 апреля 1949 года:

«Ученый Совет Института Литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, заслушав и обсудив доклад и. о. Директора Института, проф. Н. Ф. Бельчикова — „Итоги и задачи работы Института в свете статей партийной печати об антипатриотической группе театральных критиков" и полностью признавая правильность и своевременность указаний партии о решительной борьбе с компаративизмом и формализмом, космополитизмом и буржуазным объективизмом в науке и искусстве, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Выступления многих товарищей с оценкой работы Института и руководящих научных сотрудников правильно показали, что невыполнение плана и низкий научный уровень коллективных и индивидуальных работ, входивших в план Института на 1948 г., объясняются наличием в составе Института ряда научных работников, стоящих и до сего времени на враждебных марксизму-ленинизму компаративистских, формалистических и буржуазно-объективистских позициях. К их числу, в первую очередь, относятся проф. Б. М. Эйхенбаум, проф. М. К. Азадовский, проф. Г. А. Гуковский и член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский.

Верно: Ученый секретарь
Института Литературы АН СССР
Кандидат филологических наук Д. С. Бабкин»

(ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. Ед. хр. 649. Л. 48).

[9] Подробнее об этом см.: *Азадовский К., Егоров Б.* «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 83—135.

[10] Личный архив К. М. Азадовского. Следует сказать, что уже через месяц с небольшим Бюро Отделения языка и литературы, выслушав сообщение об освобождении М. К. Азадовско-

Одновременно дирекции Пушкинского Дома предстояло решить непростой вопрос: что делать с плановыми работами Азадовского — полностью завершенными, одобренными и принятыми к печати? В частности — с изданием «Онежских былин», где Марк Константинович был ответственным редактором, а также — автором вступительной статьи.

Публикация вступительной статьи, к тому времени уже набранной, была приостановлена в мае 1949 года; дирекция Пушкинского Дома направила ее на отзыв В. Г. Базанову. 30 мая 1949 года готовая рецензия была оглашена автором на «рабочем заседании» Сектора фольклора, где обсуждалась статья М. К. Азадовского об «Онежских былинах». Приводим, без пропусков, протокол этого заседания как характерный «документ эпохи», ярко свидетельствующий о ситуации (не в последнюю очередь — нравственно-психологической), сложившейся в связи с увольнением Азадовского из Академии наук и начавшимся вытеснением его имени из отечественной науки:

Протокол № 21 рабочего заседания Сектора фольклора от 30-го мая 1949 г.

Присутствовали:[11] А. М. Астахова, В. Я. Пропп, В. Г. Базанов, П. Г. Ширяева, В. А. Кравчинская, Г. Г. Шаповалова и М. Я. Парижская.[12]

Повестка дня:

Обсуждение статьи М. К. Азадовского к I-му тому «Онежских былин» Гильфердинга.

Открывая заседание, А. М. Астахова предлагает присутствующим высказываться, имея в виду, что все участники ознакомились со статьей.

В. Г. БАЗАНОВ высказывает сожаление в том, что автор статьи не присутствует на ее обсуждении, и зачитывает свое мнение о ней. В. Г. Базанов указывает ряд мест, которые считает дискуссионными. (Рецензия В. Г. Базанова прилагается к протоколу.[13])

В. Я. ПРОПП подчеркивает, что даже при беглом ознакомлении со статьей у него сложилось совершенно определенное мнение об ее неудовлетворительности: у М. К. Азадовского существует давнишняя заветная мысль, что Гильфердинг — представитель 60-х годов, который осуществля-

---

го от должности заведующего Сектором фольклора Института русской литературы, приняло решение, состоявшее из двух пунктов: «Согласиться с решением дирекции Института русской литературы» об освобождении М. К. Азадовского от должности заведующего Сектором фольклора и «Рекомендовать дирекции Института рассмотреть вопрос о возможности использования М. К. Азадовского в штате Института в должности научного сотрудника» (Там же). К сожалению, тогдашнее руководство Института (в первую очередь — его директор Н. Ф. Бельчиков, назначенный на эту должность весной 1949 года) сделало все возможное для того, чтобы воспрепятствовать возвращению Марка Константиновича в Пушкинский Дом.

[11] В перечне присутствующих на заседании лиц пропущена (видимо, по небрежности) С. Д. Магид (1892—1954).

[12] Впоследствии — М. Я. Мельц (1924—2003).

[13] Текст рецензии сохранился в двух экземплярах: черновая машинопись с правкой В. Г. Базанова и окончательный машинописный экземпляр (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 22. Л. 73—80 об.). Дата — 30 мая 1949 года.

ет заветы Добролюбова. Эта мысль по существу своему глубоко порочна. Соответственно всему стилю статей М. К. Азадовского, он старается революционизировать предмет своих занятий. Так, Веселовский был им подан через Чернышевского, здесь Гильфердинг подан на фоне Добролюбова. Эта мысль — основная концепция Марка Константиновича — и здесь она не пересмотрена. 60-е годы поданы механически, и в одну линию «золотого века» вытянуты Барсов, Худяков, Рыбников, Майков (стр. 1—2), разделенные только запятыми, без всякого водораздела между ними. Сама концепция не созвучна тому, что мы сейчас имеем. М. К. Азадовский понимает, что это надо «уточнить», «оговорить», но самая концепция от этого не спасается. Такова, например, формулировка: «Идея свободы у Гильфердинга имеет несколько славянофильскую окраску». В дальнейшем В. Я. Пропп возражает против определения М. К. Азадовского «русской школы фольклористов» от Рыбникова до Ольденбурга. Но какая же это «русская школа»? Здесь все подчинено индивидуальному творчеству отдельных сказителей. Общее впечатление таково, что М. К. не пересмотрел своих взглядов на Гильфердинга. Возможно, что сейчас он написал бы эту статью иначе.

П. Г. ШИРЯЕВА. Формально статья М. К. Азадовского не вызвала у меня никаких острых обвинений в космополитизме. Написана она гладко. У меня есть ряд замечаний, которые я хотела бы вынести на обсуждение. Мне кажется бесстрастной ссылка Азадовского на Чернышевского, который отмечает положительное в исследованиях Гильфердинга и критикует за политическую слабость его в вопросе славянских исследований (стр. 10). Не раскрывает социальной направленности Гильфердинга простое отнесение его в один ряд с Киреевским, Аксаковым, Хомяковым (стр. 9). Недостаточно убедительно звучит опровержение Азадовским «легенды», будто основной целью поездки Гильфердинга в Олонецкий край было стремление лично убедиться в подлинности записей Рыбникова (стр. 13).

Противоречивым кажется, с одной стороны, указание Азадовского на панславизм Гильфердинга (стр. 19), а с другой, — на близость Гильфердинга к «Современнику». «Уже „Современник" внушал Гильфердингу новую точку зрения на сделанные им наблюдения» (стр. 22). Очевидно, следует раскрыть действительное отношение Гильфердинга к «Современнику». На стр. 32—33 говорится о полярности интереса Рыбникова и Гильфердинга, в действительности же данная статья не оставляет впечатления об этой «полярности» взглядов Рыбникова и Гильфердинга. Считает ошибочным утверждение Азадовского о том, что фольклористы XX в. только развивали метод Гильфердинга. Метод нельзя рассматривать в отрыве от методологии, и такое утверждение явно ошибочно (стр. 33—34). Последний абзац статьи ничего не говорит о значении труда Гильфердинга, и в таком изложении этот абзац следовало бы или снять или расширить. Статья может пойти в печать после необходимой переработки.

В. А. КРАВЧИНСКАЯ. Приступая к чтению статьи М. К. Азадовского, мы, работники Отдела фольклора, условились не обмениваться впечатлениями до рабочего заседания, чтобы тем самым сохранить полную независимость суждений. Теперь выяснилось, что мнения высказывавшихся в значительной части совпадают.

Я нахожу, что политические воззрения Гильфердинга, характер его панславизма, раскрыты в статье недостаточно. Об его исследованиях в области славянского языка сказано в общих выражениях (стр. 14): «Оба эти исследования имели резко выраженный тенденциозный характер: многообразие явлений жизни языка излагались и объяснялись с позиций правоверного славянофильства при невероятном насилии над фактами».

Далее: очень важно было бы привести подлинную цитату Чернышевского о Гильфердинге, не заменяя ее изложением автора. Плохо связывается с позицией «правоверного славянофильства» влияние «Современника» на Гильфердинга (стр. 27). «Уже „Современник" внушал Гильфердингу новую точку зрения на сделанные им наблюдения». Недостаточно сказано о Гильфердинге как собирателе. Я согласна с В. Я. Проппом в отношении оценки им стиля работ М. К. — обилия оговорок и уточнений, затемняющих общие суждения при всей внешней изящности изложения. Считаю, что статья может быть опубликована после внесения в нее всех указаний и исправлений.

С. Д. МАГИД. Я с большим интересом прочитала статью М. К. и узнала много для себя нового, но также нахожу, что нужно внести в нее более точные формулировки. Согласна с замечаниями В. Г. Базанова о том, что христианское направление было в свое время прогрессивным. Статья нуждается в редакционных исправлениях, после чего может быть опубликована.

А. М. АСТАХОВА. Вводная статья должна дать оценку замечательного труда Гильфердинга «Онежские былины» как ценнейшей части классического наследия. Считаю правильным, что М. К., говоря о достоинствах текстового материала Гильфердинга, сопоставляет его с менее тщательными записями Рыбникова, который записывал не с голоса, а со слов, опрозаичивал стих. У Гильфердинга были свои недостатки, но по сравнению с прежними собирателями его записи для того времени были вершиной. Со стороны оценки Гильфердинга как собирателя статья М. К. меня удовлетворяет. Что касается статьи Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее рапсоды», то в ней дан ряд наблюдений и истолкований их, и М. К. вполне правильно, критически отнесся к этой статье. Чтобы уяснить идеологическую направленность Гильфердинга, нужно было окружить эту статью рядом других работ его, и это было сделано М. К. Азадовским вполне правильно. А. М. Астахова указывает, что только одно место (стр. 27) вызывает у нее некоторое сомнение: «Высокое нравственное достоинство и духовная цельность олонецкого крестьянина были для Рыбникова залогом его революционных возможностей, для Гильфердинга — свидетельством прочных и крепких „народных" устоев».

Думал ли Рыбников о возможности революции? Но, может быть, это сопоставление и верно.

С некоторыми замечаниями В. Г. Базанова А. М. Астахова соглашается, напр⟨имер⟩ (1 стр.) о том, что все собиратели 60-х гг. поставлены в один ряд, неправильно также утверждение, что советская фольклористика только развила метод Гильфердинга. Все остальные критические высказывания абсолютно неправильны. То, что говорил Вл. Як. Пропп, вызвано тем, что он не вчитался в статью. С рядом высказываний П. Г. Ширяевой не согласна, потому что они не подтверждаются самим текстом. Не согласна с замечанием, что Марк Константинович хотел «поднять» Гильфердинга. Как раз он его «опустил», но сделал это в меру. Правильно ли высказывание насчет панславизма — не знаю — как должно звучать. Может быть, здесь действительно надо внести некоторые уточнения. Концовка статьи дает обобщение. Считаю эту статью вполне правильной, доброкачественной, нуждающейся лишь в некоторой редакционной правке.

В. Г. БАЗАНОВ. Если согласиться с Владимиром Яковлевичем (Проппом. — *К. А.*), то вообще нужно похоронить Гильфердинга и вовсе его не издавать. Ошибка М. К. в том, что он старался сделать Гильфердинга хуже, чем он есть (в связи с панславизмом), и мало уделил внимания Гильфердин-

гу как собирателю. Почувствовав, что он слишком снизил Гильфердинга, М. К. пытается его реабилитировать, утверждать, что он шел в духе «Современника» и является чуть ли не духовным отцом Астаховой и Соколова. Нам не нужно ни улучшать, ни ухудшать Гильфердинга. Под влиянием освободительного движения эпохи Гильфердинг сумел подняться выше, чем он был в 50—60-е годы. Тогда оправдано будет и издание Гильфердинга. Вопрос о панславизме надо пересмотреть.

А. М. АСТАХОВА, подводя итог высказываниям, говорит, что все сошлись на том, что статья после внесения в нее необходимых редакционных изменений может быть опубликована.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А. Астахова
СЕКРЕТАРЬ В. Кравчинская.[14]

Не следует обманываться насчет «либеральной», казалось бы, резолюции коллег-фольклористов («может быть опубликована»). Все участники обсуждения прекрасно понимали, что последнее слово в данном случае не за ними, а за новоназначенным директором Пушкинского Дома — Н. Ф. Бельчиковым. Понимали и то, что «обсуждение» статьи М. К. Азадовского носит в целом ритуальный характер: проработки ошельмованных деятелей науки и культуры стали к тому времени обычным явлением, не лишенным подчас известного схематизма. И уж ни у кого, надо думать, не вызывало сомнений, что Марк Константинович — справедливы или не справедливы были частные суждения по поводу его статьи — не станет ее перерабатывать по замечаниям Ширяевой и Кравчинской.

Нам неизвестны все перипетии и дискуссии вокруг многострадальной статьи в июне-июле 1949 года. Ясно одно: к середине лета дирекция Пушкинского Дома произнесла, наконец, «последнее слово»: статья была снята и заменена новой; исчезла также фамилия Азадовского как ответственного редактора четвертого издания «Онежских былин».

В августе 1949 года Марк Константинович (он отдыхал в то время с семьей в Доме творчества писателей в Дзинтари под Ригой) получил от Издательства Академии наук официальное письмо, датированное 10 августа:

«Многоуважаемый Марк Константинович,

доводим до Вашего сведения, что на основании отношения Института русской литературы от 20 июля с. г.[15] ввиду Вашей болезни мы должны будем расторгнуть существующий с Вами договор за № 220 от 5 февраля с. г. с уплатой по нему Вам 60 %, как обусловлено в договоре, а на остальную сумму заключить договор с вновь назначенным редактором А. Т. (так! — *К. А.*) Астаховой.

И. о. директора Л⟨енинградского⟩ О⟨тделения⟩
Изд-ва АН СССР Д. Рыжаков».

В тот же конверт было вложено и второе уведомление:

«Многоуважаемый Марк Константинович,

на Вашу статью в сборнике „Онежские былины", т. 1, собранные А. Ф. Гильфердингом, договор нами не заключался. Решением Ученого Совета Ин-та

[14] ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 22. Л. 71—72 об.
[15] Текст «отношения» не известен.

Русской литературы[16] статья снята и заменена новой, хотя она и была набрана. Возвращаем Вам рукопись статьи.

И. о. директора Л⟨енинградского⟩ О⟨тделения⟩
Изд-ва АН СССР Д. Рыжаков».[17]

Редактором четвертого издания «Онежских былин», как видно из первого письма, была назначена А. М. Астахова (в прошлом — ученица М. К. Азадовского, возглавившая после его увольнения Сектор фольклора); ее имя как «ответственного редактора» значится на титульном листе всех трех томов этого издания, выпущенного в 1949—1951 годах.[18]

Первый том вышел в конце 1949 года.[19] «Видели ли первый том „Онежских былин" Гильфердинга, „под ред. А. М. Астаховой"? — спрашивал Марк Константинович Ю. Г. Оксмана в письме от 13 января 1950 года. — Вот у меня и еще прибавился псевдоним. Зато обратите внимание на вступительную статью».[20]

Автором вступительной статьи был В. Г. Базанов (до августа 1949 года — старший научный сотрудник Пушкинского Дома). Его статья также обсуждалась на рабочем заседании Сектора фольклора; выступали В. А. Кравчинская и А. М. Астахова. Первая сообщила, что «мнение ее и П. Г. Ширяевой о статье В. Г. Базанова совпали в том отношении, что статья является очень интересной и содержит в себе яркую и глубокую характеристику Гильфердинга как общественного деятеля и ученого, вскрывает реакционность его политических взглядов и в то же время указывает на громадную заслугу его как собирателя северных былин, внесшего ценный вклад в русскую фольклористику». А. М. Астахова лаконично отметила, что «статья В. Г. Базанова хорошо написана, свежа и интересна». Сам Василий Григорьевич выразил удовлетворение тем, что «проделанная им работа по Гильфердингу принесла хорошие результаты», и поблагодарил А. М. Астахову, В. А. Кравчинскую и П. Г. Ширяеву «за положительную оценку его статьи и за сделанные замечания».[21]

Любопытна резолютивная часть этого документа: «Просить В. Г. Базанова договориться с издательством АН СССР о точном количестве страниц в

---

[16] Протокол заседания Ученого совета, на котором было принято такое решение, не обнаружен.

[17] Оба письма — в архиве К. М. Азадовского.

[18] Аналогичная судьба постигла и другой коллективный труд, инициатором и редактором которого был М. К. Азадовский, — сборники «Советский фольклор» (первые семь выпусков вышли в 1934—1941 годах). Восьмой том, составленный еще до войны и переработанный заново в 1946—1948 годах, значился тогда в годовых рабочих планах Сектора фольклора. Весной 1949 года этот том был «передоверен» В. Г. Базанову, назначенному ответственным редактором и написавшему к нему вступительную статью («Задачи советской фольклористики на современном этапе»). Вопрос о судьбе восьмого тома «Советского фольклора» подробно обсуждался на заседании Ученого совета Пушкинского Дома 13 сентября 1949 года — в связи с новой рецензией, написанной А. Д. Соймоновым (см.: ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 17. Л. 9—28). Тем не менее сборник так и не увидел света; издание «Советского фольклора» прекратилось (см. об этом: *Азадовская Л. В.* Указ. соч. С. 200—201). Работа над девятым томом «Советского фольклора», начатая М. К. Азадовским в 1948—1949 годах, после его увольнения не продолжалась.

[19] В отчете Сектора фольклора за 1949 год указывалось: «Издан 1-й том „Онежских былин" Гильфердинга. Редактор А. М. Астахова. — 50 п. л.» (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 8. Л. 29; дата отчета — 26 ноября 1949 года).

[20] Марк Азадовский — Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954 / Изд. подгот. К. Азадовский. М., 1998. С. 136.

[21] Протокол № 24 рабочего совещания Сектора фольклора ИРЛИ АН СССР от 8-го августа 1949 г. // ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 22. Л. 130—131 об.

статье и сообразно с этим произвести сокращение 1-ой части и по внесении указанных исправлений передать статью издательству».[22]

Чем была вызвана необходимость договариваться с издательством «о точном количестве страниц»? Ответ возможен только один. Первый том Гильфердинга был уже сверстан, и статью Базанова — чтобы избежать лишних типографских расходов — желательно было в точности подогнать под статью Азадовского, чье имя, кстати сказать, на «совещании» 8 августа 1949 года ни разу не упоминалось.

Однако автор новой вступительной статьи все же уделил своему предшественнику известное внимание. Приведя отрывок из статьи М. К. Азадовского 1946 года «Русская фольклористика и славянские страны»,[23] Базанов, еще недавно пенявший Азадовскому за «принижение» Гильфердинга (сделал «хуже, чем он есть»), обвинял его теперь в том, что он чрезмерно «выдвигает» Гильфердинга, ставит его в один ряд с Рыбниковым и т. п. «В трудах М. К. Азадовского, — писал Базанов, — „русская школа" получила совершенно неправильное определение: у истоков ее оказались Рыбников и Гильфердинг, по их стопам следует русская фольклористика начала XX в. и даже советская фольклористика. Отличительной чертой „русской школы" М. К. Азадовский считает учение о творческой индивидуальности в фольклоре, проблему сказительства в вариативности фольклорных текстов. Взяв за основу в определении своеобразия русской фольклористической мысли решение вопроса о соотношении личного и коллективного начала в фольклоре, М. К. Азадовский и его ученики невольно должны были выдвигать на первый план Гильфердинга».[24]

Упрекая далее Азадовского в односторонности, «эмпирическом» подходе к фольклору, «формалистическом методе» и иных грехах, В. Г. Базанов завершает свою статью опять-таки полемическим аккордом: «Многие недостатки и ошибки советских фольклористов (Ю. М. Соколова, М. К. Азадовского, А. М. Астаховой и В. И. Чичерова), чрезмерно преувеличивавших значение местных вариантов и „личной стихии", объясняются некритическим отношением к наследию Гильфердинга».[25]

Упреки В. Г. Базанова производят в целом довольно-таки странное впечатление.[26] Не вдаваясь в фольклористический аспект полемики (значение местных вариантов и «личного начала»), отметим лишь, что в заметке 1946 года, на которую ссылается В. Г. Базанов, Азадовский упоминает о Гильфердинге лишь однажды — в перечислении. А в своей статье, впервые публикуемой ниже, Азадовский как раз подчеркивает ошибочность отдельных тезисов Гильфердинга, указывает на славянофильскую окраску его

---

[22] Там же. Л. 131 об.

[23] Научный бюллетень Ленингр. гос. ун-та. Л., 1946. № 11—12. С. 74.

[24] *Базанов В. Г.* А. Ф. Гильфердинг и его «Онежские былины» // Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 4-е изд. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 19—20.

[25] Там же. С. 28.

[26] Рискнем предположить, что приведенные пассажи, отнюдь не делающие чести их автору, были, в известной мере, «навязаны» ему жесткими условиями той общественной ситуации, в которой он — как и другие ученые — оказался весной 1949 года. Необходимо, однако, упомянуть и другое обстоятельство: с годами Василий Григорьевич изменился, во всяком случае, в своем отношении к М. К. Азадовскому. Приведем мнение одной из современниц В. Г. Базанова, хорошо его знавшей: «...Вася был человеком далеко не однозначным. Я уже писала о том, как во время „космополитической кампании" он, будучи в Петрозаводске, клеймил Азадовского. Но вернувшись в Ленинград, помогал ему же проталкивать в печать некоторые работы, а после смерти Марка Константиновича принял самое непосредственное участие в судьбе его сына» (*Лупанова И. П.* «Минувшее проходит предо мною...». Книга о пережитом. Петрозаводск, 2007. С. 284—285).

взглядов, пишет о различии и даже «полярной противоположности» воззрений Рыбникова и Гильфердинга.

Еще более нелепым представляется упоминание — в ряду авторов, «некритически» воспринимающих Гильфердинга, — имени А. М. Астаховой, *ответственного редактора* четвертого издания.

Первый том этого издания, выпущенный в 1949 году, открывался информативной справкой; в ней кратко излагалась история трех предыдущих изданий «Онежских былин» Гильфердинга. Есть основания полагать, что этот текст, озаглавленный «От редакции», первоначально принадлежал перу М. К. Азадовского.

Возвращенная из издательства рукопись[27] пролежала в письменном столе Марка Константиновича вплоть до его смерти в 1954 году; он ни разу к ней более не прикоснулся. После его смерти Л. В. Азадовская, вдова ученого, сняла с рукописи машинописную копию, текст которой сохранился в семейном архиве и послужил основой для настоящей публикации.

Текст статьи публикуется полностью, без изменений и сокращений. Современный читатель наверняка сумеет отделить наблюдения и оценки крупнейшего ученого-фольклориста от формулировок, характерных для стилистики той эпохи (таковы, например, пассажи о «политической сущности» высказываний Гильфердинга, «разоблаченной» Чернышевским, о позднейших представителях славянофильства, «окончательно и тесно сомкнувшихся с реакционным фронтом», или о «боязни растущего класса пролетариев и их влияния», которую якобы испытывал Гильфердинг).

Отдельные места в машинописи (пропущенные или недописанные даты, отсутствующие примечания и т. п.) позволяют предположить, что М. К. Азадовский намеревался, — видимо, при чтении корректур — внести в текст ряд необходимых уточнений, в основном библиографического порядка. Мы позволили себе завершить эту техническую часть работы. Нами выполнен также ряд примечаний, недостающих или незавершенных в машинописной редакции, сверены все цитаты; устранены явные опечатки и несоответствия. Пропущенные в машинописи слова поставлены в угловые скобки. Примечания приведены в соответствие с современными требованиями.

---

[27] В настоящее время — в архиве М. К. и Л. В. Азадовских (РГБ. Ф. 542).

М. К. Азадовский

«ОНЕЖСКИЕ БЫЛИНЫ» ГИЛЬФЕРДИНГА

«Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга принадлежат к числу таких книг, которые составляют эпоху в истории науки, устанавливая новые точки зрения и выдвигая новые задачи исследования. Такую роль «Онежские былины» сыграли в истории науки о фольклоре, в частности в изучении русского героического эпоса, явившись новым этапом в понимании судеб и процессов народного творчества.

Сборник Гильфердинга вышел в 1873 году и как бы заключил собою серию замечательных изданий, появившихся в шестидесятые годы. Эти годы с полным правом называют золотым веком русской фольклористики. Начавшийся процесс раскрепощения народа вызвал могучий подъем творческих сил в различных областях культуры и особенно благотворно отразился на изучении народной жизни. На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов

появляется знаменитое собрание сказок Афанасьева, начатое в 1855 и законченное (первым изданием) в 1863 году. В 1860-х годах русское общество получает, наконец, долгожданный труд Киреевского «Песни, записанные П. В. Киреевским», в эти же годы выходят сборники легенд и «заветных сказок» Афанасьева, сборник былин П. Н. Рыбникова, сборники сказок и загадок И. А. Худякова, первые сборники П. В. Шейна, сборники заговоров Л. Н. Майкова и П. С. Ефименко, сборник плачей Е. В. Барсова, ряд первоклассных краеведческих сборников и т. д. и т. д. — словом, весь ряд изданий, который и до сих пор составляет основной фонд русской фольклористики.

В эту же эпоху вырабатываются и основные методы собирания и исследования, которые позже выделились в особое течение, получившее известность и признание в мировой науке как русская фольклористическая школа.

Вопрос о методе имел не только академическое значение и не только практическое, но и теоретическое и общественное. Прежде всего встал вопрос о точности воспроизведения народной речи, народной лексики, народного синтаксиса и вообще народного текста в целом. Ранние публикаторы, главным образом собиратели-романтики, считали возможным широкое вмешательство в текст народного певца или сказителя. В их сознании не было еще идеи о самостоятельной ценности народного памятника; их интересовали не народ и не народная точка зрения: любое произведение народной поэзии было важно для них лишь как свидетельство о старине и как материал для дальнейшего художественного творчества. Даже еще Афанасьев считал возможным и необходимым «исправлять» в некоторых случаях текст народной сказки. Правда, он делал это очень осторожно. Его правка в основном касалась только отдельных элементов стиля, главным образом в тех случаях, когда он предполагал неудовлетворительность записи. Из огромного количества текстов, бывших в его распоряжении, он выбирал некоторые, стиль которых считал наиболее характерным, и этим образцом руководился в своих «исправлениях». Во всяком случае Афанасьев не выходил из рамок народного стиля и народной образности, чем он значительно отличается, например, от Вильгельма Гримма, который иногда очень свободно менял текст народной сказки.

Новое понимание методики записи и публикации выработалось в шестидесятые годы. Прежде всего был выдвинут принцип всестороннего охвата народной жизни, изучения всех сторон быта и народного миросозерцания. Такую точку зрения отстаивал Добролюбов. Он отрицал всякого рода подкрашивания, замалчивания и сокрытия отдельных сторон народной жизни, настаивая на целостном ее изучении со всеми противоречиями, как бы ни казались на первый взгляд неприглядными те или иные ее стороны и отдельные моменты. Добролюбов в данном случае отстаивал принципы новой методики, которые устанавливала передовая мысль эпохи, развивавшаяся под воздействием революционной демократии. И не случайно такого рода очерки находили приют на страницах «Современника».

Другой принцип, выдвинутый и укрепленный этой эпохой, состоял в требовании точной передачи народного текста. Сам по себе этот принцип не был новым в науке: он неизменно выдвигался представителями передовой и демократической науки, так, например, на нем настаивали деятели Вольного общества, позже такое требование выдвигал Белинский. Однако тогда такие призывы звучали еще одиноко и не всегда находили должный отзвук в литературе и собирательской практике.

Виднейший собиратель тридцатых-сороковых годов Петр Киреевский разработал целую теорию синтетического народного текста. Он отвергал ме-

тоды и практику немецких романтиков, но отрицал и возможность, и необходимость строгой и тщательной передачи каждого отдельного текста. Он категорически отрицал литературную правку, подобную той, которую производил Вильгельм Гримм, но считал возможным редакционное вмешательство, чтобы создать подлинно народный текст, вернее сказать, — текст, который ему представлялся подлинно народным. Многочисленные варианты каждой песни он рассматривал как искаженные куски какого-то некогда целостного и единого текста, подлинные следы которого сохранились в отдельных вариантах. Поэтому он составлял песню из разных текстов. Он брал какой-либо текст в качестве основного, а затем частично дополнял его отдельными эпитетами, образами, сюжетными элементами из других, частично устранял из этого основного текста то, что казалось ему испорченным, случайным или «не народным».

Только в шестидесятые годы окончательно торжествует новая точка зрения, опиравшаяся на огромное уважение к народу и различным формам его деятельности и культуры. Так, например, один из замечательнейших фольклористов, выдвинутых революционной демократией, Худяков, поучал цензоров, что к тексту народной песни или сказки нужно так же относиться, как «к тексту священного писания». Таким образом принцип всестороннего охвата народной жизни и народного миросозерцания сочетался с требованием и абсолютно точной передачи текста со всеми особенностями его языковой и стилистической структуры.

Третьей стороной новой методики явилось тщательное воспроизведение всей социально-бытовой обстановки, в которой жило и развивалось народное предание. Наиболее отчетливую формулировку этих новых требований дал Добролюбов в рецензии на сборник сказок Афанасьева, прозвучавшую для современников как лозунг и программа. Признав высокую научную и общественную ценность сборника Афанасьева, Добролюбов осудил «академически-равнодушный», как ему казалось, метод редактора. Добролюбов требовал не только тщательной и точной передачи народных текстов, но и дополнительных материалов, которые помогли бы ближе и вернее узнать народ. «Нам кажется, — писал он, — что всякий из людей, записывающих и собирающих произведения народной поэзии, сделал бы вещь очень полезную, если бы не стал ограничиваться простым записыванием текста сказки или песни, а передал бы и всю *обстановку*, как чисто внешнюю, так и более внутреннюю, нравственную, при которой удалось ему услышать эту песню или сказку».[1]

Выражением этих новых требований явилась целая полоса фольклорных сборников шестидесятых годов; первым же, кто осуществил в своей практике новую методику, был П. Н. Рыбников.

Сборник Рыбникова явился как бы неким откровением для русского общества. Оказалось, что старое эпическое творчество, которое считалось исключительно достижением прошлого и существующим в современности лишь в виде случайных осколков, не только не вымерло, но сохранилось в полной мере и живет еще полнокровной жизнью; причем оказалось, что оно живет не где-нибудь, а непосредственно вблизи самого Петербурга. Наконец, сборник Рыбникова, воплощая указания и требования Добролюбова, широко раскрыл перед читателями картину «внешней» и «внутренней» обстановки, в которой жила и развивалась эпическая поэзия, и показал гале-

[1] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под общей ред. П. И. Лебедева-Полянского. М.; Л., 1934. Т. 1. С. 433.

рею мастеров — носителей этой древней традиции — замечательных былинных певцов во главе с Трофимом Григорьевичем Рябининым.

Рыбников применил и новую методику в записях и публикациях. Он совершенно отверг принцип сводных текстов, применявшийся Киреевским; он отверг какие бы то ни было исправления и правки, которые в той или иной степени применялись Афанасьевым; он сумел понять значение вариантов, признав за каждым самостоятельную ценность; он разработал целую систему проверки записей для более тщательной передачи и воспроизведения каждой былины; и, наконец, он поставил вопрос о «личных чертах» и индивидуальном стиле былинных певцов. Все это явилось крупнейшим завоеванием русской науки о фольклоре.

Однако Рыбникову не удалось в своем издании полностью реализовать свои планы и замыслы. Издание былин ему представлялось в другом плане, чем это было выполнено лицами, которые его осуществляли. Редакторами были Ор. Миллер и П. Бессонов. Последний одновременно руководил изданием песен, записанных Киреевским, и строил оба сборника в одном плане, несмотря на явную несхожесть и даже прямую противоположность исходных позиций и методов их авторов.

Следующим этапом в истории русской науки о фольклоре явилась экспедиция Гильфердинга и возникший в результате ее сборник «Онежские былины». Эта экспедиция представляется совершенно исключительной по своим фактическим результатам: за два месяца пребывания в Заонежье Гильфердингу удалось прослушать 70 сказителей и записать от них 318 былин; экспедиция была исключительной для того времени и по тщательности и точности методов собирания и записи, и по их принципиально-теоретическому значению. Нужно признать совершенно правильной оценку, которую дал этому сборнику А. Пыпин в своей «Истории русской этнографии», назвавший его «истинно необычайным явлением в области этнографических исследований».[2] «Освещенный любопытною картиной местного быта, записанный с гораздо большею точностию, сборник Гильфердинга, — писал он, — производил, быть может, еще более сильное впечатление, нежели книга Рыбникова».[3]

Гильфердинг шел к изучению русского эпоса другим путем, чем Рыбников. Гильфердинг и Рыбников были сверстниками. Оба они родились в 1831 году; оба одновременно учились в Московском университете, слушали одних и тех же профессоров, но их общественные пути были различны. Рыбников выступает как последователь Добролюбова и Чернышевского, участник одного из ранних социалистических кружков. Гильфердинг на всю жизнь остался учеником Киреевских, Аксаковых, Хомякова; в русской науке он является представителем славянофильских и панславистских идей. Ягич назвал его «одним из важнейших славянофилов нового поколения».[4]

По своим прямым научным интересам Гильфердинг был историком и лингвистом. Первые его научные труды были посвящены вопросам сравнительного изучения славянских языков. Это были вышедшие (1853) последовательно один за другим два труда — «О сродстве языка славянского с санскритским» и «Об отношении языка славянского к языкам родственным», из которых последний был его магистерской диссертацией. Оба эти исследования имели резко выраженный тенденциозный характер: многообразие явлений жизни языка излагалось и объяснялось в них с позиций правоверного

---

[2] *Пыпин А. Н.* История русской этнографии. СПб., 1891. Т. II: Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. С. 221.

[3] Там же.

[4] *Ягич И.* История славянской филологии. СПб., 1910. С. 350.

славянофильства при невероятном насилии над фактами. Эти особенности исследований Гильфердинга вызвали тогда же резкую отповедь со стороны Чернышевского. Чернышевский с уважением отметил эрудицию Гильфердинга, сочувственно отозвался о любви автора к предмету своих изучений, но вместе с тем решительно разоблачил политическую сущность, скрывшуюся за как бы лишенными определенного политического значения высказываниями Гильфердинга.[5]

Славянофильские концепции определяют и характер его исторических трудов, которые и составляли основное содержание его научной деятельности. В них он выступает как прямой ученик и последователь К. Аксакова и главным образом Хомякова. Таковы его «История балтийских славян» (1855) и «Письма об истории сербов и болгар» (1855): обе работы представляют собою обширные монографии, затрагивающие важнейшие вопросы историко-этнологического порядка, но трактующиеся автором всецело через призму воззрений его славянофильских учителей. Огромное количество привлеченных автором первоисточников, исключительная эрудиция и исследовательское остроумие оказались втиснутыми на прокрустово ложе предвзятых теорий. В духе воззрений своих учителей трактовал Гильфердинг и вопросы народного характера славян, объявляя в качестве его основной черты «врожденное стремление к христианской вере».

Гильфердинг, как уже сказано, явился представителем поколения славянофилов, которое развивало преимущественно панславистские тенденции. Позднейший панславизм уже утратил свой первоначальный характер, который он имел в период своего возникновения и когда он был еще тесно связан с национально-освободительным движением. Он приобрел ярко выраженную реакционную окраску, отчетливо вскрытую Марксом и Энгельсом в их статьях, посвященных славянскому вопросу. Маркс и Энгельс показали, что за теориями панславизма стояла ужасающая реальность тогдашней российской империи, целям которой как нельзя лучше отвечало панславистское движение в той форме, которую оно тогда приняло.

Проф. В. Пичета правильно охарактеризовал общественно-политическое значение трудов Гильфердинга: «А. Ф. Гильфердинг верно оценивал тяжелое политическое положение славянства, он был искренен в симпатиях к южному славянству, искавшему выхода из того тяжелого политического положения, в каком оно находилось в середине XIX столетия. Он считал, что изменить положение славянства могло только царское правительство. Поэтому исследования Гильфердинга по истории южного славянства становились идеологическим обоснованием для проникновения царизма на Балканский полуостров под предлогом защиты угнетенного славянства».[6]

Конечно, самому Гильфердингу были чужды такого рода империалистические тенденции. Даже А. Н. Пыпин, всегда враждебно относившийся к славянофильству и особенно к его позднейшим представителям, уже окончательно и тесно сомкнувшимся с реакционным фронтом, выделял Гильфердинга из среды его единомышленников. Действительно, Гильфердинга интересовало в панславистских концепциях главным образом стремление

---

[5] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. Пг., 1918. Т. 1. С. 176 и след. См. также: *Азадовский М.* Н. Г. Чернышевский в истории русской фольклористики // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Сер. филол. наук. Л., 1941. Вып. 12. С. 8—9; *Виноградов Г. С.* Этнография в кругу научных интересов Н. Г. Чернышевского // Советская этнография: Сб. статей. М.; Л., 1940. Вып. III. С. 35—55. Славянофильские тенденции в трудах ⟨Гильфердинга⟩ отмечал и И. Ягич (Указ. соч. С. 770—771).

[6] *Пичета В. И.* К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941. № 3 (91). С. 42—43.

славянских народностей к развитию и их дальнейшему взаимному общению. Он настаивал на разделении сфер общественной и государственной и, говоря об объединении славянских народов, считал необходимым подчеркнуть и выдвинуть на первое место роль народа: «Исход их дела зависеть будет от участия нашего отечества, и именно от участия *народа*, т. е. общественных и нравственных сил земли нашей...»[7] Однако такое разъединение двух сфер было невозможно ни теоретически, ни практически, и потому объективный смысл этих концепций неминуемо принимал определенный политический характер, и притом характер реакционный. К тому же в панславистских концепциях Гильфердинга были и такие элементы, которые вызывали резкую оппозицию со стороны различных представителей славянских общественных кругов, особенно славян-католиков, так как Гильфердинг основную силу славянского движения усматривал в православии и настоящими славянами считал лишь тех, кто проповедовал православную веру. Эту точку зрения Гильфердинг высказал особенно отчетливо в своей публицистической брошюре «Les slaves occidentaux»,[8] вышедшей анонимно сначала в Париже (1858), а потом опубликованной в переводе — также без имени автора — в славянофильском журнале «Русская беседа» (1858), деятельным сотрудником которого он был все время существования журнала.

С большим интересом относился Гильфердинг к народной поэзии Русского Севера. В литературе упорно держалось мнение, что основной целью поездки Гильфердинга в Онежский край являлось стремление лично убедиться в подлинности записей Рыбникова.[9] Это неверно, и давно уже пора положить конец этой легенде.[10] Действительно, при появлении первых публикаций Рыбникова высказывались некоторые скептические замечания, вызванные сенсационностью и неожиданностью опубликованного материала. До того времени о былинах и их существовании судили главным образом по старым записям. Основным источником был так называемый «Сборник Кирши Данилова». Замечательные записи сибирского собирателя Гуляева, появлявшиеся на страницах «Известий Академии Наук» (в начале пятидесятых годов), свидетельствовали, казалось, о слабых остатках старой традиции в тех же местах, откуда происходил и «Сборник Кирши Данилова». Сборник Киреевского впервые появился в печати почти одновременно со сборником Рыбникова; записи же его собрания относились к тридцатым-сороковым годам и представлялись как бы сводом разных остатков из различных частей страны. Короче сказать, былины считались навсегда уже утраченным жанром, остатки которого можно найти лишь разве где-либо в Сибири, еще сохранившей следы древней и уже не существующей в современности традиции. И конечно, никто не предполагал, что народно-эпическая поэзия не только не иссякла, но бьет еще живым ключом; что еще сохранились многочисленные певцы — знатоки старинных былин; что это творчество не только не представляет собою чего-то застывшего и окаменевшего, но является живой и органической частью населения и что все это, наконец, имеет место не в каких-либо отдаленнейших частях государства, а в непосредственной близости от самой столицы. Поэтому, наряду с восхище-

---

[7] *Гильфердинг А.* Собр. соч. СПб., 1868. Т. II. С. 266 (статья «Взгляд западных славян на Россию»).

[8] «Западные славяне» (*фр.*)

[9] См., например: *Лобода А.* Памяти А. Ф. Гильфердинга. (К двадцатипятилетней годовщине его смерти) // Этнографическое обозрение. 1897. № 4. С. 90—91; *Лавров П.* А. Ф. Гильфердинг // Русский биографический словарь. Герберский — Гогенлоэ. М., 1916. С. 197, и др.

[10] На необоснованность такого рода утверждений указывал уже А. Н. Пыпин в своих очерках и рецензиях, посвященных трудам Гильфердинга и Рыбникова.

нием и удивлением, новый сборник былин вызвал у некоторых ученых подозрение в фальсификации, и в самом Рыбникове хотели видеть чуть ли не нового Макферсона. Но такого рода голоса были весьма малочисленны; к тому же возникавшие сомнения неминуемо рассеивались по выходе в свет каждого нового тома, а затем в четвертом томе появилась обширная и обстоятельная «Заметка собирателя», которая окончательно устранила все сомнения,[11] и, уже во всяком случае к тому времени, когда Гильфердинг задумал свою поездку, они совершенно исчезли; сборник Рыбникова получил всеобщее признание и академическую премию. Гильфердинг отнесся к нему с самого начала с живейшим интересом, и если действительно этот сборник возбудил в нем желание самому отправиться в те же места, то отнюдь не ради проверки, а лишь для того, чтобы поставить ряд новых вопросов, Рыбниковым не затронутых и не интересовавших его. Задачей Гильфердинга было непосредственное исследование на месте сохранившейся эпической традиции, и эта проблема была для него неразрывно связана с его славянскими изучениями, в частности с теми наблюдениями, которые он сделал во время своих поездок по южнославянским странам и по местам поселений так называемых балтийских славян.

В 1857 году Гильфердинг в качестве русского консула в Боснии и Герцеговине совершил большую поездку по этим странам, составившую значительную веху в истории их изучения. Отдельные очерки и письма из этой поездки печатались им на страницах «Русской беседы» (1858); описание же путешествия в целом было опубликовано в XIII книжке «Записок Русского географического общества» (1859) под заглавием «Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии». Позже оно вместе с другими примыкающими по теме статьями вошло в состав третьего тома собрания его сочинений, вышедшего уже после смерти автора.

Эта поездка, очень полно раскрывшая картину жизни южнославянских народов, находившихся в то время под турецким гнетом, и внесшая в научные исследования совершенно новые материалы по истории, этнографии и фольклору[12] этих народов, привлекла к себе широкое внимание как в России, так и в славянских странах. Ее сочувственно отметили в «Современнике», посвятившем книге Гильфердинга специальную рецензию.[13] «По сво-

---

[11] В новом издании сборника Рыбникова эта «Заметка» напечатана в первом томе, вслед за биографией собирателя, А. Е. Грузинским. См.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3 т. / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1909. Т. 1. С. LXI—CII.

[12] Из этой поездки Гильфердинг вывез огромное количество старинных рукописей, из которых свыше 100 он принес в дар Публичной библиотеке; остальные позже перешли частью в собрание А. И. Хлудова, частью были приобретены тою же Публичной библиотекой после смерти А. Ф. Гильфердинга (см.: Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1868 год, представленный г. министру народного просвещения директором Библиотеки, статс-секретарем Деляновым. СПб., 1869. С. 10; Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1873 год... СПб., 1875. С. 9; Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Составил Андрей Попов. М., 1872). Многие из добытых Гильфердингом рукописей принадлежат к важнейшим памятникам старославянской письменности. В каком виде хранились многие из них, ярко свидетельствует рассказ Гильфердинга о рукописях, обнаруженных им в одной из боснийских церквей: «В церкви Св. Георгия валялось десятка два старых рукописей, заброшенных в каком-то темном углу в верхней, женской части церкви и покрытых слоями пыли. Не только от одной пыли страдали они; — они гнили от сырости и давно служили, по неимению лучшего лакомства, пищею мышам. Пергаментные, видно, показались вкуснее бумажных этим животным, потому они преимущественно трудились над пергаментным списком Евангелия, писанного прекрасным сербским уставом, по-видимому, XIII века» (*Гильфердинг А.* Собр. соч. СПб., 1873. Т. 3. С. 145). Гильфердингу удалось спасти, таким образом, несколько сот рукописей, а то, что он не мог приобрести в собственность, он старался привести в известность и составил ряд описаний рукописей, хранящихся в различных монастырях Боснии.

[13] Современник. 1860. Т. 80. Март. С. 120—130 (отдел «Новые книги»). Эти рецензии, по всей вероятности, принадлежат А. Н. Пыпину, как это установлено С. А. Рейсером на основа-

ему исключительному положению, — писал рецензент, — как консул в столице Боснии и вместе как ученый, хорошо знакомый с сербским языком и историей, г. Гильфердинг больше всякого другого имел возможность изучить страну в разных отношениях ее политической и частной жизни ⟨...⟩. Он изъездил в различных направлениях Боснию, Герцеговину и старую Сербию, видел сам народный быт, выслушал от босняков их современную историю и передает читателю много любопытного о нравах и обычаях боснийского народа, о степени его развития, его религиозных отношениях и его турецких властителях, словом, о целом общественном и домашнем быте; старая Сербия приводит его к древностям сербского народа, которым он также отдает много страниц в своих записках. Если не считать путешествия по Европейской Турции г. Григоровича, занятого, впрочем, больше археологией, это единственная и хорошая русская книга о турецком славянстве, из которой можно извлечь правильное понятие о положении дела».[14]

Особенный интерес представляет книга Гильфердинга для этнографа и фольклориста; в ней разбросано очень много наблюдений над местной народной поэзией: приведен ряд записанных или извлеченных им из старых рукописей текстов, дан ряд беглых зарисовок певцов, подробно описана манера исполнения. Народная поэзия сербов не раз привлекала внимание представителей русской передовой мысли: ей посвящали свое внимание и Пушкин, и декабристы, и Чернышевский. Но Гильфердинг в своем отношении к сербской народной поэзии значительно отличается от них. Для него в сербских песнях главным и основным являются не мотивы борьбы за освобождение, но привязанность сербов к православной вере, которая, по мнению Гильфердинга, только и связывала сербов с их славянским прошлым и которая, как совершенно ложно ему казалось, являлась единственным источником надежд на будущее. Это суждение, конечно, из той же основной славянофильской и консервативной тенденции Гильфердинга, наличие которой подчеркивала также и рецензия «Современника».

Среди разнообразных памятников народного творчества, находящихся в книге Гильфердинга, особенно примечательна «Летопись Боснии» за период 1825—1856 годов, которую, по его предложению, составила боснийская девушка Стака Скендерова.[15] Эта «Летопись» представляет собою знаменательную страницу в научном наследии Гильфердинга этого периода и помогает раскрыть тот круг мыслей, который привел его к решению посетить Олонецкий край. Значение «Летописи» было подчеркнуто и рецензентом «Современника», который назвал ее «действительно замечательным и оригинальным произведением».[16]

Сам Гильфердинг так определил смысл и значение этого своеобразного памятника. Это, пишет он, «в полном смысле самородное произведение», в котором «исторический тип еще скрывается за эпическим».[17] Автор «Летописи» выступает как представитель народа, как человек, отражающий народное сознание, поэтому-то Стака Скендерова и оказалась выполняющей в

нии конторских книг «Современника», хранящихся в Пушкинском Доме. Принадлежность данной рецензии Пыпину подтверждается и прямыми совпадениями между ней и некрологом, который Пыпин посвятил Гильфердингу после его смерти (Вестник Европы. 1872. Т. 36. № 8 (август). С. 902—907). Не исключена возможность, что в рецензию внесены некоторые дополнительные формулировки Н. А. Добролюбовым, который в эти годы заведовал отделом «Новые книги».

[14] Современник. 1860. Т. 80. Март. С. 121.

[15] *Гильфердинг А.* Собр. соч. Т. III. С. 383—465.

[16] Современник. 1860. Т. 80. Март. С. 129.

[17] *Гильфердинг А.* Собр. соч. Т. III. С. 384.

данном случае роль и функцию народного певца и сказителя. В связи с этим Гильфердинг сделал замечательный очерк состояния эпической традиции в стране, особо подчеркнув ее живую сохранность, которая позволила и позволяет создавать в ее духе и стиле новые произведения, отражающие уже не только глубокую древность, но также события недавнего прошлого и текущую действительность.

«Современник» так излагал смысл и значение этих наблюдений Гильфердинга: «В Боснии народная поэзия не сделалась, как у других славян, специальною принадлежностью слепцов, старцев и гусляров; живые импровизации до сих пор свободно льются в зимние вечера, когда девушки сходятся петь песни; события из народных восстаний и битв с турками рассказываются в длинных песнях очень скоро после самых событий. Это делается как-то само собой: народ идет здесь бессознательно за преданьем и не может говорить иначе, как поэтическим языком песни. В „Летописи" Скендеровой историческое понимание, как в целом народе, скрывается за эпическим; она не всегда дает верные фактические данные, но зато прекрасно передает впечатление, оставленное фактом в народе».[18]

«Современник» придал концепции и материалам Гильфердинга свое толкование: он совершенно отбросил особо интересовавшие и умилявшие Гильфердинга свидетельства о религиозной стороне в памятниках эпоса, о его христианско-православных тенденциях и проч., но выдвинул на первый план отношение народа к тому или иному историческому событию. Это было до некоторой степени вариацией тех мыслей, которые развивал Добролюбов в рецензии на сборник сказок Афанасьева, упрекая составителя за отсутствие у него материалов, свидетельствующих об отношении народа к сказанным текстам. Вместе с тем рецензия «Современника» подсказывала Гильфердингу своей интерпретацией его наблюдений новые задачи для дальнейшего исследования.

После возвращения из славянских стран вопросы изучения народной поэзии заняли уже одно из первых мест в научных интересах Гильфердинга.[19] Этот интерес отчетливо сказался, между прочим, и в его деятельности в Русском географическом обществе, где одно время (с 1872 года) он был даже председателем Этнографического отдела. Сборник Рыбникова потому так и взволновал Гильфердинга, что в нем он находил подтверждение своим взглядам, вынесенным из наблюдений над жизнью славянских народов. Сборник Рыбникова явился изумительным событием, показавшим, какие высокие поэтические ценности, идущие из глубин прошлых веков, сохранил русский народ. Он раскрыл живую струю эпической традиции, не только не угасающую, но как бы беспрестанно обновляющуюся и беспрерывно питающуюся новыми соками. Уже «Современник» внушал Гильфердингу новую точку зрения на сделанные им наблюдения, материалы Рыбникова еще более решительно должны были заставить его задуматься над смыслом и сущностью процессов народного эпического творчества.

---

[18] Современник. 1860. Т. 80. Март. С. 129—130.

[19] Из его сочинений, имеющих непосредственное отношение к фольклору и этнографии, следует отметить: *Гильфердинг А.* Старинный сборник сербских пословиц. СПб., 1868 (опубликован по дубровницкой рукописи 1657 г.); *Его же.* Остатки славян на южном берегу Балтийского моря. СПб., 1862 (см. особенно гл. V—IX, посвященные народному характеру и быту словинцев и кашубов; гл. VII подробно описывает «обычаи и обряды», а гл. VIII — «предания и поверия»). В приложении опубликованы «Сказки и образцы наречий» (с. 90—152). Его описание народного характера кашубов очень вдумчиво и направлено против немецких бытописателей и этнографов, изображающих эти народы как стоящие на низшей ступени развития и совершенно чуждые поэзии и культуре. Гильфердинг не только убедительно опровергает эти злостные измышления, но воссоздает в очень привлекательных чертах облик рыбаков-словинцев.

Сборник Рыбникова, как писал сам Гильфердинг, вызвал у него желание самому побывать на Севере, «чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы», и, в особенности, чтобы «послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников».[20] Сам Рыбников, — что, между прочим, окончательно должно рассеять легенду о поездке Гильфердинга ради его проверки, — особенно укреплял Гильфердинга в желании посетить этот край и немало содействовал ему своими советами и практическими указаниями.

Гильфердинг первоначально смотрел на себя только как на туриста; по всей вероятности, он думал в результате своей поездки издать какой-либо очерк, подобный его запискам о путешествии в Боснию и Сербию, но скоро же ему предстали новые задачи. Как пишет он сам, «счастливый случай скоро заставил меня из туриста превратиться в собирателя».[21] Таким «счастливым случаем» были две его встречи в Петрозаводске: со слепым певцом-сказителем Иевом Еремеевым и Абрамом Евтихиевым (Абрам Бутылка). Обе встречи показали ему, что Рыбников далеко не исчерпал всего материала в отношении отдельных районов и отдельных сказителей и что можно еще внести ряд ценнейших дополнений к тому, что было уже им сделано и опубликовано. Вместе с тем, прослушивая тех же певцов, от которых делал свои записи Рыбников, Гильфердинг убедился в необходимости сделать повторные записи на основе более точной и более продуманной методики. Рыбников был до известной степени самоучкой, никакой технической методики в то время еще не было выработано. Гильфердинг уже имел за плечами опыт собирательской работы у славянских народов. Особенно пригодились Гильфердингу его наблюдения над метром и ритмикой славянских песен. Наконец он сразу же убедился, что при каждом повторении былины исполнитель меняет текст, внося или опуская разные детали. Вот для примера два аналогичных былинных текста, пропетых одним и тем же сказителем (Т. Г. Рябининым) в записи Рыбникова и Гильфердинга.

У Рыбникова (по изд. 1909 г. № 4):

Старый казак Илья Муромец
Поехал на добром коне
Мимо Чернигов град:
Под Черниговым силушки черным черно́,
Черным черно́, как черна ворона.
Припустил он коня богатырского
На эту силушку великую,
Стал конем топтать и копьем колоть,
Потоптал и поколол силу в скором времени,
И подъехал он ко городу ко Чернигову.[22]

У Гильфердинга (№ 74) этим десяти строкам соответствуют 18:

Из того ли-то из города из Муромля
Из того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой дородний добрый молодец,

[20] *Гильфердинг А.* Олонецкая губерния и ее народные рапсоды // Вестник Европы. 1872. Т. 34. № 3. С. 82.

[21] Там же. С. 89.

[22] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3 т. 2-е изд. / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1909. Т. 1. С. 15.

Он стоял заутрену во Муромли,
А й к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев град
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову,
У того ли города Чернигова
Нагнано́-то силушки черным черно
А й черным черно как черна во́рона;
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром кони никто тут не проезживат,
Птица черной ворон не пролётыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоёй,
Он как стал-то эту силушку великую,
Стал конем топтать да стал копьём колоть,
А й побил он эту силу всю великую.
Ен подъехал-то под славный под Чернигов град.

Другой пример: «Илья Муромец и дочь его» (у Рыбникова № 5, у Гильфердинга № 77).

Текст Рыбникова:

На славной на Московской на заставы
Стояло двенадцать богатырей без единого
По них, по славной Московской заставы,
Пехотою никто не прохаживал,
На добром коне никто не проезживал,
Серый зверь не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал.[23]

Текст Гильфердинга:

А й на славноей московскоей на за́ставы
Стояло́ двенадцать богатырей их святорусскиих,
А по нёй по славной по московскоей по заставы
А й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто тут не проезживал
Птица черный ворон не пролетывал,
А'ще серый зверь да не прорыскивал.

Различие текстов очевидно, причем одни отличия должны быть отнесены за счет певца, давшего при новой записи более распространенную редакцию и внесшего ряд новых деталей, другие — за счет собирателя. Рыбников опускал всякого рода мелкие приставки (например «й», «то», «да», «ли», «а й» и т. п.), не замечал удлиненных форм отдельных слов («великоей», «славноей»), повторения предлогов («по ней по славноей по московскоей по заставы») и т. п., а между тем неточное соблюдение всех особенностей пения нарушало ритм и создавало неверное представление о форме былины в целом. Уточнены были у Гильфердинга также ударения, отдельные диалектологические особенности говора. Только после появления «Онежских былин» стало возможным составить более правильные представления о русском народном стихе и народной метрике. Но не следует думать, что

[23] Там же. С. 23.

сборник Гильфердинга явился только новой, улучшенной редакцией предыдущего сборника и что с появлением его последний утратил свое научное значение. Отнюдь нет. Сборник Гильфердинга параллелен рыбниковскому, и только при наличии обоих сборников и при их сопоставлении отчетливо уясняются и формы былинного творчества, и его процессы, и его идейная сущность.

Гильфердинг во многом уточнил наблюдения Рыбникова над характером исполнения и над ролью личности певца в процессе народного творчества: эскизные замечания Рыбникова сменились широкой картиной, раскрывающей сложную и многообразную жизнь русского эпоса. Гильфердинг же впервые применил и новые принципы в издании былин, распределив их не по богатырям и не по сюжетам, а по местностям и внутри каждого района по сказителям. Этот принцип издания «по сказителям» стал после Гильфердинга надолго общеобязательным для последующих изданий, тем самым выгодно отличив их от западноевропейских сборников, упорно державшихся традиционной методики.

В соответствии со своим принципиальным пониманием роли сказителя Гильфердинг с большим вниманием отнесся и к самим конкретным носителям эпического богатства. Он хлопотал об их личном благоустройстве, стремился оказать помощь сказителям-беднякам, вызывал отдельных сказителей в столицу, устраивал их выступления в научных обществах и в частных домах и проч. По его ходатайству Т. Г. Рябинин был награжден медалью. Это был первый случай награждения за исполнение народных песен.[24]

Наблюдения же свои над бытом населения, свои впечатления о певцах-сказителях он изложил в особой статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды», принадлежащей вместе с «Заметкой собирателя» Рыбникова к важнейшим памятникам науки о фольклоре. В ней подробно раскрыта картина бытования былин на нашем Севере и сделаны первые наблюдения над сущностью, характером и формами народного сказительства.

Конечно, статья во многом устарела, а во многом и прямо неприемлема для нашего времени, в некоторой части она вызвала возражения и при своем появлении. Ее основной порок в том, что она написана с позиций славянофильства, в свете воззрений последнего на основные процессы народной жизни. Главнейшей причиной, содействовавшей сохранности былевого эпоса в Прионежье, Гильфердинг считал свободу. *Свобода* и *глушь* — вот причины, писал он, «по которым могла сохраниться здесь в народной памяти эпическая поэзия, давно исчезнувшая в других местах России. Этих причин две, и необходимо было их совместное действие...».[25] Эту мысль он поясняет следующим образом: «Народ здесь оставался всегда свободным от крепостного рабства. Ощущая себя свободным человеком, русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы остаться сродного в типе эпического богатыря человеку, чувствовавшему себя рабом».[26] Отдален-

---

[24] В архиве Пушкинского Дома хранится ряд писем Гильфердинга (к Л. Н. Майкову, К. Н. Бестужеву-Рюмину и др.), из которых видно, как усиленно хлопотал он о награждении Рябинина медалью, об устройстве его выступления в Географическом обществе, Славянском обществе и других организациях. Рябинин и другие сказители выступали и на дому у Гильфердинга в присутствии представителей науки и литературы (ср., например, записку к К. Н. Бестужеву-Рюмину от 6 сентября 1871 г⟨ода⟩ или письмо к Л. Н. Майкову от 22 ноября того же года).

[25] *Гильфердинг А.* Олонецкая губерния и ее народные рапсоды // Вестник Европы. 1872. Т. 34. № 3. С. 87.

[26] Там же.

ность же края от культурных центров, отсутствие солдатских постоев, фабричной промышленности и различных новых мод укрепляли, по мнению автора, эти настроения и содействовали сохранению тех стихий, которые составляют «необходимое условие для сохранения эпической поэзии: верность старине и вера в чудесное».[27]

Таким образом, идея свободы у Гильфердинга имеет явно славянофильскую окраску; она ассоциировалась в его представлении с древнерусскими идеалами и была чужда тому содержанию, какое вкладывала в эти понятия демократическая мысль шестидесятых годов. Иной характер носит и отношение к народу Гильфердинга. Внешне оно как будто совпадает с рыбниковским, внешне кажется, будто оба они говорят об одном и том же: оба восхищаются нравственной силой олонецкого крестьянина и возмущаются давящими его бюрократической опекой и административным гнетом, оба восхищаются его стойкостью, ярко выраженным чувством собственного достоинства, благородством и привлекательностью его характера в целом, — но за этим внешним сходством таится и глубокое различие. Высокое нравственное достоинство и духовная цельность олонецкого крестьянина были для Рыбникова залогом его революционных возможностей, для Гильфердинга — свидетельством прочных и крепких «народных» устоев.

Ошибался Гильфердинг и в определении другого фактора сохранности эпической поэзии. «Глушь», т. е. отдаленность от культурных центров и оторванность от новых явлений жизни, вовсе не является обязательным условием для сохранения и дальнейшей жизни народного творчества. Гильфердинг здесь воспроизводил ходячие и трафаретные суждения, существовавшие в начале фольклористических изучений, и придавал им славянофильскую окраску. Для него «глушь» особенно ценна тем, что отделяет народ от влияния новых капиталистических отношений, от влияния фабрик и заводов и всего, что неизбежно связано с этим. Отсутствие фабричной промышленности в Олонецком крае Гильфердинг особо подчеркивает, считая его одним из важнейших благотворных факторов для сохранения не только эпической силы, но и для сохранения нравственных качеств населения. Здесь уже ясно ощущается боязнь растущего класса пролетариев и их влияния, широко охватившая разные слои общества после событий 1871 года.

В этой же связи характерно и явно неверное утверждение Гильфердинга о том, что «знание былин составляет как бы преимущество наиболее исправной части крестьянского населения».[28] «Наиболее исправной» означало, конечно, «наиболее состоятельной и обеспеченной». Такое утверждение явилось результатом предвзятых мнений о сущности народной жизни и уже прямо противоречило наблюдениям Рыбникова, оно противоречило и фактам, сообщаемым самим Гильфердингом. Многие из лучших сказителей, от которых он записал былины, принадлежали к совершенно иной социальной группе. Таков, например, выдающийся сказитель Кузьма Романов, слепой с малолетства, всю жизнь проведший на иждивении мира, таков Иван Фепонов, живущий, по свидетельству Гильфердинга, главным образом «мирским подаянием» и др. Учителем отца и сына Антоновых был слепой калика Мина Ефимов; наконец, сам знаменитый Илья Елустафьев, от которого перенял свои былины Трофим Григорьевич Рябинин, был крестьянином-бедняком: бедный старик с Волкострова, который, «„откачнувшись" от своего сына, ходил тоже по волостям» и находил пропитание в том, что «ладил» и

[27] Там же.
[28] Там же. С. 94.

«чинил всякого рода сети для рыбной ловли».[29] Последующие же изучения окончательно опровергали этот ложный тезис Гильфердинга, открыв ряд замечательных мастеров народного творчества из среды беднейшего крестьянства. Стоит только вспомнить хотя бы широко известную бабушку Кривополенову, влачившую до встречи с собирательницей (О. Э. Озаровской) жалкую жизнь «старухи-нищенки».

Наконец, ошибочен был и тот термин, который принял Гильфердинг для обозначения певцов и сказителей, — «рапсоды». Этот термин был ему дорог, так как он давал возможность объединить в одном понятии образы певцов славянского юга и Русского Севера, что являлось для него лишним подтверждением его панславистских концепций, но этот термин был явно неудачен, ибо он вызывал совершенно иной, несвойственный миру русского крестьянства ряд ассоциаций и стирал национальную специфику явления. Искусственность и нарочитость этого термина были тогда же осознаны, и в дальнейшем он никогда не применялся в русской фольклористической науке.

Отзвук панславистских концепций сказался и в его замечаниях об образе Святогора. Нужно подчеркнуть, что в данной статье Гильфердинг совершенно воздержался от каких бы то ни было обобщений компаративистского типа и отказался от методов, которые были свойственны ему в ранних лингвистических работах. Единственным отступлением является только несколько строк, посвященных им толкованию былины о Святогоре, которого он, на основании одного варианта (сказителя Фепонова), сближал с героем моравских сказаний Святополком.

Эта гипотеза не встретила сочувствия и не нашла признания даже в среде, близкой Гильфердингу, и в дальнейшем просто выпала из науки; Гильфердингу же она была очень дорога, так как давала возможность, казалось ему, установить связи русского народного эпоса с древностью других славянских народов, подобно тому как это он пытался делать, вводя для обозначения русских певцов-сказителей термин «рапсоды».

На свой сборник Гильфердинг смотрел только как на начало работы. В следующем году он вновь отправился на север. Он выехал 8 июня 1872 года, но уже 15 июня он заболел в дороге брюшным тифом и через пять дней, 20 июня 1872 года, скончался, пав, в полном смысле, на посту. Приготовленный им к печати том «Онежских былин» вышел уже после его смерти, сразу приковав к себе всеобщее внимание и явившись исключительным по значению вкладом русской фольклористики в мировую науку. Воззрения Рыбникова и Гильфердинга на народ, его роль в истории, на сущность народного творчества, на задачи науки во многом расходились и являлись полярно противоположными, но их сборники, явившиеся итогом длительного пути русской фольклористической мысли, послужили рубежом в истории собирания, издания памятников народной поэзии, заставив по-новому понимать сущность фольклорных процессов и законы эпического развития. И в этом отношении Гильфердинг, невольно для себя, отражал тенденцию новой исторической эпохи, шедшей под знаком демократических идей, и содействовал разрушению архаистических тенденций в науке и народном творчестве.

Помимо своего исключительного научного значения «Онежские былины» Гильфердинга имели огромнейшее литературное и общественное значение. Правда, уже предыдущие сборники, начиная от Кирши Данилова и кончая Рыбниковым, ввели в русскую литературу величественные образы

---

[29] Цит. по: Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 3-е изд. / Подгот. текста и комм. А. И. Никифорова. М.; Л., 1938. Т. 2. С. 5.

русского эпоса, но только после сборника Гильфердинга, благодаря его точной и тщательной записи, раскрылось в полной мере изумительное художественное совершенство русских былин. И потому-то «Онежские былины» в течение долгого времени были настольной и любимой книгой не только каждого фольклориста-исследователя и собирателя, но они стали необходимыми для историка, педагога, поэта. Со времени появления этого сборника начинается широкое проникновение русских былевых образов и в западноевропейскую науку и литературу.

«Онежские былины» явились мощным стимулом и для дальнейших изучений. По методу Гильфердинга производились поиски в других районах Заонежья, на Печоре, на Мезени, на побережье Белого моря, в Сибири; замечательные сборники Ончукова, Маркова, Григорьева, братьев Соколовых, Астаховой непосредственно и органически примыкают к сборнику Гильфердинга, являясь прямым продолжением и дальнейшим развитием его работ и методов. Наконец в 1926—1928 годах была организована специальная поездка «по следам Рыбникова и Гильфердинга» в те места, где они работали 50—60 лет назад, давшая возможность еще глубже осветить вопросы жизни и эволюции эпоса.

Советская фольклористика значительно уточнила и углубила методы, выработанные Гильфердингом: она внесла глубокие и принципиальные коррективы в понимание сущности и процессов народного творчества, пересмотрев с иных позиций его наблюдения и выводы. Но вместе с тем советская фольклористика сумела и заново оценить его замечательный труд, включив его в число важнейших памятников научного наследия.

© *В. И. ЕРЕМИНА*

СКАЗОЧНЫЙ СЮЖЕТ «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЦАРСКОЙ КОРОНОЙ» В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Исследование исторических корней «бродячего» сказочного сюжета о Вавилоне-городе объединило по крайней мере две темы близкие творчеству М. К. Азадовского: рассмотрение русского фольклора на фоне международного и связь устной и письменной традиций.

Название сюжета (СУС 485 = AA^{x} 485A),[1] вынесенное в заглавие статьи, в сказочных сборниках изменчиво. Сюжет может быть назван по цели поездки — «Путешествие за царской короной» (Башк. Урал, с. 25—27) или по месту назначения — «Вавилон-город» (Онч. № 182), «О Вавилонском государстве» (Вост. Сиб. № 26), «Вавилонское царство» (Кар. Поморье, № 49). Значительное число сказок названо по имени героя, отправляющегося в Вавилон-город за царскими регалиями: «Федор Кормаков (Бурмаков)» (Онч. № 48, 181); «Князь Борсуков» (Онч. № 282); «Борма Ярыжка» (Сад. № 3, Онч. № 259) и т. д.[2]

---

[1] Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, В. Н. Новиков. Л., 1979.

[2] Сокращения в тексте: 1) Башк. Урал — Материалы и исследования по фольклору Башкирии и Урала / Отв. ред. Л. Г. Бараг. Уфа, 1974; 2) Вост. Сиб. — Записки Красноярского подотде-

География сказочных вариантов данного сюжета достаточно широка: Север России (Архангельская и Олонецкая губернии), Самарская губерния, Восточная Сибирь, Урал, Карельское Поморье, Украина, Белоруссия и незначительное число западных источников.

Сюжет о Вавилон-городе во всех известных нам вариантах необычайно устойчив: царь кличет клич, кто бы сходил в Вавилонское государство и достал ему царские порфиру, корону и костыль (жезл) для того, чтобы он смог заступить на царство. Герой, как правило, «голь кабацкая», вызывается достать атрибуты царской власти. Он, преодолев определенные препятствия, прибывает в Вавилон и видит, что город охраняет громадный Змей, опоясывающий его как стена. Когда Змей засыпает, герой проникает внутрь города, где находит полное запустение: все живое съедено змеями. Единолично и безраздельно правит в Вавилон-городе Царь-Девица. По ее просьбе прибывший в город герой играет с ней в шашки (шахматы, карты). Этот эпизод ничего загадочного не содержит, он привлечен с одной лишь целью: фигура (карта) падает, он наклоняется и видит, что девица наполовину змея (Сад. № 3). В вариантах: у нее туловище человечье, а хвост змеиный (Онч. № 127); лицо человеческое, а вместо ног — сто змей свились (Онч. № 181); «ни женщина, ни полженщины» (Кар. Поморье, № 49).[3] Сказочный герой всегда побеждает Царь-Девицу и получает царские регалии. На обратном пути на родину он помогает Льву в его борьбе со Змеем. Царь получает вожделенную корону, порфиру и жезл.

Сюжет о Вавилон-городе в сказочной системе обособлен и ни в какие контаминации не вступает. Поразительная устойчивость его сохраняется даже в самых поздних записях, где Вавилонское царство не просто заменено тридесятым (Онч. № 31), но и развивает чисто сказочные подробности: герой прежде чем в него попасть, снашивает три пары железных сапог, разбивает три чугунных трости и съедает три просвиры (Башк. Урал, с. 25—27). В той же уральской сказке бабушка-помощница дарит ему клубочек, шелковый платок и свечу, которые помогают найти нужный путь и спасают от змей.

Сколько бы подробно мы не сравнивали между собой сказочные варианты данного сюжета, остаются непонятными практически все его основные мотивы. Не ясна сама суть фантастических мотивов в данном сюжете,[4] непонятно, причем здесь Вавилон и какова роль царского венца, о каких именно царях идет речь, поскольку наиболее ранняя по времени запись (Сад. 1884 г.) персонифицирует царя — это Иван Васильевич Грозный и т. д.

Словом, совершенно очевидно, что попытка найти исторические корни всех основных мотивов раннего сюжета, исходя только из фольклорных данных, окажется тщетной.

ла Восточно-Сибирского отделения Имп. рус. географического общества по этнографии / Под ред. Т. Н. Потанина. Томск, 1906. Т. I. Вып. 2; 3) Ист. песни — Исторические песни XIII— XVI веков / Изд. подгот. Б. Н. Путилов, Б. М. Добровольский. М.; Л., 1960; 4) Кар. Поморье — Русские народные сказки Карельского Поморья / Сост. А. П. Разумова, Г. И. Сенькина. Петрозаводск, 1974; 5) Никифоров — Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова / Изд. подгот. В. Я. Пропп. М.; Л., 1961; 6) Онч. — Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова // Записки РГО. 1908. Т. XXXIII; 7) Сад. — Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым // Записки РГО. Т. XII. 1884.

[3] Или же сразу видит девицу с песьей головой (Онч. № 48); девицу — нечистый дух (Никифоров, № 40). И только в одном случае Сенька Барабокин играет в карты со Змеей «с мужским ликом» (Онч. № 182).

[4] Препятствия, пройдя через которые он идет к достижению цели: одноглазый старик-великан (или кривой Лука-богатырь, Сайтан Сайтанович), которому он «лечит» свинцом или оловом здоровый глаз; мотив о том, как сказочный герой спасается в шкуре козла или под брюхом овцы; испытание силы хмеля и пр. — все эти мотивы легко объясняются общемифологическими данными, а поэтому в настоящей статье мы их опускаем.

Сказка о Вавилон-городе жила параллельно с древнерусскими повестями на тот же сюжет. Устные и письменные источники влияли друг на друга, взаимно обогащались и сохраняли часто, казалось бы, незначительные, но столь необходимые для уяснения сути явления, подробности.

Впервые «Повесть о посольстве в Вавилон» была в отрывках опубликована в 1854 году Ф. И. Буслаевым.[5] В том же году «Сказания о Вавилонском царстве» по рукописи Румянцевского музея (№ 374) в «Известиях Академии наук» издал А. Н. Пыпин.[6] Затем в «Очерках литературной истории старинных повестей и сказок русских» А. Н. Пыпин вновь публикует рукописную «Притчу о Вавилон-городе».[7] Далее, в 1860 году, следует публикация Н. И. Костомарова,[8] в 1859 и 1861 годах — Н. С. Тихонравова,[9] в 1876 году — А. Н. Веселовского,[10] в 1891 году — И. Жданова[11] и др.

Рукописные тексты древнерусских сказаний о Вавилонском царстве, ставшие доступными широкому читателю, относятся к концу XVI века («Послание от Улева-царя, во крещении нареченного Василья, иже посла в Вавилон испытати»), но распространяются в основном в XVII и XVIII веках.

Древнерусские повести: «Повесть о посольстве в Вавилон», «Притча о Вавилон-граде» и др. дают нам отсутствующие в народных сказках подробности о вавилонском царе Навуходоносоре и его сыне Василии, о Великом Змее, охраняющем город, о двух венцах, о запустении Вавилона и о переходе короны к русскому царю Владимиру.

Рассмотрим некоторые дополнительные сведения, которые раскрывают нам рукописные тексты. В Вавилонском царстве умирает величайший царь Аксеркс. Под сосной находят младенца, которого охраняют сова и коза. Дали имя сове — Носор, козе — Аха, а младенцу — Навход (ср. волчица и дятел — покровители Ромула и Рема). В городских воротах установили рог: над кем рог «воскипит», тот и будет царем в Вавилоне. Когда проносили найденыша через ворота — рог «воскипел», и Навуходоносор (составное имя из трех) был объявлен царем. Он построил прекрасный город Вавилон и много лет царствовал в нем. Немало врагов разбил он своим мечом аспид-змеем, а перед смертью приказал замуровать меч в стену до скончания века. На престол вступил его сын — царь Лев, во святом крещении — Василий. Прослышав о смерти великого царя, большие силы недругов подошли к Вавилону и окружили его («Сказание о царе Василие сыне Навуходоносора, царя вавилонского»).[12] Василий, понимая, что силы неравны, нарушает запрет отца и велит освободить меч Навуходоносора. Меч тут же рубит голову самому Василию, а затем и его войску.

---

[5] *Буслаев Ф. И.* О русских пословицах // Архив историко-юридических сведений о России. 1854. Кн. II. Отд. IV. С. 47—49.

[6] *Пыпин А. Н.* Сказка о Вавилонском царстве по рукописи Румянцевского музея (№ 374) // Изв. Имп. Акад. наук по отд. русского языка и словесности. 1854. Т. III. С. 314—318.

[7] *Пыпин А. Н.* Очерки литературной истории старинных повестей и сказок русских // Ученые записки второго отд. АН. 1858. Кн. IV.

[8] *Костомаров Н. И.* Сказание о Вавилонском царстве... // Памятники старинной русской литературы. 1860. Вып. II. С. 394—396.

[9] *Тихонравов Н. С.* Сказание о Вавилоне. Текст из раскольничьей рукописи нового письма // Летописи русской литературы и древности. 1859. Т. I. Отд. III. С. 161—165; 1861. Т. III. Отд. III. С. 20—33.

[10] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском // Славянский сб. 1876. Т. II. Отд. 1. С. 125—140.

[11] *Жданов И.* Сказание о царе Аксеркse Вавилон-града, како от мору соблюден бысть. Из рукописного сб. XVII в. // Журнал Мин. нар. просвещения. 1891. Сент. С. 362—368.

[12] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 131—132.

Наступает запустение Вавилона: змеи начали пожирать людей: «А во граде, что было знамя змеи, жен и детей поели и всякий скот; а что был великий Змий около града камень, и тот жив стал, свистая и рыкая. От тех же мест и до ныне царствующий Вавилон-град новый пуст стал».[13]

Народная сказка упускает все, что связано с созданием Вавилона и его царем, она начинается с эпизода о том, как какой-то царь посылает в разрушенный Вавилон своего гонца, чтобы тот достал ему царские регалии. В различных редакциях древнерусской повести о Вавилон-граде речь тоже идет о послах, которые были отправлены греческим царем Львом в Вавилон, чтобы привезти ему вещи, которые когда-то принадлежали вавилонскому царю Навуходоносору.

В этом же ряду повестей стоит и литературная волшебно-рыцарская «Повесть о Богатыре Булате» В. А. Левшина, в которой рассказывается о том, как князь земли Русской Владимир, получив от отца области, разоренные «мятущимися подданными»[14] и неудачной войной с Царь-Девицей,[15] достигнув совершеннолетия, решил венчаться короной своего праотца Руса. Короной завладела Царь-Девица, и эту реликвию необходимо достать, чтобы вернуть «утраченную чистоту жизни», ее нравственные устои. Только получив назад венец князь Владимир сможет поднять упавшее государство. После различных приключений посла князя Владимира, аналогичных древнерусской повести, князь Владимир получает «венец» и становится идеальным правителем, свято исполняющим великие заветы «венца». Итак, «сердоликова крабица», если верить повести, от вавилонского царя переходит к греческому, а от него к русскому князю Владимиру, а древние «венцы» Навуходоносора заменяются короной, порфирой и жезлом.

В литературе идея московского единодержавия окончательно формируется лишь в XVI веке. «Эта идея есть не только идея Московского государства, но в то же время идея Русской земли. Таким образом, идеология старой Киевской Руси и новой — Московской сближаются, так как с этого времени самодержавная власть является уже национальной властью. Внешним образом это выразилось в том, что московский государь принимает титул царя».[16] Идея государства формировалась в виде положения о том, что Москва — это «третий Рим», то есть «Москва имеет преемственную государственную власть не только от Византии («второго Рима»), а через нее и от старого Рима, и даже более того, от истинных царей — древних царей Востока».[17]

Проводником этой идеи становятся *новые* литературные памятники: это прежде всего поздние летописные своды, так называемые Полихроны (по терминологии А. А. Шахматова).[18] Сюда может быть отнесен «Полихрон Владимирский», сформировавшийся в 60-е годы XV века и завершенный в 20-е годы XVI века, и Степенная книга, пришедшая на смену Киевской летописи. «Книга степенная царских родов» и старый летописный материал наполняются новым звучанием. «Созданная в 60-е гг. XVI в. Степенная кни-

---

[13] Там же. С. 132.

[14] Речь идет о восстании финских народов.

[15] В примечании к повести В. А. Левшин поясняет: «Царь-Девица не есть собственное имя. Древние россы придавали оное вообще всем владеющим монархиням» (см.: *Сиповский В. В.* Очерки из истории русского романа. СПб., 1910. Т. I. Вып. 2 (XVIII в.). С. 197).

[16] *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы. М., 1914. С. 409.

[17] Там же. См. также: *Малинин В. Н.* Старец Филофей Елеазарова монастыря. Киев, 1901.

[18] *Шахматов А. А.* К вопросу о происхождении Хронографа. СПб., 1899; *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975; *Водолазкин Е. Г.* Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI—XV веков). München, 2000.

га представляет собой первую попытку концептуального изложения русской истории. В основу композиционного построения положен образ лестницы с золотыми ступенями, ведущей Россию и ее народ от земли на небо, от язычества к Богу. Каждая ступень этой лестницы — период правления очередного русского „самодержца". Таковыми в Степенной книге представлены русские князья от Владимира Святого до Ивана Грозного, чье правление составляет последнюю, семнадцатую степень (ступень) золотой „лестницы" русской истории».[19] Русский хронограф первой редакции[20] завершается сказанием о падении Цареграда, о переходе его власти к Москве. Эти события нашли свое отражение в древнерусской «Повести о взятии Константинополя».

Степенная книга построена по генеалогической схеме царских родов и прежде всего «русского правящего „царского" рода, который в глазах составителя является потомками святого князя Владимира и первой христианки св. княгини Ольги. Отсюда становится ясным отношение составителя Степенной книги к источникам, которыми он пользовался: летописные старые источники считались им важными постольку, поскольку подтверждали главенствующую роль предков ныне царствующих князей и царей; но этого одного источника не достаточно, поэтому туда включался ряд *новых* памятников: легенды, отдельные сказания из других памятников, раз они служили этой заглавной цели, говорили о святых или угодивших Богу создателях Московской державы».[21]

Ту же самую идею Москвы как «третьего Рима» отразили и повести квазиисторического характера, в числе которых оказалась и повесть о «Вавилоне-городе», сложившаяся на основе переработки бродячих международных сюжетов со сказочными элементами.[22] По предположению М. Н. Сперанского, первоначально повесть завершалась эпизодом о возвращении послов к царю Льву и вручением ему царских регалий (так завершается и народная сказка того же сюжета). Однако в XV веке рассказ получил своеобразное русское продолжение: «царь греческий посылает в подарок Владимиру Мономаху, так как он „от крови царской", символы царской власти. Это должно было показать наглядно русским людям того времени, что власть московских царей унаследована с Востока».[23]

В перенесении сказочного венца есть все основания видеть перенесение царской власти и могущества государства. То есть власть, «символически выраженная в образе венца, перенесена с Востока в Византию, которая становится средоточием и источником царского достоинства».[24] Легенда, таким образом, находит удобную форму выражения перенесения власти.[25] Что же касается третьего звена этой цепочки, то переход власти из Византии на Русь — вторичен.

Рассмотрение несказочной «Повести о князьях Володимерских» поможет нам дать ответ на еще один важный вопрос — о каком князе Владимире идет речь, о Владимире Всеволодовиче Мономахе или о Владимире Святославиче, который тоже получил царский венец и титул из Византии, от царя и патриарха греческих. Именно Владимир Святославич был первым

---

[19] *Сиренов А. А.* Степенная книга: история текста. М., 2007. С. 3. См. также: *Васенко П. Г.* Книга степенная. СПб., 1904.

[20] *Попов А. Н.* Обзор хронографов русской редакции. М., 1867. Вып. I.

[21] *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы. С. 412.

[22] Ее оригинал неизвестен.

[23] *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы. С. 416.

[24] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 163.

[25] Там же. С. 164.

русским венчальным царем. Татищев в «Истории России» пишет: «По сказанию о князьях Владимирских, царь греческий после поражения его войск посылает Владимиру крест, венец, бармы и иные многия дары. Греческие епископы венчают Владимира, как царя ⟨...⟩ Великий князь Владимир Святославич, как крестился сам и землю Русскую крестил, и царь греческий и патриарх венчали его на царство Русское».[26]

Корсунский поход, как известно, завершился браком Владимира с греческой царевной Рогнедой (в крещении Анной). Таким образом царское венчание соединилось с брачным обрядом. «Такое смешение двух венцов не покажется особенно странным, если припомнить, что подобное же если не смешение, то сопоставление находим в таком памятнике, как речь митрополита Макария, сказанная Ивану IV и Анастасии Романовне после их брачного венчания».[27] Получается своеобразная «историческая редупликация: два князя Владимира получают от Византии венец и царский титул».[28]

Владимир Мономах идет войной на Кафу и возвращается победителем. В сказаниях о Владимире Святославиче тоже упоминается Кафа и везде она названа греческим городом. То есть несомненно смешение, объединение в некоторых сказаниях исторических данных и народных преданий, объединение разных редакций «Повести о Вавилон-городе». По заключению И. Жданова «в памятниках литературных до XVI века мы не находим никаких известий, которые можно было бы признать основою занимающего нас сказания в его разнообразных редакциях».[29] Стало быть возможно предположение об устной природе сказания о венчании князя Владимира, причем способ передачи не изменил его эпической сущности.

Однако это устное предание было не однозначным, оно могло быть и родовым и народным. Родовое, или династическое, предание связано со святынями, которые хранились в великокняжеской семье и известны под названием «мономаховых» или «владимирских», народные предания существовали в форме эпических песен, легенд и сказок.

Вопрос о том, какой из этих двух видов преданий можно рассматривать как основу сказаний о Вавилоне и о драгоценностях, добытых князем Владимиром, решается достаточно просто. Прозоровский в статье «Об утварях, приписываемых Владимиру Мономаху» путем сопоставления данных, которые он «извлек из великокняжеских завещаний, пришел к выводу, решительно устраняющему предположение о родовом предании».[30]

Основательность его выводов столь велика, что к этому вопросу можно уже не возвращаться. Стало быть остается предположение о народном источнике интересующих нас сказаний. И. Жданов показал, что «за вычетом исторических добавок, внесенных в книжные пересказы народного предания о князе Владимире, получается некоторый эпический остаток, общий всем версиям изучаемого сказания. Содержание этого остатка представляется на первый взгляд чрезвычайно скудным: какой-то князь Владимир вел войну с греками, одолел их, получил от побежденных богатые дары. Такой рассказ остался бы загадочным обломком, лишенным исторического и литературного значения, если бы не открывалась возможность указать то эпическое целое, к которому принадлежит этот обломок, если бы не был известен целый круг поэтических сказаний, сосредоточивающихся около имени

---

[26] *Татищев В. Н.* История российская. 1768—1848. Кн. II. М., 1769. С. 464—465.

[27] *Жданов И.* Повести о Вавилоне и «Сказание о князьях Владимирских» // Журнал Мин. нар. просвещения. 1891. Сент.—Окт. № 9—10. С. 350.

[28] Там же. С. 328.

[29] Там же. С. 333.

[30] Там же.

князя Владимира, — сказаний, сохранившихся и в памятниках письменности, и в произведениях народной словесности».[31] Далекая историческая основа былин восходит к событиям X—XI веков, т. е. к тому, что оставила в народной памяти деятельность Владимира Святославича. Предания, отмеченные в Киевской летописи, свидетельствуют, что еще в начале XII века образ «старого Владимира» стал достоянием народного эпоса. Упоминания о нем попадаются и в поздних хронографах, и Степенной книге.

Остается нерешенным вопрос — почему венец и порфира хранятся именно в церкви.

В народной сказке (Онч. № 48) рассказывается, что в опустевшем Вавилоне посол царя — Федор Бурмаков идет в церковь молиться. Богородица указывает ему, где найти царские драгоценности. В сказках в пустом городе стоит часовенка (или церковь) и в ней вожделенная корона (Сад. № 3; Кар. Поморье, № 49).

Из мировой истории хорошо известны факты, когда в моменты тяжелейших испытаний на смену светским властям приходят первосвященники. Так было в Риме, когда Рим цезарей превратился в Рим средневековых пап, так было и в Иерусалиме, «когда вожди Израиля стремились утешить свой народ, вознаградить его за все унижения, выпавшие на его долю в сфере материальной жизни и поднять его на высшую ступень жизни духовной. ⟨...⟩ Подобные стремления и идеалы придавали общественной жизни все более и более клерикальный характер, выдвигая на первый план интересы церкви и делая жреческое влияние доминирующим. Царь был заменен первосвященником, унаследовавшим даже пурпурные одежды и золотую корону своего предшественника».[32]

Та же тенденция прослеживается и в разоренном Вавилоне, когда церковь становится единственным местом, с которым связаны все надежды на возрождение. Туда царь Иван Васильевич посылает своего гонца за скипетром и короной в легендарной сказке о Федоре Борме. Борма встречает Правду (в сказке это собственное имя), которая рассказывает ему судьбу Вавилонского царства: в погибшем городе осталась только церковь, в ней (у Егория Победоносца и Митрия Салунского) хранятся порфира, корона и жезлы царские. Жива одна девица, которая молится Егорию Храброму и Митрию Салунскому. Федор Борма взмолился этой девице: «Сбереги меня от напрасной смерти и пособи мне добыть корону, скипетр и жезлы царские в храме» (Сад. № 3, с. 251). Девица дает ему волшебный ковер, чтобы он мог увезти по морю православному царю необходимые ему сокровища. Доехал Борма до Царьграда — там «великое кроволитие», рушится вера православная, умер православный царь.

А Иван Грозный тем временем идет с войском на Казань:

И задумал царь под Казань пойти,
И Казаньскóё царьство мимоходом взять,
И Казаньскóго царя со престола снять,
Снять с ёго корону цярьскую.
(Ист. песни, № 220; см. также № 232, 233)

Казанское царство мимоходом взял,
Царя Симеона под мир склонил,
Снял я с царя порфиру царскую,

[31] Там же. С. 340.
[32] *Фрэзер Дж.* Фольклор в Ветхом завете. М., 1989. С. 80.

Привёз порфиру в каменну Москву,
Крестил я порфиру в каменной Москве,
Эту порфиру на себя наложил,
После этого стал Грозный царь!
(Ист. песни, № 236; см. также № 255*)

Взятие Казани, воспетое народными песнями, было первым завоеванием татарской территории, одной из самых значительных побед эпохи Ивана Грозного. Это был важнейший факт для истории Московской Руси. «История взятия Казани» (или «История о Казанском царстве») попала в летописи,[33] но при этом испытала влияние более раннего исторического события — завоевание Царьграда турками. Смешение этих двух разновременных событий нашло свое отражение в народных песнях.

В песнях рассказывается, что «самым поводом к взятию Казани для Ивана Грозного было завоевание царства, то есть стремление получить право на титул».[34]

Порасхвастался прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич:
Я повывел-то изменушку изó Пскова,
Ай повынес я царенья из Царяграда,
А царя-то Перфила я под меч склонил,
А царицы-то Елены голову срубил,
Царскую перфилу на себя одел,
Царский костыль да себи в руки взял.
(Ист. песни, № 211; см. также № 206, 208, 223)

Народная песня, таким образом, «связала прагматически два события — воцарение Ивана Грозного со взятием им Казани»[35] и, кроме того, показала византийское происхождение этой власти. Последний момент объединяет народные песни об Иване Грозном со «Сказанием о Вавилонском царстве». Перспектива исторического события является «преломленной сквозь призму идейных стремлений Московского правительства, причем средством для выражения этого преломления взята народно-поэтическая повесть о Вавилонском царстве с той же тенденцией. Если здесь мы видим некоторое искажение исторической перспективы, зато довольно точно и верно передана самая мысль, самый смысл события».[36] Сказки о Вавилон-городе также сложились путем перенесения на русского царя Ивана Васильевича того, что книжная повесть рассказывает о византийском императоре Льве. Начало сказки «удерживается на византийской почве; конец, развязка, переносится на Русь, приурочиваясь к определенному историческому событию (завоевание Казани)».[37] Несомненно также воздействие на сказку «историко-литературной аналогии, приводившей к соединению захожих сказаний о Вавилоне с русскими историческими событиями».[38]

Таким образом, на одной и той же основе могли быть созданы неодинаковые повествования, причем «каждое из таких повествований представля-

---

[33] Издана в XIX томе «Полного собрания русских летописей». Исследование: *Кунцевич Г. З.* «История о Казанском царстве, или Казанский летописец». СПб., 1905.
[34] *Сперанский М. Н.* Русская устная словесность. М., 1917. С. 337.
[35] Там же. С. 340.
[36] Там же.
[37] *Жданов И.* Повести о Вавилоне... С. 51.
[38] Там же. С. 50.

ло *сплав* народно-поэтического предания с теми или другими подробностями, навеянными литературой временников и исторических сказаний».[39] Вопрос о происхождении русских повестей о Вавилоне в значительной степени остается открытым. Было высказано предположение[40] о возможных их южнославянских корнях. Основание к такому заключению на первый взгляд весьма шаткое, так как греческий оригинал повестей отсутствует, а опираться в своих рассуждениях только на имя Находь, что по-сербски означает «найденыш», явно недостаточно для столь серьезного вывода.[41] А потому предположение о южнославянском происхождении русских повестей о Вавилонском царстве вполне могло восприниматься только как смелая гипотеза.

Однако идея исключительности Московского царства не могла возникнуть ниоткуда. М. Н. Сперанский, в частности, утверждал, что самая формулировка этой идеи «слагалась не без влияния юго-славянства, которое несло материал для этой формулировки и самый метод обработки его в определенную литературную форму».[42] Продолжая развивать эту мысль, он подчеркивал, что «в XV веке мы встречаемся на почве московской литературы с такими новыми явлениями в области литературы и языка, которые не могут быть выведены путем эволюции ни из западного рационализма, ни объяснены как результат самостоятельного развития; а явления эти, характерные и новые для нас, и по содержанию, и по форме явно выдают между тем свое югославянское происхождение».[43]

Второе югославянское возрождение XIV века и литература Евфимьевской эпохи, получившие отклик в Московской Руси лишь в XV веке, связываются с заметным влиянием на политическую и идейную сторону московской литературы XV—XVI веков.[44]

В общей связи с новыми югославянскими политическими течениями следует рассматривать, по-видимому, как повести «генеалогического» характера (в их числе и повесть о Вавилоне), так и Хронограф русского состава (первая редакция его сложилась в 1512 году), который тоже не оставил в стороне данные по югославянству.[45] Таким образом, став посредником между Византией и Русским государством, южные славяне оказались передатчиками (часто делая это неточно и сокращенно) элементов культуры Византии XI—XIII веков.

«Исторические» события сказки и древнерусской повести о Вавилонском царстве находятся в обрамлении чисто сказочных, фантастических мотивов. В повестях о посольстве в Вавилон речь идет о том, что вавилонский царь приказал сотворить ему новый чуден град о семи стенах, о семи верстах: «И повелел Навуходоносор — царь во всем Вавилоне-граде знамя учинити на платье и на оружие, и на конях, и на уздах, и на седлах, и на хоромах, на всяком бревне, и на дверях, и на окошках, и на сосудах, на ставцах, и на блюдах, и на ложках, и на всяких сосудах, и на всяком скоту. Знамя —

---

[39] Там же. С. 136.

[40] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 141.

[41] Борьба с Византией на Балканском полуострове XI—XIV веков сопровождалась переменным влиянием Сербии (сербские Неманичи — XI—XII века) и Болгарии.

[42] *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы. С. 419.

[43] Там же.

[44] Опускаем здесь причины столь позднего отголоска этого болгарского течения в России.

[45] *Пыпин А. Н.* История славянских литератур. СПб., 1881; *Успенский Ф. И.* Образование второго болгарского царства. Одесса, 1879; *Радченко К. Ф.* Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898; *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси. СПб., 1903. С. 1—38.

все змеи. Полюбися царю то знамя и повелел себе сделать меч-самосек аспид-змий» и чтили змея как Бога.[46]

Оставляя в стороне вопрос о первичности данного мотива в книжной повести или народной сказке, покажем насколько близко он в них сохранился. В сказке читаем: «Раньше у вавилонского царя было полюблено писать на чашках, на ложках, на всякой вещи змей» (Онч. № 282, «Князь Борсуков»); «Царь вавилонский издал указ, чтобы на всем змеи были вырезаны и написаны: на чашках и на ложках, и на монетах. Бог его наказал: все эти змеи ожили» (Сад. № 3, «Борма Ярыжка»; также: Вост. Сиб. № 26).

Изображение змей на сосудах, и керамике прежде всего, а также на любых других предметах — характерная черта ранней мифологической символики земледельческих культур. Бродячие сюжеты, как мы видели, очень точно передают это изначальное культовое значение змей как символа плодородия.

Вокруг Вавилона-города (и в сказке, и в повести) лежит Великий Змей: «хобот свой пригнул и с другой стороны, к тем же вратам, где лежит голова».[47] Другая постоянная функция Змея связана с огнем, домашним очагом. В русской сказочной системе Великий Змей часто называется огненным: «Пошел Фёдор Бурмаков с товарищами на гору, увидели Вавилон-город. Подходят ко городу, обтянулся вокруг городу огненный Змей, хвост-голова в воротах» (Онч. № 48).

В древнерусской «Повести о виде́нии во Владимире», сохранившейся в единственном списке, некой «жене в светлых ризах ⟨...⟩ случилось пречудное видение»: если все православные не будут усиленно молиться «всещедрому творцу», то случится у них в городе «пожар на три дня, и от того, де, пожара невозможно будет укрыться нигде, и будет на них многое множество гадов ползучих», а огромный Змей «начнет поедать людей, и будет срам великий».[48]

Огромный огненный Змей, охраняющий город, засыпает на час и тогда сказочный герой проникает в Вавилон-город (Онч. № 127; Вост. Сиб. № 26). «Змеи ⟨...⟩ спали между обедней и заутренней в Свято-Христово Воскресенье» (Сад. № 3, с. 23). В средние века факт воскресного покоя соблюдался повсеместно. «Демоны-чудовища, населяющие Вавилон, тоже засыпают в это время и пробуждаются лишь к заходу солнца в воскресенье».[49]

А. Н. Веселовский в рецензии на книгу М. Гастера,[50] касаясь повести о «Вавилонском царстве», приводит эпизод о Великом Змее в одном славянском списке жития святых Кирика и Улиты, и делает еще одно существенное замечание, связанное с истоками этой повести. А. Н. Веселовский говорит о том, что если эпизод о вавилонском Змее входил в древний состав жития о Кирике и Улите и принадлежал вообще по замыслу не к объективно-повествовательным, а к легендарно апокрифическим мотивам, то в «Повести о Вавилонском царстве» он «являлся уже в другой, позднейшей стадии своего применения: и здесь данные апокрифа развились в схему

---

[46] Этот текст (d) древнерусской повести опубликован: *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 127.

[47] Там же. С. 137. Аналогично в сказках: Онч. № 48, Вост. Сиб. № 26. Космическая функция мирового Змея (Змей опоясывающий землю) характерна для древнеиндийской, скандинавской и египетской мифологий.

[48] Повесть о виде́нии во Владимире в 1611 году // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 14. Конец XVI—начало XVII в. СПб., 2006. С. 217. Повесть сохранилась в единственном списке (РИБ. Эрмитажное собр. № 358. Л. 10—10 об.). Впервые опубликована С. Ф. Платоновым (РИБ. Т. 13. Стлб. 240—242).

[49] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 160.

[50] *Gaster M.* Ilchester lectures on greco-slavonic literature and its relation to the folk-lore of Europe during the Middel Ages. London, 1887.

повести, как талмудические рассказы о Соломоне перешли в романтическое сказание об увозе его жены».[51] Это вносит определенную двойственность в решение вопроса: к чему именно — к апокрифу или к повести отнести образ вавилонского Змея.

А. Н. Веселовский, в отличие от М. Гастера, ставит «Повесть о Вавилонском царстве» в один ряд с рассказами романтического содержания, проникших из Греции к славянам. Именно греки нередко были передатчиками иноземного предания: так перешли к нам Акир премудрый, Варлаам, Иоасаф и др. Тем не менее окончательный ответ на этот вопрос остается открытым.

Народная сказка приводит героя в уже мертвый город, где живут одни только змеи и змееобразные люди. Сказки о Вавилоне отразили разные этапы в развитии образа Змея: здесь змеи по внешнему виду ничем не отличаются от обычных пресмыкающихся, они населяют разрушенный город. Здесь же громадный Змей, опоясывающий город, — как отголосок космической функции мирового Змея, известного древнеиндийской и египетской мифологиям. В развитых мифологических системах образ Змея обретает внешние черты животных прямо противоположных по своей сущности: змея—птица (земля—небо) трансформируется в крылатого змея (дракона) или в существо со змеиным туловищем (ногами).[52] И, наконец, позднейшая трансформация: девица оборачивается змеей (Вост. Сиб. № 26) или наоборот змея оказывается в женском облике (Б. П. № 277).[53] В последнем случае змея — нечистый дух (Вост. Сиб. № 26; Никифоров, № 40), змея-девица функционально всегда бывает связана с неверным, потусторонним миром. Образ Змея имеет двойственное значение: Змей — символ плодородия и одновременно образ злой, искушающей силы (последнее значение нашло свое отражение в Ветхом завете в рассказе о «грехопадении»). Это двойственное значение образа, свойственное архаическим мифологическим системам, со временем уступило место однозначно отрицательному его осознанию в индоеврейской, шумерской и более поздней древнегерманской и славянской мифологиях.[54] В русском фольклоре змея — всегда злая, темная сила, змея «лютоедная, сорокопегая»[55] убивает, съедает все живое (Никифоров, № 65; Вост. Сиб. № 26), змея-дьявол (Б. П. № 278), от змеи не ожидай добра (Онч. № 182). Исторически особая роль змея, как существа коварного, злого прослеживается уже в Талмуде,[56] не змея убивает, а грех (Аггада, с. 223).

А. Н. Веселовский не раз вскользь обращался к рассмотрению рукописной «Повести о Вавилонском царстве», пытаясь определить ее исторические истоки. Он видел в основе этой повести два типа отношений: ирано-семитические и библейско-христианские. Греческий оригинал, с которого должны

---

[51] *Веселовский А. Н.* Рецензия на книгу М. Гастера // Журнал Мин. нар. просвещения. 1888. Март. С. 223, 225.

[52] «В городе осталась одна царевна: туловище человечьё, а хвост змеиный; она царствовала на престоле, где была корона» (Онч. № 127).

[53] Былины Печоры. Свод русского фольклора. Былины: В 25 т. СПб.; М., 2001. Т. II. № 277. Былина «Лука, змея и Настасья», в которой переплелись былинные и сказочные мотивы.

[54] Подробнее об этом см.: *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследование в области славянских древностей. М., 1974.

[55] Былина «Лука, змея и Настасья» — позднее новообразование, в ней четко прослеживаются следы переложения сказок.

[56] Вавилонский Талмуд. Антология Аггады / Под общ. ред. р. Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца) и Сергея Аверинцева. Т. I. Иерусалим; М., 5761—2001. С. 114, 177, 178. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

были делать свои пересказы славянские переписчики, неизвестен. Скорее всего именно поэтому повесть и остается столь загадочной.

В пользу ирано-семитических отношений говорят следующие факты. Когда Вавилон и Ассирия подпали под власть мидян-иранцев, культ Змея как главного Бога вавилонян и ассирийцев, культ высшего разума и знаний и культ Змея как образа темной, злой силы в религии иранцев, слились. Однако религиозные представления побежденных (то есть вавилонян и ассирийцев)[57] «оказались преобладающими, и победители приняли народный культ змея, обоготворили его».[58]

Змеи древнерусского сказания как раз и стоят на почве этих смешений: «они темная сила — от них гибнет род Навуходоносора, и, вместе с тем, они окружены каким-то суеверным культом, — на что указывает их особая роль в рассказе о построении Вавилона».[59]

В повести есть все основания видеть близость или даже отождествление вавилонского царя Навуходоносора с еврейским Немвродом — оба они «баснословные типы гордыни». Отсюда претенциозные строения: Немвроду «приписываются не только построения известной Вавилонской башни, которая должна была приблизить его к небу, но и проект — вознестись на небо в корзине, к которой привязаны два орла, либо четыре ястреба, чтобы вступить с Богом в борьбу».[60] Подобные же притязания были и у Навуходоносора и Александра Македонского. Имена их (и вообще вавилонского царя) «являются в средневековой романтической литературе постоянными типами самообожания».[61]

Другой тип отношений, который прослеживается в повести, — библейско-христианские. В христианской литературе, которая вдохновлялась идеями Апокалипсиса и пророчествами Даниила, Вавилон получил особое значение. «Вавилон великий — мать блудницам и мерзостям земным» (Апок. 17.5) — оттого и пал Вавилон. Образ безлюдного Вавилона, населенного одними гадами, станет общим местом средневековой повествовательной литературы. В Вавилоне, по древнему преданию, «надлежало родиться Антихристу ⟨...⟩ На него переносили пророчество Исаии и Иезекииля и те же черты гордыни, которые приписываются Навуходоносору и другим...»[62] В связи с этими библейско-христианскими представлениями проясняются и некоторые подробности рукописной «Повести» и сказок о Вавилоне, а именно знамение змея на всем, что было в Вавилоне, и последующая гибель от него.

Таково роковое значение змей в образной системе сказки и древнерусской повести.

Народная сказка и повесть о путешествии в Вавилон-город завершается устойчивым мотивом о борьбе Льва со Змеей.[63] Силы Льва и Змея практически равны, и Лев одерживает победу только с помощью сказочного героя.

---

[57] «С глубокой древности восточные семиты — аккадцы, занимавшие северную часть нижнего Двуречья, были соседями шумерцев и находились под сильным шумерским влиянием. Во второй пол. 3-его тыс. до н. э. аккадцы утверждаются и на юге Двуречья ⟨...⟩ Позднее, с возвышением Вавилона, эта территория стала называться Вавилонией. История Двуречья во 2-ом тыс. до н. э. — это история семитских народов» (Мифы народов мира. М., 1980. Т. I. С. 647).

[58] *Веселовский А. Н.* Отрывки византийского эпоса в русском. С. 146.

[59] Там же. С. 143.

[60] Там же. С. 144.

[61] Там же. С. 149.

[62] Там же.

[63] См. также: Онч. № 48, 182; Кар. Поморье. № 49; Сад. № 3; Башк. Урал. С. 27; Вост. Сиб. № 26.

Прежде чем встать на чью-то сторону герой рассуждает: «От Змеи не ожидай добра» (Онч. № 182). Лев и Змей — воплощение силы и мощи. Свист их ужасен. «Змей свистнул — так изба дрогнула» (Никифоров, № 65).[64] От рыка Льва обрушиваются стены адриановой столицы, у людей выскакивают зубы из десен (Аггада, с. 242; ср. также библейский образ царского гнева как львиного рёва).

Почему в данном сюжете возникают именно эти образы? Истоки их следует искать в мировой мифологии и, как явление вторичное, в волшебно-рыцарском романе. Лев в мифологии и фольклоре многих народов — символ власти, храбрости, величия, гордости, силы — противостоит низменной, темной и злой стихии, олицетворенной в образе Яд-Змеи (Кар. Поморье, № 49). Лев — страж святыни,[65] он изображался на раннехристианских саркофагах как воплощенная идея будущего воскресения.[66] Именно значение образа Льва как символа стойкости, силы и власти отразилось в интересующем нас сказочном сюжете.[67] То есть борьба Льва со Змеем есть символическое воплощение традиционной сказочной идеи — победы добра над злом.

Таким образом, конец сказки (и повести) не случаен — Лев, как символ добра, выносит героя из темноты (потустороннего мира) на родную Землю.

В переводной повести второй половины XVI века («Повести о Брунцвике») встречается идентичный по сути и значению мотив борьбы Льва с Драконом-Змеем. В переводных повестях нашли свое отражение средневековые германские поэмы на тему «рыцарь со львом», в частности, и в повести с длинным названием: «Ис кронника сказание о Брунцвике и о его силе, како дабы Лва, и прыткости и силе великой сына Штылфридова».[68] Во второй половине XIV века, в эпоху национального и государственного подъема, ознаменованного основанием в Праге, тогдашней столице Священной Римской империи, Карлова университета в Средней Европе, комплекс литературных памятников на чешском языке пополнился прозаическим диптихом. Он объединил повесть о Штильфриде (дошедший до нас ее прото-

---

[64] Ср. свист былинного Соловья-разбойника:

А засвистел Соловьюшко ровно полсвиста —
Еще старые строеньички посыпались,
Все боґатыри с крыльца свалилисе.
(Былины Мезени. СПб.; М., 2003. Т. III. С. 341)

[65] Ср. историю престола Соломона (на первой его ступени сидит лев): «Впоследствии престол этот был взят, вместе с другой добычей, фараоном Нехо и отвезен в Египет. В ту минуту, когда фараон ступил на первую ступень, поднял лев лапу и так сильно ударил его в бедро, что он на всю жизнь остался хромоногим. ⟨...⟩ Из Египта престол был увезен нечестивым Навуходоносором в Вавилон, и при первой попытке взойти на престол Лев ударом лапы поверг Навуходоносора на землю. После разрушения Вавилона престол был взят Дарием и увезен в Мидию, но садиться на него Дарий и не пытался» (Аггада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. М., 1993. С. 119).

[66] Ср. также каменные узоры с изображением Льва на Владимирских и Суздальских храмах и на романских церквах.

[67] В истории мировой мифологии образ Льва тоже неоднозначен: изображенные на вавилонских стелах крылатые львы были воплощением демонических сил, зла и смерти. Например, шумерские и вавилонские львы-демоны Угаму и Уридимму. «Вплоть до XVII века распространены такие изображения Льва в качестве атрибута гордыни, гнева ⟨...⟩ и неведомой земли вообще. В искусстве нового и новейшего времени Лев иногда трактуется как воплощение стихийного буйства природы («Львиные охоты» П. Рубенса), но чаще — в традиционном „апотропеическом" значении («Стерегущие Львы» — в монументально-декоративной пластике)» (*Соколов М. Н.* «Лев» // Мифы народов мира. М., 1982. Т. II. С. 43.

[68] Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. XVII в.

тип, был, видимо, сложен так называемым «безмерным» стихом, либо рифмованной прозой) и повесть о Брунцвике.[69] В XVIII веке «Повесть о Брунцвике» на русской почве бытовала практически повсеместно. Самые ранние списки русского ее перевода относятся к третьей четверти XVII века, сейчас известно 35 списков.[70] В русском пересказе («Сказка о Брунцвике-королевиче»)[71] сохранились все основные мотивы повести, в том числе и бой льва с драконом.

В «Повести о Брунцвике» после победы Льва над Змеем (драконом) герой вместе со Львом попадают в неведомую страну, где правит зверообразный король, у которого «и спереди и сзади были глаза, на руках и на ногах по осьмнадцати острых когтей» (Старая погудка, с. 227). Окружающие его придворные «были собою зверообразны и страшны: иной с рогами, другой о многих головах, у иного собачья голова» (Старая погудка, с. 227). Король просит Брунцвика вернуть ему его любимую дочь Африку, похищенную драконом. Брунцвик со Львом отправляются к городу дракона и у ворот видят стражей «двух весьма ужасных зверей», которые назывались Менендрусами. Лишь только они увидели подходящего к воротам Брунцвика-королевича, то устремились его растерзать, «от сильного же их движения потрясся весь город» (Старая погудка, с. 228).

Вторые ворота охраняют звери, которых называют Кглята: «каждый зверь на себе имеет два рога долга на два локти, а остры яко бритва» (Старая погудка, с. 333). Когда пришли к третьим воротам и «узреша еще страшных два зверя, и великих, тем имя Липфораве. Бѣ же на них шерсть яко на медведех, да роги яко дияволи имели, а зубы черны яко конские, а уста у них велики, иже человека может проглотити» (Старая погудка, с. 334). Попав в город, Брунцвик и Лев увидели, что в городе нет людей, а живет там только девица Африка, «красна бо зело лицем, а руце имея только до пояса, имея два хвоста, сиирѣчь хоботы два вместо ног» (Старая погудка, с. 334). В царстве девицы Африки: «и егда же поиде со всех сторон много множество гадов и ящериц великих и иных потворов ядовитых, хотячи Брунцвика убити» (Старая погудка, с. 335). Брунцвик борется с гадами, а когда его ранят, Лев и Царь-Девица лечат героя. После ряда приключений Брунцвик возвращает королю Амбриусу его змеевидную дочь Африку и женится на ней.

Повесть заканчивается традиционным для данного сюжета мотивом — королевич Брунцвик со Львом возвращаются из неведомой страны в свое родное Чешское королевство.

Сама чешская «Повесть о Брунцвике» и еще в большéй степени пересказ этой переводной повести содержит, по выражению В. В. Сиповского, «„пеструю массу" общих мест волшебно-рыцарского романа, в свою очередь восходящих к волшебной сказке» (Старая погудка, с. 358). А. М. Панченко, комментируя «Повесть о Брунцвике» утверждал, что до перевода этой повести «в русской литературе не было памятника, построенного исключительно на описаниях приключений человека в фантастических землях. Если переводная рыцарская беллетристика XVII в. говорит о взаимоотношениях людей, и люди играют в ней главные роли, то здесь изображен грандиозный вневременной конфликт — конфликт человека и природы. Он подчеркнут „знача-

---

[69] Там же. С. 510—511. Комм. к повести А. М. Панченко.

[70] Там же. См. также: *Петровский М.* История о славном короле Брунцвике // ПДП. СПб., 1888. Вып. 75.

[71] Старая погудка на новый лад. Русские сказки в изданиях конца XVIII в. СПб., 2003. № 27. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

щими" именами (Европа, Африка) и осложнен тем, что герой странствует не только по земле, но и по преисподней (ономастикон повести недвусмысленно указывает на нечистую силу). Отсюда — рефлексия Брунцвика, его колебания и страхи, вообще не свойственные рыцарской беллетристике».[72]

Выделим из многочисленных теорий[73] происхождения волшебно-рыцарского романа две: роман византийский как посредник классической и западноевропейской фантастики и путь самозарождения фантастических сюжетов на основе дуалистического первобытного мировоззрения (добро—зло, свет—тьма и пр.). В связи с анализируемым сюжетом нас, естественно, прежде всего интересует так называемая «сказка»,[74] как один из видов волшебно-рыцарского романа, известная в печатной русской литературе с 60-х годов XVIII века. Этот жанр с самого начала не воспринимался в литературных кругах как нечто серьезное. М. Чулков в своем «Пересмешнике»[75] называет его «безделицею». Уже в начале XIX столетия жанр литературной сказки стали оценивать не с художественной, а с исторической точки зрения.

Сборник литературных сказок В. А. Левшина «Русские сказки»[76] отличался от «Пересмешника» М. Чулкова значительным усилением в нем элементов «русификации». Главным образом этому способствовало внесение Левшиным в свои «сказки» былинного языка и отчасти былинного содержания. В «Предисловии» Левшин указывает на былины как на одно из оснований некоторых произведений его сборника. Он ставит в один ряд былинных богатырей с героями западного волшебно-рыцарского романа.[77]

В тематическом отношении «Русские сказки» В. А. Левшина близки древнерусским рукописным повестям. Так, в «Повести о богатыре Булате» те же самые проанализированные нами мотивы, что и в «Повести о путешествии в Вавилон»: князь Владимир пытается вернуть себе венец, царство Царь-Девицы и борьба с чудовищами и змеями, борьба Льва со Змеем и т. п. Левшин первым в русской литературе создал «новый романтический тип» (русифицированный волшебно-рыцарский). Попытка же Левшина «скре-

---

[72] «Повесть о Брунцвике» / Комм. А. М. Панченко // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 15. С. 511.

[73] Теории происхождения волшебно-рыцарского романа, такие как: теория заимствования волшебного элемента у северных скальдов; теория о влиянии сарацин, отсюда, именно в Испании встречается культ поэзии восточной фантастики; фантастический элемент средневекового рыцарского романа как наследие античности, и пр. Безусловно, можно найти подтверждения в истории мировой литературы каждой из этих теорий. Однако в разные эпохи и у разных народов мера их истины остается различной.

[74] «Примерно до середины XIX века термин „сказка" употреблялся во многих значениях. Сказками назывались различного рода документы (например, письменные списки населения или «ревизские сказки», показания на следствии или на суде, статьи о происшествиях и т. п.), некоторые чисто литературные произведения — прозаические и стихотворные, отдельные произведения фольклора (например, былины) и, наконец, то, что действительно является сказкой в современном значении этого слова» (*Новиков Н. В.* Русская сказка в ранних записях и публикациях // Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVIII века). Л., 1971. С. 3).

[75] *Чулков М.* Пересмешник, или Славянские сказки. М., 1766—1768; 3-е изд. Ч. 1—5. М., 1789. См. также: *Попов М.* Славянские древности или приключения славянских князей. Ч. I—III. СПб., 1770—1771; 3-е изд. Старинные диковинки. СПб., 1794.

[76] *Левшин В. А.* Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славянских богатырях, сказки народные и прочия, оставшиеся через пересказывания в памяти приключения. Ч. 1—10. М., 1780—1783. Авторство «Русских сказок» до исследования В. Б. Шкловского «Чулков и Левшин» (Л., 1933. С. 87—89) ошибочно приписывалось М. Чулкову. Приближение сборника Левшина к сказочному эпосу как в отношении стиля, так и в отношении материала, способствовало усилению печатания русских сказок.

[77] *Сиповский В. В.* Очерки из истории русского романа. С. 85.

стить народный эпос с искусственной литературой, — слить воедино области русского творчества, разделенные и даже враждебные одна другой, вследствие раскола русского общества» сделали его творчество новаторским и самобытным, «как результат этого постепенного взаимного тяготения и создалось „народническое" направление, которое в эпоху Екатерины захватило все виды литературы — и роман, и драму, и лирику».[78]

Литературная «Повесть о Булате» В. А. Левшина, объединившая квазиисторические и фантастические моменты сказок о Вавилоне, делает, как бы последний, завершающий мазок на общей картине, созданной устными, рукописными и переводными источниками.

[78] Там же. С. 236.

© *А. П. РИФТИН*

ОТЗЫВ О ТРУДЕ М. К. АЗАДОВСКОГО «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ»

(ПУБЛИКАЦИЯ © А. И. ВАСКУЛ)

«История русской фольклористики» — фундаментальное исследование Марка Константиновича Азадовского, подводящее итог всей его научной деятельности и не имеющее до сих пор аналогов в русской фольклористике. В своем кратком жизнеописании М. К. Азадовский подчеркивал: «На основании этих работ (здесь имеются в виду статьи М. К. Азадовского, посвященные истории фольклористики. — *А. В.*) создался мой основной труд „История русской фольклористики" (75 печ. л.), в двух томах, который являлся вместе с тем как бы итогом моей 30-летней фольклорной работы и в котором сделан опыт осмысления всего процесса истории русской фольклорной мысли с позиций советской науки».[1] Работа, как известно, не была опубликована при жизни автора.[2]

На Ученом совете Пушкинского Дома успели обсудить рукопись первого тома и она была утверждена к печати 30 апреля 1941 года, но публикации помешала начавшаяся Великая Отечественная война. В своем письме к Н. К. Гудзию от 21 сентября 1943 года М. К. Азадовский вспоминал: «Первый том был закончен полностью еще до войны. Объявление войны (сообщение радио) меня застало по дороге к машинистке, которой я относил последние страницы для перепечатки».[3] Во время эвакуации в Иркутске[4] Марк Константинович продолжает работу над вторым томом «Истории русской фольклористики». В том же письме к Н. К. Гудзию он отмечает, что на книге «лежит отблеск некоторого героического элемента»,[5] поскольку работа велась

[1] Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Ф. 150. Оп. 2. № 647. Л. 51. (Далее — ПФА РАН.)

[2] Книга напечатана вскоре после смерти автора: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. М., 1958—1963. Т. 1—2. Работа была завершена Л. В. Азадовской, В. Ю. Крупянской, Э. В. Померанцевой.

[3] Из писем М. К. Азадовского (1941—1954) / Публ. Л. В. Азадовской // Из истории русской советской фольклористики. Л., 1981. С. 227.

[4] Из блокадного Ленинграда М. К. Азадовский с семьей был эвакуирован в Иркутск.

[5] Из писем М. К. Азадовского (1941—1954). С. 227.

в тяжелейших условиях: «...целый ряд глав второго тома, а также общее предисловие и пр. писались и завершались в дни и вечера бомбежек, в ночные часы дежурств в Институте, писались холодеющими пальцами, писались на краешке стола, заваленного всем что попало в единственной оставшейся жилой (полужилой) комнатке, при свете коптилки или елочных восковых свечек».[6]

При создании второго тома, когда М. К. Азадовский оказался в Иркутске, в его распоряжении не было практически никакой научной литературы. Так, в своем письме к В. Ю. Крупянской от 20 сентября 1942 года М. К. Азадовский сетовал: «Я, ведь, кажется, уже писал Вам, что забыл библиографию к второму тому; не взял своих многочисленных выписок из различных западноевропейских изданий и книг, главным образом, по вопросу о сущности фольклора, а без них отпадает план одной теоретической работы; не говорю уже о том, что в моей библиотеке остались такие книги, как Сентив, ванн Дженнеп, Вессельский, ряд оттисков из славянских, французских и иных изданий, частично, может быть, только у одного меня и бывших, как, например, несколько десятков работ бельгийского фольклориста-социолога Маринюса».[7]

В годы войны «История русской фольклористики» дважды выдвигалась на Сталинскую премию[8] — в 1942 и 1944 годах. Книга получила высокую оценку в историко-филологической комиссии, но была снята с обсуждения на Пленуме лишь вследствие разъяснения о выставлении на премию исключительно опубликованных работ, а не находящихся еще в рукописи. В письме В. Ю. Крупянской, датированном 25 февраля 1942 года, М. К. Азадовский упоминает о выдвижении своей работы на премию: «...писал ли я Вам, что Университет выдвинул мою книгу на ⟨...⟩ премию?»[9] К вторичному номинированию Марк Константинович отнесся скептически: «...спасибо Вам за приятные вести, — только не верю я в конечный результат. Богатыреву и Еголину я, конечно, очень признателен, — очень приятно было слышать и о мнении Потемкина, — но не сомневаюсь, что в последний момент все вернется к первоначальному состоянию. Где же мне конкурировать с признанными и уже опробованными именами Щербы, Соболевского, Городцова и др.!!! „Не наша еда лимоны", как любил говорить Артамон Муравьев, живучи в Сибири. Это и моя давняя любимая поговорка».[10]

В 1942 отзыв на книгу М. К. Азадовского для выдвижения на Сталинскую премию был составлен Александром Павловичем Рифтиным, который в то время являлся деканом филологического факультета Ленинградского

---

[6] Там же.

[7] Там же. С. 217.

[8] Сталинская премия была учреждена в честь 60-летия И. В. Сталина в 1939 году. Ежегодно присуждалось 16 премий деятелям в области науки и искусства в размере 100 тысяч рублей каждая. (См.: Сталинские премии: Справочник / Сост. Н. С. Ширман. М., 1945; Сталинские премии: две стороны одной медали: Сб. документов и художественно-публицистических материалов / Сост. В. Ф. Свиньин, К. А. Осеев. Новосибирск, 2007.) Работа М. К. Азадовского выдвигалась на премию в области историко-филологических наук. Отметим, что в рамках кампании по искоренению культа личности Сталина дипломы и знаки лауреатов Сталинской премии были заменены на дипломы и почетные знаки лауреатов Государственной премии, в справочной и научной литературе название Сталинской премии заменялось на Государственную. В комментариях к письмам М. К. Азадовского, где упоминаются факты, связанные с выдвижением его на Сталинскую премию, говорится о Государственной премии: «Речь идет о вторичном выдвижении на Государственную премию книги „История русской фольклористики"». (Из писем М. К. Азадовского (1941—1954). С. 229).

[9] Из писем М. К. Азадовского (1941—1954). С. 207.

[10] Там же. С. 229.

университета, поскольку М. К. Азадовского номинировали на премию от университета.[11]

Александр Павлович Рифтин (1900—1945) — кандидат филологических наук, профессор кафедры общего языкознания, заведующий кафедрой общего языкознания (1943—1945), декан филологического факультета (1939—1945). По своей основной лингвистической специальности А. П. Рифтин был ассириологом, знатоком древних семитских языков и исследователем клинописи.[12]

Далее нами публикуется отзыв А. П. Рифтина на книгу М. К. Азадовского «История русской фольклористики». Текст отзыва находится в Петербургском филиале Архива РАН в личном деле Азадовского Марка Константиновича 1943—1945 годов (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 647. Л. 52—61). В личном деле М. К. Азадовского хранятся машинопись отзыва (Л. 52—61) и две его машинописные копии с правкой (Л. 13—17; Л. 36—43).

ОТЗЫВ О ТРУДЕ М. К. АЗАДОВСКОГО «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ»

Книга проф. М. К. Азадовского, несомненно, событие для советской науки.

Проф. М. К. Азадовский является одним из крупнейших советских фольклористов — превосходным собирателем и исследователем, воспитавшим целое поколение фольклористов, и деятельность которого в целом составляет большую главу в истории советской науки о фольклоре. Теоретическое и фактическое значение его работ давно уже оценено не только советской (где стало уже достоянием учебных курсов и учебников), но и западноевропейской наукой (например, в отзывах голландского исследователя-сказковеда De Vries'a,[1] французского слависта Mazona,[2] известнейшего бельгийского фольклориста-социолога Marinusa[3] и мн⟨огих⟩ др⟨угих⟩, особенно большое внимание уделяли его трудам славянские фольклористы, как, например, покойный чешский исследователь академик Ю. Поливка[4]); к его трудам неоднократно обращались и обращаются также исследователи смежных дисциплин (напр. историки античной литературы, этнографии, в работах по древнегреческой религии и мн⟨огих⟩ др⟨угих⟩). Высокий теоретический уровень характеризует и данный труд, являющийся результатом последних десяти лет его работы, и который по своему значению далеко выходит за пределы ⟨не⟩ только науки о фольклоре, но имеет первостепенное значение и для всего литературоведения в целом, особенно для истории русской критики и русской общественной мысли.

И по значению своему, и по содержанию книга гораздо шире своего заглавия. Развитие русской фольклористики рассматривается автором в связи с историей русской общественной мысли и русской литературы. В сущности книга в целом посвящена вопросу, имеющему чрезвычайно актуальное значение не только для науки о фольклоре, но и для истории русской культуры в целом: истории понимания народного творчества на разных этапах развития русского общества. История собирания, изучения и худо-

---

[11] Отметим, что А. П. Рифтин в 1942 году был эвакуирован вместе с филологическим факультетом университета в Саратов, где, видимо, им и был написан отзыв.

[12] *Крачковский И. Ю.* Памяти ученика // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. 1946. Вып. 10. С. 3—7; *Жирмунский В. М.* А. П. Рифтин (1900—1945) // Там же. С. 8—11.

жественного использования фольклора развивается здесь в целостную картину того, как складывалось и изменялось понятие народности и народного творчества в русской науке, литературе и культуре от XVIII века до наших дней.

Книга, содержащая в себе два тома (в общей сложности свыше семидесяти листов), распадается на четыре части: первый том охватывает период от XVIII века до 60-х годов XIX; второй — 60-х гг. прошлого века до наших дней включительно. Первая глава посвящена фольклористике XVIII века[5] с подробным анализом основных течений фольклористики западноевропейской второй половины этого века; далее следуют главы,[6] в которых подробно — и во многих случаях впервые — подробно освещена проблема фольклора в литературно-общественной борьбе первой четверти XIX века, опять-таки с учетом тех явлений, которые имели место в это же время на Западе. Последние главы первой части посвящены фольклористике и фольклоризму в последекабрьский период[7] (здесь следует подчеркнуть четкую и совершенно новую интерпретацию идейной позиции по отношению к народному творчеству любомудров[8]) и собирательной работе 20-х и 30-х годов[9] в ее различных проявлениях и различной общественной функции (Киреевский,[10] Снегирев,[11] Сахаров[12] и др.). В этой же главе кратко суммированы итоги известных статей автора о народности и фольклорных интересах Пушкина (см. его книгу «Литература и фольклор»,[13] а также статьи в общей печати Ц⟨ентрального⟩ О⟨ргана⟩ «Правда»[14] и журн⟨ала⟩ «Большевистская печать»[15]).

Вторая часть книги освещает ту роль, которую играла фольклористика в литературно-общественной борьбе 40—50-х годов: славянофильская фольклористика;[16] фольклор в концепции западников[17] (Белинский, Герцен, Кавелин), организация фольклорных изучений в эти годы, и заканчивается выступлением русской мифологической школы. Эта часть работы является в основном совершенно новой не только для истории русской фольклористики, но и для истории русской литературы и критики в целом, ибо в ней впервые выдвинуты и освещены вопросы, которые еще ни разу не были предметом научного исследования, как, например, проблема фольклоризма у Герцена,[18] понимание фольклора Грановским[19] и проч. В новом свете разрешается и вопрос об отношении к народному творчеству Белинского,[20] в результате чего совершенно снимаются все прежние вульгарные или упрощенные толкования этого сложного вопроса. Особое место занимает большая глава об организации фольклорных изучений в этот период, причем — что чрезвычайно ценно — автор останавливается не только на крупных и основных именах, но привлекает явления и факты, до сих пор незамеченные, или, вернее, незамечаемые историками русской литературы и фольклора; с особым вниманием и любовью останавливается он на мелких провинциальных деятелях, по большей части выходцев из демократической среды: эти свойства работы М. К. Азадовского особенно отчетливо проявляются во втором томе при анализе собирательской работы 60—70-х годов, когда значительно расширилась социальная база последней: наряду с известными именами в науку входят и безвестные доселе или совершенно забытые имена собирателей — земских деятелей, крестьян, писарей и т. п.[21] Заканчивается первый том, как уже сказано, изложением позиций русско-мифологической школы, причем в этой главе совершенно снимается и является навсегда невозможным вульгарное (принятое, однако, и во многих вузовских программах) отождествление русских мифологов со славянофилами; напротив, весьма убедительно показано и доказано, что самое обращение к мифологическим концепциям было вызвано борьбой со славянофильством и стремлением попыткам[22] последнего подкрепить фактами фольклора свою позицию

изолированно специфического развития русского исторического процесса, противопоставить иное понимание, утверждающее единство русского исторического пути и развития с путем общеевропейским; в дальнейших главах[23] (второй том) показано, как менялась общественная функция русской мифологической школы в ее разных интерпретациях у деятелей различных общественных фронтов.

Третья и четвертая части составляют содержание второго тома. Третья часть освещает вопросы фольклора в общественно-идейной борьбе 60-х годов.[24] Как известно — это вошло уже в учебники по фольклору[25] — именно автору принадлежит честь включения в историю русской фольклористики имен Чернышевского и Добролюбова и их последователей из лагеря революционной демократии. Он впервые дал анализ фольклористических идей Добролюбова и Чернышевского и вскрыл их значение в создании русской филологической школы (его статьи о Добролюбове,[26] Веселовском,[27] Чернышевском[28]). В данном труде эти первоначальные наблюдения и высказывания вылились в широкую картину русской науки о фольклоре 60-х годов, развивающейся под мощным воздействием идей молодой демократии.

Огромное теоретическое и принципиальное значение имеет четвертая часть, пожалуй, наиболее характерная для метода автора.[29] В основу всей книги положено ленинское учение об этапах развития русского общественного движения,[30] с одной стороны, и учения о трех этапах развития буржуазного общества.[31] Это — тот фон, на котором развивается и проясняется история изучения русского фольклора. Опираясь на ленинское учение о трех этапах, а также на замечания И. Сталина, С. Кирова, А. Жданова о конспекте новой истории,[32] автор сумел отчетливо уяснить и осмыслить причины появления и так называемой русской исторической школы, воздействия которой сыграли весьма значительную роль и в молодой советской фольклористике, что в свое время было вскрыто дискуссией 1936 года.[33] По утверждению автора, историческая школа с ее учением о феодальном происхождении русского эпоса, ведущим в конечном счете к отрицанию народных корней искусства, является типичным детищем третьего (по Ленину) периода и тесно связана с глубокими изменениями в мировоззрении либеральной буржуазии. Это — последний этап научной буржуазной мысли, эпохи империализма и загнивающего капитализма, характеризующийся, с одной стороны, агностическими и формалистическими тенденциями и, с другой, — отказом от демократических тенденций. Одним из идейных родоначальников этого направления автор считает Фр. Ницше.[34] Эту главу следует признать наиболее выдающейся и по широте привлеченных материалов, и по ее глубокой принципиальности. Завершает книгу глава о советской фольклористике.[35] Последнюю автор рассматривает не как ограниченное географически и хронологически понятие, но как особую ветвь в общеевропейской науке о фольклоре, отражающую появление на исторической сцене нового класса и новой эры в истории человечества. В качестве основной особенности советской фольклористики автор выдвигает то обстоятельство, что она создавалась в общем процессе революционной борьбы и социалистического строительства, отразив общий идейный рост страны и вместе с другими гуманитарными дисциплинами перестроив свою методологию на основе марксистско-ленинско-сталинского понимания исторического процесса. К этому можно добавить, что сама книга в целом является прекрасной иллюстрацией к положениям автора и служит четким свидетельством высокого роста советской фольклористики, деятельным участником которой и одним из ее созидателей является сам автор.

Исключительной заслугой автора является сделанное в первый раз в науке о фольклоре включение в нее воззрений основоположников марксизма на народное творчество и фольклор в целом. Взгляды Маркса—Энгельса на фольклор впервые изложены с такой широтой и вместе с тем несомненной глубиной и тонкостью. Свои выводы автор конструирует на основе тщательного изучения существующих материалов об отношении Маркса и Энгельса на произведения народного творчества, а также их взглядов на генезис фольклора. Постановка вопроса о роли основоположников марксизма в изучении фольклористики выходит в его изложении за пределы историографического освоения вопроса и имеет несомненное значение для позитивной разработки основных проблем фольклора.

Таким образом, отступая от сложившейся традиции, профессор М. К. Азадовский показывает, как менялась в различных исторических условиях общественная функция основных школ русской фольклористики. Вместо механической «смены школ» выдвигается новая концепция целостного и закономерного развития науки в ее социальной обусловленности.

Вся работа выполнена проф. М. К. Азадовским по первоисточникам: в книге собрано огромное количество новых материалов, новых фактов и новых наблюдений. Впервые освещены многие участки, просмотренные старой наукой, или совершенно забытые, или никогда до сих пор не включаемые в фольклористику, как то уже было, например, отмечено выше в связи с главами о Герцене и Грановском; дополнительно можно еще отметить разделы книги о Радищеве,[36] о Полевом,[37] о декабристах, новую интерпретацию позиций Веселовского,[38] Стасова,[39] Лэнга[40] и мн⟨огих⟩ др⟨угих⟩.

Исследование профессора Азадовского в целом теснейшим образом связано с проблемами, выдвинутыми современностью в борьбе за русскую культуру. Это относится прежде всего к центральной проблеме книги, т. е. к проблеме народности и вопросу о значении народно-творческих источников в развитии русской общественной мысли; затем с большой остротой это проявляется в главах, посвященных анализу и изложению явлений западноевропейской науки о фольклоре и связям с последней русской науки. Профессор М. К. Азадовский давно уже известен как неутомимый пропагандист русской науки в западноевропейской научной печати[41] (это отмечено между прочим и в посвященной ему заметке в «Сибирской Советской Энциклопедии»[42]): ему принадлежит ряд обзорных, итоговых и общетеоретических статей на разных языках (одна из них опубликована в «»[43]); из его работ в основном знакомились и знакомятся западноевропейские ученые с достижениями советской фольклористики. Пропагандистом русской науки выступает он и в настоящей работе. Нужно особо подчеркнуть и приветствовать, что история русской фольклористики показана автором в рамке широкого общеевропейского литературного и научного движения. Специальные главы, посвященные открытию народной старины английским преромантизмом,[44] демократическому народничеству Гердера,[45] а также главы, посвященные связанным с национально-освободительным движением в южной Европе идеям Фориэля,[46] главы о развитии фольклорных штудий в славянских странах[47] представляют большой интерес для советского читателя тем более, что все они написаны по первоисточникам и вносят новую самостоятельную точку зрения в изучаемые автором вопросы. Эти главы прочтутся несомненно с огромнейшим интересом и западноевропейскими читателями, и исследователями, которые встретят здесь совершенно новую точку зрения и интерпретацию, в корне противостоящую концепциям буржуазной науки. В противоположность всем предыдущим русским и западноевропейским ра-

ботам в этой области, профессор М. К. Азадовский раскрывает соответственно связи не в узко-механическом плане единства процесса развития фольклористических интересов в разных странах. Проф. М. К. Азадовский неизменно вскрывает самостоятельный путь русской науки о фольклоре, отмечает ее передовую во многих случаях роль, а порой и прямое воздействие на западноевропейскую науку, в частности, на развитие фольклоризма в славянских странах (Сербия, Чехия), явившихся в этом отношении прямыми проводниками русского влияния на Западе.

Заново и тщательно разработан вопрос о путях воздействия. Еще в прежних своих работах (1930—1932) проф. М. К. Азадовский вскрыл неправильность обычных представлений, сводящих чуть ли не все развитие мировой фольклористики — в том числе и русской — к влиянию немецкой науки и немецкой мысли (см. его «Литература и фольклор»[48]).

М. К. Азадовский подвергает полному пересмотру эти утверждения, вскрывая и подчеркивая более ранние воздействия, под знаком которых развивался сам немецкий романтизм: он указывает на параллельное существование в европейской фольклористике в качестве самостоятельного и весьма сильного течения французский романтический фольклоризм, выросший на почве революции 1789 г. и тесно связанный с национально-освободительным движением в Европе, в частности с филэллинизмом.[49] Значительно ограничивает он роль германских воздействий на мировую фольклористику и во второй половине XIX века, выдвигая на первый план и следуя в данном случае за Энгельсом, творчество импульса,[50] идущее от английской науки, как более передовой и прогрессивной в это время. Особенно примечателен сделанный М. К. Азадовским анализ славянского фольклоризма, появление которого обычно сводилось и сводится к влиянию немецкого романтизма: М. К. Азадовский вскрывает национально-исторические истоки фольклористического движения славянских народов, подчеркивая вместе с тем роль в этом движении русской литературы и молодой еще тогда русской науки.

Признавая таким образом высокую научную и общественную ценность капитального исследования проф. М. К. Азадовского, Комиссия считает его вполне достойным для представления на соискание Сталинской премии в 1942 году.

Председатель Комиссии филологического
Факультета Декан — РИФТИН

[1] De Vries Jan Pieter Marie Laurens (1890—1964) — голландский исследователь германского языкознания и германской мифологии, профессор Лейденского университета. Отзыв Вриса на работу М. К. Азадовского нами не был найден, но в личном деле М. К. Азадовского, которое хранится в ПФА РАН, к списку главных печатных работ Марка Константиновича приложены и отзывы на них, где упоминается и об отзыве Вриса: «голландский ученый De Vries подчеркивает глубоко принципиальное значение работ Азадовского, в частности его книги „Eine sibirische Märchenerzälerin" (Helsinki, 1926)». — ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 647. Л. 79.

[2] Mazon Andre (1881—1967) — французский филолог-славист. Был ученым секретарем Института живых восточных языков в Париже (1909—1914). Профессор Страсбургского университета (1919—1923), профессор в Коллеж де Франс (1924—1952). Президент Института славяноведения в Париже (с 1937). Являлся вице-президентом Международного комитета славистов (1958—1967), член Французской Академии (с 1935), член Академии надписей и изящной словесности (с 1941), иностранный член АН СССР (с 1928). Один из основателей славистического журнала «Revue des études slaves» (1921). Мазон написал две рецензии на работы М. К. Азадовского: *Mazon A.* 1) [Рец. на ст.: Azadovski M. K. Pohádky zhornelonského kraje. Čast. 2 // Národopisný věstnik českoslov. 1928. R. XXI. Č. I. S. 38—58; Č. II. S. 121—150; Č. III. S. 189—212; Č. IV. S. 245—256] // Revue des études slaves. 1929. Vol. 9. Fasc. 1—2. P. 150; Fasc. 3—4. P. 290; 2) [Рец. на кн.: Азадовский М. К. Русская сказка: Избранные мастера.

В 2 т. / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. Л., 1932] // Revue des études slaves. 1932. Vol. 12. Fasc. 3—4. P. 256—257.

[3] Marinus Albert-Charles-Ernest (1886—1979) — бельгийский журналист, социолог, фольклорист, редактор бельгийского журнала «Le Folklore brabançon». Являлся одним из представителей бельгийской школы неофольклористов. Отзыв на работы М. К. Азадовского нами не был обнаружен.

[4] Поливка (Polivka) Йиржи (1858—1933) — чешский филолог, фольклорист, лингвист, историк литературы, профессор Карлова университета в Праге. Поливкой было написано несколько отзывов и рецензий на труды М. К. Азадовского: *Polivka G.* 1) Zur slavischen Volkskunde. [Рец. на ст.: Азадовский М. К. Ленские причитания // Тр. Гос. ин-та Нар. образования в Чите. 1922. Кн. 1. С. 121—248] // Zeitschr. des Vereins für Volkskunde. 1925—1926. V. 35—36. S. 195; 2) [Рец. на кн.: Азадовский М. К. Беседы собирателя (о собирании и записывании памятников устного творчества). Иркутск, 1925] // Zeitschr. des Vereins für Volkskunde. 1925—1926. Heft. 3. S. 195; 3) [Рец. на ст.: Азадовский М. К. Сказки Верхнеленского края. Вып. 2 // Сибирская живая старина. 1925. Вып. 3—4] // Zeitschr. des Vereins für Volkskunde. 1925—1926. V. 35—36. Heft. 3. S. 192—194; 4) [Рец. на кн.: Azadovski M. K. Eine sibirische Märchenerzälerin. Helsinki, 1926. (Folklore Fellows Communications)] // Slovanske pohádky. Praha, 1932. S. 7—8; 5) Poznamky k pohádkám sbirsky M. K. Azadovského. [Рец. на ст.: Azadovski M. K. Pohádky zhornolenského kraje. Čast. 2 // Národopisný věstnik českoslov. 1928. R. XXI. Č. I. S. 38—58; Č. II. S. 121—150; Č. III. S. 189—212; Č. IV. S. 245—256] // Národopisný věstnik českoslov. 1929. R. XII. Č. I. S. 30—35; 6) [Рец. на кн.: Азадовский М. К. Русская сказка: Избранные мастера. В 2 т. / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. Л., 1932] // Vychodneslovansky pohádky. Praha, 1932, passim.

[5] *Азадовский М. К.* Фольклористика XVIII в. // Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 42—111.

[6] *Азадовский М. К.* Проблема фольклора в литературно-общественной борьбе первой четверти XIX в. // Там же. С. 112—213.

[7] *Азадовский М. К.* 1) Фольклоризм и фольклористика в последекабристский период. Любомудры. Полевой. Пушкин. Теория официальной народности // Там же. С. 214—254; 2) Фольклористика в последекабристский период. Ранние украинские изучения и связи русской науки о фольклоре с фольклористикой славянских стран // Там же. С. 255—327.

[8] Любомудры — участники литературно-философского кружка «Общество любомудрия», существовавшего в Москве в 1823—1825 годах, в состав которого входили В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелев, кроме того, в тесной связи с ними были С. П. Шевырев, М. П. Погодин, М. А. Максимович. В работе кружка принимал участие младший брат Ивана Киреевского — Петр Киреевский. Интересы кружка заключались в изучении немецкой романтической литературы и немецкой идеалистической философии. Хотя кружок как таковой прекратил свое существование после восстания декабристов, идейное общение его основных членов продолжилось на страницах журналов «Московский вестник» (1827—1830) и «Европеец» (1832), который после выхода в свет двух выпусков был закрыт. (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 215—223.)

[9] *Азадовский М. К.* Собиратели 30-х годов // Там же. С. 328—367.

[10] Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — публицист, археограф и фольклорист. Киреевский занимался собиранием и изучением памятников русского фольклора. Некоторые из них были изданы в 1847—1856 годах в журналах и сборниках. См.: *Киреевский П. В.* 1) Русские песни // Денница: Альманах на 1834 год. М., 1834. С. 153—167; 2) Русские народные песни. Ч. 1.: Русские народные духовные стихи // Чтения в имп. Об-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. М., 1848. Вып. 9. Смесь. С. 145—228; Русские народные песни (из приготовляемого к изданию собрания П. В. Киреевского) и предисловие к ним А. С. Хомякова // Московский сборник. М., 1852. Т. 1. С. 317—356. После его смерти П. А. Бессоновым публикуются былины и исторические песни, собранные Киреевским. См.: Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1860—1874. Вып. 1—10. Кроме того, Бессонов включает часть материалов Киреевского в свои сборники: Калики перехожие. Сборник стихов и исследований П. Бессонова. М., 1861—1864. Вып. 4—6; Белорусские песни. М., 1868. Вып. 1; Детские песни. М., 1868. В 1911—1929 годах была начата новая публикация лирических песен под редакцией В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского. См.: Песни, собранные П. В. Киреевским: Новая серия. М., 1911—1929. Вып. 1—2. (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 329—343.)

[11] Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — профессор Московского университета, где преподавал латинский язык и римские древности. Однако основной круг его интересов составляло изучение народного творчества, что отразилось в следующих работах: «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (Т. 1—4. М., 1831—1834), «Русские народные пословицы и притчи» (М., 1848), «О лубочных картинах русского народа» (М., 1844). (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 351—355.)

[12] Сахаров Иван Петрович (1807—1863) — собиратель-самоучка, член Археологического общества. Сахаровым опубликовано большое собрание народных песен, сказаний, заговоров, загадок, гаданий, описаний обрядов и обычаев: «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (Ч. 1—4. СПб., 1836—1837), «Путешествия русских людей в чужие земли» (СПб., 1837), «Песни русского народа» (Ч. 1—5. СПб., 1838—1839), «Записки русских людей» (СПб., 1841), «Русские народные сказки» (СПб., 1841). Тем не менее к его работам следует относиться с крайней осторожностью, поскольку бóльшая часть из них является компиляцией из ранее вышедших сборников Кирши Данилова и Чулкова. (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 355—362.)

[13] *Азадовский М. К.* Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л., 1938. Работа содержит следующие главы, посвященные творчеству А. С. Пушкина: Пушкин и фольклор; Источники сказок Пушкина.

[14] *Азадовский М. К.* Пушкин и фольклор // Правда. 1937. 5 февр.

[15] *Азадовский М. К.* Пушкин и народность // Большевистская печать. 1937. № 2—3. С. 63—66.

[16] *Азадовский М. К.* Проблема фольклора в литературно-общественной борьбе 40-х годов. Славянофильская фольклористика // Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 1. С. 368—416.

[17] *Азадовский М. К.* Проблема фольклора в литературно-общественной борьбе 40-х годов. Борьба с реакционными концепциями фольклора. Белинский, Герцен, Грановский // Там же. С. 417—478.

[18] Там же. С. 462—468.

[19] Там же. С. 470—478.

[20] Там же. С. 424—461. Кроме того, М. К. Азадовским написан ряд статей о В. Г. Белинском. См.: *Азадовский М. К.* 1) Белинский и русская народная поэзия // Лит. наследство. 1948. Т. 55. С. 117—150; 2) То же // Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. С. 260—304.

[21] В главе, посвященной собиранию фольклора во второй половине XIX—начале XX века, М. К. Азадовским отмечается важность собирания и публикации фольклорных материалов на местах Губернскими статистическими комитетами и «Губернскими ведомостями», корреспондентами которых были, как правило, местные священники, учителя, врачи. (См.: *Азадовский М. К.* Собирание фольклора во вторую половину XIX и в начале XX века // Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1963. Т. 2. С. 253—324.)

[22] Зачеркнуто в копии отзыва на Л. 37.

[23] *Азадовский М. К.* Русская мифологическая школа. Буслаев. Афанасьев // Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 2. С. 47—84.

[24] *Азадовский М. К.* Вопросы фольклора в общественно-идейной борьбе 60-х годов XIX в. и возникновение революционно-демократической фольклористики // Там же. С. 85—131.

[25] *Соколов Ю. М.* Русский фольклор: Учебник для вузов. М., 1938.

[26] *Азадовский М. К.* 1) Добролюбов и русская фольклористика // Изв. АН СССР. Отделение обществ. наук. 1936. № 1—2. С. 131—159; 2) То же // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1936. Вып. 4—5. С. 3—27; 3) То же // Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды. С. 154—195.

[27] *Азадовский М. К.* 1) А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Изв. АН СССР. Отделение обществ. наук. 1938. № 4. С. 85—119; 2) Литературное наследие Веселовского и советская фольклористика // Советский фольклор. 1941. Т. VII. С. 8—30.

[28] *Азадовский М. К.* 1) Н. Г. Чернышевский в истории русской фольклористики // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. Л., 1941. Вып. 12. С. 5—18; 2) То же // Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. С. 376—394.

[29] *Азадовский М. К.* Маркс и Энгельс о фольклоре. Начало формирования русской марксистской фольклористики // Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 2. С. 324—346.

[30] В. И. Лениным выделяются следующие этапы развития русского общественного движения: дворянский (1820—1860 годы), разночинский (1860—1890 годы) и пролетарский (начало в 1890-х годах).

[31] Согласно марксистско-ленинской теории, буржуазное общество в своем развитии проходит три периода. Первый период, связанный с французской революцией 1789 года, характеризуется полным господством буржуазии. Второй является переходным, когда буржуазный класс начинает сдавать свои позиции, а новый демократический класс набирает свои силы. Двойственный характер этого периода отражается в падении Парижской коммуны и торжестве империи Бисмарка, так же точно как мировая война и революционные потрясения 1917—1923 годов открывают третий, последний период развития буржуазного общества, эпоху становления и развития империализма.

[32] *Сталин И., Киров С., Жданов А.* Замечания о конспекте учебника новой истории // Правда. 1936. 27 янв.

[33] Здесь имеется в виду дискуссия, связанная с постановкой в 1936 году комической оперы Демьяна Бедного «Богатыри» в московском Камерном театре. Демьян Бедный, следуя

устаревшим партийным установкам, изобразил былинных героев, как представителей феодальной знати, в нелицеприятном свете, что противоречило политике патриотического истолкования русской истории. Опера была снята с репертуара, а Демьяна Бедного обвинили в неуважительном отношении к русскому народу. В периодических изданиях появились статьи, упрекавшие фольклористов в неспособности выявить роль народа в создании героического эпоса и пропагандировавшие идею о том, что народные массы, а не правящие классы создавали и сохраняли былинное наследие. Следуя партийным указаниям, фольклористы пытались обосновать роль народных масс в истории русской культуры и доказать, что русский народ способен на художественные достижения. (См.: *Миллер Фр.* Сталинский фольклор. СПб., 2006. С. 14—15.)

[34] Ницше Фридрих Вильгельм (1844—1900) — немецкий философ. «Одним из первых теоретиков нового направления явился Фридрих Ницше, который в своей знаменитой речи о Гомере (1869) резко отверг идею коллективности народного творчества» (*Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 36). В данном случае М. К. Азадовский имеет в виду вступительную речь «Гомер и классическая филология», произнесенную Ницше в Базельском университете 28 мая 1869 года. (См.: *Ницше Ф.* Гомер и классическая филология // Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994.)

[35] Упоминаемая А. П. Рифтиным глава о советской фольклористике не была опубликована, поскольку осталась незавершенной. (См.: Послесловие // Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 2. С. 347.) Некоторые теоретические наработки автора, касающиеся развития советской фольклористики, были изложены в следующих статьях: *Азадовский М. К.*: 1) Новые темы в советской фольклористике // Литературная газета. 1933. 11 дек.; 2) Предисловие // Советский фольклор: Статьи и материалы / Под ред. М. К. Азадовского. Л., 1934. С. 3—8; 3) Советская фольклористика за 20 лет // Советский фольклор. М.; Л., 1939. № 5. С. 3—53. Кроме того, М. К. Азадовским на Совещании фольклористов в Иркутске в марте 1943 года был сделан доклад на тему «Советская фольклористика за 25 лет».

[36] См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 97—102.

[37] См.: Там же. С. 224—226, 228—235.

[38] М. К. Азадовским приводится обширный обзор фольклористической деятельности А. Н. Веселовского. (См.: Там же. С. 180—205.)

[39] Ранее концепцию В. В. Стасова о происхождении былин трактовали как выступление против мифологической школы. М. К. Азадовский сводит его статьи до уровня политических памфлетов, сравнивая их со статьями Писарева о Пушкине и Белинском. (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 2. С. 160—169.)

[40] Ленг (Lang) Эндрю (1844—1912) — английский поэт, переводчик, литературный критик, исследователь фольклора, мифологии и религии, почетный член Мертон колледжа. Автор «теории самозарождения». М. К. Азадовский считает не вполне правильным объединение имен Тэйлора и Ленга, являвшихся теоретиками антропологической школы, и утверждает, что в «данном случае вернее говорить не о смене теорий, но об их параллельности». (См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 29.)

[41] Здесь речь идет о ряде статей М. К. Азадовского, написанных в честь 15-летия Великой октябрьской революции: Études du folklore en USSR (1918—1932) // VOKS. Cahiers d'information. Moscou, 1933. Vol. 4. P. 40—65; The science of folklore in the USSR // VOKS. Bulletin. Moscow, 1933. Vol. 4. P. 39—60. VOKS — переданная латинскими буквами аббревиатура названия Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, издававшего журналы идентичного содержания на французском и английском языках.

[42] Азадовский Марк Константинович // Сибирская Советская Энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 29—30.

[43] В тексте отзыва было оставлено место, чтобы позднее от руки вписать название работы на иностранном языке. Возможно, здесь имелась в виду одна из статей, приведенных в сноске 41.

[44] См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 113—117.

[45] Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, писатель-просветитель. Издал сборник «Народные песни» («Volkslieder»; 1778—1779), позднее переименованный в «Голоса народов в песнях» («Stimmen der Völker in Lidern»; 1887). См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 118—123.

[46] Фориель (Fauriel) Клод Шарль (1772—1844) — французский историк и филолог, специалист по истории литературы и фольклора Франции. Издал «Народные песни Греции» («Chants populaires de la Grèce moderne»; 1824—1825), «Историю провансальской поэзии» («Histoire de la litérature provençale»; 1846). В 1825 году Н. И. Гнедичем частично переведена на русский язык книга Фориеля под названием «Простонародные песни нынешних греков». Во введении он интерпретировал основные мысли Фориеля, снабдив их своими замечаниями. Кроме того, Гнедич указал на близость новогреческой и русской народной поэзии. См.: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. Т. 1. С. 204—209.

[47] См.: *Азадовский М. К.* Фольклористика в последекабристский период. Ранние украинские изучения и связи русской науки о фольклоре с фольклористикой славянских стран // Там же. С. 255—327.

[48] *Азадовский М. К.* Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л., 1938.

[49] Филэллинизм (от греч. philéo — люблю и héllenes — греки) — общественное движение в Европе и Америке, сторонники которого выступали в поддержку греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

[50] В копии отзыва на Л. 43 — творческие импульсы.

© *Т. Г. ИВАНОВА*

М. К. АЗАДОВСКИЙ И Б. Н. ПУТИЛОВ

(ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ)

Марк Константинович Азадовский (1888—1954) и Борис Николаевич Путилов (1919—1997) принадлежат к разным поколениям отечественных специалистов по устной народной культуре. Первый окончил Петербургский университет, начал работать в области фольклористики еще до Октябрьского переворота, успел пообщаться с дореволюционной профессурой. Его непосредственными учителями были такие выдающиеся ученые, как А. А. Шахматов, И. А. Шляпкин, С. А. Венгеров. Будучи студентом, М. К. Азадовский посещал занятия по этнографии, которые вел для желающих в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) известный этнограф Л. Я. Штернберг. Как фольклорист М. К. Азадовский сформировался также благодаря участию в работе Этнографического отделения Русского географического общества, на средства которого начинающий ученый и совершил в 1915 году свою знаменитую экспедицию в верховья реки Лены. М. К. Азадовский в 1920—1950-е годы — ведущий фольклорист нашей страны. Продолжая традиции второй половины XIX—начала XX века, ученый являлся одним из выразителей того направления в науке, которое принято называть «русская школа», т. е. ему, как и П. Н. Рыбникову, А. Ф. Гильфердингу, Н. Е. Ончукову, Д. К. Зеленину и другим исследователям, было свойственно пристальное внимание к фигуре исполнителя, в частности сказочника. В связи с этим напомним такие его книги, как «Сказки Верхнеленского края» (Иркутск, 1925) и «Русская сказка: Избранные мастера» (Л., 1932. Т. 1—2). Блестящие статьи М. К. Азадовского по фольклоризму А. С. Пушкина, ставшие одним из поводов для обвинения исследователя в 1948— 1949 годах в «низкопоклонстве перед Западом», уже давно признаны классикой отечественной науки. В знаменитой «Истории русской фольклористики» (М., 1958—1963. Т. 1—2) — увы, вышедшей уже после кончины ученого, — впервые была представлена история развития фольклористической мысли в связи с общественно-культурными движениями XVIII—XIX веков. Таковы основные сферы научных интересов М. К. Азадовского.

У М. К. Азадовского, профессора Ленинградского университета, создателя кафедры фольклора, было много учеников, состоявшихся в науке. Однако Б. Н. Путилов его студентом не был. Он в 1940 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, где лекции по фольклору читал Н. П. Андреев. Б. Н. Путилов стал ведущим специалистом по фольклору и этнографии в 1960-е годы, и бремя лидерства в отечественной фольклористике он, как и М. К. Азадовский, нес до конца своей жизни. Имя Б. Н. Путилова, как известно, связано прежде всего с развитием историко-типологического направления, и, казалось бы, справедли-

во говорить о наследовании им в первую очередь научных традиций В. Я. Проппа. Научная судьба Б. Н. Путилова сложилась таким образом, что ни проблемы индивидуальности сказителя, ни вопросы фольклоризма литературы, ни история науки о «живой старине», занимавшие главное место в трудах М. К. Азадовского, не стояли в центре его интересов. Тем не менее мы можем говорить о преемственности научных традиций в деятельности М. К. Азадовского и Б. Н. Путилова. Преемственность эта сказывается в честном, не конъюнктурном отношении к науке. Интересны и прямые контакты двух ученых, каждый из которых воплощал свою эпоху в развитии фольклористики.

Летом 1945 года Б. Н. Путилов, молодой преподаватель Грозненского педагогического института, организовал фольклорную экспедицию в станицы гребенских казаков. Ряд статей начинающего ученого под общим заглавием «Гребенские казаки и их песни» вскоре был опубликован в газете «Грозненский рабочий»;[1] в институтских «Ученых записках» вышла его объемная статья «Песни гребенского казачества».[2] Названные труды Б. Н. Путилов послал в Ленинград в Пушкинский Дом, где М. К. Азадовский в то время возглавлял Сектор устного народно-поэтического творчества. В своих воспоминаниях о М. К. Азадовском, названных «Постоянство целеустремленности», много позднее Б. Н. Путилов писал: «После трех лет работы в институте, после первых экспедиций и нескольких публикаций мне стала ясна необходимость искать контакты с большим научным миром. Как и для большинства тогда, он воплощался для меня в Пушкинском Доме. На мое письмо я очень скоро получил ответ — от самого М. К. Азадовского. Надо ли говорить, что значили для меня его слова поддержки, одобрения и готовности помочь в моих делах».[3]

В декабре 1946 года со своей первой книгой — сборником «Песни гребенских казаков» (Грозный, 1946) — Б. Н. Путилов приехал в Ленинград, где выступил с докладом «Место гребенского песенного фольклора в общерусском народном творчестве». Доклад вызвал оживленные прения, в которых участвовали М. К. Азадовский, А. М. Астахова и другие сотрудники Сектора устного народно-поэтического творчества.[4] М. К. Азадовский одобрил планы начинающего ученого по работе над кандидатской диссертацией. Руководителем была назначена А. М. Астахова. Тему своего исследования Б. Н. Путилов определил как «Исторические песни XVI—XIX вв. на Тереке».

Защита диссертации состоялась в Пушкинском Доме 20 октября 1948 года. Оппонентами были М. К. Азадовский и младший научный сотрудник Сектора устного народно-поэтического творчества, кандидат филологических наук А. Н. Лозанова. Официальный отзыв М. К. Азадовского, отложившийся в архивном фонде Б. Н. Путилова, и является предметом нашей публикации.[5] Следует сказать, что этот отзыв, в котором дается безусловно высокая оценка представленного исследования, написан весьма сдер-

---

[1] *Путилов Б. Н.* Гребенские казаки и их песни // Грозненский рабочий. 1945. 18 сент. № 185; 23 сент. № 189; 27 окт. № 213.

[2] *Путилов Б. Н.* Песни гребенского казачества // Учен. зап. Грозненск. гос. пед. ин-та. 1947. № 3. Вып. 3: Филол. серия. С. 5—46.

[3] *Путилов Б. Н.* Постоянство целеустремленности // Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 161.

[4] См.: Хроника работы кафедр // Учен. зап. Грозненск. гос. пед. ин-та. 1947. № 3. Вып. 3: Филол. серия. С. 205—206.

[5] См.: ИРЛИ. Ф. 848. Фонд находится в научно-технической обработке. Отзыв представлен вторым, не авторизованным, экземпляром машинописи.

жанно и даже суховато. Очевидно, что он предназначался исключительно для пакета документов, которые требовались для ВАКа. На самой же защите, судя по находящейся в фонде Б. Н. Путилова стенограмме заседания Ученого совета, М. К. Азадовский выступал эмоционально, не скупился на похвалы и более подробно останавливался на тех положениях работы, которые вызвали у него несогласие.

Свою речь он предварил следующими словами: «Позвольте мне начать с маленького личного момента, с воспоминания. Вскоре после того как из разных мест страны стали собираться члены нашего сектора, основной и волнующей темой наших бесед был вопрос о кадрах.[6] Мы подводили итоги наших потерь, которые понесла наша наука, с грустью говорили, что не видно плодотворных работ, серьезных работников, глубоко ставящих вопросы. И вот в это время, как-то среди груды писем к нам в сектор пришло письмо от, видимо, молодого собирателя, который делился своими замыслами, планами, просил советов, выдвигал ряд сомнений, и вместе с этим письмом был приложен ряд газетных номеров с песнями. Имя его ничего не говорило, но мы все отметили, что где-то в одной из частей страны работает совершенно одиноко какой-то человек, заслуживающий серьезного внимания. Вскоре мы имели возможность познакомиться и с самим автором этих писем. Наконец, за это время появился целый ряд его статей и даже два сборника,[7] и мы с большим интересом стали ждать завершения его труда, над которым он работал. Его диссертация над исторической песней нас особенно волновала. Сама тема за последнее время стала острой».[8]

Далее, не называя имен, М. К. Азадовский напомнил членам Ученого совета, что накануне войны в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена было защищено две диссертации по историческим песням: одна «очень интересная, посвященная общей проблеме исторических песен»; вторая — о песнях 1812 года. На фоне этих работ диссертационное исследование Б. Н. Путилова М. К. Азадовским оценивалось следующим образом: «И вот действительно перед нами полновесный труд молодого исследователя, смело и решительно подошедшего к этой теме и, главное, с позиций сегодняшнего дня. Труд Б. Н. Путилова, представленный в качестве диссертации, к которому приложен сборник исторических песен на Тереке, этот труд значительно выделяется среди обычных работ типа кандидатской диссертации. Он выделяется своей широтой размаха, глубиной постановки многих вопросов, начиненных эрудицией автора и большим исследовательским остроумием».

М. К. Азадовский, для которого всегда библиографическая составляющая в работе была чрезвычайно важной, высоко оценивает безупречное знание литературы вопроса, которое продемонстрировал диссертант: «Что особенно хотелось бы мне отметить, — это, если позволено будет сказать, филологическая безупречность и филологическая тщательность этой работы. Она прежде всего необычно тщательная в смысле эрудиции. Я, по крайней мере, не знаю ни одной какой-нибудь работы, посвященной исторической песне,

---

[6] Имеется в виду возвращение фольклористов Пушкинского Дома, разбросанных во время эвакуации по разным уголкам страны, в Ленинград. См. подробнее: *Иванова Т. Г.* Фольклористы Пушкинского Дома в годы Великой Отечественной войны // Традиционная культура. 2005. № 2. С. 15—24.

[7] Имеются в виду: Песни гребенских казаков / Публ. текстов, вступ. статья и комм. Б. Н. Путилова. Грозный, 1946. (Фольклор терского казачества; Сб.1); Исторические песни на Тереке / Подг. текстов, статья и прим. Б. Н. Путилова. Грозный, 1948. (Фольклор терского казачества; Сб. 2).

[8] ИРЛИ. Ф. 848. Далее ссылки на текст стенограммы заседания Ученого совета даются без оговорок.

которая автору осталась бы неизвестной. Он нашел нужным привлечь даже и такие пособия, которые не всегда остаются в поле зрения и внимания исследователя. Я ни в одной диссертации не нашел ссылок на лекции И. Н. Жданова.[9] Оказывается, Борис Николаевич их изучил. И очень обстоятельно использовал все до одного учебники народной словесности. Мне сначала казалось, что это известный педантизм, но, оказывается, автор высказывается по всем вопросам вполне самостоятельно».

Те глубокие источниковедческие исследования, которые провел Б. Н. Путилов, не могли не импонировать М. К. Азадовскому, знавшему вкус источниковедческих разысканий. «Очень интересна источниковедческая часть, — говорил он на защите. — Эта литература не лежит на поверхности. Это все нужно было извлекать из архивов, забытых книжек, из разных старых материалов. Но мало того, что эти материалы собраны, — каждый текст проверен и очень многое отметено как не выдерживающее строгой филологической критики. ⟨...⟩ Ему удалось распутать целый ряд библиографических вопросов».

После обширной комплиментарной части в адрес диссертанта М. К. Азадовский в несколько сокращенном виде зачитал текст своего официального отзыва, публикуемого нами ниже. В конце своей речи он опять отошел от написанного отзыва и на этот раз сосредоточился на замечаниях, которым посвящено две с половиной страницы машинописного текста стенограммы. «О части историографической, — начал он. — Укажу на стр. 159, где автор указывает на отражение казачьей песни в литературе. Это список очень неполный. Я хочу Вас упрекнуть, что Вам в одном месте не хватило смелости. Вы стараетесь проверить Гребенца.[10] Вы обращаете внимание на песню об Иване Грозном и сыне Курбского. Вы впервые установили, что исторические песни, напечатанные в сборнике Сахарова,[11] оказывается, Сахаровым они просто переписаны. И вот тут нужно было бы задуматься, где напечатаны эти песни, в каком сборнике».

Вызвало у М. К. Азадовского несогласие и то определение исторической песни, которое дает Б. Н. Путилов. «Гораздо существеннее мне представляется вопрос о том определении исторической песни, которое Вы даете на странице шестой, — замечает оппонент. — Вы так определяете ее: „Исторической песней называется эпическая и лиро-эпическая песня с исторической основой, имеющая героями конкретных исторических лиц". Когда я прочел Вашу диссертацию в целом, я не согласился с Вашей формулировкой. Вы даете формулу, которая должна идти в учебник. Это звучит тавтологически». И далее М. К. Азадовский, подчеркивая, что в работе на самом деле выявлена гораздо более глубокая сущность исторических песен, чем та, что заключена в формулировке «эпическая и лиро-эпическая песня с исторической основой», подсказывает молодому исследователю: «Вы на многих своих страницах даете ряд существенных компонентов для этого определения. Нужно было бы подумать о такой формулировке».

Историк науки, глубоко убежденный в принципиальном влиянии русской общественно-демократической мысли XIX века на развитие отечественной фольклористики, М. К. Азадовский не мог не остановиться на некоторых, с его точки зрения, просчетах Б. Н. Путилова в освещении историо-

---

[9] Имеется в виду издание: История русской литературы. Лекции проф. И. Н. Жданова. Литографированный курс 1898/9 гг. [СПб., 1899].

[10] Имеется в виду: Гребенские песни / Зап. Ф. С. Гребенец // Зап. Терского об-ва любителей казачьей старины. Владикавказ, 1914. № 7. С. 19—20, 30, 61; № 8. С. 60; № 9. С. 36, 62, 81—82; № 10. С. 42, 54, 62; № 11. С. 64; № 12. С. 16, 32, 46—48.

[11] Имеется в виду: Песни русского народа / [Изданы И. П. Сахаровым]. СПб., 1838—1839. Ч. 1—5.

графии вопроса: «Я не могу никак, Борис Николаевич, с Вами согласиться и в других вопросах, касающихся трактовки прежних концепций. Прежде всего я хочу сделать Вам упрек, что Вы недооценили Белинского. Белинский в Вашей книге не заговорил. Там, где Вы говорите о концепции фольклора, о Горьком, здесь уместно было бы вспомнить Белинского ⟨...⟩. Белинский говорит о субстанциональности исторических песен».[12] Не совсем верно, по мнению М. К. Азадовского, в диссертации были освещены научные позиции Н. И. Костомарова и Н. Я. Аристова.

Отвечая основным тенденциям фольклористики своего времени, М. К. Азадовский касается трактовки исторических песен о вождях народных восстаний Пугачеве и Разине в работе Б. Н. Путилова. «Вы категорически утверждаете, — обращается он к диссертанту, — что песен о Пугачеве было мало. Цензура, конечно, не была виновата. Была боязнь самих сказителей прикоснуться к этому материалу. Герцен говорил: „Наш народ многое забыл. Единственное, что он помнит, — песню о Пугачеве". Вы говорите, что песни о Разине не принадлежат агитационному фольклору. Вы не учли их роли в жизни. Вот определенный праздник в церкви; поп с амвона возглашает анафему Разину, а в это самое время народ изображает Разина самым привлекательным героем. Это является ответом народа на анафему церкви и ответом правительству».

В заключение своего выступления М. К. Азадовский, естественно, еще раз отметил высокий уровень оппонируемой работы: «Возвращаясь вновь к исходному пункту, я должен сказать, что все эти замечания, названные мною из разных мест, ни в моих глазах, ни в глазах Ученого совета ни в коей мере не затемнят общее значение этой книги. Я считаю, что Б. Н. Путилову должна быть присуждена ученая степень кандидата филологических наук».

В результате диспута Ученый совет Пушкинского Дома единогласно (17 голосов) присвоил Б. Н. Путилову искомую ученую степень. Тогда же был поднят вопрос о приглашении молодого фольклориста в Пушкинский Дом. Однако этой инициативе М. К. Азадовского воспрепятствовали исторические события. Защита диссертации, напомним еще раз, проходила в период, когда в стране уже разворачивалась печально знаменитая антикомпаративистская кампания, сломавшая жизнь многих из тех, кто присуждал начинающему фольклористу ученую степень. «Защита моя была последним „мирным" событием в Пушкинском Доме, — писал Б. Н. Путилов в своей автобиографии, хранящейся в его архивном фонде в Пушкинском Доме, — вскоре последовала кампания борьбы с космополитизмом, жертвой которой явился и М⟨арк⟩ К⟨онстантинович⟩».[13]

Б. Н. Путилов остался среди тех коллег М. К. Азадовского, кто тогда не отвернулся от старейшины отечественной фольклористики. «Я наезжал в Ленинград только летом, в отпуск, бывал у М⟨арка⟩ К⟨онстантиновича⟩, изгнанного из Университета и из Пушкинского Дома, больного физически, но крепкого духом», — замечал он в своей автобиографии. В воспоминаниях Б. Н. Путилова «Постоянство целеустремленности» есть небольшой отрывок, посвященный встрече ученых в 1951 году в дачном месте ленинградцев — на станции Сиверская, где проводили лето Азадовские: «По первому

---

[12] См. соответствующую главу в книге М. К. Азадовского «История русской фольклористики».

[13] ИРЛИ. Ф. 848. Об истории увольнения М. К. Азадовского из Пушкинского Дома см.: Два отзыва о научной деятельности М. К. Азадовского / Публ. Т. Г. Ивановой // Русская литература. 2006. № 2. С. 86—101.

взгляду он был такой же, только опирался на палочку и, если говорил долго, начинал тяжело дышать. Ходил он медленно, часто останавливался. Но сразу было ясно, что дух его, острота ума, юмор остались прежними. Прибавилась горечь. Главная горечь была связана с отлучением его от фольклористики».[14]

В 1954 году, когда, по словам Б. Н. Путилова, «повеяло оттепелью», он, преподаватель провинциального педагогического института, все-таки был приглашен в Пушкинский Дом. Приглашение это исходило от тогдашнего заведующего Сектором устного народного творчества Михаила Осиповича Скрипиля, который, мы не сомневаемся, руководствовался прежде всего мнением М. К. Азадовского. Опять началось общение молодого исследователя с М. К. Азадовским, но тому, к сожалению, оставалось жить недолго. О последних месяцах жизни М. К. Азадовского Б. Н. Путилов вспоминал так: «К Марку Константиновичу возвращалось чувство ответственности за сегодняшний и особенно — за завтрашний день нашей фольклористики. Он оживленно расспрашивал меня о делах сектора, о наших общих и моих планах. ⟨...⟩ Похоже, приближалось время, когда его попросят вернуться — как несколько позже попросили вернуться Б. М. Эйхенбаума. Но сил ждать у Марка Константиновича не хватило...»[15]

Марк Константинович Азадовский скончался 24 ноября того же 1954 года. Судьба не подарила возможности двум выдающимся ученым работать в единой команде. Но традиции серьезной научной мысли в области фольклористики, безжалостно прерванные бессмысленной «борьбой с космополитизмом», были восстановлены молодым коллегой М. К. Азадовского, которому тот в 1948 году дал путевку в «большой научный мир». В 1958 году Б. Н. Путилов встал во главе Сектора устного народно-поэтического творчества Пушкинского Дома — сектора М. К. Азадовского.

---

[14] *Путилов Б. Н.* Постоянство целеустремленности. С. 165.
[15] Там же. С. 166.

ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ Б. Н. ПУТИЛОВА «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ XVI—XIX вв. НА ТЕРЕКЕ»

Работа Б. Н. Путилова представляет собою крупное фольклористическое исследование, далеко выходящее — и по объему (24 печ. л.),[1] и по значению — за пределы обычного типа кандидатских диссертаций; это труд большого масштаба, заполняющий весьма ощутимый пробел в нашей науке, ставящий и разрешающий ряд кардинальных общетеоретических проблем. Несмотря на то что исследование Б. Н. Путилова посвящено местной теме, значение его ни в коем случае не может быть ограничено локальными рамками, — и оно должно рассматриваться наряду с трудами, посвященными проблеме русской исторической песни в целом.

На локальном материале автор показывает характерные особенности казачьих исторических песен в целом, определяет их место в ряду других

---

[1] В Рукописном отделе Пушкинского Дома хранятся два экземпляра диссертации Б. Н. Путилова: ИРЛИ. Р. I. Оп. 49 (Диссертации). № 25 и в личном фонде исследователя (Ф. 848).

разделов русской народной поэзии, дает картину возникновения и развития этого жанра, внимательно исследует их содержание и форму, их историческую основу и идейную сущность, и вместе с тем выдвигает ряд весьма существенных вопросов, связанных с общей проблемой исторической песни. Он дает свое определение исторической песни, анализирует историческую песню в ее взаимоотношениях с родственными жанрами: былина, баллада; подробно останавливается на проблеме соотношения исторической песни и истории.

Автор предпосылает исследованию обширный историографический обзор, заключающий в себе внимательный анализ прежних концепций. Этот обзор отнюдь не имеет формального характера: это в полной мере критический анализ, существенно необходимый автору для его дальнейших построений. Отчетливо и убедительно вскрывает он ошибки прежних исследователей и их идеологические корни. Проблема исторической песни не была разрешена буржуазной наукой, потому что последняя стояла на антиисторических, идеалистических позициях. Автор вместе с тем вскрывает и ошибки советских исследователей и полемизирует с ними по ряду вопросов.

Особый интерес представляют страницы, посвященные критике т⟨ак⟩ н⟨азываемой⟩ «исторической школы». Несмотря на то что многие из поставленных автором вопросов уже неоднократно освещались в нашей исследовательской литературе, он сумел во многих случаях подойти к ним по-новому, и его критические замечания являются весьма ценными дополнениями к существующей литературе. Так, например, он очень остроумно вскрывает основной порок построений Вс. Миллера — их механистичность. Вс. Миллер, пишет автор, «считает возможным оперировать материалом семи-восьми столетий как чем-то единообразным, не пытаясь внести подлинно исторический принцип в его анализ. Он полагает возможным строить суждения об эпосе XI века по материалам XVIII в., не задумываясь над тем, какие сдвиги произошли за это время в самих исторических условиях, в народном сознании» (стр. 27; см. также стр. 118—204); отмечу также вдумчивый анализ концепций Буслаева, критические замечания по поводу суждений об исторической песне Н. П. Андреева и т. д.

Диссертация состоит из пяти глав: 1. Историческая песня как жанр (основные проблемы). 2. Собирание и изучение исторической песни на Тереке. 3. Исторические песни XVI—XIX вв. на Тереке. Обзор материала и проблематика. 4. Вопросы стиля казачьей исторической песни. 5. Судьба жанра исторических песен XVI—XIX вв. на Тереке.

Общие вопросы сосредоточены главным образом в первой главе; она состоит из следующих разделов: определение жанра; историческая песня и смежные явления песенного фольклора; историческая песня и былина; историческая песня и история; историческая песня в ее развитии; казачья историческая песня.

Наиболее запутанным в нашей науке является вопрос о взаимоотношении между исторической песней и былиной. Автор не отрицает этой связи, но вместе с тем он четко устанавливает качественное различие былевого эпоса и исторической песни. Это различие он видит в самом происхождении былин и песен, в различных этапах истории и исторического сознания народа, в которые возникли те и другие; констатирует различие основных методов художественного изображения; различие принципов композиции; отмечает различные законы и формы сюжетосложения, создания образов и пр.

Подробно рассматривается вопрос об отношении исторической песни к изображаемой действительности, то есть — к истории. Это рассмотрение

развивает, по существу, известный горьковский тезис о «своем» отношении народа к истории и дает возможность понять историческую песню как специфическую художественную форму выражения народного исторического сознания.

Рассматривая вопрос о развитии исторических песен во времени, автор стремится опровергнуть распространенную теорию о «затухании» народного творчества в области исторической песни, о ее художественной и идейной деградации и выдвигает тезис о творческом характере процесса развития жанра, причем жанр, по мнению исследователя, развивается по пути ко все большему реализму.

В этой связи и обращается особое внимание на казачью историческую песню, которая развивается непрерывно от XVI в. до нач⟨ала⟩ XIX в. Автор устанавливает, что казачья историческая песня не является каким-то вторичным ответвлением песни общерусской, но составляет вполне самостоятельную часть русской исторической песни, развивавшуюся по своим путям. В этом особенная и заслуживающая большого внимания оригинальность работы. Глава вторая посвящена обзору собирания и изучения терской исторической песни, причем эта тема рассматривается на фоне более широкой темы — собирание и изучение всего терского песенного фольклора; в этой главе подведен итог длительным историографическим разысканиям автора в области терского фольклора. И, должно сказать, выполнена она с исключительной тщательностью и полнотой. Автор вводит в научный оборот совершенно впервые ряд забытых и полузабытых имен и фактов русской фольклористики. Попутно он разъясняет некоторые темные вопросы нашей историографии, например, впервые распутан вопрос о неясных публикациях исторических песен на страницах «Русской старины» (публикация Мороза).[2] Очень интересны страницы, посвященные Лермонтову, Полежаеву и Л. Толстому о их связи с терским фольклором и их роли в исследовании и популяризации последнего. Л. Н. Толстого он считает — в такой форме это высказано впервые — первым по времени этнографом терского казачества. Мне представляется кое-что в этой характеристике преувеличенным, но сама постановка вопроса в таком виде чрезвычайно интересна и плодотворна.

Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что автор ни на минуту не упускает из виду общей идеологической окраски фольклористических изучений Терека; он устанавливает, что первые, ранние изучения имели более демократический характер, а позже, в ряде случаев, приобрели охранительный смысл. Эта глава может быть рекомендована как пример правильного построения историографического очерка в локальном аспекте.

В третьей главе — два раздела. Первый раздел представляет обзор всего известного материала терских исторических песен. Этот материал собран автором также весьма тщательно и с максимальной добросовестностью; материал извлечен из различных местных изданий и сборников, частично же записан им самим. Систематизация принадлежит автору, и это первый опыт полной систематизации известного казачьего материала. В этой работе автор опирается на уже ранее проделанную работу по соотнесению каждой песни с ее конкретно-исторической основой, работу, отраженную в сборнике «Исторические песни на Тереке».

---

[2] Исторические песни / Сообщ. Д. К. Мороз // Русская старина. 1890. № 9. С. 468, 570—572, 656; № 10. С. 136, 278; № 11. С. 469—470, 584; 1891. № 1. С. 221—222.

В обзоре характер материала и его специфика объясняются на основании анализа истории терского казачества. Развитие жанра показано в обусловленности его развитием исторической жизни казаков. Выясняется место терского материала среди репертуара других казачьих и неказачьих районов, для чего широко привлекаются данные по историческим песням на Дону, Урале, Волге и т. д. В этой главе используются все сколько-нибудь значительные сборники и публикации русской исторической песни.

Во втором разделе 3-й главы рассматривается проблематика исторических песен на Тереке, анализируется основная тематика, причем проблематика не только описана, но и показана в ее развитии. Так, показано развитие проблем: отношение народа к царской власти, народное освободительное движение, военная история.

Рассматривая проблематику казачьих исторических песен под социальным углом зрения, автор стремится показать, как в песнях выразились воззрения казачества на историю, его отношение к истории.

Четвертая глава посвящена вопросам стиля казачьей исторической песни. Главным материалом здесь является терская песня, но довольно широко привлекаются и материалы других районов. Рассматриваются композиция, сюжетосложение, образы, пути и характер изображения действительности. На большом материале автор устанавливает специфические особенности стиля казачьей исторической песни и исследует вопрос о происхождении и развитии этих особенностей.

В основе этого исследования лежит мысль, что в исторической песне постепенно и неуклонно шел процесс выработки реалистических методов отражения исторической действительности, процесс создания своих художественных принципов, отражающих фольклорное сознание определенной эпохи и идейно-художественные задачи.

Создание стиля исторической песни шло через творческую переработку и «отрицание» эпической и иной песенной традиции к созданию новых художественных форм. В последней главе исследуются судьбы старой исторической песни, современное состояние репертуара и изменения, происшедшие в идеологии, содержании и форме песен.

От исследования старинной исторической песни автор подходит к современности и в качестве заключительного момента своей работы выдвигает вопрос о предпосылках для создания качественно новых исторических песен — эти предпосылки он усматривает в песнях гражданской войны.

Конечно, в исследовании такого масштаба не может не сказаться моментов, возбуждающих сомнение или вызывающих прямой спор, а иногда и прямо ошибочных суждений и утверждений. Не вполне удовлетворяет то общее определение исторической песни, которое дает автор; в историографической части не освещена роль Белинского в познании сущности исторических песен; односторонне и упрощенно интерпретирована концепция Костомарова; остались непонятыми автором подлинные причины сравнительной малочисленности песен о Пугачеве; ошибочно, с моей точки зрения, освещен вопрос о подлинном характере песен о Разине и их месте в народном сознании и т. д. и т. д. Но все эти критические замечания, число которых, конечно, более значительно и которые будут подробно изложены в моем выступлении на защите, не могут и не должны ни в коем случае ослабить общую оценку, которая дана в начале этого отзыва.

Исследование Б. Н. Путилова, представленное им для соискания ученой степени кандидата филологических наук, вполне соответствует своему на-

значению; оно должно быть причислено к числу крупнейших фольклористических работ нашего времени, и автор его, безусловно, заслуживает быть удостоенным звания кандидата филологических наук, а труд его, несомненно, должен быть опубликован в виде отдельной монографии.

Доктор филологических наук
профессор М. Азадовский.

«...».[3] X. 48 г.

[3] Точная дата в документе отсутствует.

ПОЛЕМИКА

© *С. Н. Азбелев*

НАПРАСНАЯ ПОПЫТКА УБЕРЕЧЬ ОТ КРИТИКИ АНОНИМНОЕ СОЧИНЕНИЕ О ВАЛААМСКОМ МОНАСТЫРЕ

(ПО ПОВОДУ СТАТЬИ А. Г. БОБРОВА)

В 1-м номере «Русской литературы» за 2006 год А. Г. Бобров выступил со статьей, которая представляет собой полемический отклик на две работы, напечатанные за полтора года до того в сборнике материалов Международной научной конференции, проведенной в 2003 году Валаамским ставропигиальным монастырем.[1] Публикации, с которыми спорит А. Г. Бобров, принадлежат финскому профессору Х. Киркинену и мне.[2]

В центре работы конференции был немаловажный вопрос о времени основания древнейшего в России Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам — вопрос, актуализированный сравнительно недавно сенсационной книгой, хвалебное предисловие к которой написал А. Г. Бобров. По словам этого предисловия, «книга молодой исследовательницы Н. А. Охотиной-Линд ⟨...⟩ совершает настоящий переворот в изучении истории знаменитого монастыря ⟨...⟩ благодаря открытию Н. А. Охотиной-Линд ранее неизвестного произведения — „Сказания о Валаамском монастыре"».[3]

Проф. Х. Киркинен и С. Н. Азбелев указывали на историческую недостоверность этого публицистического произведения — прежде всего, вследствие несовместимости его основного содержания с показаниями вполне надежных древнерусских источников. Согласно летописным сводам, составлявшимся в XVI и XVII веках при кафедре новгородских архиепископов и митрополитов, основателями знаменитой обители были преподобные Сергий и Герман Валаамские, мощи которых обретены при святом архиепископе Иоанне I в 60-х годах XII столетия. Анонимный автор сочинения, относящегося тоже к XVI столетию, хотел уверить своих читателей, что Валаамский монастырь основан в конце XIV или в начале XV в. преподобным Ефремом, который позже основал гораздо менее известный Перекомский монастырь. Существует немало данных, вполне обнаруживающих недостоверность упомянутого сочинения и помогающих объяснить мотивы тенденциозного вымысла.

Рассмотрению этих данных была посвящена английская статья профессора Х. Киркинена. Н. А. Охотина-Линд не ответила на нее в своей книге, которая в то время уже печаталась. Но и этой статьей, и опубликованным затем в Валаамском

---

[1] *Бобров А. Г.* Неудачный поход против «Сказания о Валаамском монастыре» (По поводу статьи С. Н. Азбелева) // Русская литература. 2006. № 1. С. 277—281 (далее ссылки на эту статью приводятся в тексте).

[2] *Киркинен Х.* Основание Валаамского монастыря: когда, как и кем // Валаамский монастырь. Духовные традиции. История. Культура. Материалы Второй международной научной конференции 29 сентября—1 октября 2003 года. СПб., 2004. С. 28—53; *Азбелев С. Н.* К вопросу о дате основания монастыря на Валааме // Там же. С. 54—80. Проф. Х. Киркинен на конференции не присутствовал, в сборнике помещен перевод его статьи, ранее появившейся в Финляндии (*Kirkinen H.* The Founding of the Valamo Monastery: When, How and by Whom // Ortodoksia. Kuopio, 1995. T. 44. P. 30—55).

[3] *Охотина-Линд Н. А.* Сказание о Валаамском монастыре. СПб., 1996. С. V.

сборнике русским ее переводом располагал А. Г. Бобров, единомышленник госпожи Линд, за полтора года имевший возможность тщательно изучить аргументацию финского оппонента.

Результат изучения оказался настолько удивителен, что достоин полной цитации: «Первым на предварительную журнальную публикацию Н. А. Охотиной-Линд отреагировал профессор Х. Киркинен, еще в 1963 году относивший создание обители к XII веку. В нынешнем сборнике „Валаамский монастырь" также имеется его статья, в которой он повторил свои прежние аргументы и остался на своей точке зрения. Исследователь объявляет раннюю дату основания обители единственно верной, позднюю же датировку — ошибочной, поскольку „Русская Церковь и братия Валаамского монастыря отвергают такую точку зрения" (с. 49). Если братия Валаамского монастыря несомненно имеет полное право на свою точку зрения (видимо, достаточно известную Х. Киркинену), то резоны, по которым финский исследователь выступает от лица всей Русской Церкви, нам непонятны», — заключает А. Г. Бобров (с. 277).

Полемист использовал недопустимый в научном споре прием тенденциозного обрыва цитаты. В статье Х. Киркинена на странице, указанной А. Г. Бобровым, говорится: «Русская Церковь и братия Валаамского монастыря отвергают такую точку зрения, противоречащую многим другим источникам и основным идеалам, которые воплощены в духовном опыте Валаамского монастыря».

Но особенно впечатляет тот факт, что А. Г. Бобров совершенно ушел от разговора по существу, создавая у читателей «Русской литературы» мнение, будто к десяти словам, которые полемистом приведены, и сводятся возражения на публикацию Н. А. Охотиной, выдвинутые финским ученым, в остальном будто бы лишь повторившим свои аргументы, высказанные «еще в 1963 году».

В 1963 году Х. Киркинен действительно писал о времени основания Валаамской обители — задолго до появления работ госпожи Охотиной. Представленные тогда аргументы он затем суммировал уже кратко, отзываясь на ее публикацию. Но главное содержание большой статьи Х. Киркинена — это внимательное рассмотрение опубликованного ею текста и конкретные доказательства недостоверности основных «фактов» в повествовании, напечатанном Н. А. Охотиной-Линд. Реабилитацией этого сочинения и озабочен теперь А. Г. Бобров, восторженно аттестовавший 12 лет назад книгу, где упомянутое произведение было издано уже повторно.

Приходится привести здесь конспективно хотя бы самое основное из аргументации профессора Х. Киркинена.

«Сказание кратко о создании пречестныа обители...» представляет настоящим основателем Валаамского монастыря преподобного Ефрема Перекомского — о чем нет сведений ни в одном другом источнике, — а преподобные Сергий и Герман изображены как его помощники и преемники. Это противостоит сведениям «Валаамской беседы», дошедшей во многих списках, тогда как «Сказание кратко» существует в единственном тексте, хранившемся в частной коллекции XIX века. Оно не только противоречит другим средневековым источникам о Валааме, но и выдвигает на первый план участие его братии в жестокой и кровавой борьбе с местным населением, что совершенно не соответствует обычаям монастыря и достоверным сведениям об истории Ладожской Карелии.

Существует Житие Ефрема Перекомского; оно никак не связывает его с Валаамским монастырем, а хронологически и по содержанию не поддается согласованию с тем, что говорится в «Сказании». Однако само «Сказание кратко» направлено на прославление св. Ефрема, приписывая ему причастность к возникновению Валаамского монастыря — несравненно более значимого, чем Перекомская обитель, основанная Ефремом на самом деле. Задачей этого сочинения было, очевидно, способствовать престижу малоизвестного основателя Перекомского монастыря.

Но автор «Сказания» слишком увлекся сочинением псевдоисторических недостоверных эпизодов — настолько, что его труд не мог быть санкционирован и остался одиноким казусом, никак не повлиявшим на древнерусскую агиографию. Х. Киркинен обнаружил и указал весьма существенные внутренние противоречия и несуразности в самом тексте произведения, не позволяющие доверять ему даже вне зависимости от несоответствия иным источникам. Как отмечает финский исследователь, автор этого сочинения мог частично использовать устные сведения о восстановлении Валаама после очередного опустошения шведами, привязав их весьма приблизительно ко времени реальной деятельности св. Ефрема и приписав сотрудничество с ним давно почившим на самом деле настоящим первооснователям древней обители.

Литературному сочинению, которое с публицистической целью «омолаживало» Валаамский монастырь на несколько столетий, Н. А. Охотина-Линд хочет придать значение официального документа, объявляя лишенными достоверности источники, которые уже использовались исследователями истории знаменитой обители. Профессор Х. Киркинен напомнил коротко исторические материалы, привлекавшиеся в его трудах — источники, чья достоверность остается непоколебленной.

А. Г. Бобров, покончив с работой Киркинена путем сокрытия от читателей ее содержания, обратился к статье Азбелева. «Выявить» и «сформулировать» ее «научный смысл» полемисту оказалось несложно: «Если у нас имеется несколько десятков рукописей XVII—XVIII веков, в которых прямо или косвенно говорится, что мощи преподобных Сергия и Германа были обретены и перенесены из Новгорода на Валаам еще в XII веке, и им противостоит всего одна рукопись XVI века, опровергающая такую раннюю датировку, то правы первые, именно в силу своей многочисленности, — такова, — по словам Боброва, — поразительная логика ученого» (с. 277).

Поразительно не только приведенное умозаключение, принадлежащее, естественно, не мне, а самому полемисту, но и многое другое в его статье.

На самом деле значение имеет, конечно, не количество рукописей, опровергающих вымысел сочинителя, а *качество* заключенной в них информации. В моей работе, против которой возражает А. Г. Бобров, было объяснено достаточно подробно, что основная часть их представляет собой списки трех официальных летописных сводов, которые составлялись и редактировались при дворе высших иерархов Великого Новгорода, причем исполнители этой работы суммировали содержание используемых местных летописей (в частности — летописей монастырских) и весьма разнообразных других материалов (в частности — агиографических), критически осмысляя и исправляя вносимые данные на основе сверки их между собой и с иными источниками. Приемы работы по составлению упомянутых сводов были конкретно изучены и обобщены на тех страницах моей книги 1960 года, которые, видимо, не смотрела Н. А. Охотина-Линд.[4]

Списки Новгородской Уваровской летописи передают текст свода, создававшегося по случаю учреждения в Новгороде митрополии в 1588 году. Составителями было привлечено несколько не дошедших до нас новгородских летописей. В моей книге было показано текстологически, что использование одной из них прекратилось после 1581 года.[5] На этот факт стоило бы обратить внимание А. Г. Боброву, написавшему, что «после шведского разорения 1578 года и мора 1581 года валаамская братия покинула обитель» (с. 278). Весьма вероятно, что именно тогда летопись Валаамского монастыря была доставлена в канцелярию новгородского архие-

---

[4] См.: *Азбелев С. Н.* Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960. С. 28—29, 88—134 (особенно 122—132).

[5] См. там же на с. 29 и 32.

пископа, где затем использовалась в числе других источников при составлении владычного свода. Из Валаамской летописи и было, очевидно, взято известие об обретении мощей преподобных Сергия и Германа в 1163 году при архиепископе Иоанне, которое читается в сохранившей текст этого свода Новгородской Уваровской летописи и позднейших митрополичьих сводах.

Новгородская Уваровская летопись составлена значительно раньше оккупации Новгорода и уничтожения Валаамского монастыря шведами в 1611 году, поэтому безосновательны предположения А. Г. Боброва о «мифотворчестве», будто бы восполнившем «отсутствие достоверных фактов» после того, как «непрерывность традиции была нарушена» (с. 278).

А. Г. Боброву не нравится, что я назвал списки новгородских летописей XVI—XVII столетий и «Валаамской беседы» *аутентичными* историческими источниками. Пытаясь укорить меня даже в недопонимании термина, он пишет: «подлинником, первоисточником по отношению к описанию событий XII века эти памятники в любом случае быть не могут» (с. 279). Однако в авторитетном словаре — на той именно странице, к которой отослал полемист (якобы в подтверждение своих слов), — напечатано определение, соответствующее моему пониманию термина, а не его: «АУТЕНТИЧНЫЙ. Исходящий из первоисточника, соответствующий подлиннику; подлинный, действительный».[6]

Игнорированием подлинных летописных известий (впервые подробно мною приводившихся как раз в работе, с которой спорит А. Г. Бобров) обусловлены и утверждения полемиста, касающиеся первостепенного вопроса: при каком из разделенных тремя веками архиепископов — Иоанне I или Иоанне II — произошло обретение мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. Желая оспорить вполне ясные указания летописей и «Валаамской беседы» на Иоанна I (который до избрания его владыкой принадлежал к белому духовенству и носил имя Илья), полемист некорректно изобразил своим союзником автора написанной по иному поводу сфрагистической статьи тридцатилетней давности, считавшего (в противоположность А. Г. Боброву), что Иоанном владыка был в миру, а Ильей — став архиепископом. Цитируя ее, полемист назвал «недопустимым и целиком умозрительным» разделяемое мной мнение, что священник Илья получил имя Иоанн «при монашеском пострижении, необходимом для занятия владычной кафедры» (с. 279).

Однако в рукописи Новгородской Уваровской летописи (пока неполно опубликованной) об этом сказано вполне конкретно: «В то же лѣто [1165] ходи игумен Дионисии Юрьевскои Георгиева монастыря с любовию в Русь, в Киевъ град, и дано бысть владыце архиепископство митрополитом Иоанном Киевским. А до сего архиепископа Иоанна были в Великом Новѣграде епископи, и было их 9, а с ним 10, потому что был епископ десятый. А в мире был Илия, жил на Софѣискои странѣ и священствовал у церкви деревяной у Власия священномученика на Волосове улицы».[7] Аналогичный текст (также мною уже приводившийся) в неизданной основной редакции Новгородской 3-й летописи. Несколько иначе повествовал об этом же Краткий летописец новгородских владык: «В лѣта 6673 поставленъ бысть Иванъ архиепископъ Новуграду, от митрополита Ивана Киевскаго всеа Руси, при князи рустемъ Ростиславѣ Мстиславичи Киевскомъ; а священствовалъ у святаго священномученика Власья на Волосвѣ улици, и нареченъ бысть во иноцехъ Иванъ».[8]

О кончине святого архиепископа Иоанна в его Житии сказано: «И тако пожив добре успе с миром. И погребен бысть в церкве святыя София в мнишеском образе. И бысть скимное имя ему Иоан, преже бяшет имя ему Илья».[9] Специалистам до-

[6] Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. М., 1991. Т. 1. С. 271.

[7] Отдел рукописей БАН. № 34.4.1. Л. 199.

[8] Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 131.

[9] Цит. по: *Дмитриев Л. А.* Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. Л., 1973. С. 149. См. также с. 161.

статочно известно, что слово «схима» обозначало «монашеский чин, малый и великий иноческий образ».[10] В приведенном тексте «скимное имя» — это всего лишь *монашеское* имя усопшего. Житие не говорит о его «предсмертном пострижении» в великий иноческий образ, вопреки А. Г. Боброву, напрасно апеллирующему к «научной традиции» (с. 279) — конкретно, к двум авторам, писавшим *значительно ранее* введения в науку цитированных в моей статье по рукописям летописных известий.

Не имеют реального значения отсылки полемиста к имени «Илья» в кормчей книге и в плохо сохранившейся печати. Архиепископ Иоанн I, так же как брат его, последующий новгородский архиепископ Григорий, привычно продолжал пользоваться своим мирским именем, под каковым его давно знали в Новгороде (соответственно в летописях и после занятия владычной кафедры эти архиепископы упоминаются обычно как Илья и Гаврила).[11]

Оба были погребены в склепе — «темнице» Софийского собора, о которой не раз говорится в новгородских летописях и упомянуто в «Валаамской беседе». А. Г. Бобров скороговоркой (скрывшей от читателей суть и следствия его заблуждения) признал теперь ошибочность категорично поддержанных им домыслов Н. А. Охотиной-Линд, которая, истолковав данное упоминание как свидетельство пребывания архиепископа в тюрьме, на этом базировала свой неверный вывод, будто речь идет не об Иоанне Первом, а об Иоанне Втором[12] (с. 279). Между тем ошибка в хронологии на триста лет аннулирует и другие ее суждения, поддержанные А. Г. Бобровым.

Прочие свои ошибки полемист признавать не захотел, а попытался странным образом оправдать. Они связаны с Коневским монастырем, который был основан на насколько веков позже Валаамского (что не подходит для госпожи Линд и, соответственно, для А. Г. Боброва).

В предисловии А. Г. Боброва говорилось: «...из Новгородской IV летописи мы знаем только об основании Коневского монастыря на Ладожском озере (1398 г.), а летописец, скорее всего, отметил бы первую из основанных в тех краях обителей»[13] (имеется в виду обитель Валаамская). Я указал, что здесь «существенная неточность», так как в этой летописи «Коневский монастырь вообще не назван, об основании его не говорится, речь идет только о возведении храма»[14] (основание монастыря произошло не в 1398 году, а раньше, чем в нем построили храм — это явствует из Жития Арсения Коневского).[15] Не имея возможности что-либо возразить, полемист подменил тезис и стал пространно доказывать — якобы возражая мне, — что храм не мог существовать до прибытия Арсения на Коневский остров вследствие его тогдашней ненаселенности (при этом А. Г. Бобров захотел еще и приписать мне незнакомство с древнерусским Житием — с. 280).[16]

---

[10] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 374.

[11] В Новгородской 1-й летописи старшего извода Илья дважды упомянут вместе с Гавриилом, который не был еще архиепископом (Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3. С. 33 и 36), а далее Гавриил трижды фигурирует под этим же именем уже как архиепископ (с. 38, 39, 41), и только один раз он назван Григорием (с. 40); в перечне новгородских владык, предшествующем Новгородской 1-й летописи младшего извода в Комиссионном списке, названы Иоанн и Григорий (с. 473); в аналогичном перечне того же списка, помещенном после известия о крещении Новгорода — Илья и Гавриил (с. 163).

[12] См.: *Охотина-Линд Н. А.* Указ. соч. С. VII и 74—75.

[13] Там же. С. VII.

[14] *Азбелев С. Н.* К вопросу о дате основания монастыря на Валааме. С. 73.

[15] См., например, список БАН: Собр. Археографической комиссии. № 3. Л. 17 об.—28.

[16] Указание на четыре ошибки в передаче отдельных букв приведенной мною цитаты из летописи (с. 279) следует адресовать не мне, а издательству «Сатисъ», лишившему меня возможности выявить и устранить плоды финальной самодеятельности его редактора (не только в этом случае, но и в других).

В своем предисловии А. Г. Бобров безоговорочно утверждал, что Житие Арсения Коневского «ничего не сообщает о Валааме».[17] Я привел выдержку из текста Жития, напечатанного Синодом, где говорится о пребывании Арсения в Валаамском монастыре, и заметил, что А. Г. Боброву «следовало пояснить, какую редакцию жития» он имел в виду.[18] Отвечая мне, полемист пишет: «С. Н. Азбелев, очевидно, не понимает, что исследователи в своих работах обычно говорят о подлинных древнерусских текстах, а не о творениях церковных авторов XIX века» (с. 280).

А. Г. Бобров усугубил здесь свою ошибку. Нельзя объявлять текст Жития творением авторов Нового времени на том только основании, что сейчас неизвестен использованный для издания 190 лет назад древнерусский текст. Полемист едва ли не знал, что «Словарь книжников и книжности Древней Руси» в статье, написанной Р. П. Дмитриевой, определяет цитированный мною текст именно как «иную редакцию» Жития Арсения.[19] Думаю, что А. Г. Боброву была знакома и посвященная житиям святых монография другого авторитетного исследователя, где есть раздел, посвященный Житию Арсения Коневского. Этот раздел основан на сравнительном изучении редакций, в котором первостепенное место принадлежит редакции издания 1850 года.[20]

Но для А. Г. Боброва авторитетом опять оказалась опрометчиво им прославленная Н. А. Охотина-Линд. Именно у нее о тексте, напечатанном в 1850 году, говорится как о «поздней переработке жития, сделанной коневским игуменом Иларионом в начале XIX в.», — со ссылкой: «см. запись И. Срезневского на экземпляре этой книги — БАН, 24.4.14» (текст записи госпожа Линд не привела).[21]

Книга, о которой идет речь, представляет собой сборник, содержащий последовательно пять статей: Службу преподобному Арсению, Житие Арсения, Похвальное слово ему, Службу Пресвятой Богородице и Сказание об ее чудотворной иконе. Титульного листа сборник не имеет, а на чистом листе, непосредственно перед заглавием Службы Арсению, в экземпляре собрания И. И. Срезневского (БАН. № 24.7.14—15) карандашом написано: «Составлена отц[омъ] Иларіономъ строителемъ Конев[скаго] монастыря и послѣ Архимандритомъ Тихвин[скаго] м[онасты]ря». Отец Иларион возглавлял обитель в звании строителя, а не игумена, и *составил именно Службу* (а не житие Арсения), о чем сообщалось в очерке истории монастыря.[22]

Говорить о «поздней переработке жития» мешает не только отсутствие указания на это в записи И. И. Срезневского, которая вообще относится не к Житию, а к Службе, но и содержание самого текста. Еще В. О. Ключевский обратил внимание на то, что в изданном Синодальной типографией в 1850 году Житии Арсения «из 5 посмертных чудес одно 4-е помечено 1573 г.». По мнению В. О. Ключевского, в основе опубликованной редакции были подвергнутые сокращению «старые записки об Арсении».[23] Сохраненные в этой редакции упоминания о связи Арсения со знаменитым Валаамским монастырем были еще актуальны в XVI столетии, но они целиком утратили свою значимость после уничтожения обители в 1611 году.[24]

---

[17] *Охотина-Линд Н. А.* Сказание о Валаамском монастыре. С. VII.

[18] *Азбелев С. Н.* К вопросу о дате основания монастыря на Валааме. С. 73.

[19] Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 109.

[20] См.: *Будовниц И. У.* Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв.: (По житиям святых). М., 1966. С. 120—126.

[21] *Охотина-Линд Н. А.* Указ. соч. С. 108.

[22] См.: *Пимен, архимандрит.* Рождественский Коневский монастырь. СПб., 1892. С. 59. Первое издание упомянутого сборника вышло в 1815 году, без двух последних статей, добавленных в переиздании 1820 года, которое повторено в переизданиях 1850-го и 1879 годов.

[23] *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 357.

[24] Напомню соответствущие фразы в контексте. «Пріимъ убо святительское благословеніе святый Арсеній и вземъ Святогорское дарованіе, святую икону, на водоходномъ суднѣ отплы по рѣкѣ Волхову на великое езеро Нево. Творяше же плаваніе восточнымъ онаго берегомъ много островов мимоиде, и въ Валаамской обители нѣкое время пребысть, но видя въ той много-

Опустившая их редакция, представленная дошедшими до нас полными списками, старший из которых датируется 30-ми—40-ми годами или серединой XVII века,[25] бытовала в период более чем столетнего запустения Валаама. Неоправданная задиристость полемиста и в данном вопросе проистекает, как видим, из напрасного доверия к ошибочным утверждениям госпожи Линд.

Ни одно из довольно многих конкретных моих указаний на *весьма серьезные* дефекты построений «молодой исследовательницы» А. Г. Бобров *не опроверг*, однако выражает свое недовольство тем, что промахи Н. А. Охотиной-Линд я характеризовал, используя порой достаточно жесткие формулировки. Нетрудно было догадаться об их причинах: это не только «уровень» самих ошибок госпожи Линд, но и неуважительный тон ее высказываний о трудах профессора Х. Киркинена, который годился бы ей если не в деды, то в отцы.[26]

Стремясь объявить «незыблемыми» извлеченные Н. А. Охотиной-Линд из недостоверного источника «свидетельства о появлении обители не ранее XIV века» (вопреки даже указаниям летописей и «Валаамской беседы»), А. Г. Бобров хотел опереться на статью П. Е. Сорокина в сборнике Валаамской конференции (с. 280—281). Суммируя материалы археологов, добытые обследованием ничтожно малого еще процента территории Валаамского архипелага, Сорокин замечал, что «появление монастыря на Валааме до XIV столетия *пока* (подчеркнуто мной. — *С.А.*) не подтверждается археологическими данными». Но, по убеждению того же П. Е. Сорокина, «в результате систематического изучения культурных отложений из них могут быть извлечены новые сведения по истории Валаамского монастыря».[27]

Новые сведения и были недавно получены в процессе проводимого финскими исследователями пыльцевого анализа донных отложений, о чем сообщалось в двух статьях того же сборника докладов Валаамской конференции (А. Г. Бобровым не упомянутых). Согласно результатам, опубликованным в этих статьях, «земледелие, а именно, выращивание ржи установилось в районе Монастырского залива примерно в XI в.».[28]

С этим вполне согласуются не только сведения дошедших до нас письменных средневековых источников об обретении в XII веке мощей основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа, но и базировавшиеся на доступном ему источнике сведения митрополита Платона: «Валамов монастырь, на озере Неве, устроен еще при первом епископе Иоакиме, определенном при князе Владимире».[29] Первый епископ Новгорода святой Иоаким Корсунянин преставился в 1030 году. Сами же основатели Валаамского монастыря скончались, вероятно, позже его в том же XI веке, т. е. приблизительно за столетие до обретения их мощей, которое произошло, как хорошо известно из летописей, в 1163 году.

людное братство, отиде, и по смотренію Божію изволеніем же пречистыя Богородицы, Конѣвскаго острова достигаетъ» (издание 1815 г., л. 22 об.—23). «По семъ взыде на гору и водрузи крестъ, при немъ же келлію созда, и поживъ ту лѣто едино, прейде въ другое мѣсто ко Владычни лахтѣ и до тріехъ лѣтъ проводи богоугодно скітское житіе. Идѣже обрѣтъ его съ Валаама инокъ Лаврентій, посланный отъ игумена Сілы, зваше к себѣ: но Святый не пойде, возлюбивъ сіе безмолвное мѣсто» (л. 23 об.—24).

[25] См.: Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2005. Т. 13. С. 775.

[26] См.: *Охотина-Линд Н. А.* Указ. соч. С. 18—22, 111.

[27] *Сорокин П. Е.* Археологическое изучение Валаамского монастыря: К вопросу о возникновении и об исторической иопографии // Валаамский монастырь. С. 106.

[28] *Саарнисто Матти.* Образование Валаама и история землепользования // Там же. С. 126. См. также с. 117.

[29] *Платон, митрополит Московский.* Краткая церковная история. М., 1805. Т. 1. С. 57. Что касается упоминаемого в моей статье (и приписанного А. Г. Бобровым мне на с. 280) предположения о начале монашеской жизни на Валааме «еще при св. равноапостольной княгине Ольге», то, как я уже писал, решение этого вопроса (положительное или отрицательное) зависит от остающихся дискуссионными результатов не доведенного до конца исследования разновременных списков и редакций жития Авраамия Ростовского (подробно см.: *Азбелев С. Н.* К вопросу о дате основания монастыря на Валааме. С. 79).

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© *Л. И. Черемисинова*

КТО ПОЗНАКОМИЛ ТЮТЧЕВА И ФЕТА?

В книге А. А. Фета «Мои воспоминания» (1890), ставшей фрагментом литературной летописи России 1850—1880-х годов, содержатся сведения о встречах, обстоятельствах знакомства, характере взаимоотношений поэта с современниками: И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, В. П. Боткиным, А. А. Григорьевым, Я. П. Полонским, А. В. Дружининым, А. К. Толстым и др. Рассказы Фета иллюстрируются многочисленными письмами корреспондентов, придающими повествованию исторический интерес и ценность документа эпохи. Письма помогали мемуаристу восстанавливать хронологию ушедших событий, оживляли в его памяти прошлое.[1]

Обосновывая структуру и содержание своих мемуаров, Фет писал Я. П. Полонскому 6 (18) сентября 1888 года: «...я хотел заинтересовать публику вашими известными именами и потому прямо начал с периода, в который непосредственно входят корифеи нашей литературы».[2] Отсчет времени в воспоминаниях начинается с 1853 года, однако хронологическая последовательность изредка нарушается обращением к событиям более отдаленным.

Имя Ф. И. Тютчева впервые появляется в книге Фета в составе письма Тургенева от 27 декабря 1858 года: «Что же касается до Вашего спора о Тютчеве с М. Н. (Толстой. — *Л. Ч.*) — о Тютчеве *не* спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии».[3] Упоминаемый здесь «спор», видимо, обусловлен написанием статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева», которая была для Фета, по справедливому замечанию Н. П. Генераловой, его «поэтическим „исповеданием веры"», связанным с именем любимого поэта далеко не случайно.[4]

К концу 1858 года статья, скорее всего, уже была завершена. Она напечатана в февральском номере «Русского слова» за 1859 год.[5] В период работы над ней[6] Фет не был лично знаком с Тютчевым. Их встреча произошла позднее и по времени совпала с журнальной публикацией статьи. Об этом свидетельствует письмо Фета к

---

[1] О творческой истории книги А. А. Фета «Мои воспоминания» и о роли писем в их структуре см.: *Черемисинова Л. И., Фирсова Т. Г.* Мемуары А. А. Фета: материалы к комментарию. Саратов, 2007.

[2] ИРЛИ. Ед. хр. 13843. Л. 30 об.

[3] *Фет А. А.* Мои воспоминания. 1848—1889: В 2 ч. М., 1890. Ч. 1. С. 283. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием части и страницы.

[4] См. об этом: *Генералова Н. П.* Можно ли спорить о Тютчеве? // Генералова Н. П. И. С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории русско-европейских литературных и общественных отношений. СПб., 2003. С. 484.

[5] Русское слово. 1859. № 2. Отд. II. С. 63—84.

[6] Фет писал статью предположительно с мая 1858 года по январь 1859 года. Основанием для такой датировки служит тот факт, что обращение Полонского (соредактора журнала «Русское слово») к Фету с просьбой подготовить для первого номера журнала перевод «Антония и Клеопатры» было 24 апреля 1858 года. Примерно в то же время Полонский по просьбе Кушелева разыскал во Флоренции Аполлона Григорьева и пригласил его возглавить в новом журнале отдел критики. См.: *Трепалина М. И.* А. А. Фет и Я. П. Полонский в журнале «Русское слово» (на материале переписки Фета и Полонского 1850-х гг.) // А. А. Фет и русская литература: Материалы Всероссийской научной конференции «XV Фетовские чтения» / Под ред. В. А. Кошелева, Г. Д. Аслановой. Курск, 2000. С. 212—213.

И. П. Борисову от 9 февраля [1859][7] года, в котором сообщалось: «Не сказал главного. Милый долбоносый Тургенев познакомил меня в Питере с Тютчевым, сказав наперед, что Ф⟨едор⟩ Ива⟨нович⟩ Тютчев Австрийск⟨ий⟩ посланн⟨ик⟩ при Баварском дворе, воспитанный Аббатом Petit pas или в этом роде. Оказалось, что я сразу влюбился в эту милую старческую вечно юную — тонкопоэтическую голову. Оказалось, что он при всем своем уме в деле поэзии ничего не смыслит. Разве это не трогательно? Кажется, он не менее был рад видеть меня у себя. Но об этом при свидании».[8]

При каких обстоятельствах состоялось знакомство двух поэтов, неизвестно. Ясно только, что оно произошло в январе-феврале 1859 года в Петербурге при непосредственном участии Тургенева, бывшего в дружеских отношениях с Тютчевым. Несколькими годами раньше (в 1853 году) Тургенев впервые ввел поручика лейб-гвардии уланского полка Фета в литературную среду, много сделав для формирования его поэтической репутации, способствовал продвижению в печать его первых прозаических опытов («Каленик» (1854), «Дядюшка и двоюродный братец» (1855)), впоследствии редактировал его стихотворения и переводы.

В конце января—начале февраля 1859 года все три писателя — Тургенев, Фет и Тютчев — одновременно находились в Петербурге. Тютчев с 17 апреля 1858 года работал председателем Комитета иностранной цензуры и по долгу службы почти неотлучно был в городе.[9] Тургенев[10] хлопотал о втором издании «Записок охотника», занимался организацией Литературного фонда: 2 (14) февраля проводил собрание учредителей, на котором был подписан проект устава Общества, а 9 (21) февраля устроил у себя на квартире обед основателей Общества (Письма, т. 4, с. 17, 462).

Когда именно приехал в Петербург Фет и как долго прожил там — неизвестно. Возможно, он собирался быть в северной столице в конце января и планировал остановиться у Тургенева, о чем оповестил его в не дошедшем до нас письме. 10 (22) января 1859 года Тургенев отвечал ему: «Любезнейший Фет, пишу вам два слова впопыхах: угол, разумеется, у меня Вам всегда готов — приезжайте — и погостите» (Письма, т. 4, с. 10).

Неполнота «Летописи жизни А. А. Фета» не позволяет точно сказать, что его привело в конце января—начале февраля 1859 года в Петербург. В означенное время поэт начал сотрудничать с журналом «Русское слово», в первом номере которого было напечатано несколько его стихотворений, а во втором — перевод «Антония и Клеопатры» и статья «О стихотворениях Ф. Тютчева». Однако не журнальные дела были на сей раз главными. Поэт намеревался договориться с издателем и редактором «Русского слова», известным богачом и меценатом графом Г. А. Кушелевым-Безбородко об издании собрания своих сочинений.[11]

---

[7] В оригинале год написания поставлен неизвестной рукой в квадратных скобках карандашом с вопросительным знаком. Фрагмент из этого письма цитируется в исследованиях: Шекспир. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962. М., 1964. С. 561; *Трепалина М. И.* Указ. соч. С. 215. Письмо в них датировано 9 февраля 1859 года (скобки и вопросы сняты) на основании сопоставления с другими письмами Фета (в частности, с письмом к жене от 31 января 1859 года — РГБ. Ф. 315. Оп. II. Карт. 5. Ед. хр. 21. Л. 1).

[8] *Фет-Шеншин А. А.* Письма к Борисовым И. П. и Н. А. 1857—1871 // РГБ. Ф. 315. Оп. II. Карт. 2. Ед. хр. 30. Л. 47 об. Печатается с частичным сохранением авторской орфографии и пунктуации.

[9] Поездка Тютчева за границу состоялась 9 мая 1859 года и продолжилась до 2 ноября 1859 года. См.: *Кожинов В. В.* Основные даты жизни и творчества Ф. И. Тютчева // Кожинов В. В. Тютчев. М., 1988. С. 494.

[10] Тургенев был в Петербурге с января по 20 марта (1 апреля) 1859 года. См.: Указатель мест пребывания И. С. Тургенева с 1859 по 1861 год // *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1987. Письма. Т. 4. С. 683. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием серии, тома и страницы.

[11] Желание Фета «продать издание своих стихотворений» Кушелеву-Безбородко высказывалось в письме к М. П. Фет из Петербурга от 16 ноября 1858 года (см. об этом: *Трепалина М. И.* Указ. соч. С. 215), однако договоренность с Кушелевым была достигнута позднее, в январе—феврале 1859 года.

В том же письме Борисову от 9 февраля [1859] года Фет сообщал о результатах поездки: «Написал два-три стихотворения, которые имели огромный успех в Питере. ⟨...⟩ Продал все издание в трех томах Кушелеву. Великолепное будет издание по 3 р. за экзем⟨пляр⟩. Мне он дает 2 т. чистыми, а издание кроме того будет стоить до 5-ти. Всего продам два завода, т. е. 2400 эк⟨зепляров⟩. По крайней мере, без хлопот».[12]

Через полгода разговор о новом издании возобновился в письме к Полонскому от 31 августа [1859] года.

«Что журнал? Что Кушелев? Что Григорьев? — вопрошал Фет. — Теперь к тебе мои просьбы:

1-е. Вышли на мое имя на М. Полянку в д. Сердобинской следуемые мне деньги за мою статью о Тютчеве и за 4 последних стихотворения. Вышли эти деньги к 20-му сентября в Москву.

2-е. Столкуйся с редакцией и дай мне знать, берете ли Вы „Тимона Афинского" у меня. Он готов.

3-е. Узнай у Графа, располагает ли он осенью приступить к напечатанию моих всех стихотворений, как мы с ним об этом говорили?

Вот эти три просьбы ты помни, как день субботний и, пожалуйста, не забудь мне написать ответ в Москву, куда я в 20 числах, не позже 25-го буду».[13]

Однако фетовскому плану трехтомного издания собрания своих произведений не суждено было осуществиться. Впоследствии несостоявшееся «кушелевское» издание, видимо, стало основой для «солдатенковского», вышедшего в двух томах в 1863 году.[14]

Насколько можно судить по содержанию цитированного выше письма к Борисову, Фет был приглашен к Тютчеву в гости.[15] Поводом для визита, в ходе которого обсуждались и эстетические вопросы, очевидно, стала публикация статьи о Тютчеве. Неизвестно, как к ней отнесся «обожаемый поэт» Фета, но его дочери Екатерине Федоровне она понравилась: «Получаете ли вы новый журнал „Русское слово", — спрашивала она в письме к Д. Ф. Тютчевой от 7 (19) марта 1859 года. — Я прочла в нем статью о папá, которая польстила моему дочернему самолюбию».[16]

---

[12] *Фет-Шеншин А. А.* Письма к Борисовым И. П. и Н. А. Л. 47.

[13] Цит. по подготовленным и датированным В. Н. Модзалевской копиям, которые хранятся в РГАЛИ. См.: Письма Фета А. А. к Полонскому Я. П. (копии) // РГАЛИ. Ф. 403. Оп. 1. Ед. хр. 73 а. Л. 11—12.

[14] Это предположение высказано М. И. Трепалиной. Исследовательница прослеживает дальнейшую судьбу «кушелевского» издания, опираясь на письмо Г. Е. Благосветлова к Фету от 9 августа 1862 года: «Милостивый государь Афанасий Афанасьевич, извините меня, что я так долго не мог возвратить Вам Ваши рукописи. Вина не с моей стороны. Хмельницкий оставил свою редакцию в таком беспорядке, что трудно было добиться толку. По какому-то случаю Ваши рукописи были отправлены Графу Кушелеву в Париж, надо было выручать их оттуда. Только в прошлом мае я получил их из-за границы и теперь поспешил передать их вашему родственнику П. П. Боткину. Не знаю, все ли собрано мной, что было доставлено Вами Хмельницкому, но я отправил г. Боткину все. Граф Кушелев отказывается от издания Ваших стихотворений не вследствие социализма или коммунизма, а потому что находит невыгодным для себя предпринимать новые издания с запрещением „Рус⟨ского⟩ Слова", которое переходит в другие руки. Но вы, конечно, не затруднитесь найти другого покупателя, потому что почитателей вашего таланта у нас много. Желаю вам благоденствовать и петь по-прежнему, что нисколько не мешает нашему социализму. Искренне преданный вам Григ⟨орий⟩ Благосветлов» (цит. по: *Трепалина М. И.* Указ. соч. С. 218).

[15] Данный факт не зафиксирован ни в «Летописи жизни и творчества Ф. И. Тютчева» (см.: Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Книга вторая. 1844—1860 / Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева; Отв. ред. Т. Г. Динесман. Б. м., 2003), ни в «Летописи жизни А. А. Фета» (см.: *Блок Г. П.* Летопись жизни А. А. Фета / Публ. Б. Я. Бухштаба // А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения: Межвузовский сб. науч. трудов. Курск, 1985. С. 129—182).

[16] Тютчев в письмах и дневниках членов его семьи и других современников / Вступит. статья Т. Г. Динесман; Публ. К. В. Пигарева и Т. Г. Динесман при участии К. М. Азадовского, А. Л. Осповата и В. Н. Сажина; Комм. Т. Г. Динесман при участии А. Л. Осповата // Лит. наследство. 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 300.

Документ, поведавший о знакомстве Фета с Тютчевым, рождает ряд вопросов, ответы на которые могут иметь только гипотетический характер. Немаловажно разобраться, например, в содержании тех неожиданных эпитетов, которыми Фет наделяет Тургенева («милый долбоносый»), и того шуточного «представления» Тютчева, которое устроил Тургенев. Непонятно, почему Фет не рассказал о знакомстве с Тютчевым в книге «Мои воспоминания»? Почему он вообще заговорил о лучшем поэте современности, «самом воздушном воплощении поэта» (ч. 2, с. 3), каким в его представлении был Тютчев, лишь во втором томе мемуаров, хронологические рамки которого 1864—1889 годы?

Архив И. П. Борисова после смерти его владельца (1871) попал в руки Фета. Переписка обоих корреспондентов сохранилась в завидном объеме, с 1848 по 1871 год, и вся она, надо полагать, была у Фета. Работая над воспоминаниями и отбирая письма для публикации в них, Фет преимущественное внимание сосредоточил на эпистолярном наследии литераторов. Единственное напечатанное в мемуарах письмо Борисова (ч. 1, с. 70—72) предварялось такими размышлениями: «...оглядываясь назад, я не могу не сознавать, что самым чувствительным нервом, охранявшим мою связь с прошлым, являлась переписка с И. П. Борисовым. Помимо братской дружбы, связывавшей нас с малолетства, как не сказать, что чувство его ко мне усиливалось отражением того рокового пламени, которым он неизменно горел к Наде и которое его окончательно испепелило. ⟨...⟩ Если бы я вздумал воспроизводить здесь интересные письма Борисова, которыми мы в свое время упивались с милыми Щ-ми, то это далеко завело бы меня в сторону от прямой дороги» (ч. 1, с. 69).

Цель автора мемуаров состояла в том, чтобы заинтересовать публику именами выдающихся писателей-современников, поэтому переписка с Борисовым отошла на второй план, а с нею вместе скрылся и факт знакомства с Тютчевым. Очевидно, по той же причине в воспоминаниях не оказалось и другого эпизода из жизни «великого мыслителя-поэта».[17] В письме от 20 декабря 1870 года Борисов сообщал Фету о встрече с Ф. И. Тютчевым в стенах «Катковского лицея», где учился сын Борисова: «...на днях сидя в Лицее и поджидая Петю, вижу, по лестнице поднимается несколько поднятая назад седая голова[18] — и что-то ищет перед собой. — Человек весь не крупный, на узенький сюртучок набро⟨сил⟩ плед. — Как будто что знакомое. Это Федор Ив⟨анович⟩ Тютчев, которому я столько лет уже желал поклониться. Он очень стар. Приезжал в Москву схоронить своего брата, умершего в стенах Англий⟨ского⟩ Клуба».[19]

Н. И. Тютчев, старший и единственный брат поэта, скончался 8 декабря 1870 года. Его неожиданная смерть потрясла Тютчева, писавшего 31 декабря 1870 года Е. Ф. Тютчевой: «...всякий раз, что моя мысль переносится в прошлое, я должен обратить ее к последним впечатлениям, дабы она не искала его там, где я встречал его и где никогда больше его не встречу. Но слово *никогда* для меня уже не имеет значения. Речь уже не о будущем. Это отсрочка нескольких дней, немногих дней, в конце концов. И вот почему, сдается мне, в моем существе сокрушено чувство бунта против смерти, которое человек испытывает вполне лишь один раз в жизни. Во всех последующих утратах, как бы тяжелы они ни были, нет уже ничего непредвиденного, ничего неведомого. Но одна картина, возникающая в моем воображении, с каждым разом становится для меня все более и более нестерпимой и ужасной: это когда я представляю себе, как он упал в столь хорошо знакомом мне помещении клуба, он, такой немощный и боязливый, он, всегда страшившийся

---

[17] *Фет А. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1982. Т. 2: Проза / Подг. текста, сост., комм. А. Е. Тархова. С. 333.

[18] В тексте описка: говола.

[19] *Борисов И. П.* Письма к Фету-Шеншину А. А. // РГБ. Ф. 315. Оп. II. Карт. № 5. Ед. хр. 76. Л. 45—45 об. Печатается с частичным сохранением авторской пунктуации.

этого падения, — когда представляю его распростертым на полу, разбившимся, пораженным на смерть, умоляющим, чтобы его подняли...»[20]

После похорон брата Тютчев навестил в Лицее памяти цесаревича Николая, основателями которого были М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, своего десятилетнего сына Федю (рожденного от Е. А. Денисьевой), помещенного туда осенью того же года.[21] Здесь и произошла встреча с Тютчевым Борисова, а через него — заочное свидание Фета «с одним из величайших лириков, существовавших на земле» (ч. 2, с. 3), последнее в их жизни.

---

[20] *Тютчев Ф. И.* Письма к родным / Публ. К. В. Пигарева; Предисл. и комм. Л. Н. Кузиной // Лит. наследство. 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 477.

[21] А. Ф. Аксакова взяла на себя надзор за воспитанием Феди, а И. С. Аксаков ездил к Леонтьеву договариваться о приеме мальчика в Лицей. В письме от 13 октября 1870 года Тютчев благодарил их за хлопоты (см.: *Тютчев Ф. И.* Письма к московским публицистам И. С. и А. Ф. Аксаковым 1861—1872 // Там же. С. 362). «Я очень доволен, что ребенок тебе нравится, — писал Ф. И. Тютчев дочери 19 октября 1870 года. — Да благословит ныне Господь все, что сделано, и я, покидая этот мир, буду ощущать одним уколом совести меньше» (Там же. С. 363). «Мысль о том, что этот ребенок сейчас с Вами, делает меня счастливым. Может быть, это последнее счастье, которое мне суждено испытать в этом мире, и мне приятно, что этим счастьем я обязан тебе», — признавался он в письме от 7 декабря 1870 года (Там же. С. 366).

ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА И С. Ф. ШАРАПОВА (1893—1910)

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © О. Л. ФЕТИСЕНКО)*

Хорошо знавший Сергея Федоровича Шарапова журналист С. К. Эфрон писал о нем издателю «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому 6 февраля 1912 года: «Это был человек огромного таланта и великого духа, и не только не был оценен при жизни, но даже и после смерти злоба, ничтожество и бездарность преследуют память о нем клеветою и инсинуациями. ⟨...⟩ Жизнь С⟨ергея⟩ Ф⟨едоровича⟩ прошла чрезвычайно неудачно для него самого, но представляет огромный интерес в бытово-литературном отношении в том смысле, что становится совершенно ясным, как гибнут в России люди огромных дарований, несмотря на то, что со всех сторон то и ⟨дело⟩ слышишь, что нет у нас людей».[1] Даже непримиримые политические противники Шарапова признавали крупный масштаб его личности и не-бесследность его жизненного пути. Об этом говорилось в некрологе, написанном П. Б. Струве: Шарапов — «любопытная фигура, которая, наверное, всегда будет обращать на себя внимание историков истекшего 30-летия».[2]

---

* Эта публикация — третья и наиболее объемная в ряду представленных в журнале «Русская литература» эпистолярных комплексов из наследия публициста, писателя и общественного деятеля Сергея Федоровича Шарапова (1855—1911). См.: Переписка К. Н. Леонтьева и С. Ф. Шарапова (1888—1890) // Русская литература. 2004. № 1. С. 110—144; Переписка И. С. Аксакова и С. Ф. Шарапова (1883—1886) // Там же. 2005. № 1. С. 149—179.

[1] РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 189—189 об. Письмо предваряло посылку воспоминаний Эфрона о Шарапове, завершенных в мае 1913 года, однако напечатанных в «Историческом вестнике» лишь в феврале—марте 1916 года. В этих воспоминаниях Эфрон горячо сетовал на участь Шарапова, столь характерную, впрочем, для России: «Более тридцати лет человек работал, не покладая рук; работал у всех на виду, поражая разнообразием своей деятельности: он и первоклассный публицист, и выдающийся сельский хозяин, и недюжинный оратор, и общественный деятель не из последних, и политико-экономист, и, наконец, романист и повествователь; словом, — у человека столько талантов, что хоть отбавляй, — а много ли после кончины его появилось статей с серьезной оценкой покойного?» (*Эфрон С. К.* Воспоминания о С. Ф. Шарапове // Исторический вестник. 1916. Т. 143. Февр. С. 499).

[2] *Струве П.* С. Ф. Шарапов // Русская мысль. 1911. № 8. С. 6.

И действительно, с течением времени образ *бедного рыцаря* «старого» — хомяковского и аксаковского — славянофильства, чьи литературные, хозяйственные и политические проекты терпели обычно полное фиаско, но никогда не были чем-то незаметным и случайным, привлекает все большее внимание. Начинают мало-помалу переиздаваться некоторые произведения Шарапова,[3] а предметом диссертационных сочинений и монографий становятся не только его публицистика (самое известное направление деятельности Шарапова), но и беллетристика,[4] и политические и — в самое недавнее время — экономические теории[5] (то, чему сам Шарапов придавал большое значение). Все чаще современные историки обращаются к его трудам о «самодержавии и самоуправлении», неожиданно близким к проектам «обустройства» России, предложенным А. И. Солженицыным.

Над Шараповым принято было дружески подсмеиваться. Близкий ему публицист и мыслитель И. Ф. Романов (литературный псевдоним — Рцы), постоянный участник всех шараповских изданий, прозвал своего приятеля «странствующим полонофилом», а в одном из писем князю Н. В. Шаховскому назвал его «нашим милым Figaro».[6] В. В. Розанов — о сложной истории его отношений с Шараповым речь пойдет дальше — однажды сравнил своего старого знакомого с Ноздревым, отозвался о нем как о друге «Скобелева и Агамемнона» (это все равно что отнести Шарапова ко временам Очаковским и покоренья Крыма, признать его безнадежно позавчерашним), а заметку, в которой сделано это сравнение, озаглавил: «Шалун нашей прессы».[7] Молодежь леонтьевского круга, еще в 1880-е годы нашедшая приют в издаваемой Шараповым газете «Русское дело», за глаза звала своего патрона покровительственно — Сержем,[8] а тот же Розанов в переписке с П. П. Перцовым мог назвать и презрительно-раздраженно — «подлецом Шарапкой».[9]

Можно вспомнить и весьма резкие слова А. М. Гальперсон[10] в письмах к князю Шаховскому. В письме от 6 июля 1893 года она называет Шарапова (любившего подчеркнуть свое ученичество у И. С. Аксакова и Н. П. Гилярова-Платонова) «человеком, который никогда ничьим учеником не был, не будет и быть не может». «Притом Шарапов, припертый к стенке, — добавляет она, — всегда легко отречется от того, что́ им высказывается так же неожиданно для других, как и для самого себя».[11] Здесь отмечена та же черта, что увидел в Шарапове и Розанов. Может быть, в издателе «Русского дела» и в самом деле было нечто от гоголевских героев, и Ноздрева, и Хлестакова, но думается, что более характерным и точным, если говорить прежде всего о публицистике Шарапова, будет упомянутое выше сравнение с Фигаро. Сделавший это удачное сравнение И. Ф. Романов-Рцы так высказался в одном из писем к Розанову о стиле Шарапова: «Красиво, настоящая музыка речей,

---

[3] *Шарапов С. Ф.* 1) Диктатор: Политическая утопия. М., 1998; 2) После победы славянофильства. М., 2005.

[4] *Кирютина Т. М.* Проблемы развития русской литературы и журналистики конца XIX—начала XX века. С. Ф. Шарапов: Дисс. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2001.

[5] *Конягин М. Ю.* Шарапов С. Ф.: критика правительственного курса и программа преобразований. Конец XIX—начало XX в.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1995; *Суслов М. Д.* Российская консервативная утопия на рубеже XIX—XX вв.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Пермь, 2003; *Базулин Ю. В.* Двойственная природа денег: русская экономическая мысль на рубеже XIX—XX вв. СПб., 2005; *Репников А. В.* Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX—начало XX века). М., 2006.

[6] Письмо от 30 июня 1893 года (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 159. Л. 6).

[7] Новый путь. 1903. Март. С. 173—177 (заметка в розановской рубрике «В своем углу»).

[8] См., например, письмо Н. А. Уманова О. И. Фуделю от 15 февраля 1889 года (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 8). В конце того же письма Уманов переходит от усмешки к сарказму и прозывает редактора «Русского дела» «Лже-Аксаковым» (Там же. Л. 9 об.).

[9] См. письмо от 3 марта 1899 года (РГАЛИ. Ф. 1799. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 32).

[10] Гальперсон Анна Михайловна (1856—1902) — переводчица, театральный критик, корректор «Современных известий», а впоследствии — помощница Н. П. Гилярова-Платонова по изданию этой газеты.

[11] РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 106. Л. 8 об.

но только... мысли никакой в сих передовых не оказывалось. ⟨...⟩ Это феерверочный талант...»[12] Между прочим, прочитав роман А. Доде «Нума Руместан», Шарапов узнал себя в заглавном персонаже, о чем и написал полное самобичевания письмо к А. М. Гальперсон.[13]

Шарапов вполне был бы уместен в романской культурной среде. Особенности его журнализма, его риторичность, порой несколько тяжеловесная и слишком пафосная для ежедневной газеты,[14] некоторый чисто французский оттенок сентиментальности, врывающийся в его публицистику, когда он говорит, например, о своем учителе Аксакове, и порой напоминающий высмеянные в «Войне и мире» обращения к «ma pauvre mère», огненная страстность, — все это, сплетенное в самых неожиданных сочетаниях, скорее делает Шарапова похожим на парижского, нежели московско-петербургского публициста.

Его легко можно представить депутатом парламента, и это не осталось незамеченным современниками. Струве прав, назвав Шарапова демагогом.[15] Это оратор par excellence, особенно ярко раскрывающийся в надгробных[16] и юбилейных речах. Шарапова охотно избирали в секретари, а позднее и председатели различных экономических обществ. Не раз приходилось ему витийствовать с трибуны Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества.

Риторичность удивительным образом сочеталась в Шарапове с утилитаризмом. «Я точно прикован к земле, — говорил он о себе, — ⟨...⟩ каждый, даже высший философский вопрос, интересует меня ⟨...⟩ прежде всего с его утилитарной стороны: в каком отношении стоит такое-то положение к жизни и как его к ней применить и приспособить?»[17] Само славянофильство, по его признанию, было дорого публицисту «прежде всего потому, что только оно совпадало как с народной мыслью», к разгадке которой он стремился, «так и с выводами из практики и цифр».[18] «Мое славянофильство было прикладное...»[19] «Мои работы представляют, на первый взгляд, как будто хаос: я делаю плуги, веду хозяйство, исследовал торговлю на окраинах, ездил по славянским землям, издавал газету. Чтó тут обще-

---

[12] Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову / Публ. и вступ. статья С. Федякина // Литературная учеба. 2000. № 4. С. 155 (письмо от 7 октября 1892 года). А за год до этого, в сентябре 1891-го Романов дал такую характеристику своему приятелю: «...славный малый и несомненный талант, хотя легкомыслен и поверхностен как француз» (Там же. С. 115).

[13] Развернутая цитата из него приведена в прим. 14 к письму 3.

[14] С. К. Эфрон вспоминал о характерных для шараповских передовиц «властности тона и агитационного пафоса диктатора-трибуна» (Исторический вестник. 1916. Т. 143. Март. С. 744). Сопоставление шараповского «агитационного пафоса» с тоном и стилем корифеев «публицистического Олимпа» (тоже выражение Эфрона; Там же. Т. 143. Март. С. 517) — Каткова и Аксакова — еще не было предпринято.

[15] «Это один из немногих талантливых русских демагогов, не нашедший применения своим дарованиям...» (*Струве П.* С. Ф. Шарапов. С. 7). Откликаясь на этот пассаж, С. К. Эфрон привел в примечании к своим воспоминаниям о Шарапове весьма любопытный факт: «Замечательно: П. Б. Струве в своем взгляде на Шарапова как на демагога совершенно сходится со взглядом на деятельность покойного публициста профессора Здеховского. Последний в своем обширном докладе о Шарапове, сделанном в славянском клубе в Праге, в заседании, посвященном памяти покойного русского писателя-публициста, под заглавием: „Sergiusz Szarapow. Przyczynek do psychologii slowianofilstwa rosyjskiego", еще больше подчеркивает в деятельности Шарапова демагогию, ставит его рядом с другим известным русским демагогом Бакуниным и указывает на родственные черты в деятельности их обоих» (Исторический вестник. 1916. Т. 143. Февр. С. 501). Профессор Краковского Ягеллонского университета, литературовед, историк, публицист, основатель Славянского клуба (1901) Марьян Эдмундович Здеховский (1861—1938) был знаком с Шараповым и переписывался с ним.

[16] А ему довелось произносить речи над могилами Аксакова, Каткова, Гилярова-Платонова.

[17] *Шарапов С.* Вместо предисловия (Отрывок из письма к «Рцы») // Шарапов С. Соч.: В 3 кн. СПб., 1892. Кн. I. С. XV.

[18] Там же. С. XVI.

[19] Там же.

го? Общее то, что все это ряд практических попыток, связанных в одно целое славянофильским учением. В каждом отдельном случае я старался положения славянофильства свести с Олимпа и посадить в землю».[20]

Вот с таким-то страстным, убежденным, живым, очень не «петербургским» (по своей открытости) человеком и познакомился Василий Васильевич Розанов вскоре после своего переезда в столицу в 1893 году. Шарапов ждал этого знакомства. Еще в сентябре 1892 года Романов-Рцы сообщал Розанову: «Шарапов страшно Вами интересуется».[21] Возможно, с мыслью рекомендовать это знакомство как полезное Рцы (в свое время так часто публиковавшийся в «Русском деле») писал о Шарапове 19 ноября того же года: «Со всем литературным миром он знаком, толкается по всем редакциям, пишет в двадцати изданиях и проч.».[22] Такой разброс по «двадцати изданиям» (конечно, это гипербола, но не слишком далекая от реальной картины) был связан с тем, что Шарапов после запрещения «Русского дела» (1890) на несколько лет лишился права издавать собственный орган.

Шарапов в те годы посещал «славянофильский» кружок генерал-контролера Государственного контроля А. В. Васильева (1851—1929), в который в свои первые петербургские годы попал и скромный чиновник того же ведомства Розанов, позднее, к концу 1890-х годов, резко разошедшийся с консервативным лагерем. Можно предположить, что на фоне довольно-таки скучных[23] и скованных (согласно позднейшим «показаниям» Розанова) славянофилов из Контроля[24] жизнелюбивый, несколько шумный,[25] вечно куда-то спешащий, вечно что-то затевающий Шарапов выглядел выигрышно, и Розанов, быстро сходящийся с симпатичными ему людьми (и, отметим, столь же быстро и безапелляционно поддававшийся интуитивной антипатии, как случилось при первой встрече с Т. И. Филипповым), думается, мог бы завязать с ним и приятельские отношения, если бы не эта шумность «Фигаро»: Розанов, как известно, больше любил разговор «на ушко».

Впрочем, и завязавшись, едва ли «приятельство» стало бы проявляться в череде взаимных визитов. Значительную часть года Шарапов проводил или в своем имении, или в дальних поездках. Для Розанова же и перемещения по городу были не просты. Можно вспомнить, что даже глубоко чтимого им Страхова Розанов посещал редко, потому что поездка с Петербургской стороны к Круглому рынку на Мойке составляла для него целое путешествие. А Шарапов в 1893 году жил еще дальше — на Надеждинской.[26] Правда, осенью он поселился на Петроградской стороне, на Александровском проспекте.[27] Вероятно, встречи и общение происходили

---

[20] Там же. С. XVII—XVIII.

[21] Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову. С. 151.

[22] Там же. С. 162.

[23] Что не относилось, впрочем, к Романову.

[24] Эта славянофильская колония в Государственном контроле (они и жили почти колонией — на Петроградской стороне) была создана его главой Т. И. Филипповым (1825—1899), на протяжении многих лет (еще в бытность товарищем государственного контролера) формировавшим вокруг себя круг единомышленников. Он принял на службу ряд консервативных публицистов, понимая, что они не принесут большой пользы ведомству, но зато будут избавлены от бедности. Исходя примерно из таких же соображений, Филиппов пригласил в Петербург и учителя Розанова, набиравшего известность публициста, собеседника Н. Н. Страхова, С. А. Рачинского и К. Н. Леонтьева. Другое дело, что обеспечение самобытному мыслителю полной синекуры отнюдь не входило в планы Филиппова. Жалование Розанову было предложено скромное. С появлением детей («незаконных», что тяготило и требовало срочных действий) положение семьи становилось все тяжелее. Ни на какую помощь рассчитывать не приходилось. Сотрудничество в консервативной прессе не приносило дохода. Вот почему годы до сближения с «Новым временем» А. С. Суворина Розанов впоследствии вспоминал как одни из самых тяжелых в своей жизни.

[25] «Просто люблю Ваши толстые ляжки, дорогой пиджак, зычный голос...» (из письма Розанова от 4 октября 1898 года).

[26] Ныне ул. Маяковского.

[27] Современное название — пр. Добролюбова.

в основном в том самом доме на Павловской улице, о котором с нескрываемым отвращением Розанов вспоминал весной 1898 года.

Уже на этой первой стадии знакомства не все, по-видимому, было гладко. Не случайно ведь Шарапов, откликаясь с благодарностью на несохранившийся, к сожалению, эпистолярный отзыв Розанова о романе «Кружным путем» (1894), начинает письмо словами о свойственных его корреспонденту добрых движениях сердца, которые уничтожают «всякую мелочную накопившуюся *только* от недоразумений дрянь».[28] Значит, к тому времени (март 1894 года) какие-то «недоразумения» меж ними уже произошли, оставив по себе неприятные воспоминания. Трудно не заметить той чистой радости, с которой Шарапов в этом письме бросается к своему собеседнику. Так бывает после ссоры и неожиданно случившегося прорыва к прежнему тону общения.

Позднее, в «Уединенном», Розанов скажет о Шарапове: «Он был не умен и не образован; точнее — не развит: но изумительно талантлив. „Взял" он что от Витте или не взял — я не знаю.[29] Но он, безусловно, был честный человек: ибо с $\frac{1}{10}$ его таланта люди кончали „тайными советниками" и успокаивались на рентах и пенсиях. Он же умер если не нищим, то бедняком. Но и не по этому одному он *безусловно честен*: было что́-то в нем неуловимое...»[30]

Это «что-то неуловимое» заставляло Розанова снова и снова думать о Шарапове, о его судьбе, о причинах его вечных неудач. Может быть, итог этих размышлений подведен в следующем нелестном «ономастическом» этюде: «Есть *роковые* фамилии, с которыми „ничего не поделаешь". И не может выйти никакой биографии и красивой деятельности или положения. „Шарапов". Что с ним делать. Он обречен был вечно оставаться смешным, недостаточным, стоящим не на своих ногах, кем-то „вторым" при более видном и умном человеке. Вечно „тереться около кого-то" и вообще быть „тенями" и „перебеганиями" около чего-то, что есть „одно" и „значительно".

И вот он издавал ряд журналов, и никому они были не нужны, был „писателем" и ни на кого не влиял, — „шумел", и все чувствовали, что это шум, а не смысл.

Ходил, бегал, и как будто не жил.

Как будто его не было.

Это — Шарапов. И оттого всё случилось, что такой странный звук. Точно „шаркает" о кого-то, обо что-то, об Витте, о печку: и Витте есть, и печка — есть, а „что шаркается" — не видно, не знается и не помнится».[31]

В апреле 1898 года Розанов предлагает Шарапову свое сотрудничество в «Русском труде». Но до этого был неудачный опыт, больше чем на год разбивший завязавшееся еще в 1892 или 1893 году (и, как мы предположили, возобновленное весной 1894-го) знакомство.

Для самого первого номера газеты Розанов написал две заметки. Одну совершенно нейтральную — рецензию на «Философский ежегодник» Я. Н. Колубовского,[32] а другую — совсем краткую и острополитическую. Первая вышла за подписью автора («В. Розанов»), а вторая была помещена в рубрике «Обмен мнений», авторство ее не раскрывалось, и заметка сопровождалась ироничным комментарием. Поводом послужил следующий инцидент: вызов провокационного характера,

---

[28] См. письмо 3.

[29] Речь идет о слухах 1902 года. Подробнее об этом будет сказано далее.

[30] *Розанов В.* Уединенное. Опавшие листья. Апокалипсис нашего времени. М., 2001. С. 78.

[31] Цит. по: *Фатеев В. А.* С русской бездной в душе: Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002. С. 471.

[32] Русский труд. 1897. 19 янв. № 1. С. 21.

брошенный новым редактором «Московских ведомостей» В. А. Грингмутом[33] либеральным изданиям — «Русским ведомостям» и «Вестнику Европы» в передовой статье под названием «Есть ли в России партии?»: «Пусть они категорически заявят себя верноподданными Русского *Самодержавного* Царя. и мы тотчас поверим им. Разве это так трудно для них? Ведь это только было бы повторением принесенной ими присяги. ⟨...⟩ Но они молчат».[34]

Основная мысль заметки Розанова (ниже она приводится целиком вместе с сопровождающей ее рамкой, необходимой для понимания того, что же так обидело автора) такова: подобная ревность есть ревность не по разуму и приносит только вред.

Обмен мнений

⟨...⟩

Один ультра-консерватор,[35] впрочем, наш личный друг, чрезвычайно удивил нас, прислав следующую заметку:

«Г-н Грингмут, — очень почтенный г. Грингмут, — став у кормила главного органа нашего старо-московского „охранения", вызывал недавно одну легкомысленную газету и один легкомысленный (sic!) журнал повторить в его присутствии „присягу на верность", которую в свое время, не находясь еще у „дел", он не расслышал...

Все отвечали ему смехом.

Мы бы ответили: не дважды, но и трижды клянемся в верности Престолу нашему древнему и священному.

Но и прибавили: а что сделать с тем, кто из этого Престола, который мы любим и чтим, пытается сделать нечто, перед чем мы трепетали бы? Что сделать с тем, кто из драгоценного образа вырубает старинную „дыбу" и, поднимая на ней человека, думает, что поступает так для веры?..

Это все мрачные идеи К. Н. Леонтьева, его тенденция заместить „неверные" и „недостаточные" мотивы любви мотивом страха...

Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она — еще христианка».

Приветствуем от души ту перемену, которая совершилась в нашем корреспонденте. Еще недавно неистовствовал он и высказывал в печати вещи, за которые приходилось краснеть. Как удивились бы на Страстном бульваре, если бы нам было позволено раскрыть инкогнито нашего друга! Не таков ли и весь этот наш ультра-консерватизм, о котором выше говорит Рцы? Настоящий ли это пафос? Сколько процентов искренности в горячих иеремиадах? Согласитесь, что вопросы эти очень любопытны.

Превосходно также вещее слово автора о К. Н. Леонтьеве, которого, как художника и мыслителя, и мы лично чтим не меньше, чем наш корреспондент, но

---

[33] Официально он занял этот пост в январе 1897 года, но уже в декабре 1896-го в газете стали появляться выступления Грингмута как полномочного редактора.

[34] Московские ведомости. 1896. 19 дек. № 349. С. 2.

[35] Шарапов подхватывает здесь слово, употребленное Романовым-Рцы в письме, напечатанном выше в той же рубрике. Рцы заметил, что в русском «идейном мире все перепуталось». «Старые клички» («либерал», «консерватор») перестали что-либо объяснять и «безусловно ничему реальному не соответствуют»: «Если *ультра-консервативный* „Киевлянин" превратился в наши дни в *либерала*, то следует заключить, что за истекшее десятилетие народился какой-то особый консерватизм, перед которым необходимо не менее, как „сто" *раз* проставить усиливающий термин „ультра". Такой *стократный* консерватизм переходит пределы мыслимого, и по тому самому упраздняет себя, перестает быть *явлением литературным*» (Русский труд. 1898. № 1. С. 18). Понятно, что в соседстве с таким пассажем назвать Розанова (пусть и не «выдав» его имени) «ультра-консерватором» значило уязвить его.

чрезвычайное увлечение идеями которого так губительно отозвалось на многих русских умах. Очевидно, что и здесь автора приведенных строк можно поздравить с освобождением от «умственного плена».[36]

Розанова обидело здесь все: и то, что его назвали «ультра-консерватором», и то, что «пафос» его заподозрен в неискренности, и то, что, оказывается, за него приходится «краснеть». Его просто отчитали как мальчишку![37] Но более всего возмутило Розанова почти совершенное уничтожение этим ироничным сопровождением его права на сохранение инкогнито. Гнев на редактора, — Розанов, впрочем, считал виновным в этой истории все того же Рцы, — выплескивается в злое письмо. «Русский труд» теперь для Розанова — один из петербургских «клоповников литераторов»,[38] а его редактор и сотрудники — «Сальери, подносящие яд» ему, «Моцарту».

Но время шло. Розанову, вступившему в новый период — подход к его «религии брака», нужны были, как сейчас говорят, «площадки» для исповедания этой новообретенной веры. Меж тем первая большая работа философского плана на эту тему путешествовала из одного журнала в другой с равной долей неуспеха, и тогда Розанов решил попытать счастья в редакции, прах с порога которой он не так уж давно, негодуя, отряс от своих подошв. Буквально «как ни в чем не бывало» («Между нами было так мало неудовольствия», — пишет он Шарапову, и это после «клоповника»!) он рекомендует себя как сотрудника, который украсит газету и может дать ей «вещи *вечные*», оговаривает построчную плату и т. п.

Не стоит пересказывать, что происходило дальше, как раз от этого периода сохранилось больше всего писем, да и к семейному вопросу мы еще вернемся. Будем кратки: первые статьи Шарапов отверг, но затем в «Русском труде» на целых два года растянулась оживленнейшая полемика вокруг «брачной» темы, которая продолжалась бы и дальше, если бы и это издание не было закрыто после нескольких предупреждений в ноябре 1899 года.

Но история взаимоотношений Розанова и Шарапова не ограничилась периодом издания «Русского труда». Во-первых, в 1900 году оба публициста задумали выпустить книги, включающие в себя статьи по семейному вопросу. Розанов — что было несколько необычно — решил поместить в своем «авторском» сборнике («В мире неясного и нерешенного») и материалы полемики, на что нужно было получить разрешение издателя «Русского труда». Шарапов не отказал в этом. В свою очередь, в сборнике «Сущность брака» (выход которого задержался до 1901 года)[39] он напечатал статью Розанова, которая не успела выйти во внезапно закрытой газете. Шарапов в это время уже переехал в Москву, общение становится только эпистолярным.

После ряда писем, связанных с подготовкой названных выше книг, а отчасти и параллельно с этой темой, вторым важным соприкосновением-столкновением становится конфликтный сюжет, развернувшийся вокруг писем харьковчанина

---

[36] Русский труд. 1897. 19 янв. № 1. С. 19.

[37] Вообще Розанову в этой газете «доставалось» и позднее. Так, откликаясь в рубрике «Чужие мысли и недосмыслия» на один из его фельетонов в «Новом времени», Шарапов так комментировал приведенную оттуда цитату: «Василий Васильевич остроумен, как всегда. Но он и не подозревает, какие ужасы выходят из-под его пера. Именно „вытирает нос". Самому обывателю и сморкаться не приходится. Да при этом еще утирают нос не вовремя и часто немытыми руками...» (Русский труд. 1898. 5 сент. № 36. С. 22).

[38] Поверх письма Шарапова, в котором тот пытался урезонить разгневанного Розанова, последний даже нарисовал для наглядности пять ползущих клопов!

[39] Сущность брака: Обмен мыслей между Н. П. Аксаковым, Мирянином, В. В. Розановым, Рцы (И. Ф. Романовым), протоиереем Александром У-ским и С. Ф. Шараповым с прилож. статьи свящ. М. И. Спасского / Собрано, снабжено примечаниями и предисловием, проредактировано и издано Сергеем Шараповым. М., 1901.

Г. П. Енишерлова, который завязал эпистолярное знакомство с Розановым после статей того по школьному вопросу. Некую подборку писем, в которых речь шла и о Шарапове, Розанов передал «по принадлежности», для публикации. Шарапов с 1900 года начал печатать свои новые статьи в виде небольших сборников, а затем по подписке — в виде выпусков «Сочинений», каждый под своим названием, соединявшихся в тома. Самым широким образом Шарапов включал сюда и адресованные ему письма. Но послания Енишерлова к Розанову затерялись, в одном из выпусков были опубликованы только письма к самому Шарапову.[40] Розанов взывал к его совести и грозил предать историю гласности, обвиняя Шарапова в желании присвоить чужую, как сейчас выражаются, «интеллектуальную собственность».

В это время Розанов — участник петербургских Религиозно-философских собраний, параллельно с работой которых создается новое издание — журнал «Новый путь». Его издателем-редактором становится П. П. Перцов, между прочим, издатель всех первых розановских сборников. Именно в «Новом пути», где Розанову даже выделена особая рубрика «В своем углу», он и хочет теперь опубликовать письма Енишерлова, на что получает и разрешение от их автора. Но поскольку Шарапов так и не может отыскать пропажу, Розанов решает именно в «Новом пути» и огласить дело.

Осложнялось все это очень неприятным компонентом. В 1902 году Шарапов и так находился под хеpемом как «прогрессивной», так и «ультра-консервативной» «общественности» как якобы «продавшийся» С. Ю. Витте. Витте еще с 1890-х годов был постоянной мишенью шараповской остро-полемической публицистики, но уже тогда появились ложные слухи о том, что Шарапова пытаются «купить». Теперь же, в 1902 году, становится известным об апрельской встрече его с Витте. Шарапов пытается объяснить, что инициатором этой встречи был он сам, что он старался переубедить министра в тех именно вопросах, о которых он всегда спорил с ним на страницах своей газеты, и почти достиг успеха. Но это объяснение не помогает: Шарапова бойкотируют, издание его сочинений, легко расходившееся тиражом 6000 экземпляров, теперь не продается, многие газеты, охотно печатавшие его, теперь отказывают. Шарапов, что называется, «заклеймен».

И вот Розанов в своем печатном обличении («всего-то»: за неизданные вовремя письма) бьет его в это, самое больное, место. Для первого номера «Нового пути» он пишет заметку под названием «Шалун нашей прессы», где как будто и защищает Шарапова от ложных слухов (тем самым лишний раз напоминая о них!), но защищает с такой издевкой, что «не поздоровится от этаких похвал»: «Я имею пожаловаться обществу и всему orbi scriptorium[41] на факт или на насилие, которому подвергся со стороны этого безусловно честного человека, не могущего уже потому запачкать руки в чужих деньгах (подозрения о нем), что это во всяком случае пошатнуло бы бронзовый ему монумент в Москве, имеющий некогда воздвигнуться между Кремлем и Обжорным рядом, — на который посматривая или который прозирая в будущем, он пишет каждую строку своих „Сугробов".[42] Мог ли бы Агамемнон украсть курицу? Психологически невозможно. Поэтому С. Ф. Шарапов, продолжающий линию Хомякова, Самарина, Аксакова, Скобелева, а отдаленно — Минина и летописца Нестора, и бывший уже даровитым мальчиком, когда еще бегал с корректурами „Руси" и „Современных известий", и тогда же из них набирался „духу" и сведений, — должен быть каждым рассудительным человеком мыслим не иначе, как „рыцарь без страха и упрека"».[43]

---

[40] См. прим. 6 к письму 50.

[41] Пишущему миру (*лат.*).

[42] Возможно, именно данное название вспомнилось Розанову потому, что в этом выпуске «Сочинений» помещена статья Шарапова «Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него Дернова и генерала Киреева» (М., 1901. Т. II. Вып. 4. С. 14—21).

[43] Новый путь. 1903. Март. С. 173—174.

Рассказав читателям все перипетии с письмами Енишерлова, Розанов повествует далее о том, как Шарапов, вместо того чтобы вернуть их, прислал ему «пачку каких-то литографированных листов со своими рассуждениями о финансах». «Так как я никогда не читал и печатных трудов моего приятеля, зная его за друга Скобелева и Агамемнона, то и написал ему, наконец, резкое письмо, где с досады передал кстати о том, как целый вагон дачной публики, держа его „Оттепель" в руках, кричал, что он „снюхался" и „взял взятку" и „больше не патриот". „И сколько я вас, С. Ф., ни защищал, ничего не мог сделать". Событие я преувеличил, ибо разговор хотя действительно был в вагоне, но маленький, но все забыли о Шарапове, как только подъехали к буфету с пирожками. Просто С. Ф. меня замучил, ибо страстное мое желание вернуть драгоценнейшую переписку встречало со стороны его очевидное нежелание возвратить и еще со ссылкою на такой казус, что он ее „затерял", „засунул". В ответном своем письме (мною тщательно хранимом) С. Ф. Шарапов наконец прямо сознался, что искомая и оспариваемая корреспонденция у него находится налицо, не потеряна. Письмо было исполнено кроме того разных живописных подробностей, которые, с очевидностью, освобождают нашего Вениамина от подозрения: „мог ли он взять Фараонову чашу", если даже она и очутилась в его мешке.[44] Но, при всем удовольствии от зрелища невинности и необыкновенных „успехов" С. Ф., мне было так же грустно, как Чичикову, когда ему показывали лошадей Ноздрева, т. е. конюшни, в которых когда-то стояли прекрасные лошади».[45]

Благороднейший из литераторов того времени, Перцов, очевидно, еще до публикации показал Шарапову то, что прислал в редакцию Розанов, и предложил ему страницы «Нового пути» для публичного ответа. В карандашной копии Перцова сохранилось письмо к нему Шарапова от 27 февраля 1903 года:

«Ни под каким видом! Розанов enfant terrible хуже меня. Не имею же я права говорить печатно, что перевернул Витте на 180°! Помилосердствуйте. Если Розанов хочет меня защищать (так, разумеется, что после его защиты нельзя будет на улицу показаться!), то пусть держится открытого печатного материала, напр⟨имер⟩ моих книжек и письма в „Новое время". Личные письма не для публики и не так пишутся. Это Розанов привык ходить без панталон. Жду первой книги, без кот⟨орой⟩ ничего не могу написать. А стоит!

Не сердитесь, пожалуста, и успокойте резвого Василия. Дайте-ка кому-нибудь разобрать „Через полвека".[46]

Ваш С. Ш.»

(РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 212. Л. 1—1 об.).

После этого эпизода переписка Шарапова с Розановым прервалась до 1910 года, когда Шарапов (в то время издатель маленькой «авторской» газеты «Свидетель») обратился к нему с открытым письмом, перед публикацией, конечно, отправив его адресату. Ответ на него не выявлен, возможно, его и не было. Шарапов в это время — пессимист из пессимистов, ничего доброго не ждущий для России, и ему есть о чем вновь поспорить с Розановым, обличающим русских людей в хронической нелюбви к государству и государственности. Какое государство любить? — спрашивает Шарапов и быстрыми штрихами рисует картину гниения и развала Государства Российского.

Шарапов не дожил несколько месяцев до убийства Столыпина. И, когда думаешь об этом, всегда даже немного радуешься за него, как за всех, кто «посетил сей мир в его минуты роковые», но ушел, не увидев последующего, самых «страшных лет России», 1915—1917, и всего, что последовало за ними.

---

[44] Аллюзия на 44 главу Книги Бытия.

[45] Новый путь. 1903. Март. С. 176.

[46] Роман Шарапова, вышедший в 1902 году.

Центральный сюжет публикуемой переписки — это семейный вопрос. Это и обсуждение романа «Кружным путем», и острая полемика вокруг розановских статей о браке и поддерживающих их писем новгородского протоиерея А. Устьинского.

Шарапов и Розанов, как мы увидим, — непримиримые противники. Между тем сам диалог их о браке и проблемах пола был «предопределен» биографически. Семейная жизнь обоих участников спора начиналась с весьма больших проблем. История брака Розанова с А. П. Сусловой (эту женитьбу иногда называют женитьбой «на Достоевском») хорошо известна. Известны и трагические последствия этого брака (однако трагизм этот обернулся раскрытием в Розанове нового мировоззрения, давшего литературе совершенно нового, небывалого мыслителя). «Семейная хроника» Шарапова — книга за семью печатями. Попробуем снять хотя бы первую.

Секрет приоткрывается в письме к К. Н. Леонтьеву от 6 мая 1888 года:

«Хочу у Вас попросить одного разъяснения. Я живу с женщиной замужней, сам не женат. Любим друг друга очень, жизнь довольно христианская (она очень верующая и вера довольно действенная). Муж ее жив, но жить ей с ним было нельзя, не жила с ним уже 9 лет до связи со мной. Прожили мы год, как ангелы, мирно, тихо, благородно. Говеет она. Священник очень либерально разрешает ей жить со мной и дальше. Говею я. Иванцов[47] тоже говорит: это грех, но уж пусть будет, ибо без него еще больший разврат мог бы быть. Таким образом, грех, который мы делаем сознательно, как бы благословляется. Нарушение закона брака Церковь может простить тогда, когда он не повторяется или человек хоть в ту минуту (при покаянии) решается его не повторять. Но как быть здесь ⟨...⟩ что должен я делать, чтобы помириться не с моей совестью, а с моим разумом, который находит противоречие и протестует. (Совесть молчит, ибо наша жизнь чистая и честная.)»[48]

Шарапов просил Леонтьева обратиться с этими вопросами к Оптинскому старцу, духовным сыном которого тот был. Преп. Амвросий Оптинский, как Шарапов узнал из письма Леонтьева от 18 мая, благословил «*оставить* эту женщину; *наградить* ее, если она бедна, чтобы она не бедствовала, искать себе невесту и жениться», при встретившихся же препятствиях просто «усердно молиться Богу о том, чтобы Он развязал эту связь так или иначе».[49] Леонтьев, который вообще считал брак тяжелым крестом, от себя добавил, что важна «*верность заповеди* и *таинству* ⟨...⟩ а не *женщине*».[50]

После долгого раздумья Шарапов отвечал 20 июня, что не может послушаться «веления Церкви»: «Привязанность с той стороны настолько велика, что разрушить связь нельзя. Женщина пожертвовала всем для нее дорогим, решившись жить со мной открыто, т. е. у меня». Шарапов опасался, что его возлюбленная может покончить жизнь самоубийством, и предлагал через Леонтьева новый вопрос старцу: «из двух грехов который больше, погубить ли душу человека ⟨...⟩ или нарушить таинство брака, имея при этом в виду, что муж данной особы может умереть и освободить ее?»[51]

Еще на несколько лет все оставалось по-прежнему. Совет старца пренебрежен.

Посмотрим, что в это время происходит с Розановым. Он знакомится с вдовой дьякона В. Д. Бутягиной (урожденной Рудневой) и понимает, что свяжет свою жизнь с ней навсегда. И оказывается, что и эта пара, как и Шарапов с его Ниной (ее имя мы узнаем из писем к А. М. Гальперсон, фрагменты которых будут приве-

---

[47] Историк Церкви, публицист, известный проповедник, духовник семьи Аксаковых, протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835—1894).

[48] Русская литература. 2004. № 1. С. 129.

[49] Там же. С. 130.

[50] Там же.

[51] Там же. С. 133.

дены далее), не минует обращения все к тому же Оптинскому старцу... чтобы также остаться при своем. Правда, в этом случае за советом обращался не мужчина, а его будущая теща. В книге В. Г. Сукача приводится запись дочери философа, Н. В. Розановой, с рассказом об этом: «Бутягина вспоминала, что ее мать постоянно обращалась лично к преподобному Амвросию Оптинскому, между прочим и на брак дочери с Розановым: „Когда В. В. стал бывать у нас в доме, мать написала о. Амвросию, прося разрешить Розанова сделать нахлебником, то о. Амвросий не благословил, сказал, чтобы свою подальше от этого человека держать, а замуж когда захотела... мать написала... и он не благословил"».[52]

Практика православного старчества показывает: лучше вообще не спрашивать благословения, чем попросить и сделать по-своему. Так и в этих двух историях — трудностей и боли существенно прибавилось. В. Д. Бутягина очень рано и тяжело заболела (в 1910-е годы она наполовину парализована). Шарапов, мучительно пытавшийся разобраться в своих «брачных» проблемах, только больше запутывался. По некоторым намекам Розанова в «Опавших листьях» мы узнаем, что «законный брак» Шарапова (он все-таки попытался выполнить совет старца Амвросия) отнюдь не принес ему счастья.

Но сначала нужно было расстаться с Ниной.

2 апреля 1892 года Шарапов сообщал А. М. Гальперсон: «Желаю Вам того неожиданного мира души и высшего успокоения сердца, которые выпали на мою долю не знаю уж за какие мои заслуги. Я не в силах и не могу передавать Вам всего, что пережито мною в каких-нибудь пять-шесть дней, но пережита целая вечность. Мою бедную Ниночку постигло большое горе: у нее умер отец. Это событие сильно ее потрясло и стало в тесную связь с огромным совершившимся внутри нас переворотом. Больше пока не скажу ничего. Что дальше будет, сам не знаю, но в моей душе неиспытанные еще никогда *полная* гармония и мир. Ей тяжелее, но по-своему счастлива и она. Письмо это для Вас, конечно, загадка и разъяснится, быть может, не скоро, но так как Вы мой искренний друг, то приглашаю Вас порадоваться за меня».[53]

Через несколько месяцев в недатированном[54] «строго секретном» письме к той же корреспондентке Шарапов, наконец получивший «свободу», но не радующийся этому, рассказывает о последних событиях: «А скучно, тяжело мне как — Господи! За что осужден я приносить в жертву беднягу Нину? Получил от нее письмо. ⟨...⟩ ...письмо одна сплошная нежность и ласка. Посылаю Вам его. Родненькая, не говорите об этом ни с кем, это вот прибавление спрячьте, а письмо Нины верните при свидании. Ой, тошнехонько мне! Любить Нину не люблю, а страдаю ужасно. Нейдет ко мне роль палача. Она твердо решилась уйти и возвращать ее не буду. Нельзя мне. Я не принадлежу себе и потому *должен* принять жертву Нины и не *смею* себя принести в жертву. Голубушка, оправдайте меня в этом нравственно. С ума схожу от тоски. Разумеется, это когда-нибудь произойдет».[55]

В 1894 году Шарапов женился «венчанным браком» и в том же году завершил и опубликовал сначала в журнале «Русское обозрение», а потом и отдельным изданием роман «Кружным путем». Первый его вариант назывался «Чего не делать?» и печатался еще в «Русском деле».[56] Несомненно, это во многом автобиографическое произведение. Шарапов узнаваем в его главном герое, Светлицыне. По крайней мере, здесь можно говорить если не о прямом автобиографизме, то об автопсихологизме. Первый вариант названия отсылал читателя к Чернышевскому и заост-

---

[52] *Сукач В. Г.* Василий Васильевич Розанов: Биографич. очерк. Библиография, 1886—2007. М., 2008. С. 30.

[53] ИРЛИ. Ф. 71. Ед. хр. 47 (листы не нумерованы).

[54] По почтовому штампу датируется 14 августа 1892 года.

[55] Там же.

[56] См. прим. 2 к письму 3.

рял роман полемической тенденцией. Название же «Кружным путем» усиливало психологическую составляющую, показывая, как трудным, «кружным» путем через ошибки, страсти, падения герои выходят к христианской правде о человеке. Произведение было явно тенденциозным, отчасти просто написанным «на тезис» — чего не надо делать. Спасало только то, что создавалось оно не записным моралистом, а человеком, в котором эта борьба страстей была еще очень жива.

Шарапову не грозило превращение в ханжу, но в вопросе о браке известная доля морализаторства в 1890-е годы ему присуща, что и проявилось в полной мере в полемике с Розановым на страницах «Русского труда». Нужно непременно напомнить, в какое время и на каком фоне разворачивалась эта полемика: она встраивалась в широкое обсуждение толстовской «Крейцеровой сонаты», отношение к которой для всех участников полемики являлось своеобразным тестом. Шарапов, конечно, не последователь Позднышева, но, по крайней мере, стоит к нему ближе, чем остальные полемисты[57] (кроме Розанова, в полемике участвовали Рцы, Н. П. Аксаков и автор, чей псевдоним «Мирянин» до сих пор не раскрыт[58]).

Отвергнув, как мы уже упоминали, первые статьи («Нечто из седой древности» и «Два стихотворения около одной темы»), Шарапов все-таки решается печатать в газете переписку Розанова с прот. А. Устьинским. По поводу розановской проповеди «религии семьи» редактор «Русского труда» заметил в одной из заметок рубрики «Чужие мысли и недомыслия»: «Тема удивительно хорошая и важная, и г. Розанов относится к ней с большим достоинством и вполне целомудренно, хотя сам сознает, до чего скользко уму на этой почве. ⟨...⟩ Дай Бог В. В. Розанову благополучно выйти из этой области, где между прочим бессильным оказался великий аналитик Вл. С. Соловьев».[59]

Но уже к концу года «целомудрие» автора статей о браке ставится Шараповым под сомнение. В последнем номере 1898 года под одной из статей появляются его примечания, оскорбившие Розанова, задевшие прот. Устьинского и... вызвавшие новую серию писем и статей. (В то же время обсуждение «Крейцеровой сонаты» шло своим чередом и также вызывало все новые и новые «ответы», «возражения» и возражения на возражения.)

Прот. Устьинский, например, так отвечал редактору «Русского труда»: «Догадываетесь ли Вы, что все Ваше длинное примечание к статье г. Розанова есть ни более, ни менее, как извращение христианства, неосновательная клевета на Церковь, отделанные, но живучие отпрыски и отголоски гностицизма и манихейства? ⟨...⟩ ...Если по-Вашему супружеское соединение есть *грех*, то следовательно этот грех узаконен и вменен в обязанность человеку Самим Богом; если же мыслить Бога родоначальником и законоположником греха нечестиво и богохульно, то следовательно супружеское сожитие быть грехом никоим образом не может».[60]

Защищал Розанова и вечно спорящий со всеми Рцы: «Мне не нравятся *крайности* г. *Розанова*, увлечение его, в силу коего можно думать, что он придает ка-

---

[57] Романов-Рцы в одной из статей обращался к Шарапову: «Сближение полов *свято* или *мерзость*? — Так, кажется, поставлен вопрос в ряде статей, которые в конце концов возбудили в Вас досаду. Лично Вы, по-видимому, склоняетесь к определению — *мерзость*» (*Рцы* [*Романов И. Ф.*]. «Бессмертные» вопросы: (Письмо к редактору) // Русский труд. 1899. 9 янв. № 2. С. 25). «Победа *исключительного* аскетизма над более гармоническим, более широким мировоззрением не будет ли когда-нибудь признана лишь *временным* торжеством не истины, а партии, притом к очевидному ущербу именно для того дела, ради которого старались в свое время победить? ⟨...⟩ Кощунством представляется мне мысль о возможности и желательности сожития супругов, *как брат и сестра* ⟨...⟩ Сколько слепоты, благодаря *односторонностям*! Христос победил мир, и победил его *всецело*. Будем же в полноте Его победы искать реальных плодов новой жизни и вечной радости, возвещенной нам Евангелием!» (Там же. С. 25—26).

[58] В проверке и специальном исследовании нуждается наше предположение о том, что этим псевдонимом мог воспользоваться В. К. Петерсен.

[59] Русский труд. 1898. 28 нояб. № 48. С. 24.

[60] Сущность брака. С. 85, 87.

кое-то *спасающее* значение половому акту, видит в нем чуть ли не подвиг, жертвоприношение, но, пока он стоит на почве только *радования о Господе* — я глубочайшим образом сомневаюсь, чтобы кто-нибудь решился на попытку опровергнуть его на основании Священного Писания и Предания».[61]

Жанр вступительной статьи к публикации вносит свои ограничения и не позволяет подробнее остановиться на истории полемики о браке в «Русском труде» и ее продолжении в 1900-е годы. Но в примечаниях к письмам читатель найдет сведения практически о каждом значимом выступлении всех задействованных в этом споре лиц. Главная же задача предисловия была проста — показать, что публикуемый эпистолярный комплекс по праву заслуживает самого пристального внимания.

Переписка публикуется по автографам: Письма Розанова к Шарапову: Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 121. Оп. 1. Д. 396; письма Шарапова к Розанову: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 727. Л. 94—114, 135. Телеграмма Шарапова от 22 июля 1900 года: Там же. Ед. хр. 700.

---

[61] *Рцы* [Романов И. Ф.]. Ad hominem // Сущность брака. С. 106.

1

Розанов — Шарапову

⟨14 июня 1893⟩

Многоуважаем⟨ый⟩ и дорогой
Сергей Федорович!

У меня захворала Надя[1] и потому быть у Вас сегодня не могу.

Вам преданный В. Розанов

Открытое письмо, датируется по почтовому штемпелю. Адрес: «Его Высокородию Сергею Федоровичу Шарапову. Надеждинская, 1, кв. 32 (второй подъезд с Невского)».

[1] Первая дочь Розанова, родившаяся 6 ноября 1892 года и умершая 25 сентября 1893 года.

2

Розанов — Шарапову

⟨3 сентября 1893⟩

Дорогой Сергей Федорович!

Спасибо, что не забываете голоштанного философа с Петербургской стороны. За календарь — большое спасибо, что написали обо мне статью[1] — еще бóльшее спасибо; *сделайте усилие* ее напечатать — в Гражданине[2] или где-нибудь (отчего бы не в Новом Времени,[3] не в Русском Обозрении,[4] не в ***Наблюдателе***?[5] толцыте и отверзется[6]). Я как только управлюсь со своими печатными делами, буду отвечать Рцы — и кстати Вам — ибо об образовании хочу шума.[7] Да вот кстати: толкнитесь к *Карееву*[8] и[9] особенно к Гуревичу,[10] кот⟨орый⟩ издает педагогический журнал и, вероятно, не откажет напечатать статью обо мне, ибо ко мне должен благоволить.

Ваш В. Розанов

О свободе умно пишете,[11] и я совпадаю с Вами: *мои* идеи о свободе — **не** Леонтьевское, ибо он слабовер, а я верующий.[12]

Открытое письмо. Датируется по почтовому штемпелю. Адрес: «С.-Петербург. Петербургская сторона, Александровский проспект, д. 13, кв. 4. Его Высокородию Сергею Федоровичу Шарапову».

[1] О какой статье Шарапова идет речь, установить в настоящий момент не удалось. По-видимому, она не была издана.

[2] В журнале-газете кн. В. П. Мещерского «Гражданин» Шарапов печатался в первые годы после переезда в Петербург (после закрытия его газеты «Русское дело»), когда ему приходилось, по выражению И. Ф. Романова-Рцы, «толкаться» по самым разным редакциям (см. во вступ. статье). Позднее, уже в «Русском труде» Шарапов вел постоянную «перестрелку» с издателем «Гражданина» по экономическим и политическим вопросам. Осенью 1893 года в «Гражданине» появилась статья Ф. Э. Шперка «В. В. Розанов. (Опыт характеристики)» (13 нояб. № 313. С. 2).

[3] С газетой А. С. Суворина Шарапова связывали весьма давние отношения. Корреспондентом «Нового времени» он стал еще в юности, когда оказался за границей совершенно нищим после освобождения из австрийского плена (Шарапов был, как известно, одним из первых русских добровольцев 1876 года в Боснии). Рассказ об этом, полный свойственного Шарапову риторического романтизма, приведен по рукописи С. К. Эфроном (*Эфрон С. К.* Воспоминания о С. Ф. Шарапове // Исторический вестник. 1916. Т. 143. Февр. С. 506—512). «В „Новом Времени" Шарапов сотрудничал в качестве заграничного корреспондента из разных европейских центров, из Афин, Вены, Берлина, Парижа и из славянских земель и Константинополя» (Там же. С. 506). Сотрудником «Нового времени» Шарапов оставался до знакомства с И. С. Аксаковым и перехода в «Русь». Второй эпизод, когда Суворин оказал в трудную минуту поддержку Шарапову, сделав его корреспондентом своей газеты, происходит в «голодном» 1891 году. В сентябре Шарапов отправляется на Волгу, а затем в южные губернии. См. его корреспонденции «С Волги» и «Из Черноземной полосы». В 1892 году последовала серия корреспонденций «По русским хозяйствам», напечатанная в следующем году отдельной книгой.

[4] Журнал «Русское обозрение» выходил в Москве с 1890 года; в 1892 году его редактором-издателем стал А. А. Александров (см. прим. 17 к письму 3). Розанов печатался в этом журнале с августовской книжки 1892 года. Историю многолетних и очень непростых отношений Розанова с Александровым вынужденно оставляем за рамками этой публикации.

[5] «Наблюдатель» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1882—1904 годах; редактор-издатель А. П. Пятковский.

[6] Мф. 7: 7; Лк. 11: 9.

[7] Речь идет о полемике, вызванной статьей Розанова «Сумерки просвещения» (Русский вестник. 1893. № 1. С. 29—54; № 2. С. 60—86; № 3. С. 15—36; № 6. С. 106—135), впоследствии вошедшей в сборник под тем же названием. Рцы — псевдоним публициста и литературного критика Ивана Федоровича Романова (1859 или 1858—1913). Здесь имеется в виду его статья: *Заточников Вл.* [*Романов И. Ф.*]. Заметки на полях и размышления между строк // Гражданин. 1893. 24 июня. № 171. С. 3; 9 июля. № 186. С. 3; 10 июля. № 187. С. 4.

[8] Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, социолог. Здесь упомянут, вероятно, как сотрудник «Вестника Европы».

[9] Далее зачеркнуто: к

[10] Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906) — историк, педагог, издатель-редактор (до 1906) ежемесячного «журнала для школы и семьи» «Русская школа», выходившего в Петербурге с 1890 года.

[11] Вероятно, речь идет о каком-то фрагменте в невыявленной статье Шарапова о Розанове.

[12] Речь идет о Константине Николаевиче Леонтьеве (1831—1891), с которым Розанов вел в 1891 году серьезную и глубокую переписку. Последняя фраза письма к Шарапову заставляет вспомнить, что как раз в это время Розанов стоит на пороге своей знаменитой полемики с Вл. С. Соловьевым о свободе и вере, поводом к которой стала статья Соловьева «Исторический сфинкс» (Вестник Европы. 1893. № 7). Статья «Свобода и вера», после которой Розанов получил от Соловьева (в статье «Порфирий Головлев о свободе и вере») прозвище «Иудушка», по-видимому, была начата еще осенью 1893 года, но, конечно, не в 1894 году, как утверждает современный исследователь (*Сукач В. Г.* Василий Васильевич Розанов: Биографич. очерк. Библиография, 1886—2007. М., 2008. С. 23). Напечатана она в первом номере «Русского вестника» за 1894 год.

3

Шарапов — Розанову

Спб 7 марта 94

Узнаю хорошего, доброго Василия Васильевича, у которого добрый порыв сердца сразу словно подпилком стирает всякую мелочную накопившуюся *только* от не-

доразумений дрянь. Рад сердечно, что Вы меня поняли (как я один из всех читавших чистосердечно понял «О понимании»[1]). Похвал Ваших не приемлю, потому что Вы человек увлекающийся. Даю Вам слово, то, что Вам понравилось, не только ниже любого из образцов, оно ниже даже того, чего я вправе от себя ждать.[2] Ниже потому, что я презренный лентяй, не умею обрабатывать технически-спокойно того, что есть в душе, а пишу порывом и потому рабствую у собственной фантазии.

Сцены и диалоги плывут как вода в водополье, а не так, как тихая, светлая, ровная речка, у которой дно видно на три сажени в глубину и воды которой чисты, как хрусталь. А для художника слова нужно именно это спокойное отлитие в форму содержания. Но увы! Такого спокойствия здесь вообще не найти. Спокойствие нужно и внутреннее, и внешнее. Внутри нужна тихая радость, которую достать не так-то легко, хотя Вашу теорию радости я отлично понимаю, извне нужна тишина и полное отсутствие всякой суеты, службы и, оборони Бог, посторонней письменной работы. «Служенье муз не терпит суеты».[3] И вот, самое главное мое несчастье поэтому — страшная требовательность от себя. Я отчетливо вижу разницу между тем, что мог бы создать (у меня разложение духа очень далеко подвинулось, Мадонна и Содом[4] тоже по душе двигались глубоко и одновременно), и тем, что создалось, и не имею воли сорок раз переделывать. И *Вы* поймете: именно потому, что уж очень велики требования, почти не переделываю, кроме грубых диссонансов. Переделывать так, как бы хотелось — значит в конце концов совсем истребить, ибо — в том-то вся и штука — чем больше переделываешь, тем воображение полнее забегает к идеалу и тем резче разница. Поэтому скорее сознательно останавливаюсь на первой вылившейся форме: это будет хоть непосредственнее, свежее.

Вам понравилось мартовское. Мне больше нравится февральское. Вы им шокированы. Вон Романов[5] говорит насчет темпа. Так идет presto,[6] что в такой срок не только порядочную женщину, но даже кафе-шантанную певицу не соблазнишь. Он циник, а Вы чудак. Голубчик! Да Вы расцелуете меня именно за это presto, когда узнаете, что собственно произошло в Минске. Ведь тут дух захватывающий мотив взят! Ведь в Минске-то будет целомудреннейшая ночь. Приехали *легкомысленно* в гостиницу. Казалось бы — сейчас на постель и готово? Как бы не так! *Вдруг*, понимаете, женским инстинктом, женской *чистотой* (это проницательный читатель мог бы и из намеков в феврале угадать) барыня почувствовала *ужас* перед последним шагом. Любит она Светлицына, и, пожалуй, *желает* ему отдаться, и не верит очень ни во что высшее, и препятствий особых *умом* не сознает, а вот *не может, стихийно*, не может и конец. Сама дивится, что это с нею? Я по острию ножа пройду, я их на постель рядом уложу, и это будет гимн чистоте, *как стихии*. Как спасающему элементу, как высочайшей исторической и божественной силе, этой чистоте женщины гимн пропою! Не невинная девушка, не холодная рыба, а страстная любящая, *влюбленная* женщина бороться с собой и с ним будет, и борьба прекрасна будет, потому что хоть и бессознательно, но ее руку ангел остановил, как у Авраама над Исааком.[7] Они будут дивиться, будут мучиться над этим противоречием, над этой фатальностью, которая не дает осуществиться их любви, и, дивяся, *разберутся* наполовину в нем. Это будет потрясающий реализм, но мой анализ, верю в это, выдержит эту реальность, и тот факт, что он, беспутный, и она, неверующая *еще*, смирятся и склонятся перед непонятным им еще высшим законом и *почти* поймут его — этот факт будет у меня доказан. Поймут и — разойдутся — каждый в свою семью. С любовью неискоренимой в сердцах, но с радостью победы над собой.

Это завязка романа. И этого мотива никто, сколько мне известно, *так* не касался, но у меня, говорю Вам, это только завязка. А трагедия-то вот в чем: вернулись восвояси. Те, т. е. Мятлев и Светлицына, продолжают быть своим жене и мужу чужими, а *после* загоревшейся между Мятлевой и Светлицыным любви будут еще вдесятеро чужее (ведь греха-то не было, признаваться не в чем, поймите!),

поэтому страдание получается невыносимое. (Вы подождите апрельской книги,[8] там семья Светлицына много лучше, чем Мятлевы обработана. Вникните в тип Лёли — христианки без смирения.) Страдание там и там растет параллельно.[9] Чистота Вари, как стихийная сила, смогла удержать ее от греха *на момент*, но этой чистоты мало, чтобы разрешить страдание радостью понимания исхода. Эта радость единственно в *вере*, в полном сознании силы таинства брака, как силы высшей и над страстью физической и даже *над естественным сродством душ* (вот *центральная* мысль романа!). Но чтоб эта сила действовала, нужно возвыситься до нее, т. е. до истинной могучей *веры*. А для этого логический путь, если веры не было раньше, падение, грех, удесятеренное страдание от греха, не только не решившего вопрос, но уяснившего бесповоротно растоптанный идеал (для женщины). Отсюда начало веры, начало настоящего, верного уяснения вопроса и железная *неизбежность искупления*. При этом мужчина может вернуться в семью, женщина уже *нет*, *никогда*!!

Светлицын должен вновь уехать от жены, Мятлева от мужа, они должны пасть, и только тогда станет им все ясно, и тогда же начнется их возрождение. При *всех* наличных элементах для новой, идеально-счастливой семьи этой семьи *нет и не будет*. Будет борьба за нее, будут страдания, из которых возродится вера. Когда она окрепнет и когда и свои ошибки поймут те, оставшиеся, разрыв станет неизбежным. Разрыв и возврат. Но если у Светлицына вновь склеится семья, у Мятлевой ее быть уже не может. Она семьи не вернет в ее прежнем, чистом виде. Зато наказание будет различно. У Светлицына семья поправлена, но в душе будет лишь *надежда на прощение* его греха *там* (он ведь инициатор и разбил жизнь Мятлевой, разбив ее чистоту), Мятлева *почувствует полное прощение* еще здесь, хотя семью и не восстановит.

Вот Вам, дорогой друг, идея, которая будет проведена в романе. Это не будет *тенденцией*, которую я желаю доказывать в лицах — нет! Основав план романа, я сам себе задал вопрос: представим себе две пары, которые были бы счастливы не так, как повенчались, а крест на крест. Чернышевский прямо говорит: обменяйтесь и будете счастливы. Я никакой теории предвзятой не создавал, а только взял, как данное, следующее положение: М⟨ятле⟩ва естественная пара С⟨ветлицы⟩ну, М⟨ятле⟩в — С⟨ветлицы⟩ной. Обвенчаны, однако, неподходяще. Четыре жизни испорчено и выпутаться не могут. Предположим, что муж из одной пары встретился с женой из другой: что будет? На этом мое сочинительство кончается. Дальше роман развертывается сам из себя. Я стремлюсь лишь быть беспристрастнейшим свидетелем. Я вызываю в воображении моих героев, они оживают передо мною и действуют, а я слежу за их душевными процессами, развивающимися помимо всякого моего давления.

Я сначала предполагал, что в Минске будет падение. Нет, по характеру и чистоте Вари не выходит! Начитавшись французов-адюльтерщиков, уж как я их складывал — не выходит. Варя — русская женщина и в ней есть немножко Татьяны («но я другому отдана»[10]). Поехать поехала, потому очень душа изныла, а вот эта самая татьянина чистота возьми да еще на извощике объявись! И я, автор, ничего с этим поделать не могу. Думаю, думаю — наконец понял! А ведь Варя права! Вот это откуда! И т. д. Это Вам мой метод работы.

Равным образом понял я позднее, почему она опять от мужа уедет и на этот раз *падет*, ибо второй раз уже у уехавшей чистота, подействовавшая в первый раз, была сознательно принесена в жертву еще в момент решимости уехать....

Ваше чудесное сердечное письмецо всколыхнуло во мне самую мою суть, дорогой Вас⟨илий⟩ Васильевич, и потому, видите, как расписался. Жаль, что не могу сам сейчас же идти к Вам — я без голоса уже 3-ю неделю. Хожу с великими предосторожностями и не могу говорить. Дополню сие обширное послание нотабенами.

NB 1) Сердечное спасибо Варваре Дмитриевне.[11]

NB 2) Что значат Ваши слова: «Но зачем, зачем Вы себя так унизили; с кем Вы, в каком виде».[12] Ломаю голову и не понимаю.

NB 3) Фауст + Гретхен + Фигаро + Ашинов.[13] Прибавьте в эту дьявольскую реторту Лотье с Вальяном,[14] Иоанна Кронштадтского с Амвросием Оптинским,[15] разведите Дон-Жуаном и Дон Кихотом и тогда еще, пожалуй, чтобы получить Шарапова, придется добавлять немножко татарвятины и русской мужичатины. Вот то, что «есть внутрь Вас». И рад бы порою задавиться от этой сложности материала, да ничего не поделаешь. Так уж Бог создал, стараюсь лишь, чтобы равнодействующая была хорошая.

NB 4) Ох уж эти сплетни! Сколько хороших людей они поссорили. Слушайте же: я пошел проводить Давида Морозова[16] на поезд и вижу: его и Александрова[17] уже совсем готовых ведут под уздцы. Давид уехал, Ал⟨ександров⟩ пошел со мною и стал делать пьяные излияния. Я проводил его до Пушкинской, где он остановился,[18] и передал ему роман, уверив обманно, что Давыд безумно желает его печатания. Вам я никакой ножки не подставлял, да и вообще никому не подставляю. Не верьте Вы Христа ради *никаким* сплетням.

Жду ответа на NB № 2 непременно и, ради Бога, откровенно. Целую Вас взаимно. Преданный Вам *ученик* С. Шарапов.

NB 5) Сообразите в премудрой голове Вашей следующую нелепость. Первая идея о Вашем редакторстве[19] была исключительно моя. Красильников[20] подхватил, Давыд согласился. Хорош бы я был чуть не завтра же говорить против Вас!! Ведь это же голая нелепость!!!

[1] Речь идет о первой книге Розанова «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886). Позднее Шарапов посвятил этой книге Розанова одну из статей рубрики «По душам». «Эту книгу я читал шесть месяцев с карандашом в руках, увлекаясь изумительною логикою, чудным ходом мысли, великолепными лирическими отступлениями ⟨...⟩ Я весь был захвачен автором...» (Русский труд. 1898. 19 сент. № 38. С. 16).

[2] Речь идет о романе Шарапова «Кружным путем», который в феврале и марте 1894 года начал печататься в «Русском обозрении». Первая неоконченная редакция романа (под названием «Чего не делать?») появилась еще в «Русском деле» (1890. № 1—12) и вызвала эпистолярный критический разбор К. Н. Леонтьева (в письмах к Шарапову от 3 июля и 5 ноября 1890 года). См.: Переписка К. Н. Леонтьева и С. Ф. Шарапова (1888—1890) // Русская литература. 2004. № 1. С. 138—139, 141—142.

[3] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября 1825».

[4] Аллюзия на роман «Братья Карамазовы» (слова Дмитрия Карамазова об идеале Мадонны и идеале Содомском); впоследствии широко введено в культурный обиход Д. С. Мережковским в его книге «Л. Толстой и Достоевский».

[5] См. прим. 7 к письму 2.

[6] Скоро (*ит.*); музыкальный термин.

[7] Быт. 22: 11—12.

[8] В апрельской книге роман не печатался, публикация была продолжена в пятой, майской книжке.

[9] Далее зачеркнуто: Одно,

[10] Цитата из восьмой главы романа в стихах «Евгений Онегин».

[11] Бутягина Варвара Дмитриевна (ок. 1864—1923) — вторая жена Розанова.

[12] Вероятно, подразумевается журнал «Русское обозрение», где публиковался роман Шарапова.

[13] По-видимому, Розанов написал, что в душе Шарапова уживаются все эти персонажи. Николай Иванович Ашинов — русский авантюрист, организовавший в 1888—1889 годах экспедицию в Абиссинию и устроивший на французской территории на берегу Таджурского залива «станицу вольных казаков» Новая Москва, что немедленно вызвало международный скандал. См.: *Хренков А. В.* Эфиопская «миссия» Николая Ашинова (по неопубликованным документам из архивов Москвы и Ленинграда). М., 1987; *Луночкин А. В.* К. П. Победоносцев и абиссинская экспедиция Н. Ашинова // Константин Петрович Победоносцев: мыслитель, ученый, человек: Материалы Междунар. юбилейной науч. конф., посв. 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины К. П. Победоносцева (Санкт-Петербург, 1—3 июня 2007 г.). СПб., 2007. С. 73—80.

[14] Лотье — возможно, описка, и в таком случае речь может идти о французском романисте Пьере Лоти (псевдоним Луи-Мари-Жюльена Вио; 1850—1923), известном своим откровенным самолюбованием. Вальян — возможно, имеется в виду французский политический деятель Мари-Эдуард Вальян (1840—1915), социалист, член парижской Коммуны, после ее поражения — член главного совета Интернационала, впоследствии глава партии бланкистов. В письме к А. М. Гальперсон от 7 декабря 1889 года Шарапов признавал за собой сходство с Нумой Руместаном, героем одноименного романа А. Доде (Гальперсон прежде отметила это сходство, и Шарапов решил проверить, справедливо ли ее наблюдение): «Мне казалось, или что Доде рисовал с меня живьем, или кто-нибудь во время чтения держал передо мною зеркало. Самая суть характера до того уловлена, что мне просто стало страшно. И заметьте — Вы во мне Руместана не знали, а только чуяли. Перед Вами я никогда не ломался и не лгал. А что сказали бы другие, которые видели меня еще хуже, чем Руместан? Кончив чтение, я просто не мог оправиться от ужаса. Сходство разительное, ужас в том, что Руместан искренен всегда и плачет хорошими искренними слезами. Он не лжет, он *увлекается*. ⟨...⟩ ...Он лгун, потому что в его жилах кровь Провансальца. Но где же разница? Согласитесь, что, не найди я этой разницы и притом глубокой, основной, которая меня *внутри меня* могла бы успокоить и позволить посмеяться над собою же во образе Руместана — остается взять петлю и повеситься у Тильца на воротах. Вывороти я всего себя наизнанку и наконец решил не пугать Тильца. Вот разница: Руместан — металл звенящий — я, простите, весьма полн содержанием и притом не нахватанным с ветра, а своим, выработанным. Руместан моментально успокоивается после большой пакости, я глубоко страдаю. Руместан только жуир и работает почти без цели, или ради самопрославления и удержания позиции — я во имя внутреннего огня, который во мне и, наконец, Рум⟨ес-тан⟩ не брезгуя идет вперед, зная, или почти не зная мерзости иных средств ⟨...⟩ я от того и *внизу* материально (а мог бы быть наверху), что серьезно *никогда* не прибегал к средствам, которые моя совесть и гордость не одобряли, хотя постоянно как бы и покушался это сделать» (ИРЛИ. Ф. 71. Ед. хр. 47. Листы не нумерованы).

[15] Об обращении Шарапова к преп. Амвросию Оптинскому в 1888 году через К. Н. Леонтьева см.: Русская литература. 2004. № 1. С. 128—130, 133.

[16] Морозов Давыд Иванович (ок. 1844—1896) — московский промышленник-старообрядец, меценат, финансировал ряд консервативных периодических изданий, в том числе и журнал «Русское обозрение». О том, как Морозов в 1890 году «обобрал» Шарапова, см.: Русская литература. 2004. № 1. С. 136—137.

[17] Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — филолог, поэт, в 1892—1898 годах редактор-издатель журнала «Русское обозрение».

[18] Речь идет о меблированных комнатах «Пале-Рояль» на Пушкинской ул., д. 20.

[19] Подразумевается предложение сделать Розанова соредактором «Русского обозрения», одним из инициаторов которого был, между прочим, Т. И. Филиппов. Розанов ездил в Москву, встречался с Александровым и основными сотрудниками журнала. Сочувствовавший Розанову С. А. Рачинский отвечал ему на рассказ об этой поездке: «Мне известно, что вы в Москве были встречены крайне недружелюбно. Редакцию „Русского обозрения" встревожило желание Т. И. Филиппова видеть вас соредактором Александрова, ибо в этой комбинации ей чуялось посягательство на независимость журнала. Итак, с этими людьми вы встретились при условиях неблагоприятных» (Русский вестник. 1902. № 10. С. 615).

[20] Константин Красильников — журналист, сотрудник «Московских ведомостей», «Русского дела», «Русского обозрения», с 1897 года — «Русского труда» и других изданий.

4

Шарапов — Розанову

16 дек⟨абря⟩ 95.

Дорогой Василий Васильевич!

Завтра 17 в 8 ч. вечера крестим первое наше чадо — Николая.[1] Приходите непременно.

Ваш
С. Шарапов

Открытка. Адрес: «Здесь. П⟨етроградская⟩ Ст⟨орона⟩. Павловская 4. Е⟨го⟩ В⟨ысоко⟩-Б⟨лагородию⟩ Василию Васильевичу Розанову».

[1] В 1894 году Шарапов женился на Зинаиде Федоровне Каравко. Сведениями об их сыне Николае в настоящий момент не располагаем.

5

Шарапов — Розанову

31/XII 96

Дорогой мой Васил⟨ий⟩ Васил⟨ьевич⟩!

Я в отчаянии. На новой квартире, Эртелев 18, ничего не оказалось.[1] Вероятно, пришлют на днях, а если нет, буду искать через почтамт.

Ваш
С. Шарапов

[1] Возможно, речь идет о заметках Розанова для первого номера «Русского труда».

6

Розанов — Шарапову

⟨после 19 января 1897⟩

Многоуважаемый
Сергей Федорович!

Вы не досмотрели по добродушию, что пройдоха Романов ни более, ни менее как:

1, обвиняет меня в лицемерии всей моей литературной деятельности («не *таков* ли и весь этот наш ultra-консерватизм... *настоящий* ли это пафос? Сколько *процентов искренности* в горячих иеремиадах? Согласитесь, что *вопросы эти очень любопытные*»).[1]

Доносит на меня Ред⟨актору⟩ Моск⟨овских⟩ Вед⟨омостей⟩ в следующих терминах:

«Приветствуем перемену, которая совершилась в нас....»[2]

Были ли Вы солидарны с предателем (как все говорят, я тут Вас защищаю); были ли Вы только наивны — но конечно имя «Шарапова» после подобного неслыханного в литературе вероломства с доверившимся сотрудником — для меня умерло, и уж теперь навсегда, беспробудно.

Оплакиваю несчастие, истинное несчастие, что, приехав в СПб., я по незнанию попал в кружок людей или, точнее, в роище гадов, клоповник, где наружно смеясь и пожимая руку, задушевнейшим образом беседуя — меня возненавидели с первого раза, возненавидели самою мучительною ненавистью — духовной завистью к чистоте и таланту, Богом данному.

О, Сальери, подносящие яд; все-таки, все-таки я Моцарт, и вы в вонючих скопищах своих (истинный полицейский «клоповник»; пахнущий Петрушка Мертвых душ) все же бедны, все же глубоко несчастны, все же страдаете более, чем я выпивая Ваш яд... Уж позвольте мне это знать как психологу.

[1] Речь идет о редакционном комментарии к неподписанной заметке Розанова о В. А. Грингмуте в рубрике «Обмен мнений»: Русский труд. 1897. 19 янв. № 1. С. 19 (о ней же письмо 7). Розанов считал, что этот комментарий написан или, по крайней мере, инспирирован Рцы (см. об этом во вступ. статье).

[2] См. там же.

7

Шарапов — Розанову

⟨после 19 января 1897⟩

Милейший Василий Васильевич!

Вы Романова не ругайте. Он Вас спас от великого скандала, который я мог[1] Вам устроить. Я был[2] так возмущен Вашей выходкой против Грингмута, поступок этот до того гнусен,[3] что я прямо хотел Вас назвать и уже набрал было «От В. В. Розанова...». Он меня уговорил, сказав, что это нелитературно,[4] с чем я согласился.

Эх, душа моя! Не ожидал я от Вас такой скверности. Слово, особенно печатное, святыня,[5] и что-нибудь одно: или Грингмут сволочь[6] и его нужно бить, или Грингмут почтенный человек, и Вы с ним. Но, будучи с ним открыто, бросать в него грязью из-за угла. Тьфу! Этому названия нет.

Когда Вы раскаетесь в Вашей двуличности и бросите ее, я вновь буду⟨7⟩ именовать себя Вашим другом.

С. Шарапов

На бланке «Русского труда» («Редактор газеты Русский труд. Эртелев пер., д. 18, кв. 12. С.-Петербург»). Подчеркивания и примечания принадлежат Розанову (в ряде случаев он только обозначил необходимость примечания, но не сделал его). Поверх письма нарисовано пять ползущих клопов. Рисунок обведен надписью:

Клоповник литераторов
Дурак, почти неслыханный еще дурак, загипнотизированный мерзавцем

Поверх всего этого написано: Молчание вернее

[1] Не смеет никто раскрывать анонима, даже закон охраняет.... да что́ я буду с дураками говорить, или — с мерзавцами, для коих нет ни покаяния, ничего.... Абсолютный нигилизм совести.

[2] *Не был*: в редакции Света ведь я тебе, дурак, сказал все содержание, и ты не был возмущен: тебе возмущение *подсказал* Рцы, обозленный, что я начал от него уклоняться, не отвечать на графоманские его письма etc.

[3] Текст этой сноски отсутствует. — *О. Ф.*

[4] То же. — *О. Ф.*

[5] То же. — *О. Ф.*

[6] Нет и нет, но вы, идиоты, этого никогда не поймете.

Да, вы сволочь, и так как вместе с тем вы совершенно элементарная, понятная сволочь — и бить вас я, к прискорбию, не могу, бить же печатно значило бы позорить себя, то.... величав⟨ое⟩ молчание (далее три слова зачеркнуто. — *О. Ф.*).

⟨7⟩ Очень счастлив надеждою... Что за лакей!

8

Розанов — Шарапову

⟨до 22 апреля 1898⟩

Многоуважаемый
Сергей Федорович!

У меня есть статья, и, может быть, будут еще статьи, которые я мог бы предложить *Русскому делу*,[1] при 5-копеечной построчной плате и определенном количестве оттисков, о коем можно условиться позднее. Между нами было так мало неудовольствия, и в Вас я всегда находил столько доброго расположения к себе, что, уверен, Вы примете мое предложение с тою же простой радостью, с какою я Вам предлагаю свое сотрудничество. Если Бог даст сил, я Вам надеюсь дать вещи *веч-*

ные, от того и оговариваю оттиски, и уверен, никто меня так не поймет, как Вы. Вам преданный

В. Розанов

Адр⟨ес⟩. Петербургская сторона, Павловская ул., д. 2. кв. 24. В. В. Р⟨озано⟩ву.

Надеюсь, если Вы скажете в сердце своем *да* — Вы назначите мне экземпляр Р⟨усского⟩ Д⟨е⟩ла — бесплатно-сотруднический.

[1] Газету под таким названием Шарапов издавал в Москве в 1886—1890 годах, новая же, петербургская, газета получила название «Русский труд». Речь в письме идет о постоянном сотрудничестве, эпизодическое же было намечено в январе 1897 года неподписанной заметкой о В. А. Грингмуте в рубрике «Обмен мнений» (см. прим. 1 к письму 6) и рецензией на «Философский ежегодник» Я. Н. Колубовского (см. прим. 32 во вступ. статье). Розанов намеревался предложить Шарапову статью «Нечто из седой древности» (см. прим. 1 к письму 10).

9

Шарапов — Розанову

22/IV 98.

Любезнейший Василий Васильевич!

Да, я очень рад и Вашему письму, и Вашему предложению; хотя мне гонорар все еще страшно тяжело платить. Ваша правда, никто Вас так не знает и не ценит, как я. Но именно во имя этой моей дружбы я бы Бог знает что дал, чтобы своевременно вычеркнуть кое-что Ваше *до опубликования*. Вы враг заклятой всякой умственной дисциплины и не щадите своего имени. Петербург на Вас подействовал скверно. Окруженный здесь всяческими негодяями, Вы потеряли меру, отчасти потеряли благоговение и уважение к своему слову.

Ради Вас самих, ради Розанова, автора «Понимания»[1] я должен буду относиться самым строгим образом ко всяческим Вашим «выходкам» вроде «блудницы во время эксцесса» и т. д.[2] Да и время совсем не то, и «Русский Труд» не «Русское Обозрение». Это храм, а то кабак.

Хорошо бы нам свидеться. Вы на меня можете сердиться, но все-таки я единственный человек, который Вашей *сути* никогда не забудет из-за Ваших литературных бесчинств.

Хотите, приеду? Кстати, у меня лежит Ваш «Паскаль».[3]

Ваш С. Шарапов

[1] См. прим. 1 к письму 3.

[2] Шарапов вспоминает финал розановской статьи «Отрывок. (Из Петербургских видений)» (Русское обозрение. 1897. Т. 44. Апр. С. 776—782), где с блудницей сравнивается Петербург (конечно, это «проекция» на 17-ю главу Апокалипсиса о блуднице, сидящей на водах многих): «Не нужно вовсе Петербурга; pereant конверсии; я ожидаю в истории, придет „хор странников"... (аллюзия на оперу Р. Вагнера «Тангейзер». — *О. Ф.*) и великая блудница, — впрочем, такая холодная блудница, такая растленно-холодная, которая в самый момент эксцесса спокойно давит клопов на стене, эта жаба, выползающая из „хладных финских вод" на „топкий брег" в дельте Невы — будет не столько растерзана, как просто раздавлена с гадливым чувством» (Там же. С. 781—782).

[3] Незавершенная статья Розанова «Паскаль» (1889), рецензия на кн.: *Паскаль Б.* Мысли. СПб., 1889; см.: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1—15.

10

Розанов — Шарапову

⟨22 или 23 апреля 1898⟩

Многоуважаемый
Сергей Федорович!

Посылаю Вам рукопись — «Нечто из седой древности».[1] — Думаю — *публицистику* я навсегда оставил,[2] слишком утомительны эти тревоги дней наших. 5 к⟨опеек⟩ за строку, я думаю, и *сам* заслужу у Вас, ибо готовясь дать Вам, как я сказал, «вечное» (перед входом в «гробовые доски»), без сомнения увеличу хоть на 100 человек подписку и, след⟨овательно⟩, выработаю себе «поденную плату». Я писал Вам об оттисках: года в 1½—2 я дам Вам статей на порядочный том, все вращающихся в одном цикле и, следов⟨ательно⟩, могущих выйти под одним заглавием; итак, нужно будет заготовить 605 экземпляров, из коих 600 пойдут в магазины, а 5 авторских. Так поступал *Журн⟨ал⟩ Мин⟨истерства⟩ Народн⟨ого⟩ просвещения*, 4 года откладывая листы и составив из них книжку *Метафизика Аристотеля — пер⟨евод⟩ Розанова*.[3]

Формат пусть сохранится «Русского Труда», т. е. лист: это очень важно, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ в последующих работах придется дать рисунки-чертежи, из коих 2—3 будут именно в величину листа. В *Понимании* я дал «схему» понимания, *формы* науки: Бог благословил меня найти и поры ⟨?⟩ понимания, «дыхание» знания. Но Бог еще более благословил меня: «дыхание» знания, оказалось, сливается с самою «жизнью» и вместе с Богом. Но Вы все увидите сами, или увидите через год. Конечно, я рад Вас увидеть (всегда вечером дома), хотя просто пиджак Ваш вдруг напомнит мне «25 №» и все то мучительное в воспоминании,* что у меня с ним связано.[4] Вам преданный

В. Розанов

Итак — начинайте, благословясь, печатать без промедления.

[1] Впервые опубликовано в изданном П. П. Перцовым сборнике статей Розанова «Религия и культура» (СПб., 1899. С. 204—238). Шарапов вспоминал позднее: «Огромная статья и даже с иллюстрациями излагала самую суть нового учения. Я не решился ее печатать ввиду слишком уже откровенной постановки вопроса и выводов более чем щекотливых. Не знаю, нашла ли себе эта статья подходящий орган...» (Сущность брака. М., 1901. С. 48). См. также прим. 1 к письму 15.

[2] Далее зачеркнуто: так ⟨?⟩

[3] Речь идет о переводе первых пяти книг «Метафизики» Аристотеля, выполненном в соавторстве с П. Д. Первовым и опубликованном в «Журнале Министерства народного просвещения» (1890. № 2, 3; 1891. № 1; 1893. № 7, 8, 9; 1895. № 1, 2).

[4] Подразумевается квартира Романова-Рцы в д. 4 на Павловской (ныне Мончегорская) улице на Петербургской стороне, где собирался кружок публицистов, принятых Т. И. Филипповым на службу в Государственный контроль.

---

* а я очень впечатлителен, и *длительно* впечатлителен. Вы сами отгадали, как и почему Петербург на меня подействовал, и, обдумав себя, — я решил, что мне и никогда не следовало выходить из *скорлупы*, что скорлупа, духовный монастырь — сберегает душу (прим. Розанова. — *О. Ф.*).

11

Шарапов — Розанову

24/IV 98.

Увы! Увы! Увы! дорогой Василий Васильевич! *Наслаждался* Вашим произведением[1] четыре часа, но печатать не буду. Его не поймут, а Вы мне, конечно, не разрешите похозяйничать там редакторским пером, дабы спасти Вас и журнал от обвинений в порнографии. Мысли у Вас чистые, вещь глубины необъятной, а язык нецеломудрен. Вы *смакуете* «момент». С точки зрения арийца, да еще глупого, разумею читателя, оно *тово́*.....

Посылаю Вам рукопись обратно. Ее никто не напечатает, клянусь Вам! А если бы Вы мне *на совесть*, как Вашему великому поклоннику, разрешили выкурить лишнее, завтра же сдаю в набор.

Экземпляры *Р⟨усского⟩ Тр⟨уда⟩* прилагаю. Дальнейшее почтой.

Посылаю, кстати, «Паскаля».[2] Пускайте-ка его вперед.

Ваш С. Шарапов.

Написано на бланке «Русского труда»: «Редактор *„Русского Труда"*. С.-Петербург. *Гусев пер., д. № 6, кв. 1 .....дня, 189... г.*».

[1] Речь идет о статье «Нечто из седой древности» (см. письмо 10).

[2] См. прим. 3 к письму 9.

12

Розанов — Шарапову

⟨не ранее 24 апреля 1898⟩

Многоуважаемый
Сергей Федорович!

Принимая во внимание Ваши слова: «а если бы Вы мне *на совесть* (кур⟨сив⟩ Ваш) как вашему великому поклоннику, разрешили выкурить лишнее — завтра же сдаю в набор» — посылаю Вам статью, надеясь на Вашу деликатность, с условиями:

1) Исправляйте не по тексту рукописи, но по набору типографскому. По сему прикажите дать себе 3[1] оттиска, из коих 2 мне пришлите до исправления для сохранения на память и взамен моей рукописи, а третий исправьте, «выкурив» что Вам показалось неудобным.* Само собою разумеется, порнографировать я сам не желаю. Совсем обратно: молитва вокруг и непорочность в ощущении. Но договорю же дело:

Этот выправленный Вами экземпляр и пойдет у Вас в журнале в 603 оттиска для меня. Сейчас я не помню текста, но я думаю, что достаточно везде заменить

* Да правы ли Вы? Вестн⟨ик⟩ Евр⟨опы⟩ чуть не напечатал статью, и только затруднился «необходимостью входить в предварительное сношение с духовною цензурою». А Вл. Соловьев (теперь мне враждебный) советовал М. М. Стасюлевичу «напечатать с некоторыми смягчениями» (прим. Розанова. — *О. Ф.*). (См. об этом эпизоде: *Сукач В. Г.* Василий Васильевич Розанов. С. 32. Исходя из того, что письмо Розанова к Стасюлевичу датировано 9 декабря 1897 года, исследователь ошибочно относит к этому же времени и недатированное письмо к Шарапову. Обращение к хранящимся в РГАЛИ ответным корреспонденциям, конечно, помогло бы избежать этой погрешности. Но еще более досадно другое: В. Г. Сукач без всяких объяснений соединяет цитаты из двух розановских писем, ссылаясь при этом на них как на нечто целое (некое несуществующее декабрьское письмо). (Второе см. в нашей публикации под номером 13.) Остается предположить, что известный ученый доверился кому-то из знакомых, привезших для него из смоленского архива неточные выписки. — *О. Ф.*).

«половое» на «sexual'ное». Вообще вся статья рассчитана на верхние круги читателей, а низшие оставят, что тут — «о Библии», etc. И потом, как Вы не чувствуете, что я только возвращаю «брак», т. е., уж если говорить языком улицы, «порнографию», под углом «религиозного освещения»[2] к его реальной «ветхой деньми»[3] сущности, ведь не «венчание» брак, а «прилепление».[4] Но, во всяком случае, это так важно, что я согласен на жертвы; а Вы, я уверен, будете деликатны и тронете словечки, а не мысль, не одушевление. Да на эту тему надо было писать слезами и миром, а не чернилами; но именно в *этом* пункте у арийца «голова — редька хвостом кверху»[5] (ариец вовсе не понимает брака, а принял его с Востока пассивно как *удобство*, *гигиену*, а не как *религию*). И Вы останавливаетесь перед[6] этим, не хотите *пробуравить* истину.

Вами исправленный оттиск пришлите мне для просмотра, причем Ваших поправок я не трону, но трону *стиль*, придавая *легкость* и *изящество* самой речи. Это я всегда делаю уже в корректуре. — Ну, будем мирны.

Я *Паскаля* не получил, и даже не помню, *какой у Вас мой Паскаль*?

Преданный Вам
В. Розанов

[1] Далее зачеркнуто: экземпляра
[2] Исправлено, было: освящения
[3] Выражение восходит к Дан. 7: 9.
[4] Аллюзия на слова: «...и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину» (Быт. 2: 24; Мф. 19: 5; Мк. 10: 8). Эту тему (брак = «прилепление») Розанов будет развивать во многих своих статьях, вошедших позднее в книгу «Семейный вопрос в России».
[5] Аллюзия на гоголевскую «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
[6] Далее зачеркнуто: такими вещами?!

13

Розанов — Шарапову

⟨начало мая 1898⟩

Многоуважаемый
Сергей Федорович!

Посылаю Вам еще 2-ую статью.[1] Мне очень хотелось бы Вас увидеть; я опечален, что так долго не получаю корректуры первой. Слова о ней Вл. Соловьева, коему М. М. Стасюлевич отдал рукопись на просмотр и заключение, таковы: «Статья очень любопытна горячим отношением автора к теме и своеобразием изложения; она затрагивает то, что можно бы назвать „древом жизни"; я думаю, что ее можно напечатать с некоторыми смягчениями и оговоркою от редакции. Вл. Соловьев». Оторванный (мною)[2] последний лист рукописи с этою надписью находится у меня, и я его Вам покажу, когда будете у меня. Кстати, мне очень хотелось бы Вас видеть, и если бы Вы собрались ко мне, вечерком, как обещали в первом письме, я был бы Вам очень благодарен. Преданный Вам из Ваших статей в Рус⟨ском⟩ Тр⟨уде⟩

В. Розанов

Мне очень понравилась о марксистах[3] — ясностью и силою. Приложите внимание, чтобы рисунки вышли поизящнее.

[1] Подразумевается статья «Два стихотворения около одной темы» (см. письмо 15).
[2] Далее зачеркнуто: листок газ⟨еты?⟩

[3] Речь, вероятно, идет о статье Шарапова в цикле «По душе», посвященной лекции «странствующего французского социалиста» Дюка, друга Ж. Жореса, и необходимости сопротивления надвигающемуся социализму (Русский труд. 1898. 2 мая. № 18. С. 5—7).

14

Розанов — Шарапову

⟨лето 1898?⟩

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Я вернулся в Спб.; и мне очень хотелось бы, чтобы вы начали печатанье моих статей. Пустите вперед Паскаля; а затем отдельным приложением: «Нечто из седой древности»; но так, чтобы кроме Ваших экземпляров, т. е. самого приложения было сделано *600 для книги — сборника*. Если Вы стеснены в деньгах, я Вам совершенно доверяю, и готов подождать до января. Было бы приятно Вас увидеть.

Ваш В. Розанов

(Продолжение следует)

© *А. С. Александров*

А. А. ИЗМАЙЛОВ — РЕФОРМАТОР «ПЕТРОГРАДСКОГО ЛИСТКА» (1916—1918)

Деятельность Александра Алексеевича Измайлова (1873—1921), талантливого литературного критика, журналиста, откликнувшегося в своих рецензиях и критических разборах на многие литературные явления 1900—1910-х годов, еще в недостаточной степени проанализирована и понята в контексте литературной и общественной жизни эпохи.

Источниковедческие разыскания и обращение к материалам из его личного архива, хранящегося в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Ф. 115), позволяют реконструировать многие факты биографии литератора, а также осветить важные эпизоды из истории русской журналистики, в частности деятельность Измайлова на посту редактора газеты «Петроградский листок» в период с 1916 года вплоть до закрытия газеты в августе 1918 года.

В начале 1916 года А. А. Измайлов получил от издателей газеты «Петроградский листок» предложение вступить в должность редактора этого печатного органа. Перед тем как принять данное предложение, он обращался за советом к коллегам-литераторам, наводя всевозможные справки, что подтверждается письмом А. С. Лазарева-Грузинского от 11 апреля 1916 года: «*Петр⟨оградский⟩ Лист⟨ок⟩* я отлично знаю; когда-то там даже чуть-чуть работал по предложению Иванова-Классика, с великой неохотой, и при первой возможности бросил там работу, приглашенный по совету, весьма настойчивому, Амфитеатрова (который меня любил) в *Новости Дня*, где меня тоже очень полюбил А. С. Эрманс, в те дни редактировавший *Н⟨овости⟩ Дня*. Если по контракту года на 2—3, конечно, берите *Петр⟨оградский⟩ Л⟨исток⟩*, ибо это обеспечит В⟨ам⟩ жизнь, если без контракта, нужно знать отношение Проппера к Вам, которых я не знаю, можно ли будет опять

вернуться в Биржевку и т. п. ⟨...⟩ С точки же зрения — Ваше ли это дело — задумываться не над чем: роль редактора, конечно, Ваша».[1]

Измайлов выступил на страницах газеты с рядом статей,[2] а с № 229 принял на себя обязанности редактора.

К этому времени Измайлов — фигура достаточно известная в литературных кругах. За его плечами огромный опыт работы в ведущих столичных газетах и журналах: «Биржевых ведомостях», «Русском слове», «Новом слове», «Руси» и других изданиях. Из многочисленного ряда газет и журналов, в которых сотрудничал Измайлов, особо надо выделить «Биржевые ведомости» — газету, в которой критик работал с 1898 года и где был бессменным ведущим рубрики «Литературное обозрение». Именно здесь ему суждено было реформировать жанр критического фельетона и ввести в обиход новый тип литературно-критического очерка. Весьма точно высказался о деятельности Измайлова Н. Мучнин в рецензии на измайловский сборник «Помрачение божков и новые кумиры»: «Александр Алексеевич Измайлов, несмотря на сравнительную молодость (род. в 1873 г.), занимает видное, обособленное место в русской литературе. Один сухой перечень журналов и изданий, отличных друг от друга по „платформам", в которых принимает участие Измайлов, ясно покажет, что этот писатель желанный гость у всех».[3]

«Петроградский листок» представлял собой «малую», или массовую, газету, весьма популярную среди тех слоев городского населения, которые не отличались взыскательным вкусом. По мнению историка русской журналистики, подобный тип изданий был рассчитан на «не очень подготовленных и недостаточно образованных читателей»,[4] отсюда и характер материалов — публикации «с ярко выраженной обличительной тенденцией, с элементами сенсационности и развлекательности».[5] Репутация таких печатных органов была весьма сомнительной, и образованными слоями общества они не могли восприниматься всерьез. Не случайно о «Петроградском листке» А. В. Амфитеатров отозвался как о любимом уличном издании «дворников, швейцаров, извозчиков, мелких лавочников и тому подобного темного люда»,[6] а сам Измайлов в одном из своих писем к Ф. Сологубу назвал «Петроградский листок» газетой с «распивочной физиономией».[7]

Тем не менее в нем сотрудничали и достаточно известные литераторы, так, во второй половине XIX века в «Листке» печатались Г. Успенский, К. Станюкович, на его страницах начал публиковать главы романа «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский. Крупные писатели оценивали свое сотрудничество в газетах подобного уровня как просветительство, прекрасно понимая влияние таких «Листков» на малограмотное население страны. Н. С. Лесков в письме к Л. Н. Толстому заметил по поводу публикации в «Петербургской газете» своего святочного рассказа: «Ждал, что похвалите за то, что отстранил в этот день приглашение литературных „чистоплюев" и пошел в „серый" листок, который читает 300 тысяч лакеев, дворников, поваров, солдат и лавочников...»[8]

---

[1] Письмо А. С. Лазарева-Грузинского к А. А. Измайлову // ИРЛИ. Ф. 15. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 36.

[2] *Измайлов А. А.* Вдовствующая академия // Петроградский листок. 1916. 7 мая. № 124. С. 2; *Аякс.* [*Измайлов А. А.*] В Годомичах // Там же. 1916. 9 июня. № 156. С. 2; *Измайлов А. А.* Памяти Лермонтова // Там же. 1916. 15 июля. № 192. С. 1—2.

[3] *Мучнин Н.* Помрачение божков и новые кумиры. А. А. Измайлов // Светоч и Дневник писателя. 1910. № 7—8. С. 117—130.

[4] *Махонина С. Я.* История русской журналистики начала XX века. М., 2004. С. 99.

[5] Там же.

[6] *Амфитеатров А. В.* Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. М., 2004. Т. 2. С. 210.

[7] Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым / Публ. М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 289.

[8] *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 11. С. 472.

Приступив к обязанностям редактора, Измайлов, заручившись полной поддержкой издателя газеты и всей редакции, задумал реформирование «Листка», работая поначалу по 16 часов в сутки. Главным образом он был намерен «олитературить» газету, привлечь к сотрудничеству известных литераторов, расширив тем самым рамки читательской аудитории. Он был знаком с примерами удачного реформирования слабых изданий. Так было с «Русской волей», о чем сообщал ему Л. Андреев в письме от 25 марта 1918 года: «Мне только два месяца пришлось редактировать „Русскую Волю", газету полуразрушенную, полуразоренную, всячески сбитую с толку, связанную всяческими тяжелыми договорами с сотрудниками, дискредитированную, охаянную, — и за это короткое время было сделано уже много для ее реставрации».[9] Так было и в «Биржевых ведомостях» при редакторстве И. И. Ясинского, когда Измайлов уже застал расцвет газеты, к которому и сам приложил немало усилий. Ясинский писал критику в 1918 году: «Вы были долгое время сотрудником „Б⟨иржевых⟩ В⟨едомостей⟩", когда я был их редактором. Поэтому вы помните, в каком истинно демократическом духе велась газета и каким страшным гонениям она тогда подвергалась. То было время расцвета газеты, и защита в ней насущных интересов рабочих, крестьян и вообще всей русской и еврейской бедноты сделала ее чрезвычайно популярной в провинции, а г. Пропперу принесла миллионы».[10]

Безусловно, в своем амбициозном проекте Измайлов возлагал надежды на личные знакомства в литературных кругах. С целой плеядой русских писателей Серебряного века он состоял в переписке, которая продолжалась многие годы. Амфитеатров, Боборыкин, Сологуб, Бальмонт, Брюсов, Андреев, Ремизов входили в число его корреспондентов. Критик рассылает известным литераторам письма с просьбой о помощи в задуманной им реорганизации печатного органа. Письмо драматурга С. А. Шиманского является документом, подтверждающим реформаторские настроения Измайлова-редактора: «Ваш крик о помощи, конечно, преувеличен. Вы сами — сила. А „Петроградский листок" — это тот чернозем, из которого при Вашем таланте и опыте можно создать второе „Русское слово". В *последовательности*, о которой пишете Вы, ясно видно Ваше понимание задачи. Ваше чутье подсказало Вам, что резко изменять привычки читателя нельзя. Реформа газеты равносильна реформе государственного строя, и здесь надо быть мудрецом. Разумеется, я Вам плохая подмога, но что я в силах буду сделать в смысле присылки подходящего материала — я сделаю все. ⟨...⟩ Одним словом, работать я с Вами рад. Где вы — там и я. И дай Бог, чтобы в П⟨етроградском⟩ Л⟨истке⟩ образовалось то же созвездие, какое Вы сумели создать в Б⟨иржевых⟩ В⟨едомостях⟩ и где засверкала и моя маленькая звездочка. ⟨...⟩ Ну, дорогой Александр Алексеевич, поздравляю Вас с важным чином Главного редактора. Не забывайте нас грешных, ибо перед Богом все мы равны, и одинаково будем гореть в огне на том свете. И если я буду Лазарем, я дам Вам „каплю воды". Сердечно желаю Вам всякого, всякого успеха и глубоко верю в этот успех. Будем работать».[11]

Вскоре в газете стали появляться фельетоны, репортажи и критические статьи известных журналистов и литераторов, к постоянному сотрудничеству были привлечены А. Зарин и Н. Брешко-Брешковский, коллеги Измайлова по «Биржевым ведомостям». В газете расширилась литературная часть: стали печататься рассказы А. Грина, И. Потапенко, К. Баранцевича, С. Шиманского, в рубрике «Литературный календарь» освещались события текущей литературной жизни, рубрика

[9] Письмо Л. Н. Андреева к А. А. Измайлову цит. по: *Андреев Л.* S.O.S. Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1910—1919). М.; СПб., 1994. С. 236—237.

[10] Письмо И. И. Ясинского к А. А. Измайлову // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 392. Л. 91.

[11] Письмо С. А. Шиманского к А. А. Измайлову от 24 апреля 1916 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 372. Л. 72—73.

«Театральный курьер» была представлена рецензиями на театральные постановки. В газете был введен специальный литературный отдел с целым рядом новых рубрик: в рубрике «Слёт писателей» публикуются беседы с литераторами об их работе; «Старь и новь» посвящена обзору литературно-художественных журналов. Введя литературный отдел в «Петроградский листок», а вместе с ним и разнообразные рубрики, Измайлов оставался верен своему кредо — ориентации на писателей реалистической школы.

Не забываются в газете и писатели прошлого века — популярными литературно-критическими заметками отмечаются юбилейные даты, связанные с именами Пушкина, Лермонтова, Гончарова.[12]

Так началось постепенное «олитературивание» «Листка».

Однако преобразования, задуманные Измайловым, встречали определенные затруднения. Мемуары А. В. Амфитеатрова донесли один из эпизодов литературной жизни того времени: «Когда А. И. Куприн, по неистощимому добродушию своему, дал туда какой-то свой мелкий рассказец, это произвело в петроградском литературном мире впечатление скандала».[13] А после выхода № 249 разразился скандал (напомним, редактором Измайлов стал с № 229) в связи с напечатанным в нем интервью М. Горького, который выступил с опровержением,[14] назвав интервью с корреспондентом «Петроградского листка» В. Ф. Боцяновским дружеской беседой, не предназначавшейся для печатания. На что Боцяновскому пришлось ответить следующее: «Во время беседы, спустя минут двадцать, г. Горький вскользь сказал, что „он не любит интервью", тем не менее разговор продолжился, и он отвечал на вопросы, какие я ему задавал. Так как я десятки раз читал интервью с г. Горьким в газетах, то неудивительно, что этим словам я придал значение не более, как только кокетливой фразе. При таких условиях не думаю, чтобы г. Горький поступил этично, бросив по адресу человека, все же „когда-то с ним знакомого", напечатавшего о нем все-таки первую у нас книгу, — в пользовании приемами уличной прессы, и опубликовал свое письмо ранее, чем выслушал от меня хотя бы одно слово объяснения».[15]

Несмотря на неизбежные в газетном деле трудности, процесс реорганизации шел и затронул также новостной отдел: печатаются политические пародии, стихи на злобу дня, принимается решение стихотворный отдел ограничить только юмористическими стихами.[16] Объем статей сокращается для того, чтобы давать как можно больше информационного материала, отражающего разнообразие современной жизни.[17]

---

[12] См: *Измайлов А. А.* Памяти Лермонтова // Петроградский листок. 1916. 15 июля. № 192. С. 1—2; *А. И.* [*Александр Измайлов*] Кто же убил Пушкина (Новые изыскания П. Е. Щеголева) // Там же. 1916. 5 авг. № 213. С. 2; *Герсон И.* «Дядя Гиляй» // Там же. 1916. 30 авг. № 236. С. 2; *Россовский Н.* Памяти Гончарова // Там же. 1916. 15 сент. № 254. С. 2.

[13] *Амфитеатров А. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 210.

[14] Это опровержение опубликовано в «Петроградском листке» рядом с объяснением В. Боцяновского: «В 249 № редактируемой вами газеты напечатана статейка „Встреча с М. Горьким", подписанная Вл. Б. По поводу этой статейки я вынужден сказать следующее: все, о чем я беседовал с г. Владимиром Боцяновским, как человеком немного знакомым мне, а не как с репортером, — не предназначалось мною для публичного оглашения. Об этом г. Боцяновский был предупрежден мною. Он заверил меня, что явился именно как „знакомый" „поговорить", а не как репортер. Но — оказалось, что он ошибся, определяя цель своего визита ко мне. Заявляю, что все, о чем я беседовал с г. Боцяновским, извращено и перепутано им» (*Горький М.* Письмо от 10 сентября 1916 г. // Петроградский листок. 1916. 12 сент. № 251. С. 2).

[15] *Боцяновский В.* Как я «ошибся» // Петроградский листок. 1916. 12 сент. № 251. С. 2.

[16] Об этом новшестве Лазарев-Грузинский писал Измайлову: «Перед Ваш⟨им⟩ решением печатать только юмор⟨истические⟩ стихи преклоняюсь, но одобрить его не могу. Приложения В⟨аши⟩ требуют лирики (хотя, б⟨ыть⟩ м⟨ожет⟩, и не моей)» (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 40).

[17] Измайлов писал, в частности, Ф. Сологубу: «Если бы я не мог не огорчить Вас, то я очень просил бы — как мы и уговаривались — придерживаться маленького фельетона (от 100

Уже в июне 1916 года, через два месяца после приведенного выше письма, Шиманский пишет Измайлову: «Теперь о Вашей газете. Поздравляю! Вы на верном пути. Материал интересен. ⟨...⟩ Разнообразие удивительное. Я предсказываю успех и, вероятно, с зимы буду Вашим *полезнейшим* спутником. Дайте только напишу серьезную пьесу. Я боялся истории с „Московским листком", который сгублен реформами. Но разница в том, что Ваши реформы талантливы и умны, а реформы „Московского листка" были убийственно бездарны. У Вас светлый ум, и я верю в вашу газету. Я вам аплодирую за нее!»[18]

В начале февраля 1917 года о деятельности Измайлова на поприще реформирования «Листка» положительно отзовется и Ясинский: «От всей души поздравляю вас с газетой, которую Вы так оживили и которую я начинаю читать раньше других газет».[19]

Февральская революция повлияла на изменение содержания газеты. «Петроградский листок» не мог не прореагировать на рост общественного сознания и политической активности массового читателя; естественно, что редакция начинает уделять больше внимания событиям политической жизни, следить за борьбой политических партий, комментировать обстановку в городе. К концу лета газета уже заметно отличалась от прежнего «Петроградского листка». Позиция главного редактора проявилась в общей политической ориентации газеты: она определенно становится на сторону Временного правительства, резко осуждая политику большевиков. Опубликовав в августе 1917 года «Письмо Ленина к Каменеву», газета таким образом лишила себя будущего. Измайлов действительно крайне негативно относился к большевикам и всячески старался уязвить их в своих пародиях:

— Слухи-с! И слухи не самые худшие!
Горше опасность с другого конца:
Пакостят Ленина овцы заблудшие,
Забунтовали казаки с Донца.[20]

Последствия не замедлили себя ждать. 28 октября деятельность «буржуазной» газеты была приостановлена, комиссарам дано указание немедленно принять меры к изъятию номеров из продажи и не допустить их рассылки в провинцию. При редакции был поставлен караул революционных солдат.

На события октябрьских дней «Листок» смог откликнуться только 18 ноября (5 по старому стилю), выразив свое отношение к произошедшему захвату власти: «Многострадальная печать ⟨...⟩ вынуждена была молчать, пригвожденная на кресте в обе длани солдатскими штыками. ⟨...⟩ Редакции не имели возможности помочь рассеянию слухов, предотвратить безумные расправы, двинуть пальцем в предупреждении ужасов. Даже социалистические газеты отбирали на улицах, перехватывали на заставах, жгли на кострах. И мы молчали, и можно было заболеть и постареть за эти дни».[21]

В газете публикуются материалы откровенно антибольшевистского содержания, принадлежащие перу главного редактора и близких ему по политическим убеждениям литераторов. 5 декабря 1917 года в газете появилась статья Анастасии Чеботаревской о Ленине и Троцком «Кто же они?», в которой она писала: «Все мы,

---

до 200). Последний присланный — почти ровно 300. Наша газета по многим условиям, о которых долго писать, необходимо должна держаться этой формы. И Амфитеатров для нас вдвое сокращает размер своего фельетона» (Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым. С. 274).

[18] Письмо С. А. Шиманского к А. А. Измайлову // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 372. Л. 79—79 об.

[19] Письмо И. И. Ясинского к А. А. Измайлову от 29 февраля 1917 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 392. Л. 33.

[20] *Измайлов А.* Кумушки // Петроградский листок. 1917. 1 июня. № 131. С. 3.

[21] Петроградский листок. 1917. 5 ноября. № 257.

с тоскою и отвращением следящие за этой гибельною для России игрою во власть проходимцев и честолюбцев ⟨...⟩ мы, требующие моральной ответственности за поступки и слова, — мы все не можем не поставить перед собою и перед другими этого простого вопроса, от решения которого зависит весьма много в нашей дальнейшей оценке событий. Чему же верить? Кто же они? Честные люди или?..»[22]

Сразу же после октябрьского переворота большевики приняли ряд мер по борьбе с «буржуазной» печатью. В Петрограде, недавнем центре русской журналистики, начали стремительно закрываться периодические издания, «Листок» был чуть ли не единственным уцелевшим из них, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях Амфитеатров: «В Петрограде ⟨...⟩ влачила тогда жалкое существование уже только одна-единственная газета — последняя, с призрачным самообманом все-таки как будто „независимого издания"».[23]

Первой такой мерой было принятие Декрета о печати, согласно которому закрытию подлежали печатные издания, призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабоче-Крестьянскому правительству, сеющие смуту путем клеветнического извращения фактов и т. д.[24] На деле Декрет Совнаркома был направлен на повсеместное подавление «буржуазной» печати. Однако многие газеты в ответ на закрытие возобновляли свою деятельность под измененным названием. 7 (20) ноября Советом Народных Комиссаров был принят «Декрет о введении государственной монополии на объявления».[25] Право печатать объявления предоставлялось только изданиям Временного рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и изданиям местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Запрещение публиковать платные объявления подорвало материальную базу почти всех частных газет. Но редакция «Петроградского листка» не сдавалась. Не сломило ее и массовое закрытие 18 ноября 1917 года всех «буржуазных» газет. После выхода 19 ноября последнего номера газета сменила название — «Петроградский вестник» вышел, однако, всего дважды. С 30 ноября газета стала выходить под названием «Петроградский голос», стойко продолжая борьбу с политическим произволом новой власти.

Друзья и коллеги Измайлова пессимистично смотрели на будущее городской газеты. Все тот же Лазарев-Грузинский с горечью писал Измайлову 22 ноября 1917 года: «С удовольствием почитываю Вашу газету и одобряю Вашу борьбу, по человечеству. Но скептицизм говорит мне про ее бесплодность и про то, что в конце всех концов нас затопчут в болото. „Будут дни великого смятения", и те, кто уцелеет после оного, грустно споет нам, погибшим, реквием. Не вижу возможности русской интеллигенции уцелеть. Одно утешение: лет через пятьдесят она вновь возродится. Только не жить уже в ту пору прекрасную ни мне, ни даже Вам, дорогой мой ⟨...⟩ Это я Некрасова чуть-чуть изувечил. Ну, не беда. Кого в наши дни не увечат? Легко ли дело — 50 лет! Когда это будет?»[26]

После октября 1917 года сотрудники многих газет и журналов остались без работы. Писателям печататься было негде, оставался один «Петроградский листок». «...Подобно зверям, бегущим от наводнения, собрались и столпились на нем всевозможные живые обломки распущенных редакций, исчезнувших изданий. Во главе газеты стал видный литератор, популярный и заслуженный критик А. А. Измайлов», — повествовал о происходящем Амфитеатров в очерке «Дом литераторов в Петрограде 1919—1921».[27]

---

[22] *Чеботаревская А.* Кто же они? // Петроградский голос. 1917. 5 дек. № 5. С. 1.

[23] *Амфитеатров А. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 210.

[24] См.: Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 24—25.

[25] Там же. С. 55—57.

[26] Письмо А. С. Лазарева-Грузинского к А. А. Измайлову // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 57.

[27] *Амфитеатров А. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 210—211.

Несмотря на отмену новой властью рождественских праздников и запрет на выпуск праздничных номеров, Измайлов все же решился выпустить рождественский номер, который открывался редакционной статьей «Под рождественский звон». На первой же странице был напечатан фельетон А. Амфитеатрова «Праздничное». В номере были помещены рассказы А. И. Куприна «Сашка и Яшка», В. И. Немировича-Данченко «От Кары до Вердена», фельетон А. Аверченко «Разбитое корыто», статьи А. Р. Кугеля «Об одной загадке» и А. Зарина «Веселое Рождество».

Встреча Рождества 1917 года проходила в атмосфере, которую достаточно точно иллюстрирует письмо Лазарева-Грузинского к Измайлову: «Хотя, как я слышал (сам я газет не читаю), одним из декретов Рождество и Н⟨овый⟩ год отменены, позвольте держаться старины и поздравить Вас с милым праздником Рождества и грядущим Н⟨овым⟩ годом.

Что пожелать в Н⟨овом⟩ году?

Когда-то желали мы друг другу нового счастья. Но это было во времена деспотии, монархии, Победоносцевых и Плеве и т. д. и т. д. — теперь в блаженные республики — какие времена свобод пожелаем друг другу... Чего? Разве:

— Только не нового позора!

⟨...⟩ Почему я не читаю газет? Потому что с 8 по 20/XII бурж⟨уазные⟩ газеты в Москве решили не выходить, а „Социал-Демократические" мне читать не хочется...»[28]

К 1918 году в газете начали печататься известные беллетристы (Вас. Ив. Немирович-Данченко, А. И. Куприн, П. П. Гнедич, В. Ф. Боцяновский), писатели из символистского лагеря (Ф. Сологуб, Д. Мережковский), университетские профессора, публицисты крупных газет — «Речи», «Дня», закрытых большевиками.

Политическую направленность газеты в изменившемся историческом контексте достаточно точно определил А. В. Амфитеатров: «Понятно, что орган изменил свою физиономию и направление. Из монархического он превратился в либерально-демократический, даже с оттенком утопического социализма, впрочем, весьма бледно-розового. Антикоммунистический дух скорее чувствовался, чем сказывался; скорее подозревался, чем выявлялся. Потому что радикал наш милейший А. А. Измайлов ненавидел большевиков до кровосмешения, но напуган ими был до паники и чуть ли не падал в обморок при каждом слове, уязвляющем торжествующих олигархов лжекоммуны прямо и открыто».[29]

В 1918 году «Петроградский голос» был чуть ли не единственным, где литераторы могли высказывать свое мнение о происходящих событиях в стране. В статье «Солоно» Ф. Сологуб писал: «Уже так нам всем в России тяжело и солоно, что тяжелее и солонее быть не может. Россия, конечно, не погибнет, в это верю, и без этой веры как же можно было бы жить! Больше всего приходится солоно не буржуям, а трудовой интеллигенции. Посмотрите, кто теперь материально нуждается в Петрограде? Да только представители трудовой интеллигенции — безработные юристы, например. Нуждаются сенаторы, старые и почтенные люди...»[30]

Поток литераторов, бывших журналистов и редакторских работников, готовых к сотрудничеству с «Петроградским голосом», оказался настолько велик, что редактору пришлось заготовить типовые бланки, на которых он рассылал многочисленные отказы, так как у него не было возможности ввести еще кого-то в штат редакции. Фрагменты этой корреспонденции восстанавливаются уникальным образом: бланки использовались в качестве «обороток» при написании последней ра-

---

[28] Письмо А. С. Лазарева-Грузинского к А. А. Измайлову от 15 декабря 1917 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 58.

[29] *Амфитеатров А. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 210—211.

[30] *Сологуб Ф.* Солоно // Петроградский голос. 1918. 15 (2) марта. № 34; см. также статью Сологуба «Крещение грязью» (Петроградский голос. 1918. 6 янв. № 4).

боты Измайлова — книги о Н. С. Лескове. Например, сохранился такой текст на бланке редакции «Петроградского голоса»: «...Я не создаю новой редакции, а взял готовую, с 72 по штату сотрудниками большого опыта и в очень многих случаях очень хороших способностей. Моя задача только перевести (последовательно) газету в другие тона, и сейчас мне уже видно, что сотрудники за незначительным исключением могут и должны оставаться на своем месте.

Вот почему на предложения, подобные Вашему, я могу отвечать пока только платоническою благодарностью за готовность со мной работать и сожалением, что встреча на деле пока, при нынешнем размахе, невозможна. Газета за долгие годы ее существования поставлена даже богаче других петроградских редакций в том смысле, что несколько лиц здесь несут те обязанности, какие в других местах несет одно лицо.

Позвольте держать в памяти Ваше письмо и в случае представившейся надобности просить Вас помочь моему делу...»[31]

В условиях пореволюционного прессинга перед Измайловым как главным редактором стояла задача как можно дольше сохранить газету. Но все его попытки не привели к желаемому результату. Впоследствии об этом вспоминал Амфитеатров: «Дважды в своем русском опыте наблюдал я это странное явление, что иная бойкая газетная лавочка начинает хуже торговать от улучшения свого товара. Во второй раз — совсем недавно (в 1918 году), когда покойный А. А. Измайлов, воспользовавшись последовательным убиением большевиками петроградских газет и журналов, вздумал олитературить единственно еще уцелевший „Петроградский листок". Писателей собралось — что зверей на высоком острове при потопе. А тираж газеты, чем больше подниматься, стал падать изо дня в день, с оскорбительной быстротой. Измайловские новшества оказались „не по публике". Старый серый читатель заскучал и отвалился, а ожидаемый новый, интеллигент, не поверил исстари компрометированной фирме и не шел под ее вывеску, хотя она обещала и давала самые замечательные имена».[32]

В начале 1918 года с целью привлечения интереса к газете Измайлов выступил с инициативой создания и публикации коллективного романа «с продолжением». Им стал «проект» под названием «Чертова дюжина» (или «Роман 13-ти»),[33] в котором приняли участие 13 известных литераторов: А. В. Амфитеатров, А. И. Куприн, В. И. Немирович-Данченко, Ф. Сологуб, А. Т. Аверченко, П. П. Гнедич, И. Н. Потапенко и др. В заметке «Роман тринадцати» Измайлов прокомментировал это начинание следующим образом: «13 авторов разработают общий замысел увлекательного романа, на котором читатель немножко отдохнул бы от речей об аннексиях и контрибуциях, о последних выступлениях на заседаниях циксовдепа и т. д.»[34] Главный редактор апеллировал к прецедентам и вспоминал немецкий «Роман 12-ти», в котором участвовали известнейшие немецкие авторы, и роман «Три буквы»,[35] опыт создания которого был предпринят в 1911 году «Синим журналом», имевшим репутацию бульварного издания.[36]

---

[31] ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 5 (4). Л. 60 об.

[32] *Амфитеатров А. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 290.

[33] Об инициативе создания коллективного романа см. также: Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым. С. 194—293.

[34] *Измайлов А. А.* Роман тринадцати! // Петроградский голос. 1918. 4 мая. № 73. С. 2.

[35] Там же.

[36] Измайлов также участвовал в проекте «Синего журнала», на что Лазарев-Грузинский прореагировал весьма скептически: «Как Вам не претит писать роман или что бы то ни было для „Синего журнала"? Ведь это же не литература, а чистое непотребство. Давно я уже не читал такой сплошной пошлости, как „коллективный роман", и такой сплошной грязи, как картинки из жизни массажисток, натурщиц и т. п. Вещи, достойные только Михайлова и его „Осколков"! В „Одесс⟨ком⟩ Листке" напечатана большая и остр⟨ая⟩ статья о „Синем журнале". Автор советует перекрестить его в „Красный Фонарь". Думаю привести в „Осе" выдержки из этой

Можно предположить, что привлечение к работе литераторов, оставшихся без средств к существованию, было продиктовано заботой о них, желанием накормить бедствующих писателей, многие из которых, отчаявшись, распродавали свое имущество и готовились к выезду за границу. Литераторам, приглашенным к участию в проекте, были разосланы типовые письма, почти все из них ответил согласием. Первые главы романа, написанные Амфитеатровым, плодовитым беллетристом, к тому же привыкшим к специфике газетной работы, выходили достаточно динамично, однако через некоторое время в рядах единомышленников начался разлад. О своем выходе из «проекта» заявил Куприн,[37] чем возмущен был не только Измайлов, но и другие литераторы. В частности, Ф. Сологуб писал Измайлову: «Первый выход из числа нашего романа А. И. Куприна. Да еще без объявления причин. Совершенно непонятное происшествие. Мне кажется, что А. И. Куприну следовало бы или не давать согласия, или уже исполнить свое обещание».[38]

Не было и литературной согласованности среди авторов: сюжет разваливался, интрига переставала «держать» романное повествование. Лазарев-Грузинский нелицеприятно выразил свое впечатление от романа в письме к инициатору проекта: «Как плохо наши знаменитости пишут „Чортову дюжину"! Дарю Вам почти минаевский экспромт:

„Чортова дюжина
Пишется дюжинно..."

Когда придет ваш черед сечься (Вы не заметили, что каждый из авторов начинает так робко, как будто не вступает на путь великих замыслов и творчества, а именно идет ложиться под лозы?), опишите Распутина, спиритов и ту мохнатую животину, о котор⟨ой⟩ Вы рассказывали ⟨...⟩ У Вас это выходило так интересно в рассказе, что и в романе выйдет интересно. Еще я очень люблю читать у Вас об антикварiях и букинистах. Думаю, что их можно к „Ч⟨ортовой⟩ Д⟨южине⟩" припутать. Главный недостаток романа — отсутствие действия (все толкутся на одном месте) и „безынтересность". Хотя бы одна глава заинтересовала.

— А что будет дальше?

У Амфит⟨еатрова⟩ это было».[39]

Несмотря на попытки привлечь читателя газетной беллетристикой, финансовое положение «Голоса» стремительно ухудшалось, и проект остался незавершенным.

Письма Измайлова к литераторам в июле—августе 1918 года практически все содержат извинения по поводу невыплаченных гонораров и сетования на тяжелое положение газеты. Приведем письмо к П. П. Гнедичу, одному из авторов коллективного проекта: «Дорогой Петр Петрович. Ради Бога, простите замедление. Все эти дни горю в беспрерывных совещаниях в редакции. В дело входят товарищи, денег ждут со дня на день, а пока — небывалые материальные затруднения, с задержкою жалований и гонораров всем сотрудникам. Простите, что заставил Вас ждать, но издательство застигнуто цепью самых враждебно фатальных обстоятельств, вытекающих из духа времени. Деньги есть и — денег нет».[40]

статьи в „Песьих Мухах". Не дело таких литераторов, как Вы, Куприн, Немирович и Гнедич, поддерживать сотрудничеством гнусные, грязные и малограмотные издания. Без поддержки литераторов он давно бы уже лопнул, как мыльный пузырь» (Письмо А. С. Лазарева-Грузинского к А. А. Измайлову от 1 июня 1911 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 173. Л. 58).

[37] Сообщение о выходе из коллективного проекта А. И. Куприна было напечатано в «Петроградском голосе» 7 июня (№ 100).

[38] Письмо Ф. Сологуба к А. А. Измайлову от 25 июня 1918 года (Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым. С. 285—286).

[39] Письмо А. С. Лазарева-Грузинского к А. А. Измайлову от 1 июля 1918 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 58.

[40] ИРЛИ. Ф. 73. Ед. хр. 260. Л. 11—11 об.

К августу 1918 года газета находилась на грани краха, вызванного среди прочего и давлением новой власти. Измайлов чувствовал всю безнадежность своего положения. В день выхода последнего номера «Петроградского голоса» критик напишет Ф. Сологубу: «Все время газета переживала трепетные часы — под угрозой каждодневного невыхода, в задавленности, почти в унижении, в гонении власти (штраф в пять миллионов), наконец, даже под тучей забастовки сотрудников, в части своей думавших так оказать воздействие на издателя. Я кипел в собственном соку, а не жил. Да и сейчас не живу. Будь проклято поганое дело редакторства!»[41]

К августу 1918 года газета подошла с большими долгами и невыплаченными гонорарами. Продолжать издание было невозможно. И на 147-м номере газета прекратила свое существование. Измайлов еще надеялся на возобновление издания с приходом компаньона, который смог бы профинансировать дальнейшую деятельность газеты.[42] Однако эти надежды оказались нереализованными в ситуации планомерного подавления оппозиционной прессы.

Газету «Петроградский листок» Измайлов редактировал всего два года. Однако за короткое время ему удалось сделать немало. Благодаря своему авторитету он смог привлечь внимание талантливых литераторов к изданию. В 1918 году это была одна из немногих уцелевших газет, которая предоставила печатные площади бедствующим литераторам, оставшимся без заработка. Деятельность Измайлова как редактора «Петроградского листка» стала еще одним ярким эпизодом биографии этого незаурядного литератора и журналиста начала XX века.

---

[41] Письмо А. А. Измайлова Ф. Сологубу от 3 августа 1918 года (Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым. С. 289).

[42] Об этом Измайлов сообщал П. П. Гнедичу в конце августа: «Превратности судьбы нашей газеты — в самом процессе. Если в дело входит компаньон, — все войдет в норму на этих днях, и последует окончательная с вами расплата. Если судьба не состоится, — будет совершена ликвидация дела, и мною специально заявлено издательству о необходимости полного погашения долга Вам. Во всяком случае, я вас уведомил о наших делах» (Письмо А. А. Измайлова к П. П. Гнедичу от 21 августа 1918 года // ИРЛИ. Ф. 73. Ед. хр. 260. Л. 13—13 об.).

ПИСЬМО Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО В. М. ЖИРМУНСКОМУ (1922)

(ПУБЛИКАЦИЯ © В. В. ПЕРХИНА)

В декабре 1924 года Д. П. Святополк-Мирский писал П. П. Сувчинскому: «Работы Жирмунского о Блоке знаю и состою с ним в переписке, и он мне книжки присылает ⟨...⟩»[1] В поисках этих писем из Лондона в Петроград исследователи обращались к фонду В. М. Жирмунского в Санкт-Петербургском отделении Архива Российской академии наук.[2] Но безрезультатно. Публикуемый текст удалось обнаружить в Собрании писем Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).[3]

---

[1] *Smith G. S.* The letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. 1922—31. Birmingham, 1995. P. 36.

[2] См.: Ibid. P. 177—178.

[3] РГАЛИ. Ф. 1348. Оп. 7. Ед. хр. 64. Л. 1—5 об. (Письмо написано по старой орфографии. Печатается по современным правилам.) Там же (л. 6—7) хранится еще одно письмо Святополк-Мирского Жирмунскому — от 5 июля 1936 года. В нем речь идет о сокращениях в «статье о *барокко*». Она опубликована под названием «Барокко и английская литература» (см.: [*Святополк-*]*Мирский Д.* Статьи о литературе / Сост. М. Андронова [М. В. Михалкова]; вступ. статья Н. Анастасьева. М., 1987. С. 21—70) по рукописи из фонда Жирмунского в Архиве РАН. Письмо уточняет дату написания этой работы: 1936-й, а не 1937 год. Местонахождение других

Это письмо, как и майское того же года, адресованное К. И. Чуковскому,[4] показывает, что Святополк-Мирский упорно старался восстановить прерванные во время войн связи с деятелями литературы Петербурга, которые, по его мнению, «делают поистине великое культурное дело». Он хотел участвовать в этом «культурном деле». По цензурным причинам участие ограничилось одной статьей в журнале «Современный Запад» под редакторством Е. И. Замятина и К. И. Чуковского и перепиской.

В начале 1920-х годов Святополк-Мирский стал изучать историю литературы и искал свой метод. Как ясно из письма, он отталкивался от крайностей культурно-исторического подхода Н. А. Котляревского и формального метода В. Б. Шкловского. Напротив, Жирмунский, считал Святополк-Мирский, предлагал в своих работах «истинный путь и метод историко-лит⟨ературного⟩ исследования», сочетающий тончайший анализ формы в единстве с содержанием литературного произведения. Он принял также терминологию Жирмунского, но расходился с ним в понимании некоторых тенденций развития русской поэзии.

На основании этого письма можно предположить, что в эпистолярном диалоге с петербургским коллегой Святополк-Мирский продумал те методологические принципы, которые позволили ему через несколько лет издать знаменитую «Историю русской литературы с древнейших времен по 1925 год».

лондонских писем к Жирмунскому, возможно, затребованных НКВД после ареста критика, до сих пор неизвестно.

[4] См.: *Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия. Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи / Сост., подг. текстов, прим. и вступ. статья В. В. Перхина. СПб., 2002. С. 244—245.

24 Gordon Street
London WCI.
ноября 27, 1922

Дорогой Жирмунский,

вряд ли Вы меня очень ясно помните.[1] Но я хочу Вам писать, так как Ваши работы возбуждают мое самое большое любопытство и сочувствие. Только в Ваших (и, кажется, Томашевского,[2] кот⟨орого⟩ я, впрочем, мало знаю) работах мне видится истинный путь и метод историко-лит⟨ературного⟩ исследования. Особенно ценной мне кажется Ваша центральная мысль о целесообразности приемов.[3] Я надеюсь, Вы не посетуете на меня за попытку возобновить заочно наше давнее знакомство. Не так давно я говорил о Вас с Саломеей Николаевной Андреевой.[4] Но дело, конечно, не в этом, а в том, что Вы написали «Брюсова»[5] и «Задачи поэтики».[6] Сейчас я прочел (перечитал) Вашу статью в «Мысли» о «Мелодике» Эйхенбаума[7] (которой, к сожалению, не видел). Совершенно в общем принимая все Ваши положения и указания, я хочу по поводу ее поставить несколько вопросов. И первое — нет ли опасности слишком резко разделять три типа поэтики? Эта классификация, вообще говоря, мне всегда казалась наиболее естественной. Но нет ли соблазна слишком настаивать на однообразном характере творчества каждого поэта?

Я знаю, Вы в этом не виноваты, но я указываю только направление опасности. Так, Вы как будто склонны отказывать Пушкину в «мелодичности».[8] Совсем ли это так? Знаю очень хорошо, что «сладкозвучие», напр⟨имер⟩, «Бахчисарайского фонтана» ничего общего не имеет с напевностью в точном смысле. Но есть же цикл, т⟨ак⟩ ск⟨азать⟩, вьюжных стихотворений («Зимний веч⟨ер⟩», «Зимн⟨яя⟩ дор⟨ога⟩», «Бесы», «В поле чистом серебрится»), который несомненно и романтичен, и напевен. Конечно, и тут Пушкин не теряет классических качеств своего метонимического стиля, но основной двигатель — мелодии (в связи с этим циклом, хотя и вне его, стоит и «Утопленник»). Более сомнительно «Не пой, красавица»,

где (ex unque leonem[9]) два «напоминают» стоят уж очень по-пушкински, но кольцо совершенно напевное. Наконец (боюсь сказать, душа дрожит), «Я помню чудное мгновенье»; все-таки здесь все поэтическое содержание сводится к «нагнетанию» рифм первых 20 стихов и потом ⟨к⟩ внезапному разрешению в ст⟨ихах⟩ 22—24.[10]

С другой стороны, Фет не так уж чужд «говорности».[11] Иначе он не мог бы так органически пережить Chènier.[12] Конечно, он все время «стремится» к напевности («Муза» и т. д.). Но такое стихотворение, как «О долго буду я», конечно, классично. «Ивы и березы», конечно, тоже разговорны; особенно неромантично синтаксическое строение 3 и 4 строфы, где параллелизм двух придаточных предложений чисто логический, а не музыкальный. И позже он не утрачивает своей логичности — напр⟨имер⟩, «Не отнеси к холодному бесстрастью» — чисто диалектическое стихотворение. И все эти изумительные эпиграммы: «Алмаз», «Из тонких линий идеала», «Не смейся, не дивися мне». Вообще, мне кажется, Фет не совсем еще понят. Автор «Моих воспоминаний»[13] и тот Фет, кот⟨орого⟩ Григорьев изображает в «Лит⟨ературных⟩ и нр⟨авственных⟩ ск⟨итальчествах⟩»,[14] еще ничем не был слит, как следует, с автором «Печальной березы».

2) Вы настаиваете на существовании фетовской школы.[15] Существовала ли такая? Соловьев, конечно, был учеником или, скорей, пересмешником Фета, но А. Толстой? Какие реальные связи его с Фетом? Не говорю уже о Полонском. У А. Толстого «говорной» элемент очень силен (эпиграммы вроде «Злые, что спешат» и т. д.), на риторический Вы сами указали.[16] Мне кажется, что Фет стоит довольно одиноко до 80-х годов и потом появляется его школа, к которой принадлежит не только Вл. С⟨оловьев⟩, но и Ратгауз. А⟨лексей⟩ же Толстой, Полонский, Майков, Мей и пр. — все принадлежат к одной всеевропейской школе вместе с Теннисоном, Longfellow, Гейбелем,[17] о котором Фет сказал, «что он легко понятен, но что в нем понимать-то?» (ст⟨атья⟩ о Тютчеве, «Русское слово», 59 г.).[18] В Фете же и Тютчеве была классическая, логическая подкладка, кот⟨орая⟩ позволяет сближать их с Бодлером.

3) Мне кажется, что Вы немножко избегаете указывать на иностранные влияния. Не иностранным ли влиянием объясняется мелодика Фета? Конечно, не самый факт его мелодического характера, но его формы. Не играют ли тут какую-то роль Мюссе и Heine, и другие немцы; ведь Фет их хорошо знал, даже Мёрике.[19] Не объясняются ли тоже мужские рифмы Лермонтова прямо из Байрона, без посредства Жуковского? Героический-то куплет с мужскими рифмами несомненно взят прямо. Прямое влияние тоже спенсеровой[20] строфы на строфу «Сашки» и «Сказки для детей» (и «О⟨нрзб.⟩», где выдержан и конечный alexandrin[21]).

Что же касается до диподий в 4-ст⟨опном⟩ дактиле, анапесте и т. д., они существовали у нас независимо от англичан: наш XVIII в. рассматривал 4-ст⟨опный⟩ анапест (и пр.) как длинный стих, требующий цезуры (langvero), таков он у Державина, хотя и с характерными для Державина константами. У него же и вариации анакрусы («Ласточка»), и пропуски слогов in caesura[22] (кстати, Чуковский в своем «Некрасове» попал пальцем в небо, предполагая в стихе «Что твой Россини? Что твой Бетховен» оригинальность Некрасова,[23] то же у Державина: «Что ты заводишь песню военну» и у Баратынского — «Вижу ⟨нрзб.⟩ жребий благой»). Кажется, как раз Жуковский (не под влиянием ли Шиллера?) внес большую строгость в трехсложные размеры.

4) Кстати о трехсложных размерах. Ямб[24] действительно самый разговорный еще по одному соображению. В трехсложных размерах в среднем одно ударение приходится на 3,3 слога (или очень немногим меньше); в 4-ст⟨опном⟩ ямбе это отношение приблизительно 2,7—2,8. Я делал подсчеты частоты ударений в русской прозе и выходило около 2,6—2,7.

5) Не думаете ли Вы, что многое объясняется противоречием между бессознательной творческой природой поэта и его сознательной, теоретической или вообще

господствующей поэтикой? Это можно назвать, пользуясь словом Шпенглера, творческой псевдоморфозой.[25] Случай такой псевдоморфозы представляется мне в ранних элегиях Жуковского. Не являются ли они попытками выразить[26] песенное содержание в форме риторической? Жуковский был еще учеником риторов, таких как, напр⟨имер⟩, Young,[27] и еще не нашел адекватной формы для своей песенной души? Любопытно, что избавление пришло от Шиллера, который сам был ритором, но учеником песенников. То же самое я вижу в раннем творчестве А. Ахматовой. «Четки» полны противоречия между подчинением песенной поэтике символистов (ведь образец очень многих ее стих⟨отворений⟩ «Говорили короткие речи», Блок, 1 т., стр. 146)[28] с[29] ее собственной «ямбической» природой. Мне кажется, что совсем освободилась она от этого только в 15—16 году, и вообще в «дольниках» ее след псевдоморфозы. Самое типичное для этого конфликта, я думаю, «Хорони, хорони меня, ветер».

Но есть еще поэт, который одна сплошная псевдоморфоза — это Анненский. По природе он совершенно диалектичен, логичен, эпиграмматичен, но современная ему лирика налагала на него формы песенные. В этом столкновении, кажется, и очарование, и исключительность Анненского.

6) Есть еще один пункт, по которому никак не могу с вами[30] согласиться, — это различие вольного стиха и ритмической прозы. Различие принципиальное и заключается в понятии стиха как законченной и повторяющейся единицы. Разница между метрическим и вольным стихом та, что в вольном грамматический параллелизм становится *единственным* средством выделения стиха, что чрезвычайно обедняет стих и лишает его свободы метрического стиха. Так что вольный стих выходит самый невольный. Взгляд, сходный с моим, Вы найдете в весьма примечательной статье нынешнего Poet laureate[31] («London Mercury», Nov⟨ember⟩, 1922, если он получается в СПб.) под назв⟨анием⟩ «Humdrum and Harum-Scarum»[32] (он вообще большой затейник на заглавия: его книга об англ⟨ийском⟩ гекзаметре называется «Ibant Obscuri»).[33]

Ужасно разрослось это письмо.

Преподавая Русскую литературу в Londonском университете (King's College),[34] мне все приходится сталкиваться с изумительным убожеством и непроходимым кретинизмом всей нашей литературы о Русской литературе. Какое глубокое уныние охватывает по прочтении какой-нибудь книги Нестора Котляревского[35] или какого-нибудь Замятина.[36] До нынешнего времени я от этого воздерживался, теперь иногда приходится. Вы же и Ваши друзья делаете поистине великое культурное дело. По мне уж лучше кривлянья Виктора Шкловского,[37] чем ce sombre crétinisme de naguére.[38]

Есть у меня к Вам просьба: можете ли мне написать, где напечатаны были циклы Аполлона Григорьева «Борьба» и «Последний романтик».[39] В Brit⟨ish⟩ mus⟨eum⟩ его стихот⟨ворений⟩ (1915 г.)[40] нет, а все журналы[41] 1856—59 г., в кот⟨орых⟩ он писал, я перерыл бесплодно. Я был бы еще очень Вам благодарен, если бы Вы мне написали, можно ли как-нибудь достать из СПб. старые, дореволюционные книги?

Я особенно хочу «Стихотв⟨орения⟩» Григорьева (Блока),[42] «Камень» Мандельштама,[43] «Первую пристань» Комаровского (1913)[44] и уж совсем невероятные вещи — «Древнюю ночь вселенной» и другие книги Семена Боброва;[45] Собрание русских стихотворений (или как точное заглавие?) Жуковского,[46] «Мнемозину»,[47] «Сочинения» Кюхельбекера (кажется, есть только очень плохое изд⟨ание⟩ 1906 или 1907 г.).[48] Всего этого в Бр⟨итанском⟩ М⟨узее⟩ нет. Зато есть любопытные вещи — напр⟨имер⟩ «Сказки Ир⟨инея⟩ Мод⟨естовича⟩ Гомозейки»[49] с собственноручными поправками Одоевского. Простите за это длинное и бестолковое письмо. Но был бы очень счастлив получить от Вас ответ.

Преданный Вам Д. С[вятополк-]Мирский.

P. S. В Лондоне, конечно, нет никого, с кем можно было бы обсуждать мелодику русского стиха. Я поместил рецензии (очень поверхностные) о двух Ваших работах в «Slavonic Review».[50] Если прикажете, пришлю Вам.

У Чуковского (в «Некрасове как худ⟨ожнике⟩») еще большая bévue,[51] об окончаниях на -щий:[52] хоть бы кто-нибудь ему объяснил, что -щий окончание — старославянское и что народный язык вообще не знает причастий настоящего времени. А ведь на этом он строит все свое здание.[53]

[1] Святополк-Мирский учился в 1-й петербургской гимназии. Там же учился и Жирмунский (См.: *Лавров А. В.* В. М. Жирмунский в начале пути // Русское подвижничество / Сост. Т. Б. Князевская; отв. ред. Б. В. Раушенбах. М., 1996. С. 339). Дж. Смит называет Святополк-Мирского «школьным товарищем» Жирмунского, «одноклассником» (*Smith G. S.* D. S. Mirsky: A Russian-English Life. 1890—1939. Oxford, 2000. P. 57, 261). В 1907 году они печатались в одном сборнике «для учащихся русской средней школы» — «Звенья».

[2] Б. В. Томашевский (1890—1957) — литературовед.

[3] Жирмунский писал: «Мы научились смотреть на литературное произведение как на явление художественное, требующее особых приемов изучения, соответствующих его особенностям как эстетического предмета» (*Жирмунский В. М.* Мелодика стиха (по поводу книги Б. М. Эйхенбаума «Мелодика стиха». Пб., 1922) // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 56).

[4] С. Н. Андреева более известна как С. Н. Андроникова-Гальперн (1888—1982). Андреева — ее фамилия в первом браке. С нею Святополк-Мирский встречался и позднее (см.: *Цветаева М. И.* [Письмо С. Н. Андрониковой-Гальперн от 18 декабря 1926 года] // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1998. Т. 7. Кн. 1. С. 102).

[5] Речь идет о книге: *Жирмунский В. М.* Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования. Пб., 1922.

[6] Святополк-Мирский был знаком с этой работой, вероятно, по журналу (см.: *Жирмунский В. М.* Задачи поэтики // Начала. 1921. № 1. С. 51—81).

[7] См.: *Жирмунский В. М.* Мелодика стиха // Мысль. 1922. № 3. С. 109—139.

[8] Жирмунский писал: «...лирика Брюсова, представляя типичный пример поэзии напевной, эмоциональной, романтической, осуществляет поэтический принцип, противоположный классическому искусству Пушкина» (*Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 60).

[9] По когтям льва (*лат.*) — выражение, употребляемое в значении: выдающегося мастера можно узнать по малейшим черточкам.

[10] *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 352.

[11] Жирмунский писал о «разговорной фразеологии», о «говорном типе» (*Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 59, 69).

[12] А. М. Шенье (1762—1794) — французский поэт.

[13] См.: *Фет А.* Мои воспоминания. Ч. 1 и 2. М., 1890.

[14] Точнее, в «Листках из рукописи скитающегося софиста», примыкающих к «Моим литературным и нравственным скитальчествам» (см.: *Григорьев А.* Воспоминания / Изд. подг. Б. Ф. Егоров. Л., 1980. С. 93).

[15] См.: *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 62.

[16] Там же. С. 85—86.

[17] А. Теннисон (1809—1892) — английский поэт; Г. У. Лонгфелло (1807—1882) — американский поэт; Э. Гейбель (1815—1884) — немецкий поэт.

[18] См.: *Фет А.* О стихотворениях Ф. И. Тютчева // Русское слово. 1859. № 2. Отд. II. С. 63—84.

[19] Э. Ф. Мёрике (1804—1875) — немецкий поэт.

[20] Э. Спенсер (ок. 1552—1599) — английский поэт, создатель девятистрочной строфы в поэме «Королева фей». Размер первых 8 строк — пятистопный ямб, девятой строки — шестистопный ямб.

[21] Наименование александрийского стиха.

[22] Перед цезурой (*лат.*).

[23] См.: *Чуковский К. И.* Некрасов как художник. Пб., 1922. С. 42.

[24] Первоначально: они.

[25] «Историческими псевдоморфозами, — писал О. Шпенглер, — я называю случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания» (*Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М., 2003. С. 192).

[26] Первоначально: воплотить.

[27] Э. Юнг (1683—1765) — английский поэт.

[28] Ссылка на стихотворение «Говорили короткие речи...» дана по: *Блок А.* Собр. соч. Пб., 1922. Т. 1.

[29] Так в подлиннике. Правильно: и.

[30] Так в подлиннике: со строчной буквы.

[31] Речь идет об английском поэте Р. С. Бриджесе (1844—1930). Звание «поэт-лауреат» он получил в 1913 году.

[32] Полное название: «Humdrum and Harum-Scarum: A Lecture on Free Verse».

[33] См.: Ibant Obscuri. An Experiment in the Classical Hexameter, by Robert Bridges. Oxford, 1916.

[34] Подробнее об этом см.: *Казнина О. А.* Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997. С. 120—123; *Smith G. S.* D. S. Mirsky: A Russian—English Life. 1890—1939. P. 93—96.

[35] Н. А. Котляревский (1863—1925) — историк литературы, критик, автор книги «Очерки новейшей русской литературы. Поэзия гнева и скорби» (М., 1890).

[36] Возможно, имеется в виду Г. А. Замятин (1882—?) — историк, в начале 1920-х годов профессор Воронежского университета.

[37] В. Б. Шкловский (1893—1984) — литературный критик, теоретик формального метода. Можно предположить, что реплика о «кривляньях» была призвана подчеркнуть согласие Святополк-Мирского с суждением о методе Шкловского, который, по мысли Жирмунского, «формальный анализ» «считает единственной действующей силой исторического процесса», и одновременно с принципиальным тезисом Жирмунского: «...метод, применяемый им (Шкловским. — *В. П.*) для истории литературы — плодотворный и правильный, но едва ли этим может быть исключена иная постановка вопроса...» (*Жирмунский В.* Виктор Шкловский. «Розанов»; Виктор Шкловский. «„Тристрам Шенди" Стерна и теория романа» // Начала. 1921. № 1. С. 218, 219).

[38] Этот мрачный кретинизм недавнего прошлого (*фр.*).

[39] «Борьба» — цикл стихов (Сын отечества. 1857). «Последний романтик» — так, вероятно, Святополк-Мирский обозначил цикл стихов «Импровизация странствующего романтика» (Русский мир. 1860).

[40] Речь идет о книге: *Григорьев А.* Стихотворения. Собрал и примечаниями снабдил А. Блок. М., 1916.

[41] Далее зачеркнуто: там имеющиеся.

[42] См. прим. 40.

[43] Сборник стихов О. Э. Мандельштама «Камень» выходил дважды: 1913 и 1916.

[44] Речь идет о книге В. А. Комаровского «Первая пристань. Стихи» (СПб., 1913).

[45] Вероятно, имеется в виду поэт С. С. Бобров (1763 или 1765—1810). Точное название его книги: «Россы в буре, или Грозная ночь на японских водах» (СПб., 1807).

[46] См.: Стихотворения Василия Жуковского. Ч. 1—2. СПб., 1815—1816.

[47] «Мнемозина» — альманах.

[48] Точнее: *Кюхельбекер В. К.* Полное собрание стихотворений. М., 1908.

[49] Речь идет о книге: Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. СПб., 1833.

[50] В 1922 году Святополк-Мирский опубликовал рецензию на книгу Жирмунского «Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования. Пб., 1922» (см.: The Slavonic Review. 1922. V. 1. № 1. P. 266). Об этом и других отзывах коллеги Жирмунский помнил. Осенью 1961 года он просил библиографа И. В. Голенищеву-Кутузову найти их, чтобы включить в свою библиографию (см.: Архив РАН. Ф. 1001. Оп. 3. Ед. хр. 316. Л. 12 об.). 15 декабря 1964 года она сообщила Жирмунскому: «С Вашей библиографией все благополучно. У издательства не было никаких вопросов, никаких изменений в визированный Вами текст оно не вносило» (Там же. Л. 49 об.). В книгу включены три отзыва Святополк-Мирского из «The Slavonic Review» (см.: Виктор Максимович Жирмунский / Сост. Р. И. Кузьменко. Вступ. статья П. Н. Беркова. М., 1965).

[51] оплошность (*фр.*).

[52] См.: *Чуковский К. И.* Некрасов как художник. С. 36.

[53] Подробнее об отношениях Святополк-Мирского и Чуковского см.: *Перхин В. В.* Одиннадцать писем (1920—1937) и Автобиография (1936) Д. П. Святополк-Мирского // Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. С. 244—248.

К ИСТОРИИ «ЛЕВОГО ФЛАНГА» ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПОЭТОВ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © Т. М. ДВИНЯТИНОЙ И © А. В. КРУСАНОВА)

История поэтических группировок авангардного характера, существовавших в Ленинграде в 1920-е годы, остается до настоящего времени недостаточно изученной, несмотря на значительное внимание к творческому наследию ряда их участников, главным образом Д. Хармса и А. И. Введенского. Ряд работ об этих группировках,[1] предшествовавших широко известному ОБЭРИУ, дает лишь приблизительную картину их деятельности, не позволяющую подробно рассмотреть отдельные детали, связанные с их внутренней работой, публичными выступлениями и реакцией посетителей подобных поэтических вечеров. В то же время на основании имеющихся данных можно утверждать, что на первых порах роль организатора и идейного руководителя этих группировок взял на себя поэт А. В. Туфанов, уехавший из Петрограда летом 1918 года эпигоном символизма, а вернувшийся в конце сентября 1921 года уже убежденным сторонником поэтической зауми.[2] Сразу после возвращения он пытался утвердить себя в литературных кругах в образе вортициста (от англ. vortex — вихрь, водоворот), заимствовав этот термин из статьи З. Венгеровой.[3]

В основу своей «новой эстетики» Туфанов положил философию А. Бергсона. Из нее он взял идею *становления*, т. е. непрерывного изменения, текучести. Вслед за Бергсоном он отверг интеллект, способный оперировать лишь неподвижными состояниями, но не самим процессом становления, и поставил во главу угла инстинкт и интуицию, с помощью которых, согласно Бергсону, можно проникнуть внутрь самого процесса жизненного становления,[4] «в область ⟨...⟩ бесконечно продолжающегося творчества».[5] Себя и близких себе по духу футуристов Туфанов стал называть *становлянами*. У Бергсона он почерпнул и разграничение личности на статическое «внешнее Я» (для окружающего мира) и «Я» динамическое, «Самого себя» (выявляющееся, по мнению Туфанова, только в стихах). Путь к новому динамическому искусству Туфанов видел в изучении образцов народного творчества: «Чтобы создать новую поэзию движения в самом себе, надо идти „в народ" по-новому. У народа есть творчество, в котором поет не ум, а голый инстинкт, в котором образ вырождается в созвучие, импровизированное всегда под гармонику — „тальянку". Я имею в виду народные частушки».[6] «Народной песне присущ непосредственный лиризм, как пляске дикарей вокруг костров и радению хлыстов».[7] Собственно частушка была для Туфанова образцом той поэзии, в которой звучание стиха

---

[1] *Бахтерев И.* Когда мы были молодыми // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 66—84; *Никольская Т. Л.* Орден заумников // Russian Literature. 1987. XXII-I. P. 85—96 (авторство статьи ошибочно приписано С. Сигову); *Жаккар Ж.-Ф., Устинов А.* Заумник Даниил Хармс: начало пути // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd 27. S. 159—183; *Туфанов А. В.* Заумный орден // Туфанов А. Ушкуйники. Berkeley, 1991. С. 176—180; *Мальский И.* Разгром ОБЭРИУ: материалы следственного дела // Октябрь. 1992. № 11. С. 168, 170—171, 189; Дневниковые записи Даниила Хармса / Публ. А. Устинова и А. Кобринского // Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11. С. 440—441, 512—513, 534—535; *Введенский А. И.* Полн. собр. произведений: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 137—141, 227, 229.

[2] Подробнее о переходе А. В. Туфанова к зауми см.: *Крусанов А.* А. В. Туфанов: архангельский период (1918—1919 гг.) // Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С. 92—119.

[3] *Венгерова З.* Английские футуристы // Стрелец. Пг., 1915. Сб. 1. С. 93.

[4] *Бергсон А.* Творческая эволюция. М., 1914. С. 158—159.

[5] Там же. С. 160.

[6] *Туфанов А.* Метрика, ритмика и инструментализация народных частушек // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. 1919. № 1/2. С. 14.

[7] *Туфанов А.* Ритмика и метрика частушек при напевном строе // Красный журнал для всех. 1923. № 7—8. С. 78.

превалировало над его смыслом, и звук становился главным содержанием. Теоретическое обоснование такой поэзии он нашел в «Сборниках по теории поэтического языка», а смысл согласных звуков частично перенял у Хлебникова и частично развил самостоятельно. Таким образом он пришел к «звуковой поэзии», которую также называл «фонической музыкой». При этом, стремясь приблизить запись «звуковой поэзии» к произношению, он стал использовать психофонетическую транскрипцию, предложенную профессором Петербургского университета И. А. Бодуэном де Куртенэ, согласно которой запись текста осуществлялась с помощью латинского алфавита. Введение подобной транскрипции обсуждалось в процессе проведения реформы правописания (1918), и А. Туфанов был в числе сторонников именно психофонетического письма.[8] Нетрудно видеть, что все элементы «новой эстетики» были заимствованы Туфановым из различных источников, и его личная заслуга состояла лишь в конструировании из этих разнородных элементов более или менее убедительного теоретического контекста для своей поэтической зауми.

В Петрограде—Ленинграде А. Туфанов некоторое время заведовал школой и преподавал русский язык (1922), а затем перешел на работу корректора, служил в различных издательствах (1923—1931). После смерти В. Хлебникова (28 июня 1922 года) он сначала пытался организовать «Кружок памяти поэта Хлебникова» (июль 1922 года), выступал на вечере «Памяти Велимира Хлебникова» (18 сентября 1922 года), а затем объявил себя «Велемиром II в Государстве Времени» и «Председателем Земного Шара Зауми». Стремление продолжить дело Хлебникова было реализовано Туфановым в работе по «воскрешению пространственно-образных функций согласных фонем», которая частично была опубликована в книге «К зауми» (декабрь 1923 года).

Осенью 1923 года при ГИНХУКе была предпринята попытка создать Фонологический отдел. В число его научных сотрудников был включен и Туфанов, который сделал там доклад о своей книге «К зауми» (15 февраля 1924 года).[9] В черновом варианте этого доклада, в частности, говорилось следующее: «Я скажу еще два слова о том, что уже начали писать обо мне в Берлинской газ⟨ете⟩ „Накануне",[10] напр⟨имер⟩, появилась рецензия, в которой автор пишет, что ему „все-таки непонятно" и что он не знает: хороши или плохи мои заумные стихи. Но об этом я до рождения еще своей книги сам написал в Петрооблит, что в стихах у меня смысла нет и что нечего цензору и читать их. ⟨...⟩ Другой критик-фельетонист в „Зорях"[11] предложил мои стихи перевести на русский яз⟨ык⟩ и прибавил, что для него латынь вообще была заумью. А третий в „Жизни искусства" с подписью в виде ребуса эеау+хγпбм увидел *фарс* в моих исканиях и напомнил мне о дамах в кринолинах, которые при первой постановке „Ревизора" Гоголя определили его тоже „фарсой". Моя книга вышла в маске одиночества. Издательства не решились поставить на ней своей марки, газеты и журналы не обмолвились ни одною строкою об ее выходе, а книгопродавцы говорят, что название ее „К зауми" их уму и сердцу ничего не говорит. На моей книге есть еще другая маска — маска ожесточения, которая все время будет наталкиваться на рожи ненависти, зависти и слабоумия».[12] Несмотря на начавшуюся деятельность, Фонологический отдел не был утвержден

[8] Подробнее об этом см.: *Томашевский В.* К реформе правописания // Жизнь для всех. 1918. № 4—6. Апрель—Июнь. С. 443—448; *Туфанов А.* О новом правописании // Вестник Временного правительства Северной области (Архангельск). 1919. 30 июля. № 165. С. 2 (републ.: Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С. 118—119).

[9] Тезисы доклада см.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 244. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 85.

[10] Речь идет о заметке: *В. А.* [Рец.] Ал. Туфанов «К зауми». Изд. автора. Петербург, 1923 // Накануне (Берлин). 1924. 20 янв. № 17 (534). С. 7 (Приложение «Литературная неделя»).

[11] Имеется в виду статья: *Жуков П.* О поэзии 1923 года // Зори. 1924. 13 янв. № 2. С. 10—11.

[12] *Туфанов А. В.* Вступительное слово о зауми (1924) // ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 811. Л. 11—12.

Управлением научных учреждений, и его работа прекратилась. Одновременно Туфанов контактировал с сотрудниками Отдела органической культуры ГИНХУКа и использовал их теоретические выкладки («теория расширенного смотрения») для обоснования собственных работ в области зауми.

С образованием в апреле 1924 года Ленинградского отделения Всероссийского Союза поэтов А. Туфанов принимал участие в его деятельности, делал доклады и читал стихи на устраиваемых им вечерах; активно участвовал в работе созданной при Всероссийском Союзе поэтов мастерской по изучению поэтики. Так, например, он выступал на поэтической «пятнице» Союза поэтов (14 ноября 1924 года; Дом искусств, пр. 25 Октября, д. 86) вместе с другими ленинградскими поэтами, а через три месяца там же прошел вечер «Мастерской по изучению поэтики» (20 февраля 1925 года), на котором И. Афанасьев-Соловьев прочел доклад «Хлебников и Туфанов», а сам Туфанов выступил с докладом и стихами.[13] Очевидно, имея в виду именно этот вечер, он писал через некоторое время: «Орден заумников в Ленинграде возник после моего выступления в Ленингр. Отд. Союза Поэтов в марте 1925 г. Мною была прочитана первая часть (теперь законченной) поэмы „Домой в Заволочье", и из собравшихся выделилась группа пожелавших объединиться. ⟨...⟩ В ядро группы входят трое: я, Хармс и Вигилянский;[14] Хармс и Вигилянский — ученики, постоянно работающие в моей студии. Есть еще 6 человек, имеющих уклон к Зауми и занимающихся предварительной подготовкой. Затем в Ленинграде есть еще Терентьев, ученик Крученых, сейчас отошедший от нашей работы, работающий в театре и имеющий ученика Введенского (на подготовительной стадии). Терентьев считает меня „единственным теоретиком в Зауми", таким образом, в Ленинграде заумников — 11 человек».[15] Следует отметить, что Туфанову в это время было 48 лет, Хармсу — 19, а Введенскому — 20, и эта существенная разница в возрасте, наряду с позицией крайне левого ленинградского поэта, позволяла Туфанову играть роль мэтра в созданной им группе. Следует также отметить, что Введенский не входил в «Орден заумников (D.S.O.)», а, будучи в это время уже членом Союза поэтов, сохранял обособленную позицию. «Орден заумников» имел теоретическую декларацию, написанную Туфановым, которая, по его свидетельству, была «принята всеми членами»:[16]

«А. Организация материала искусства при художественном развертывании в пространственной и временной последовательности должна протекать при „расширенном" восприятии и при установке на прошлое, непрерывно втекающее в настоящее.

Б. Заумное творчество беспредметно в том смысле, что образы не имеют обычного своего рельефа и очертаний, а при новых способах восприятия, „беспредметность" наша — вполне реальная образность с натуры, воспроизведенной при текучем очертании.

---

[13] ⟨Рукописная афиша⟩ // Там же. Ед. хр. 1690. Л. 67.

[14] Вигилянский Евгений Иванович (1903—1942?) родился в Смоленске в дворянской семье, отец — офицер жандармерии; окончил (8 февраля 1919 года) 4 класса 13-й (впоследствии 215-й) советской единой трудовой школы, работал два с половиной года конторщиком в кооперации, полгода служил в Красной Армии (конец 1920-го—сентябрь 1921 года) в батальоне связи. С 25 января 1921 года — член РКСМ, инструктор школьных коллективов Василеостровского района РКСМ, организатор Курмышского уездкомха Симбирской губернии, завполитпросвет Олонецкого губкома РКСМ. С января 1923 года учился на Электрокурсах, 21 сентября 1923 года зачислен слушателем ЛГУ по факультету общественных наук. В мае 1924 года в результате чистки отчислен из ЛГУ и исключен из РКСМ за происхождение. Проживал по адресу: 6-я линия В. О., д. 41, кв. 9 (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 7. Ед. хр. 422). В октябре 1926 года поступил на Театральное отделение Высших государственных курсов искусствоведения при ГИИИ (ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Ед. хр. 2352. Л. 52 об.). Впоследствии работал преподавателем в Детскосельской школе.

[15] *Туфанов А. В.* Заумный орден. С. 176.

[16] Там же. С. 177.

В. Заумь воскрешает функции согласных фонем. Каждая из фонем имеет функции: вызывать определенное ощущение движения. Согласный звук — изначальный образ-ощущение, с установкой на 360°. Двадцать законов, установленных лингвистическим путем, обнародованы в книге А. Туфанова „К Зауми".

Г. Слово — образ-ярлык на отношения между однородными вещами в движении, с установкой на основную фонему и на вещи под углом в 0°.

Д. Фраза — образ-средство усиления впечатлений и устранения обычных соотношений между разнородными вещами, с установкой на основные морфемы и на вещи под углом в 90—180°.

Е. Время — качественное множество.

Ж. Фонемы, морфемы и фразы брать в самой стихии языка при условии соответствия органов артикуляции. Для Ленинградского Ордена обязателен Праславянский язык, как основа стихийности.

З. Все ненаучно-поставленные опыты над исследованием законов речи отменяются. Опыт должен быть органически вытекающим из природы корневой семьи.

И. Заумь — 7-е искусство — развертывания красоты во временной и пространственной последовательности, искусство, в котором нет места уму, с его пространственным восприятием времени. Непонятность чужой речи еще не делает ее заумной. Заумь — искусство воскрешения мертвых языков (латинск., греческ., древнееврейского и пр.) и культуры живых на национальной основе.

К. Орден объединяет всех становлян, т. е. тех, кто становится, а не тех, кто был и будет. (Не Пушкиных и не будетлян)».[17]

«Орден заумников» собирался по понедельникам; его работа, согласно Туфанову, «носит студийный характер. Ученики зачитывают свои произведения. Я разбираю их с формально-звуковой стороны. Даю к следующему „понедельнику" темы для упражнения: 1) с установкой на абстрактные композиции, 2) с установкой на праславянский и древнерусский язык и 3) — на английские, немецкие и пр. морфемы. В студии ведутся беседы о новых течениях — в поэзии и живописи (экспрессионизм в Германии и пр.). Ученики делают доклады по новому искусству».[18] Собрания проходили на квартире Туфанова (Нижегородская ул., д. 12, кв. 12), однако регулярность их вызывает сомнения, поскольку в записных книжках Хармса о них упоминается всего один раз: «Вторник ⟨17 марта 1925⟩ 8 ч. у Туфанова. D.S.O.».[19] Во всяком случае, несколько таких собраний наверняка состоялись весной 1925 года, и неизвестно, возобновились ли они осенью после летнего перерыва. В середине мая 1925 года Туфанов пытался устроить вечер «Ордена заумников» в Союзе писателей по следующей программе: «1. Манифест о Зауми. Произнесет Александр Туфанов. 2. Первая песнь новой поэмы „Домой — в Заволочье!" (А. Туфанов) — произнесена будет всеми членами Ордена: Туфановым, Тинвин, Сайленс и Рууфсонг. 3. Стихи учеников — Тинвин, Сайленс и Рууфсонг. 4. Обстановочная часть при содействии „зорведовца" — худ⟨ожника⟩ Эндера».[20] Пока остается неясным, кто скрывался под псевдонимами Тинвин, Сайленс и Рууфсонг,[21] од-

---

[17] Там же. С. 177—178. Несколько отличающийся вариант этой декларации был опубликован в книге А. В. Туфанова «Ушкуйники» (Л., 1927).

[18] Там же. С. 178.

[19] *Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. СПб., 2002. Кн. 1. С. 17.

[20] Материалы по устройству закрытых литературных собраний // ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1. Ед. хр. 334. Л. 17. Источник указан Т. А. Кукушкиной. Публикаторы не располагают сведениями о том, состоялся ли данный вечер «Ордена заумников».

[21] В заумных стихах Туфанова встречаются аналогичные сочетания звуков: тинвии, сайленс, рууфсонг (*Туфанов А. В.* К зауми. Пг., 1924. С. 35—36), что позволяет предположить его авторство в выборе псевдонимов для своих учеников. В записных книжках Хармса упоминается Тинвий (Маккалеев) Иван Федорович (*Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Днев-

нако обращает на себя внимание отсутствие Хармса в программе этого запланированного вечера. По-видимому, это было связано с тем, что уже в марте—апреле 1925 года Хармс познакомился с А. И. Введенским, Я. С. Друскиным и Л. С. Липавским и, вероятно, предпочитал их общество занятиям у Туфанова. Это знакомство привело к сближению Введенского с «Орденом заумников» и участию в совместных выступлениях с его членами. Достоверно известно об одном вечере ленинградских заумников (17 октября 1925 года; помещение ЛО ВСП, Фонтанка, д. 50), информационная заметка о котором, судя по всему, была написана Туфановым:

«Было сделано сообщение об „Ордене Заумников DSO" и оглашен „Манифест" Александром Туфановым. Доклад „Турнир Заумников" делал Иви ⟨Е. И. Вигилянский⟩, а вступительное слово об Искусстве говорил Тинвин.

Согласно теории расширенного восприятия мира и непространственного восприятия времени, А. Туфановым была предложена Заумная классификация поэтов по кругу. Одни поэты под углом 1—40° исправляют мир, другие под углом 90—179° — украшают. Только Заумники и Экспрессионисты при восприятии под углом 180—360°, искажая преображая — революционны. Вот почему программа вечера была исполнена затем под углом 180°: хоровое произнесение отрывка из поэмы Туфанова ⟨«Домой — в Заволочье!»⟩, „Михаилы" Хармса, а затем: Иви, Туфанов и Хармс дали образцы абстрактной зауми (под 360°).

Кроме того, выступил с прозой А. Введенский, именуя себя представителем „Авто-ритета бессмыслицы". Атмосфера борьбы, созданная заумниками, большое число участников вечера, приглашение председателем заумников на следующий вечер и спрос на заумную литературу — все это говорит о том, что вечер сошел удачно.

Для диспута аудитория была не подготовлена, и выступления носили курьезный характер, что дало повод А. Туфанову в последнем слове говорить о „речевом тике" у ораторов и неубедительных пророчествах „пифий"».[22]

Это успешное выступление членов «Ордена заумников» совместно с другими ленинградскими поэтами левого направления послужило толчком к созданию нового объединения, отличительными особенностями которого были отсутствие обязательной для его членов общей программы и планируемый статус самостоятельной секции Союза поэтов. На первом собрании новой организации (3 ноября 1925 года) Туфанов предлагал назвать ее объединением индивидуалистов «Самовщина», однако с этим названием не согласились новые члены группы Б. Черный[23] и А. Введенский. В результате дискуссии на последующих собраниях было принято название «Объединение групп „Левого фланга"», чем подчеркивался не унитарный, а федеративный характер организации. В новое объединение сначала вошли

ник. Кн. 1. С. 113, 277). Не исключено, что Тинвин (у Туфанова) и Тинвий (у Хармса) — одно и то же лицо. В письмах Туфанова жене, М. В. Туфановой, 1920-х годов упоминается Иван Федорович Маккавеев.

[22] *Хармс Д.* Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы, дневниковые записи / Сост. и комм. А. Кобринского и А. Устинова. Предисл. А. Кобринского // Глагол. 1991. № 4. С. 195; *Введенский А. И.* Полн. собр. произведений: В 2 т. Т. 2. С. 137—138.

[23] Черный Борис Константинович родился 21 июня 1904 года в г. Карс, в 1914—1921 годах учился в Тифлисской 4-й мужской гимназии. В 1921 году после прихода в Грузию Красной Армии поступил добровольцем в Управление броневых частей. В июне 1922 года приехал в Москву и был командирован в Институт Народного хозяйства Политуправления МВО. В 1923 году перешел на 1-й курс в Ломоносовский институт, в сентябре 1924 года переведен Главпрофобром в Высший литературно-художественный институт им. Брюсова (ВЛХИ). Судя по академическому листу, на первом курсе ВЛХИ он сдал лишь 2 зачета из 14-ти и был оставлен на второй год. С 1922 по 1925 год был секретарем Московского цеха поэтов (МЦП). С сентября 1925 по июнь 1926 года состоял студентом ЛГУ (факультет языкознания и материальной культуры). В сентябре 1926 года в порядке перевода был зачислен в МГУ (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 9. Ед. хр. 1318). Снова примкнул к МЦП.

А. Введенский (авто-ритет бессмыслицы), И. Марков[24] (экспрессионист-речевок), К. Соловьев,[25] А. Туфанов (заумник) и Д. Хармс (взирь заумь). Впоследствии были также приняты Б. Черный (конструктивист), Г. Богаевский[26] и Е. Вигилянский (экспрессионист). На первом собрании присутствовал также Б. А. Западалов[27] (экспрессионист), однако в работе объединения участия он не принимал и больше на собраниях не присутствовал.

Вопрос о вступлении всей организацией в Союз поэтов был поднят на шестом собрании (9 декабря 1925 года), на котором было решено составить заявление и сдать его 11 декабря в Правление ЛО ВСП. С этой целью Туфановым, Хармсом и

---

[24] Марков Игорь Иосифович (Осипович) (1900—1982?) — инженер, «поэт-речевок». Родился в Эстляндской губернии, сын железнодорожника. Учился в г. Великие Луки, среднее образование завершил в Пскове (1918). Участвовал в революционной работе, был послан разведчиком от Ревкома в оккупированную немцами область Лифляндской и Эстляндской губерний для организации подпольной работы и связи. В сентябре 1918 года назначен инструктором внешкольного образования псковского Губоно и в Комиссию охраны памятников старины и искусства. В 1919 году командирован в Красную Армию по проведению агиткультработы и оставлен при уездном военкомате г. Великие Луки. В июле 1919 года переведен в губернский военком политпросвета, а затем назначен особоуполномоченным в 19-й батальон войск ВЧК. Участвовал в защите Пскова от белых на Изборском фронте. По возвращении работал заведующим культотделом псковского Губполитпросвета. В 1920 году был назначен в Комиссию охраны памятников старины, сотрудничал в газете «Псковский набат», исполнял должность начальника политпросвета г. Великие Луки. В 1920—1924 годах учился в петроградском Горном институте, в годы учебы проходил практику на заводах, служил механиком пожарной части, ездил в экспедицию от Геологического комитета, занимался этнографией. Был исключен из числа студентов как не подавший контрольной ведомости для учета активности. В 1924—1926 годах работал историографом в исторических комнатах Эрмитажа (см.: *Марков И. О.* Автобиография // РНБ. Ф. 150. Ед. хр. 375). В декабре 1926 года зачислен студентом геологического отделения физико-математического факультета ЛГУ (2-й курс) с переводом зачетов по Горному институту. В сентябре 1930 года, будучи студентом 4-го курса ЛГУ, зачислен в Ленинградский Геологоразведочный институт. 27 марта 1931 года исключен из числа студентов за непосещение занятий (Личное дело // Архив СПГГИ (ТУ). Арх. № 3720). Впоследствии гидрогеолог, сотрудник Государственного геологического института. В 1920—1930-е годы проживал по адресу: Дворцовая наб., д. 32, кв. 4.

[25] Соловьев Константин Владимирович (1902—?) — поэт-любитель. Родился в Минске в семье инженера. В мае 1919 года окончил Единую трудовую школу (бывшая 6-я гимназия) в Петрограде. В 1920 году поступил в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (мелиоративная секция). После получения среднего образования 21 июля 1921 года был зачислен в Петроградский университет (агрономическое отделение физико-математического факультета), однако к занятиям не приступал и в сентябре 1921 года поступил в петроградский Горный институт на геологоразведочный факультет. С сентября 1922 года также состоял вольнослушателем экономического отделения факультета общественных наук Петроградского университета. В июне—сентябре 1924 года проходил летнюю практику на Бакальском руднике (Челябинская обл.). В 1927 году параллельно с учебой служил в Северо-Западной палате мер и весов. В январе 1928 года постановлением Правления исключен из числа студентов Горного института. Для завершения образования подал прошение о зачислении в экстернат ЛГИ и был допущен со сроком окончания института весной 1928 года, однако диплом так и не защитил (Личное дело // Архив СПГГИ (ТУ). Арх. № 2270). Впоследствии (в 1928 году) учился в Институте сельского хозяйства и лесоводства, переведенном в 1914 году из г. Новая Александрия Люблинской губернии в Харьков (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 5. Ед. хр. 3997).

[26] Богаевский Георгий Леонидович — поэт-любитель.

[27] Западалов Борис Алексеевич (1898—1941) — поэт, прозаик. Дворянин, сын священника. Окончил 1-ю классическую гимназию, поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, одновременно посещал лекции на юридическом факультете. В 1917 году участвовал в пропагандистской работе на стороне эсеров. В годы Гражданской войны служил в Политотделе Петрукрепрайона. После войны закончил образование в университете. Посещал собрания Союза писателей (Фонтанка, д. 50). В 1924—1925 годах — член Вольной философской ассоциации (*Иванова Е. В.* Вольная философская ассоциация. Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 61; *Белоус В.* Вольфила [Петроградская вольная философская ассоциация]. 1919—1924. Книга вторая: Хроника. Портреты. М., 2005. С. 406). После 1932 года некоторое время бродяжничал. Подробнее о нем см.: *Михайлов А. И.* 1) Один из отверженных отошедшей эпохи. Борис Западалов. Стихи // Мѣра. 1995. № 1. С. 64—79; 2) О Борисе Западалове // Новый журнал. 1996. № 3. С. 109.

Марковым были составлены соответствующее заявление и докладная записка, о чем остальных членов организации проинформировали на следующем собрании (16 декабря). Вторично заявление в Союз поэтов было заслушано 23 декабря. Однако никаких последствий ни это заявление, ни докладная записка не имели, и в архиве ЛО ВСП не осталось никаких сведений о том, что секция «Левого фланга» была там когда-либо формально организована.[28]

Собрания группы проходили еженедельно на квартире И. И. Маркова (Дворцовая наб., д. 32, кв. 4), как правило, по средам (исключение составляли три заседания, одно из которых состоялось в четверг, а два — во вторник). Согласно протоколам, основными вопросами, которые затрагивались на этих собраниях, были организация поэтических выступлений и утверждение их программ, обсуждение стихов и издательских возможностей, а также (ввиду регулярного пропуска собраний кем-либо из членов объединения) постоянные призывы к внутригрупповой дисциплине и обязательной явке. Как показывают протоколы, среди членов объединения не было внутреннего согласия; в частности, зафиксированы высказывания о несерьезном отношении к собраниям, за которое в качестве дисциплинарной меры было решено наказывать временным исключением из организации. Различные выступления членов группы, проходившие в это время, носили характер личной инициативы и не были напрямую связаны с деятельностью объединения. Несмотря на разговоры и планы, в устройстве коллективных выступлений не было достигнуто серьезных результатов. Состоялось лишь одно общее выступление (15 декабря 1925 года; Институт истории искусств); планировалось также другое коллективное выступление (31 января 1926 года; Центральный дом работников просвещения), однако сведения о том, состоялось ли оно, отсутствуют.

К началу 1926 года между членами группы выявился ряд существенных разногласий, прежде всего по вопросу о принятии в организацию новых членов и составлении альманаха. В частности, А. Туфанов и И. Марков противились принятию в члены объединения Г. Богаевского, на котором настаивали Д. Хармс и А. Введенский. Кроме того, Туфанов и Марков, входившие в редакционную комиссию альманаха, отклонили ряд предложенных к опубликованию произведений Введенского и Богаевского, что, по-видимому, послужило причиной ссоры Введенского с Туфановым.[29] Эти и другие действия Туфанова были интерпретированы Хармсом и Введенским как отход от федеративного устройства «Левого фланга» и возврат к унитарным порядкам «Ордена заумников». В связи с этим Хармс отметил в записной книжке (5 января 1926 года): «Мы строим свободную организацию и сами упираемся на старую».[30] В сложившейся ситуации Введенский, Хармс и Вигилянский известили Туфанова о выходе из объединения (27 января 1926 года), что привело к прекращению собраний. С точки зрения коллективной деятельности, «Левый фланг» перестал существовать как поэтическое объединение. Однако Туфанов в ряде случаев в течение 1926 года продолжал номинально использовать марку «Левого фланга», по-видимому считая себя единственным его членом.

Распад «Левого фланга» вовсе не предполагал прекращения взаимного общения его бывших участников. В записных книжках Хармса неоднократно зафиксированы случаи встреч и совместного времяпрепровождения с Марковым и Туфановым. Прекратились лишь коллективные выступления, уступившие место индивидуальным. Кроме того, предпринимались попытки придать коллективной работе

---

[28] За эту информацию публикаторы благодарны Т. А. Кукушкиной. Подобное положение дел заставляет считать гриф «Левый Фланг Л.о. ВСП», помещенный на обложке книги А. В. Туфанова «Ушкуйники» (Л., 1927), не более чем поэтической вольностью автора, возведшего искажение реальности в ранг творческого принципа.

[29] *Бахтерев И.* Когда мы были молодыми. С. 67.

[30] *Хармс Д.* Горло бредит бритвою. С. 80; Дневниковые записи Даниила Хармса. С. 440; *Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. Кн. 2. С. 165.

иную форму. Так, в апреле 1926 года Туфанов пытался организовать при ГИНХУКе фоническую лабораторию с целью «вести лабораторную работу в области заумного языка и выступать со стихами, рассказами и докладами»;[31] в состав этой лаборатории предполагалось включить А. Туфанова, И. Маркова, Д. Хармса и А. Введенского. Но эта попытка легализовать групповую деятельность под вывеской научного учреждения успеха не имела. В индивидуальном порядке, а отнюдь не как обособленная группа, Введенский, Хармс и Туфанов участвовали в сборнике Союза поэтов «Собрание стихотворений» (Л., 1926). Между тем состоялось знакомство Введенского и Хармса с Н. Заболоцким и сближение их с театральным коллективом «Радикс» (И. В. Бахтерев, Г. Н. Кацман, Б. М. Левин, С. Л. Цимбал), стремившимся к использованию различных видов искусства. Совместная работа Хармса и Введенского с «Радиксом» осенью 1926 года над неосуществленной постановкой пьесы «Моя мама вся в часах» привела к созданию нового «Левого фланга», включавшего кроме поэтов также художников и деятелей театра. По свидетельству Бахтерева, в период создания новой группы «главное, что беспокоило Заболоцкого (оказалось, и Введенского), — ограничение творческой свободы, диктат индивидуальным вкусам, иные давления, связанные с дисциплиной внутри содружества, безоговорочным подчинением пунктам декларации. Вот почему Заболоцкий сразу оговорился и все согласились: имейте в виду, мы не школа, не новый „изм", не точно обусловленное направление. ⟨...⟩ Эту особенность Заболоцкий предложил возвести в принцип. Участников содружества будет сближать не схожесть, а различие, непохожесть. У каждого свое видение мира, мироощущение, свой арсенал приемов выразительности. И все же должны быть принципы, идеи, одинаково близкие для всех. Поэтической зыбкости, эфемерности, иносказательности каждый из нас противопоставляет конкретность, определенность, вещественность, то, что Хармс назвал „искусством как шкап". Каждый должен остерегаться надвигающейся опасности излишнего профессионализма, который становится источником штампов и нивелировки».[32] В записной книжке Хармса появилась запись (декабрь 1926 года): «Предполагаемые члены будущего „Фланга Левых" А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий, И. В. Бахтерев, Д. И. Хармс, К. С. Малевич, Н. [В. В.?] Димитриев, С. Л. Цимбал».[33] В числе участников также предполагались «[Н. Н.] Синельников, А. В. Туфанов, Е. И. Вигилянский, Матвеев из Универс⟨и⟩т⟨ета⟩, Г. Н. Матвеев из Владивостока»,[34] однако при обсуждении кандидатур против привлечения Туфанова высказались Заболоцкий и Введенский,[35] поэтому деятельность нового «Левого фланга» проходила без участия Туфанова и других, названных в этом списке поэтов. Само старое название было принято за неимением лучшего, но Хармс размышлял над тем, чтобы составить «перечень названий для „Фланга Левых"».[36] В театрализованных вечерах нового объединения принимали участие поэты, жонглеры, акробаты, балерины. Хармс отмечал в записных книжках: «Наше выступление в Союзе поэтов» (12 ноября 1926 года), «хочу прочесть: „Комедию города Петербурга 1 ч.", „Китобой", „Казачью смерть" и на бис „Историю одной войны". Шуре советую прочесть: „Воспитание души", Отрывки из „Русского чтения". На бис прочесть „Буря и дядя". 2-ая вариация: 1. „Вьется речка долгополая". 2. „Сиси

---

[31] *Демосфенова Г.* Из материалов Фонологического отдела ГИНХУКа // Терентьевский сборник. М., 1996. [Вып. 1]. С. 113.

[32] *Бахтерев И.* Когда мы были молодыми. С. 75.

[33] *Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. Кн. 1. С. 116.

[34] Там же. По воспоминаниям И. В. Бахтерева, существовал другой список кандидатов в это объединение, включавший К. Олимпова, К. К. Вагинова, Ю. П. Варшавского, Н. Кропачева, Н. А. Тювелева, Г. С. Гора, Б. М. Левина (*Бахтерев И.* Когда мы были молодыми. С. 76—77). Однако никто из перечисленных кандидатов в вечерах «Левого фланга» не участвовал.

[35] *Бахтерев И.* Когда мы были молодыми. С. 76.

[36] *Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. Кн. 1. С. 116.

Пикалка". 3. „Воспитание души". На бис „Буря и Дядя"»;[37] «Сию пятницу 12-го ноября хочу обставить боевыми положениями, из коих суть следующие. После нашей читки выйдет Игорь Бахтерев и скажет бессмысленную речь, приводя цитаты из неизвестных поэтов и т. д. Потом выйдет Цимбал и также произнесет речь, но с марксистским уклоном. В этой речи он будет защищать нас, оправдывая наши произведения в глазах различной сволочи. Наконец, две неизвестные личности, взявшись за руки, подойдут к столу и заявят: По поводу прочитанного мы не многое сказать сможем, но мы споем. И они что-нибудь споют. Последним выйдет Гага Кацман и расскажет кое-что из жизни святых. Это будет хорошо»;[38] «Вечер наш в Пищевкусе» (24 ноября 1926 года); «Подано заявление 9 декаб⟨ря⟩ в Кружок Друзей камерной музыки о разрешении литературно-левого утренника. Договор с Домом Искусств об устройстве вечеров Левого Фланга»;[39] «Выступление Левого Фланга Поэтов в Кружке Друзей Камерной музыки 9-го января 1927 года. Собой я недоволен»;[40] «Читал прошлую пятницу, т. е. 18 марта ⟨1927⟩, в Доме Печати на собрании Лапп'а. Прочел много»;[41] «26 марта ⟨1927⟩ в И. И. И. вечер Левого Фланга (Цимбал). 28 марта — в Лит. Ассоциации И.И.И. вечер Л⟨евого⟩ Ф⟨ланга⟩ (⟨З. И.⟩ Бородина)».[42] Наконец, в конце марта 1927 года объединению было найдено новое название, о чем Хармс записал: «„Академия левых классиков" так назвались мы с пятницы 25 марта 1927 г. Название пришло почти одновременно Гаге ⟨Г. Н. Кацман⟩, Игорю ⟨И. В. Бахтерев⟩ и мне. ⟨...⟩ Все согласны. Кроме Шурки ⟨А. И. Введенский⟩. Этот скептик проплеванный ни на какое название, кроме чинаря, не гож. Долгожданное решение этой задачи, наконец, пришло. Надо полагать, решение блестящее».[43] Под новым названием группа продолжала устраивать театрализованные вечера, а также планировала издать сборник «Радикс», неосуществленный из-за финансовых проблем. Однако и под названием «Академия левых классиков» группа просуществовала недолго, и уже осенью 1927 года, в связи с предложением войти в состав секций Дома печати, была переименована в Объединение реального искусства (ОБЭРИУ).

* * *

В настоящей публикации приводятся документы из архива А. В. Туфанова (ИРЛИ. Ф. 749), характеризующие возникновение и деятельность объединенных групп «Левого фланга» и существенным образом дополняющие и детализирующие наши знания о событиях с ноября 1925 по январь 1926 года, происходивших среди крайне левых ленинградских поэтов. Эти документы представляют собой:

I. Протоколы заседаний «Левого фланга».

II. Синхронные записи А. В. Туфанова на заседаниях «Левого фланга», послужившие затем материалом для составления протоколов этих заседаний.

III. Протоколы заседаний редакционной комиссии.

IV и V. Материалы «Левого фланга», связанные с попыткой оформить его отдельной секцией ЛО ВСП.

VI и VII. Уставные документы, выработанные в процессе создания организации.

VIII. Поэтические декларации некоторых участников объединения.

IX. Речь А. В. Туфанова «О левом фланге в поэзии», предназначенная для произнесения на публичных выступлениях членов «Левого фланга».

---

[37] Там же. С. 80, 93.
[38] Там же. С. 95.
[39] Там же. С. 115.
[40] Там же. С. 123.
[41] Там же. С. 139.
[42] Там же. С. 146.
[43] Там же.

X и XI. Стихи А. В. Туфанова и Д. Хармса.

XII. Документы, связанные с попытками вступления И. И. Маркова в Союз поэтов.

XIII. Письмо А. В. Туфанова Ф. К. Сологубу по поводу вечера памяти Сергея Есенина 8 февраля 1926 года.

XIV. Заявление Джемлы (Е. И. Вигилянский), Д. Хармса и А. И. Введенского о выходе из «Левого фланга».

XV. Записки слушателей.

XVI. Стихотворения И. Маркова, Б. Западалова, Е. Вигилянского, К. Соловьева.

Оригиналы документов I—XV хранятся в архиве А. В. Туфанова в Рукописном отделе ИРЛИ. Стихотворения И. Маркова и Б. Западалова находятся в других фондах Рукописного отдела ИРЛИ, стихотворения Е. Вигилянского — в Отделе рукописей РНБ, стихотворения К. Соловьева публикуются по печатным источникам. Особенности оригиналов и принципы публикации оговариваются в примечаниях к каждому документу. Следует подчеркнуть, что протоколы, и особенно синхронные записи заседаний, написаны крайне бегло, со множеством зачеркиваний (приводятся в квадратных скобках), недописанных слов и непрописанных букв. Многие фрагменты поддаются только предположительному прочтению (они заключены в угловые скобки, иногда со знаком вопроса). Кроме того, относительно отдельных фрагментов мы, к сожалению, не можем предложить никакого вразумительного прочтения и вынуждены оставить в тексте публикации отметки об их неразборчивости. Мы не стали восстанавливать опущенные при таком письме смысловые звенья, сохраняя характер источника и поясняя все доступные комментарию реалии в примечаниях. Надеемся, что будущие изыскания позволят исследователям точнее восстановить картину «левофлангового» Ленинграда 1920-х годов и заполнить неизбежные сегодня лакуны, тем более что приводимые ниже материалы закладывают для этого необходимый фундамент.

I

Протоколы заседаний «Левого Фланга»[1]

ПРОТОКОЛ № 1
организационного собрания поэтов, примыкающих к Левому фронту

⟨3⟩[2] ноября 1925 г. в 8 час. вечера

Присутствовали: Туфанов, Хармс Данил,[3] Веденский, Черный Борис, Марков Игорь, Вигилянский (Иви), Западалов Б. А.

Повестка дня

Объединение поэтов левого фронта
Организационный вопрос
Технические вопросы организац⟨ии⟩[4]

Открыл собрание деловод Марков Игорь.

Слушали

1. Об⟨ъ⟩единение поэтов левого фронта. Слово членов об их литературных течениях на обсуждении:[5]
«Основы программы об⟨ъ⟩единения» и выработка программы и устава

Постановили

Считать объединение существующим на основах общего для всех нас мировоззрения:
«Расширение субъекта восприятия».[6]

2. Организационный вопрос.	Поручить выработать программу и устав Туфанову, Маркову и Хармсу. Объединение литературных течений левого фронта: 1. Авторитет бессмыслицы Веденский 2. Взирь Заумь Хармс Данил 3. Заумь Туфанов 4. Конструктивизм Черный Борис 5. Экспрес⟨с⟩ионисты Западалов Иви (Вигилянск⟨ий⟩) Экспр⟨ессионист⟩ речевок Марков Игорь Считать как объединение ⟨индивидуалистов⟩ с названием «Самовщина»[7]
3. Технические вопросы организации (методы работы). Предложение Маркова: Выбрать деловода с правом технического ведения собрания с функциями секретаря на 3 месяца. Порядок же собрания ведет, как председатель тот, кто взял слово, до тех пор, пока не исчерпаются дебаты по его вопросу, после него ведет собрание следующий, кто взял слово, на тех же основаниях.	Предложение принято. Избран единогласно деловодом Туфанов.
Предложение: Повестку дня составляет деловод из внесенных вопросов членами объединения.	Приняли

Предлагается наметить повестку дня на следующее собрание на Четверг в 8 часов

1. Заслушать проект устава
2. Программу из представленных тезисов
3. Вопрос об об⟨ъ⟩единении в помещении Института Худ⟨ожественной⟩ Культуры

Деловод собрания Игорь Марков

Протокол подтверждают члены собрания голосованием и подписями:

Даниил Хармс
Б. Черный А. Туфанов
александрвведенский[8]

ПРОТОКОЛ
орган⟨изационного⟩ собр⟨ания⟩ «Самовщины»
12 ноября ⟨1925⟩

Прот⟨окол⟩ Заслушали [доклад] протокол предыд⟨ущего⟩ собрания (от 3 ноября).
Присутствовали: Марков, Туфанов, Хармс, Введенский, Черный, [Николаев] Соловьев (Кота) и в присутствии гостей — Николаев (Федор), Липавский (Леонид).

Черный: О связи с Всерос⟨сийским⟩ Цехом Поэтов.
В цехе конструктивисты...
Реши⟨ли⟩ ознаком⟨иться⟩ с инструкцие⟨й⟩ и уставом. Представить инстр⟨укцию⟩ и [написать послать] затребовать мандат.

Черный — не согласен с названием «Самовщина».
Введенский не согласился.
Балагурное собрание.

Предложить каждому члену представ⟨ить⟩ мотивированное ⟨заяв⟨ление⟩⟩[9]
В текущем [10]
Введенский
Повестку дня: переобсудить название [объединения] постановление 1-го протокола и занести в повестку дня
1) считать[11]
[Четверг] Среда 8 час⟨ов⟩

ПРОТОКОЛ
Заседания Объединенных групп «Левого фланга»
25 ноября ⟨1925⟩[12]

Слушали	Постановили
1. Протокол заседания 18 ноября.[13] Даны разъяснения о 1 § о консерватизме форм и пр. Туфановым внесено заявление о неудачной редакции 1 §.	
2. Доклад о вечере в Академии Художеств — Введенский	Занести в протокол, что выступавшие не всех членов Объединения известили о вечере.
3. Черный докладывает о персональном приглашении в Университет.	Не отказываться, но выступать от «Левого фланга», рекламируя других.
4. По вопросу об устройстве вечеров.	Устраивают: Марков — в Доме ученых, Союзе Просвещ⟨ения⟩, Доме Искусств; Черный — в «Перевале»; Введенский и Черный — в Союзе поэтов. Туфанов — в Инст⟨итуте⟩ Худ⟨ожественной⟩ Культ⟨уры⟩. Черный — в Инст⟨итуте⟩ Истории Искусств.

	За 3 дня до выступлений устраивать собрания для обсуждения программы и делать рекламы.
О внутреннем распорядке — заявление Маркова.	Если член объединения вносит дезорганизацию, делается заявление на ближайшем общем собрании для принятия мер против него.
	Вигилянский вносит протест.
О росте организации.	Привлекать членов в Объединение.
К. В. Соловьев. Читает стихи.	При обсуждении 1-ое слово о стихах предоставлять самому поэту. Марков выдвигает в качестве новой формы — канонизацию каламбура у Соловьева.
Марков — читает «Колобок»	После обсуждения прочитанной сказки Туфановым вносится предложение о творчестве в области заумных сказок для детей, как имеющих наибольше право на место в детской литературе. Предложить на след⟨ующем⟩ заседании Введенскому прочесть сказку для детей.

ПРОТОКОЛ

Заседания Объединения «Левый фланг» 9 декабря ⟨1925⟩[14]

Слушали:	Постановили:
1. Объяснения Соловьева и Туфанова о причинах отсутствия на предыд⟨ущем⟩ заседании.	Объяснения признаны удовлетворительными.
2. О переговорах с организациями по устройству вечеров.	Выступить 15 дек⟨абря⟩ в Институте Истории Искусств всей организацией и 19 дек⟨абря⟩ в Техникуме Хармсу и Черному. Кроме того, в январе в Доме Просвещ⟨ения⟩, в декабре и январе в Об⟨щест⟩ве Политкаторжан, Союзе Поэтов, в «Перевале», КУБУЧе, Эрмитаже, Доме Искусств, Тург⟨еневской⟩ библ⟨иотеке⟩, Дом⟨е⟩ Уч⟨еных⟩. В Доме Просвещения за гонорар в 30, который отчислить в издат⟨ельский⟩ фонд.
3. По организационным вопросам.	Представить докладную записку для каждой из организаций, устраивающих вечера. Поручить Туфанову и Введенскому составить проспект для рассылки в литер⟨атурные⟩ организации.[15] Поручить Туфанову написать Слово об искусстве,[16] Соловьеву — рекламные стихи; Докладную записку[17] — Маркову, Туфанову и Хармсу. Представить списки стихов для «Альманаха».

4. О вступлении в Союз поэтов организацией.	Поручить Туфанову, Хармсу и Маркову составить заявление[18] и сдать 11 дек⟨абря⟩ в Правление Союза.
5. Об издании «Альманаха».	Доставить в след⟨ующую⟩ среду материал.

Секретарь А. Туфанов

ПРОТОКОЛ
Заседания «Левого фланга»
16 декабря ⟨1925⟩[19]

Слушали:	Постановили:
1. Доклады Маркова и Туфанова о подаче Заявления в Союз и докладной записке.	Принято. Заслушать копии Заявления.
2. Черный выдвигает вопрос о дальнейших выступлениях.	Большинством голосов (4 против 1) решено выступать, но, за отсутствием Хармса и Введенского поставить на повестку след⟨ующего⟩ заседания. Заслушать «Слово об искусстве» на след⟨ующем⟩ заседании.
3. О включении Богаевского в организацию.	Решено объявить отказ по причине неявки на заседание.
4. По организационным вопросам.	При запросе о печатных трудах отвечать: скоро выйдет «Альманах», а затем уже о трудах каждого в отдельности.

Секр⟨етарь⟩ А. Туфанов

ПРОТОКОЛ
Заседания Объединения
23 декабря ⟨1925⟩[20]

Повестка заседания: 1) Заявление в Союз поэтов; 2) О выступлениях; 3) «Слово об искусстве» Туфанова; 4) О дисциплине, организации и о программе работ; 5) текущие дела: причина неявки Хармса и Введенского 16 дек⟨абря⟩.

Слушали:	Постановили:
1. Заявление в Союз поэтов.	Принять к сведению.
2. Проспект обращения в литературные организации,[21] предложенный Введенским и Туфановым.	Принят Объединением.
3. О выступлениях и о программе.	6 за выступления, 1 воздержался. Введенскому, Хармсу и Черному выработать программу выступлений.
4. Речь Туфанова в Институте Истории Искусств.[22]	Пред широкой публикой не выступать с теоретическими докладами (4 — за, 2 — против, 1 воздержался).

5. По вопросу организации.	Начало заседаний не позднее 8 ч⟨асов⟩ 15 м⟨инут⟩ при всяком количестве членов.
	За несерьезное отношение временное исключение: 6 голосами против 1.
6. Об опозданиях.	Введенский — по болезни, Хармс — по сем⟨ейным⟩ обстоятельствам.

Повестка на 30 декабря: Заслушание (так! — *Публ.*) комиссии по выработке программ. Текущие дела.

Секретарь А. Туфанов

ПРОТОКОЛ
Заседания Объединения Левого Фланга
30 декабря ⟨1925⟩[23]

По предложению Маркова, Собрание почтило память Есенина вставанием и стихами «Надгробной песней» Туфанова.[24]

Повестка дня: 1) Доклад Маркова о работе за декабрь. 2) Доклад комиссии о программе вечеров. 3) Текущие дела.

Слушали:	Постановили:
1. Доклад Маркова. Положения: а) Выступления в Инст⟨итуте⟩ Истории Искусств и в Союзе пробудили серьезный интерес к организации (просьба Инст⟨итута⟩ Ист⟨ории⟩ Иск⟨усств⟩ устроить 2-й закрытый вечер и пр.), но б) практически (в смысле повторения выступлений) — ничего не достигли.	Считать работу организации удовлетворительной, устранить недостатки и использовать приобретенные навыки.
	Предложения: об устройстве вечеров, агитации и печатном органе перенести на след⟨ующее⟩ заседание.
2. Введенский вносит предложение: ставить на повестку дня 1-ым вопросом — отчет о произведенной работе.	Принимается с возложением отчета на секретаря.
3. Отчет комиссии по выработке программ.	Принят.
Порядок выступлений: I — Введенский, Хармс, Джемла,[25] Черный, Туфанов, Марков, Соловьев; II — Соловьев, Марков, Туфанов, Черный, Хармс, Введенский.	
4. Принцип распределения интуитивный и декламационный.	Принято к сведению для следующего вечера.
5. Выступать на следующем вечере без доклада. Председатель Джемла оглашает фамилии и течения, которые представляют выступают (так! — *Публ.*), а для порядка в дискуссии и упрощения ее читает об основах каждого направления по запискам от участников.	Принято.
6. Марков предлагает: для упрощения дискуссии, сокращения вопросов и для	а) Поставить на повестку след⟨ующего⟩ заседания предложение Маркова и

внесения порядка в прения — взять в основу доклад Туфанова, заслушав ⟨его⟩ на заседании перед выступлением.	б) подтвердить на следующем заседании в резолюции о докладе слова «пред широкой публикой» (Туфанов).
7. Богаевскому объявлена резолюция об отказе в приеме и предложено остаться на собрании в качестве гостя.	
8. Текущие дела:	
а) вечер Маяковского[26]	оставить открытым
б) перенести следующее заседание на вторник	принято
в) стихи Богаевского	Большая часть зачитанных стихотворений не имажинистские; лучшее — заумное, школы Каменского и Крученых, без осознания материала и органичности зауми.

Секретарь А. Туфанов

ПРОТОКОЛ
Заседания Объединения
5 января ⟨1926⟩[27]

Слушали:	Постановили:
1. О вступлении Бугаевского (так! — *Публ.*) в члены Объединения.	Большинством голосов (5 за, 2 против) принимается. Марков и Туфанов остались при особом мнении.
2. О редакционной комиссии.	Принят устав, разработанный Вигилянским, Введенским и Хармсом. Редакционная комиссия избирается в составе 3-х: Вигилянского, Маркова и Туфанова.
3. Об издании Газеты.	На заседаниях комиссии (2 раза в неделю) заслушать материалы для газеты, а также для выступлений. Через 2 недели представить в Редакционную комиссию по 7 р⟨ублей⟩. Достать сметы для Типографий.
4. Во время перерыва состоялось заседание Редакционной комиссии (см. протокол № 1).	
5. В текущих делах:	
Заявление Маркова о порядке зачисления «речевоков» в Объединение и о вступлении его в другие литер⟨атурные⟩ организации.	На общем основании (Марков и Туфанов при особом мнении).
Заявление Туфанова о приеме «заумников» в Объединение без заслушания стихов.	5-ю голосами против, 2 — принять на общем основании.

Секретарь А. Туфанов

II

Синхронные записи А. В. Туфанова, послужившие материалом для протоколов «Левого фланга»[28]

⟨ЗАПИСЬ 1⟩

⟨25 ноября 1925⟩

1) консервативность форм
2) работа объединения в литературном содружестве
3) взгляд на устав
4) всякое выступле⟨ние⟩ отд⟨ельных⟩ членов связано с объединением + его название[29]

Доклад о вечере в Акад⟨емии⟩ Худ⟨ожеств⟩.
Введенский.
Вопрос Туф⟨анова⟩: почему не извещ⟨али⟩
В универс⟨итете⟩ вечер

Принцип не[30] отказываться, но выступать «от левого фланга». Тянуть за собой всех остал⟨ьных⟩ членов объединения

Перевал просил сорганизовать
В Доме учен⟨ых⟩, Союза просв⟨ещения⟩, Дом⟨е⟩ иск⟨усств⟩

Согласились, постановили всегда, когда выступ⟨аем⟩, говор⟨ить⟩, выступа⟨ть⟩ от левого фланга.

Садовая 34 — Тург⟨еневский⟩ уголок.
Дом ученых.
Дом просвещ⟨ения⟩ Рабпроса
Дом искусств

Перевал — Черный

Через пятницу — в Союзе поэтов — Введ⟨енский⟩ и Черный

Инст⟨итут⟩ Худ⟨ожественной⟩ Культ⟨уры⟩. ⟨Реклама⟩ у Эндер⟨а⟩ — Туфанов

Инст⟨итут⟩ Истор⟨ии⟩ Иск⟨усств⟩ — Черный

Перед выступлением за 3 дня оповестить, собраться и пометить программу выступлений и действий, сделать рекламу за 3 дня.

Каждый член должен заботиться об увеличении членов.

Если член объединения вносит дезорган⟨изацию⟩, то об этом поставить [вопрос] доклад на общем собрании.
Вигилянский против протест
В содружестве не мож⟨ет⟩ быть, что
Соловьев — рецензи⟨и?⟩

К работе приступить в след⟨ующую⟩ среду
Черный о конструктивизме

Заумь
Зачитать произведения на след⟨ующем⟩ вечер⟨е⟩ для журнала

Кажд⟨ую⟩ среду собран⟨ие⟩, после которого зачит⟨ываются⟩ произвед⟨ения⟩

Конст⟨антин⟩ Влад⟨имирович⟩ Соловьев
Наркот⟨ики?⟩ Современность

На образ образ
⟨проглоченный?⟩
Кто ⟨проглотил?⟩
Но мы вскипающий раствор
в реторте исторической
Канонизуй безумие

Бунт
Бей набат, набат
Через века расскажет

Будущее
А нам к ногам привяжут камень

Комсомол
Из прутьев ружьев изгородь

Новые ритмы и новые рифмы для хорошего стиха. Что не для глаза, а для уха, сл⟨уха⟩, это и еще А. Толст⟨ой⟩ и Тургенев
Писать как можно лучше.
Неофутуризм Асеев и Пастернак

Черный
Стихотв⟨орение⟩ отвлечен⟨ное⟩ (это не с формал⟨ьной⟩ !)

Ал. Иванович ⟨Введенский⟩
Ритмы и рифмы на высоте не яв⟨ляются?⟩ круп⟨ным⟩ ⟨достижением?⟩

Стих⟨отворение⟩ о Рюр⟨ике⟩ Ивневе
Рифма
Ритм на высоте (сказал, что в этом есть определ⟨енность⟩ ритма)

Игорь Маркович (так! — *Публ.*) — увлечен, но диплом поэтов. Канонизация каламбура — новая форма.

Соловьев — рифмы — самое важное в стихе.

[*на полях*:] Заумные стихи для детей

Колобок-бегунок
Зануда дуда
Повело сусалом глаза
Подзадорился
Завлушник
Откулева
На грай вороний
О ту пору
Посхимилась ⟨девка⟩
Россказням конец

Сказки про Колобок есть и малоросс⟨ийские⟩, напоминают ⟨стихо⟨творения⟩ Клюева⟩

⟨ЗАПИСЬ 2⟩

⟨9 декабря 1925⟩

ПРОТОКОЛ

Альманах
Программа
На газ⟨етной⟩ бум⟨аге⟩ в 1¼
По стиху свое направлен⟨ие⟩ с агитации⟨ей⟩ левого фланга
Пригласить ⟨т.?⟩ Каменского
доклад о лев⟨ых⟩ теч⟨ениях⟩ в Москве
Проспекты литер⟨атурным⟩ организациям.
Представить материал ⟨для?⟩ газеты.
Попрос⟨ить⟩ Туф⟨анова⟩ 1000 экз. газеты и Западалова — путем самообложения.

По повестке прошлого собрания о причине отсутствия членов объяснения:
Соловьев — готовился к экзам⟨ену⟩
Туфанов — большинством

вопрос: всегда ли (обрыв записи. — *Публ.*)

⟨1)⟩ Хармс об устр⟨ойстве⟩ вечера
Через ⟨суб⟨боту⟩?⟩ в техникуме
Хармс (кажд⟨ый⟩ должен дать то, что будет читать)
2) политкаторжан нич⟨его⟩ не известно
3) Союз поэтов

К будущей среде исчерпываю⟨щий⟩ ответ об организации вечеров
голосованием 4 против 2
[Соловьев]
В техникум Черный и Хармс
выступают и сдел⟨ают⟩ доклад о выступл⟨ении⟩

Черн⟨ый⟩. Перевал и Инс⟨титут⟩ Ист⟨ории⟩ Иск⟨усств⟩
В среду

Вигилянский
Вигилянский протестует против выступления в техникуме — ⟨отка⟨за⟩ться?⟩
5 — против, 2 за выступлен⟨ие⟩ Хармса и Черного

Марков, в Дом⟨е⟩ Просв⟨ещения⟩ Рабпроса
[Введ⟨енский⟩] и Хармс и Вигилянск⟨ий⟩
предложили представить докладн⟨ую⟩ записку: 30 р⟨ублей⟩ обязались уплатить (на январь зачислят) (П⟨е⟩ред нами Маяков⟨ский⟩, Сейфулл⟨ина⟩, Безыменский).
Черный предложил отдел печати.

Инст⟨итут⟩ Ист⟨ории⟩ Иск⟨усств⟩ — не удалось с секретарем лит⟨ературного⟩ кружка[31]
(Лит⟨ературный⟩ круж⟨ок⟩ и творч⟨еская⟩ ассоциация)
Предложен⟨о?⟩ в литер⟨атурном⟩ кружке
Наметили субботу 19 декабря

⟨Реше⟨но⟩⟩ сначала в Инст⟨итут⟩ Ист⟨ории⟩ Искус⟨ств⟩, а затем двое в техникум.
Дом Искусств — в воскр⟨есенье⟩. Черн⟨ый⟩ выступал.
Кубуч — докладн⟨ая⟩ записка о дне выступл⟨ения⟩, услов⟨ия⟩ (в Капелле).

Как деньги на общеорганизационные расходы.
Избрать казначея.

Дом Искусств — докл⟨адная⟩ зап⟨иска⟩.
Тург⟨еневская⟩ библ⟨иотека⟩ — от Публ⟨ичной⟩ Библ⟨иотеки⟩ зависит
Дом Ученых —
Эрмитаж — после 22 дек⟨абря⟩ перед научн⟨ыми⟩ сотр⟨удниками⟩ и служащими (через ⟨Андрусона⟩[32]).
Эндер — Туфанову.
Записки объявления
⟨Приготовить⟩ к след⟨ующей⟩ среде.
Стихи о левом фланге написать

Проспект для рассы⟨лки⟩ в литер⟨атурные⟩ учрежд⟨ения⟩ и музеи
Статья официальн⟨ая⟩
[Проект]
Изложен⟨ие⟩ проспект⟨а⟩ ⟨поручить⟩ Туфанов⟨у⟩ Введенскому

Докладная записка кто выработает
Слово — Туфанову (выработать)
Стихи рекламн⟨ые⟩ — Соловьеву
Докл⟨адная⟩ зап⟨иска⟩ — Туф⟨анов⟩, Марков и Хармс
Список стихов дать для общей программы

⟨Решено⟩ вступить в Союз Поэтов организаци⟨ей⟩

Заявление в Союз
Докладную записку
К среде написать. Переписать к среде для газеты

Какой формат Альманаха?

⟨ЗАПИСЬ 3⟩

⟨16 декабря 1925⟩

Среда
Доклады
Соловьев стихи
Об Альманахе и о стихах
послед⟨нее⟩ заседание. Фонд издан⟨ия⟩: авансом или на наличные?
Просп⟨ект⟩ и копия заявления

Стоит ли выступ⟨ать⟩ у слепых?
Послед⟨нее⟩ собрание о ⟨конституции⟩ левого фланга

Черный — о вчерашнем вечере
Большинством голосов решено выступать
Поставить на засед⟨ании⟩ след⟨ующей⟩ среды

Слово об искусстве в след⟨ующую⟩ среду

Вигилянский
Был приглаш⟨ен⟩ Богаевский
объявить, что больше ⟨отпадает⟩

Соловьев предлагает [отлож⟨ить⟩] снять кандидатуру Богаевского, ввиду того, что не окрепла
Вигилянский. С формальной стороны им был приглашен. Неявкой ⟨объявить⟩ отказ. Запросить, почему не явили⟨сь⟩ Хармс и Введенский.

Когда спрашивают, имеем ли мы в печати: скоро выйдет из печати «Альманах». И затем о своих трудах.

⟨ЗАПИСЬ 4⟩

23/XII ⟨1925⟩

1) Заявление в Союз
2) О выступлени⟨ях⟩
3) О дисциплине, об организации и о программе работы
4) «Слово Туфанова»
5) Запросить о причин⟨ах⟩ неявки Хармса и Введенского[33]

Ал⟨ександр⟩ И⟨ванович⟩ Введенский по болезни не явился. Принято к свед⟨е-нию⟩.
Хармс — сем⟨ейные⟩ дела
Заявл⟨ение⟩ зачитывается
Комиссия не собиралась
и проект
комиссия —
Марков: нет формы

Проспект. Принимается

Хармс каждая причина неуважительн⟨а⟩

О выступлениях.
Черный пока все не переобу⟨чатся⟩ на левый фланг
Введенский — не отказывается
а программу выступлений переделать по принципу ⟨дохожден⟨ия⟩?⟩
(равнение на понимание)
порядок чтения (нет программы)
Правы по отношению к публике
Марков — речевой образ
изменить свою работу не может
левый, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ переустройство в синтаксисе

Черный говор⟨ит⟩ стоит выступать, когда он⟨и?⟩ правые по отнош⟨ению⟩
Выступлен⟨ия⟩: 6 за, 1 воздерж⟨ался⟩
Введенс⟨кий⟩. Переработать прогр⟨амму⟩, порядок, ⟨очленение?⟩
Хармс, Введ⟨енский⟩ и Черн⟨ый⟩ — комисс⟨ия⟩ по выраб⟨отке⟩ программ⟨ы⟩
Просп⟨ект⟩, объявления — Марков и Джемла, Введенский

Выработ⟨ать⟩ комисси⟨ей⟩ программу
Слово на публичн⟨ом⟩ выст⟨уплении⟩ ⟨в⟩ Ин⟨ституте⟩ Ист⟨ории⟩ Иск⟨усств⟩ не зачитывается
[1) Слов⟨о⟩ Туфанова] зачитываемое теоретическое и длинное (5 страниц)
[2) Прочитать] на аналогичн⟨ом⟩ выступл⟨ении⟩, куда допускает⟨ся⟩ широкая публика теоретич⟨еские⟩ доклады, ⟨подой⟨дет⟩?⟩
2 прот⟨ив⟩, 4 ⟨произ⟨носить⟩?⟩, 1 воздерживается

2) Принято ли Слово как характ⟨еристика⟩ как прогр⟨амма⟩ объединения течения. За — 2, 1 воздерж⟨ивается⟩, 4 против.

Марков — не видит работы в организац⟨ии⟩. Не видит организац⟨ионной⟩ работы. Если нет выступлений. Личн⟨ые⟩ отношения начинают отд⟨аляться⟩. Таковы ⟨определения?⟩ ⟨отд⟨ельных⟩?⟩ членов
Собр⟨анию?⟩ серьез⟨но?⟩ отнестись

Туфанов
[Вигилянск⟨ий⟩]
Соловьев
[О рекламе] Черный. Предлагает вынести порицание
Вигилянский. Вопрос о програ⟨мме⟩ констр⟨уктивизма⟩ и зауми. Особ⟨ый⟩ вопр⟨ос⟩ особый выделить (так! — *Публ.*)
Раб⟨ота⟩ не долж⟨на⟩ двигатьс⟨я⟩ форсиров⟨анным⟩ темпом
Несерьезного отношения к делу.

Соловьев. Против опозд⟨аний⟩ установи⟨ть⟩ кворум
⟨Начало⟩ заседания
Марков
Несерьезное отношен⟨ие⟩ на собраниях. Высказы⟨вается⟩ относ⟨ительно⟩ перерегистр⟨ации⟩ Введенского. ⟨Мнение?⟩ о личном отношении.
О Соловьеве ⟨ведет необяза⟨тельно⟩?⟩
Вигилянск⟨ий⟩. Личн⟨ые⟩ отношен⟨ия⟩ ⟨этой личности?⟩ мешают.
Соловьев. В разн⟨ые⟩ места
Введенск⟨ий⟩. Об исключении времен⟨но⟩ и ⟨1 нрзб.⟩ за несерьезное отношение (6 против 1).

Черный. Заумь признает ⟨та⟨л⟩антливость?⟩

Личн⟨ых⟩ вопросов не был⟨о⟩ и
Начало собр⟨ания⟩ и кворум к 8 часам при всяком количестве членов (15 м⟨инут⟩ на опаздывание)
Заслуша⟨ть⟩ ком⟨иссию⟩ по вопросам программы

⟨ЗАПИСЬ 5⟩

30 дек⟨абря⟩ ⟨1925⟩

Введенск⟨ий⟩ — Черный передал право голоса Введенскому.

Повестка дня.

1) Доклад комиссии о программах
2) Какую работу развернуть на январь месяц и как⟨ие⟩ методы

Введ⟨енский⟩. Введ⟨енским⟩ и Джемл⟨ой⟩ исполнена раб⟨ота⟩ по прогр⟨амме⟩.

Марков. Работа за декабрь. Проспект переделан. О выступл⟨ениях⟩. Кроме Инст⟨итута⟩ Ист⟨ории⟩ Иск⟨усств⟩, ничего не сделано. Намечено выступление в Доме уч⟨еных⟩ (неофиц⟨иально⟩ договорились) — халатное отношение.
Плакаты: нарисованы Черным, Введ⟨енским⟩, Марковым, Джемла.

Как поступать с прокламациями? Не выпускать, пока не будет выступлений. Много рекламы, перереклама сводила насмарку. Дальше ⟨идти⟩ не может.

Наметить ступени дальн⟨ейшей⟩ работы
Выступление в Институте истории Искусств дало результаты значительные (о 2-м выступлении предложено). В Союзе поэтов — (далее несколько слов утрачено. — *Публ.*) критически.
Недоразумение из-за доклада Туфанова
В Союзе благодари⟨ли⟩ Хармса за доклад
Цензор[34] — много интересного
выход из тупика Союза
Частично достигли успехов
С организ⟨ацией⟩ и производс⟨твом⟩ ничего не достигли.

Хармс — хороший результат в Институте Истории Искусств
Вигилянск⟨ий⟩ по докладу ⟨выне⟨с⟩?⟩
Заслушав докл⟨ад⟩ о деят⟨ельности⟩ — счит⟨ать⟩ деят⟨ельность⟩ удовлетворительн⟨ой⟩ и предлож⟨ить⟩ устран⟨ить⟩ недостатки и использ⟨овать⟩ навыки

Вопрос производст⟨ва⟩?

Марков: 1) ряд выступлений
2) провести агитацию
3) о печатн⟨ом⟩ слове

⟨Виги⟨лянский⟩?⟩ Вопрос.
Предложение.
Отчетные вечера
по каждому вечеру
Введенский. С отчета надо начинать.
Введенск⟨ий⟩. Перв⟨ый⟩ вопр⟨ос⟩ был о сдел⟨анной⟩ работе и ⟨1 нрзб.⟩ секретарь

Введенск⟨ий⟩. Изменен⟨ия⟩ коснулись порядка прогр⟨аммы⟩ и вступит⟨ельного⟩ слова.
Вступ⟨ительное⟩ слово — говор⟨ит⟩ Вигилянский.

Программа: Введ⟨енский⟩ чит⟨ает⟩ прогр⟨амму⟩

⟨I.⟩

Хармс
Джем⟨ла⟩
Черн⟨ый⟩
Туф⟨анов⟩ — стих⟨отворение⟩
Игорь Марков
Соловьев

II.

Соловьев
Мар⟨ков⟩
Туф⟨анов⟩
Черн⟨ый⟩
Хар⟨мс⟩
Введ⟨енский⟩

Вигил⟨янский⟩. Никаких об⟨щих⟩ слов не надо
Председатель и объясняет в случае вопросов.

Нужно ли делать ⟨доклад⟩ в конце дискуссии

Введенск⟨ий⟩. Порядок чтения весь вопрос

Введенский. Принцип инициативы
Хармс — хорош⟨ее⟩ впечат⟨ление⟩ от читки декламац⟨ией⟩
Декламац⟨ия⟩.
Вигилянский.

Признать на следующий вечер декламационный принцип выступлений приемлемым.

Проверка на впечатл⟨ение⟩
Голосовать программу.
Принять программу.

Слушали: интонацион⟨ный⟩ и интуитивн⟨ый⟩

Марков [Доклад] ⟨поставил⟩ и доп⟨олнил⟩ Туфанов⟨а⟩, измен⟨ив⟩ его или огласив согласие его
Доклад — как основу.
Соловьев

Взяв в основу доклад Туфанова, читать перед дискуссией, для упрощен⟨ия⟩ вопросов (Марков).
Вигилянский — теоретич⟨еский⟩ доклад — не нужен ни ⟨слушателям⟩ ни ⟨выступающим⟩

4 за, 3 против

2-ой вопрос на повес⟨тке⟩ дня.

Тек⟨ущие⟩ дела. Вечер Маяков⟨ского⟩. Предл⟨ожение⟩ быть организацией 4-го в понед⟨ельник⟩.

Введ⟨енский⟩ и Вигилян⟨ский⟩. Перене⟨сти⟩ след⟨ующее⟩ собрание не на среду, а на др⟨угой⟩ день. На вторник.

[*Наброски сделанные во время собрания по поводу стихов К. В. Соловьева*]
Каменский, Крученых. Набор звуков⟨ых⟩ комплексов без осознания материала или принцип органическ⟨ий⟩

О Зауми. Требует больш⟨ей⟩ работы: корни в новом формаль⟨ном⟩ окружен⟨ии⟩, новое озарение.

И ляжет сонной балериной
В твоих глазах любовь украдкой
Петушиный клекот
и светом зарева кляни[35]

⟨ЗАПИСЬ 6⟩

5 янв⟨аря 1926⟩

1) Устройство вече⟨ра⟩
агитаци⟨я⟩ и печ⟨атная⟩ орган⟨изация⟩
2) Прекращение дискуссии, сокращ⟨ение⟩ вопросов, через доклад Туфанов⟨а⟩, после ⟨пересмотра⟩ его.

3) Предлож⟨ение⟩ о принятии Богаев⟨ского⟩ в объедине⟨ние⟩
4) [Вечер Маяковского]
5) О создан⟨ии⟩ ⟨ВСВ⟩
6) Текущие дела — Марков.

Введ⟨енский⟩. Личн⟨ые⟩ качеств⟨а⟩
программа подходящая
Марков. Объединим, но ⟨почему против⟩ богемы
Предложен⟨ие⟩.
Богаевск⟨ий⟩. Представить ⟨поэ⟨тический⟩?⟩ материал. При форм⟨ировании?⟩ какую ⟨школу⟩ выдвигает
Введенский. ⟨Закрыть ⟨вопрос?⟩ прямо ⟨сейчас?⟩.
1. Проголосов⟨ать⟩
Богаевск⟨ий⟩ в объедин⟨ение⟩ принимается.
5 за прием, 2 против.
2 при особом мнении — Марков и Туфанов.
Марков. Как ударно провес⟨ти⟩ в жизнь работу организации.

[Хармс.]
Введенский. Устр⟨оить⟩ вечер
поручить в Рабпрос⟨е⟩
до среды 90 р⟨ублей⟩ собрать не представл⟨яется⟩ возможным.
Хармс. Состав⟨ить?⟩ сборник — и относить все редакции.
Марков. Во что бы то ни стало издать. Обегать все типографии и кредит. Марков, Туфанов («Кооперац⟨ия⟩», Саперный пер.).
Избирается Марков, Туфанов, по 2—3 вещи кажд⟨ый⟩.
Через 2 недели по 7 р⟨ублей⟩. Выбрать казначея. Редакц⟨ионная⟩ коллегия.
[Совет-предложение Объединения, каким образом заработать деньги.]
Хармс. В 2 ⟨неде⟨ли⟩?⟩ 3 раза собран⟨ие⟩.
Введ⟨енский⟩. Редакц⟨ионная⟩ комиссия о выступлении.
Редакц⟨ионная⟩ ком⟨иссия⟩ по выступл⟨ениям⟩. Просмот⟨р⟩ произв⟨едений⟩, провед⟨ение⟩ переговор⟨ов⟩.
Введ⟨енский⟩ — Редакц⟨ионная⟩ комиссия.
4 за и 2 кол⟨еблются⟩
Комиссия редак⟨цион⟨ная⟩?⟩
3) о просмотре произвед⟨ений⟩, утвержд⟨аемых⟩ кажд⟨ым⟩ собр⟨анием⟩ [с мотивировкой]. Переговоры с автором о замене.
4) в своей работе (обрыв текста. — *Публ.*)

Занести в протокол спор.
В своей работе (обрыв текста. — *Публ.*). 4 за, 2 против.
Устав ред⟨акционной⟩ ком⟨иссии⟩, предлож⟨енный⟩ Иг⟨орем⟩ Иосиф⟨овичем Марковым⟩ в отдельное голосование.
Редакц⟨ионная⟩ ком⟨иссия⟩ выби⟨рается⟩ в составе 3 ч⟨еловек⟩ на неде⟨лю⟩ и может избираться на кажд⟨ое⟩ издан⟨ие⟩ и кажд⟨ый⟩ вечер.
Соловьев[36] за вечевое

Марков.
Вигилянский.
Нужно ли печатать 1) устав редакц⟨ионной комиссии⟩, 2) практич⟨еский⟩ вопрос, 3) ред⟨акционная⟩ коллегия.

Вечев⟨ой⟩ строй 2
Ред⟨акционная⟩ ком⟨иссия⟩ ⟨5⟩

Вигилянск⟨ий⟩: технич⟨еская⟩ стор⟨она⟩
Вигилянск⟨ий⟩: по порядку 3 против 4.

Богаевский против
Введенск⟨ий⟩ 2 голоса, 2, 4 возд⟨ержались⟩
Вигилянс⟨кий⟩ 4 — 2
Марков 3 — 2 воздер⟨жались⟩
Соловьев —
Туфанов 2 гол⟨оса⟩ против 2, 1 в⟨оздержался⟩
Хармс 1 — 1 против
Черный

Введенский 2, пр⟨отив⟩ 3
Вигилянский 4 —
Марков 2 — 2 против
Соловьев — —
Туфанов 2 — 2
Хармс 1 — 2

[Комиссия заслушивает
Когда, к какому сроку работа по редакц⟨ионным⟩ ⟨з⟨амечаниям⟩?⟩ (⟨через⟩ 2 недели)
Собрание до выступления.
Через 3 дня вызыв⟨аются⟩ в комиссию Богаевск⟨ий⟩, Введенский в субботу, в 8 час⟨ов⟩.]

Марков. [⟨Обо мне⟩]
О Маркове.
Школа[37]

⟨ЗАПИСЬ 7⟩

13 января ⟨1926⟩

Выбор председат⟨еля⟩ [общих] собраний, в ⟨отмену?⟩ Вигилянск⟨ого⟩
Перенест⟨и⟩ на след⟨ующее⟩ заседание
Вопрос об исключен⟨ии⟩ из Объедин⟨ения⟩ Соловьева и Бугаевского (так! — *Публ.*)

На повестку дня
1) Доклад редакц⟨ионной⟩ ком⟨иссии⟩

2) О выступлении и печати[38]
1) О Бугаевск⟨ом⟩ (так! — *Публ.*) и Соловьеве.
Причина — болезнь.
Исключ⟨ить⟩ из Объедин⟨ения⟩ и в случае [болезни] если по уважительным причинам [восстановить].

Дан⟨иил⟩ Иванов⟨ич⟩ Хармс
2) О вечерах
3) О сметах
4) О тек⟨ущем⟩ деле. О перен⟨осе⟩ места для заседаний

Марков. Сорабис. Дом ученых, Эрмитаж (обратиться в Рабпрос для подписания условия о выступлениях);
Введенск⟨ий⟩

Тип⟨ография⟩ «Кооперация» обещали смету

Заслушан⟨ие⟩ протоколов засед⟨аний⟩ ред⟨акционной⟩ колл⟨егии⟩. Вопрос «О божеств⟨енной⟩ комед⟨ии⟩»[39] вынес⟨ти⟩ на обсужд⟨ении⟩ Объединения.
О заслушании «Божест⟨венной⟩ комед⟨ии⟩» Редакционной комиссии
Бугаевский (так! — *Публ.*) заглядывал в редакцию и звонил. Объяснения уважительные.

О стихах Маркова «Дерево сталью».
Солнце табуном выскочит. (глагольные формы)
Пламя мира.

Введ⟨енский⟩: против печатания. Стихи читаются за 3, прот⟨ив⟩ 3.
Когда голоса делятся (поровну. — *Публ.*) — решает автор.
Печатать 4 за против 2.
Бугаевский (так! — *Публ.*). Афоризмы.
Передов⟨ая⟩ статья.
Богаевск⟨ий⟩. О стихах.
Джемла. Против. Лефа.
Введенск⟨ий⟩.
Туфанов.
Марков. Введ⟨енский⟩ не желал слушать.
Марков. Предложение.
Нужны ли ред⟨акционные⟩ ком⟨иссии⟩ 3 за 3 против.

Марков.
Соц⟨иальная⟩ опасность.
Иоан⟨н⟩ Златоуст
2 стихотворен⟨ия⟩
Соц⟨иальная⟩ опасность на 1-м месте.
«Сталью дерево».
«Всем скорбящим»
«Пламя мира».
Туфанов за стихи, Джем⟨ла⟩ против.
[Пригласить постав⟨ить⟩] на зас⟨едание⟩ Объединения.

[Джемла] Фрагмент о Мар... в 1-ую очередь

мысли об искусстве копия
По окончании этого вопроса надо спросить у Бугаевского (так! — *Публ.*) причины, а то он будет сидеть зря.[40]

⟨ЗАПИСЬ 8⟩

⟨27 января 1926⟩

Заседание на квартире Введенского.
27 янв⟨аря⟩. О выступл⟨ении⟩ в Д⟨оме⟩ раб⟨отников⟩ просв⟨ещения⟩. Принято заявление о выходе из Объединения Вигил⟨янского⟩, Введ⟨енского⟩ и Хармса и Бугаевского (так! — *Публ.*)

⟨Отдельные записи начала февраля 1926⟩

11 февр⟨аля⟩ вечер в Красном уголке Эрмитажа. Доклад Туфанова о частушках.
19 февр⟨аля⟩ вечер в[41] памяти Есенина.
Дом печати ⟨планы?⟩ — Февраль.
В Красн⟨ом⟩ уголке.
19 февр⟨аля⟩. «Красн⟨ый⟩ уголок». Эрмит⟨аж⟩.
Кубуч. (4 чел⟨овека⟩ план⟨ируется?⟩). Капелла
Дома Искусств
Дом ученых (плата) — в Ц⟨ентральном⟩ доме ⟨работников просвещения⟩[42]

К пятнице — переписать в Союз заяв⟨ление⟩, доклад⟨ная⟩ зап⟨иска⟩ в 6 экз⟨емплярах⟩.

В Союзе поэтов. Туфанов.

Написать письмо Ильинскому. Дв⟨орцовая⟩ наб⟨ережная⟩.

В понедельник ко мне в 8 час⟨ов⟩.

Четверг[43] 7 час⟨ов⟩, Кр⟨асный⟩ угол, в Эрмитаже.

Сдано Маркову 13/V

«Зауми реквием» 1—3 стр.
Из Марфы Борецкой:
1) По изгари
2) Э-эх вы гойни
3) Так с ⟨1 нрзб.⟩
4) Новгородская вольница
5) Песня двинян
6) то не щука
7) Слышишь в домовни
8) Тинвин
9) Постриг
10) Лесная дремушка
11) Песни изгоя
12) У голбца
13) Забытище
14) Лихолетье

Состав⟨ить⟩ «Октябрьские Святки в поэзии».
Декларации.

III

Протоколы заседаний редакционной комиссии[44]

Заседание Редакционной Комиссии 1-е—5 января ⟨1926⟩

В составе: Вигилянский, Марков и Туфанов.
Постановили:
1) 9 янв⟨аря⟩ в 8 час⟨ов⟩ пригласить Богаевского и Введенского с материалами для Альманах⟨а⟩ и вечеров.

2) По утверждении Комиссией представлять в 2 экз⟨емплярах⟩ для цензуры.
3) Достать сметы для разных типографий.
4) Определить формат Альманаха и выбрать название.

Секретарь А. Туфанов

2-е Заседание Редакционной комиссии 9 января ⟨1926⟩

Заслушивали материалы: Введенского, Бугаевского (так! — *Публ.*) и Вигилянского.

Постановили: предложить Введенскому — представить в рукописном виде «Происхождение Петербурга» и «Сказание не о царьках». «Божественную комедию»[45] отклонить.

Предложить Бугаевскому (так! — *Публ.*) — представить другие материалы. Из зачитанных только одно заумное допускается для выступления.[46]

По заявлению Вигилянского, у него нет законченных для печати. [Постановили: выступать с сонетом и с фонической музыкой], а ⟨2 названия нрзб.⟩ заслушать.

На 13 января пригласить Маркова и Соловьева.

Секретарь А. Туфанов.

IV

⟨Между 9 и 16 декабря 1925[47]⟩

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА[48]

Объединение[49] под названием «Левый фланг» состоит из представителей левых течений в Ленинграде — Зауми и экспрессионизма, с их ответвлениями.[50]

В Объединение входят: Введенский Александр (авто-ритет бессмыслицы), Марков Игорь (речевок), Соловьев Константин, Туфанов Александр (Заумь) и Хармс Даниил (взир-заумь).[51]

В основу Объединений положены: начало формальных достижений и борьба с застывшим академизмом и поэтической неграмотностью.

Программой Объединения служит не синтез, а сумма программ его членов.

Теоретические работы в области поэтики имеются у А. Туфанова (см. 44 и 45 стр. указателя Бродского, Гусева и Сидорова — «Русская устная словесность»[52]); кроме того, имеется доклад, заслушанный в Академии Наук под названием «Поэтика частушек при напевном строе».[53] Работы в Зауми ведутся в согласовании с физиологическими опытами академика Павлова и с новейшими данными индоевропейского, а также яфетического языкознания.[54]

По вопросу речевого образа (Речевок) имеется доклад Маркова Игоря, заслушанный в Союзе Поэтов и в Обществе любителей русского языка.[55]

На вечере один из участников информирует собрание о выступающих, а затем программа распадается на 5 программ.

Примерная программа:

Объединение Поэтов «ЛЕВЫЙ ФЛАНГ».

Участвуют:

ВВЕДЕНСКИЙ Александр (авто-ритет бессмыслицы)
МАРКОВ Игорь (речевок экспрессионист)

СОЛОВЬЕВ Константин
ТУФАНОВ Александр (Заумь)
ХАРМС Даниил (взир-заумь)

V

⟨Между 9 и 23 декабря 1925⟩

В Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов

ЗАЯВЛЕНИЕ[56]

3 ноября 1925 г. в Ленинграде состоялось Объединение поэтов Левого фланга — заумников и экспрессионистов.

В Объединение под названием «Левый фланг» входят: Введенский Александр («Авто-ритет бессмыслицы»), Марков Игорь («Речевок»), Соловьев Константин, Туфанов Александр (Заумник) и Хармс Даниил («Взир-Заумь»), из них: Введенский, Марков и Туфанов состоят членами Союза.[57]

В основу Объединения положены: начало формальных достижений и борьба с застывшим академизмом и поэтической неграмотностью.

Программой творческой работы Объединения служит не синтез, а сумма программ участников.

Опираясь в творческих достижениях: на палеонтологию речи,[58] на генетическую семантику,[59] на телеологизм функций согласных фонем,[60] на речевые образы[61] — с одной стороны, и на авторитет бессмыслицы,[62] с другой — ни один из перечисленных членов Объединения не может примкнуть к существующим в Ленинграде организациям поэтов, созданным по другому профессиональному признаку.

А потому члены Объединения «Левый Фланг» просят Правление утвердить Объединение как отдельную секцию Союза.

Члены организаторы:[63]

VI

⟨Между 3 и 12 ноября 1925⟩

ПРОЕКТ УСТАВА «САМОВЩИНЫ» — ОБЪЕДИНЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕВОГО ФРОНТА[64]

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Самовщина» объединяет художных речарей[65] на основе общего мироощущения под лозунгом расширени⟨я⟩ субъекта восприятия.

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. В члены принимаются художные речари[66] и ваятели других искусств, при условии расширенного восприятия времени и пространства.

2. Самое зачисление происходит после ознакомления Общего Собрания с произведениями выступающего, удовлетворяющими формально-идеологическим требованиям.

3. Каждый член представляет основные тезисы своего мироощущения и программу исполняемой им работы.

4. Сумма программ, а не синтез, составляют программу всего объединения.

5. Член должен быть активен, и при отсутствии самодеятельности автоматически выбывает.[67]

ОРГАНИЗАЦИЯ

1. На 3 месяца избирается деловод для технического ведения собрания, с функциями секретаря.

2. Председательствует тот, кто взял слово, и до тех пор, пока не закончатся прения по его вопросу, после чего собрание ведет следующий, кто взял слово, на тех же основаниях.

3. Общие собрания происходят не менее 2-х раз в месяц.[68]

4. Собрание посвящается зачитыванию новых произведений и беседам по теоретическим вопросам.[69]

ЦЕЛИ [ОБЩЕСТВ⟨А⟩] ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Развитие и утверждение принципов самовщи⟨нной⟩ по⟨эзии⟩.

2. [Устройство вечеров, издание сборников и журналов.] Самореклама — путем вечеров, сборников, журн⟨алов⟩ и пр. изд⟨ательской⟩ деятельности.

3. Установление связей с худож⟨никами⟩ левого направления и с научными организациями.

4. Революционно-художест⟨венное⟩ воздействие на пролет⟨арских⟩ поэтов и «попутчиков».[70]

СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Средства составляются из членских взносов по 2 р. в год.

2. Отчисления от вечеров и изданий.

УСТАВ САМОГО СЕБЯ В САМОВЩИНЕ

1. Каждый Сам — в центре вселенной, но, будучи «искаженным» представлением другого.

2. Каждый повольник в своей ватаге — джентльмен; т. е. (обрыв текста. — *Публ.*)

VII

⟨Между 12 и 25 ноября 1926⟩

УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПОЭТОВ «ЛЕВЫЙ ФЛАНГ»[71]

ОСНОВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ:

1. Поэтов «Левого Фланга» объединяют: формальные достижения в области звука, [образа и речевого] слова, а именно: звуковая или речевая композиция вне смысла, устранение обычн⟨ых⟩ соотношений между явлениями по отношению к образам вообще, а также речевым, в смысле синтаксической конструкции.

2. Поэтов «Левого Фланга» объединяют приемы языковых смещений и смыканий в прошлое для воскрешения образов путем нового формального окружения.

3. Поэтов «Левого Фланга» объединяют новые способы восприятия при периферическом зрении.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИЕ

1. Организаторы привлекают членов[72] сотрудников, которые при условии теоретического самооформления становятся секцией Объединения.

2. Организаторы привлекают членов-корреспондентов по записям частушек, заговоров и др. памятников нар⟨одной⟩ словесности.

3. Для [приема] вступления в действ⟨ительные⟩ члены, в члены сотрудники и корр⟨еспонденты⟩ требуется единая артикуляционная база, во избежание фонетического и морфологич⟨еского⟩ искажения рус⟨ского⟩ языка, и стихийная связь с древнерусским и праславянским языком, определяемая по национальности.

4. [73]

VIII

Поэтические декларации участников «Левого фланга»[74]

Ни эмоций ни смысла в искусстве не признаю.
Единственно положительной до конца является бессмыслица.

Авто-ритет бессмыслицы
александрвведенский.
12 ноября 1925 г.

В «САМОВЩИНУ»
о том как я пишу стихи — говорю в тезисах.

1) Принимая теорию «Расширенного восприятия»,[75] пользуюсь исключительно ее следствиями, как то:

а) Новая стройка логики по отношению к событиям.

б) Неограниченное тематическое смещение.

2) Отвергаю смысловое построение как метод работы при создании вещи.

3) В отдельном стихе смысл подчиняется интонации этого стиха, стоящей в зависимости от интонационной дуги и подчиняющей себе словесный материал.

4) Ритм занимает место: стиля, времени и обстановки.

5) Ритмика течет из напевной в конструктивную.

6) При пользовании согласными фонемами принимаю двадцать законов Туфанова.[76]

7) В период творчества о тезисах не думаю.

8) Больше писать нечего.

Ваш покорный слуга
Даниил Хармс
1925. 11 ноября

I. *Конструктивизм* есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного / сведенного в фокус в предустановленном месте конструкции.

II. Конструктивизм как абсолютно творческая (мастерская) школа, утверждает универсальность поэтической техники; если современные школы порознь вопят: — звук, ритм, образ, заумь и т. д., мы, акцентируя И, говорим: И звук, И ритм, И образ, И заумь, И всякий новый прием, в котором встретится действительная необходимость при установки конструкции.

III. Конструктивизм есть формальная школа. Конструктивизм в праве требовать от конструктивиста отражения современности, но не только с объективной, а и с сугубо субъективной стороны.

IV. Конструктивизм есть высшее мастерство, глубинное, исчерпывающее знание всех возможностей материала и уменье сгущаться в нем.

V. Конструктивизм — это организация конструктивистом себя в форме — форм.

VI. а) В машине винт винту помогает. Построенные на объективных, природных, открытых наукой законах, машины напоминают необходимость, естественность, наконец — просто выгоду дружелюбной совместности.

б) Конструктивизм — школа, стоящая на твердом, научном, машинном фундаменте, — по существу своему коммунистичен. Организацией конструкций он воспитывает солидарность, товарищескую и братскую спайку. Конструкция — яркий пример того, как «форма» может «содержать» необходимость и силу единства.

VII. Мастера всех веков предчувствовали конструктивизм, и только мы осознали его как локализацию материала, мы сквозь форму идем в форму форм — мы растем.

VIII. а) Содержание естественно: природные свойства нудят материализовать его в слове. В нем конструируем мы пути НАШЕГО РОСТА.

б) Цель — небывалые формы тесать.

в) Залог — воля, хитрость, в⟨е⟩рность и знания железобетонный упор.[77]

Борис Черный

12/11 25 г.
Ленинград

IX

А. Туфанов

О ЛЕВОМ ФЛАНГЕ В ПОЭЗИИ[78]

Мы живем в чудесное, удивительное время. Совершается Великая [духовная] революция в области мысли, и человечество чувствует как бы подземные удары от грядущего землетрясения.

Я имею в виду революцию духовную в связи с новейшими открытиями в области теории познания, биологии, языкознания и др. научных дисциплин.

Этот внешний мир, «бытие» в свете достижений акад. Павлова, Марра, Бехтерева и мн. др. озаряет «сознание» поэтов, художников, и уже не «завитки горошка» уже не мимозы и не любовь вдохновляют их, а «самовщина», с ее расширением познающей мир личностью.

Пролетарский Октябрь обязывает. Сделав шаг к коммунизму, нельзя при восприятии мира делать «два шага назад». Школа Павлова учит нас, поэтов и художников, что, наряду с центральным (условным), существует и периферическое зрение. Поглядите в мастерской худ⟨ожника⟩ Матюшина на два квадрата, двигающихся по нитке от центра.

При раздвигании в стороны, эти квадраты под углом в 45° уже кажутся ромбами. При применении этого расширенного зрительного восприятия ко всему окружающему, внешний мир для нас уже потеряет свой обычный рельеф, обычные очертания. Художник рисует с натуры человека, а в его композиции, на холстах зритель человека не видит.

То же и в области стиха, в связи с новейш⟨им⟩ учением о времени и теорией относительности Эйнштейна. Для нового человека с революционным мышлением время — качественное множество. Прошлое всегда втекает в настоящее, в мгновенность, умирающую и воскрешающую бесконечно. Поэтому, слушая, напр⟨имер⟩, частушки Арх⟨ангельской⟩ губ⟨ернии⟩, нельзя уткнуться только в отражение соврем⟨енного⟩ быта (это будет «два шага назад» — пространственное восприятие времени), а надо[79] еще одновременно «слышать» песни новгородской вольницы XIV ст⟨олетия⟩. Это будет новое расширенное восприятие, путем смыкания, смещения, при слиянии и взаимном проникновении образов прошлого и настоящего. Это будет своего рода диалектика Маркса, раскрепощенная от пространств⟨енного⟩ восприятия времени.

Вот почему поэт⟨ы⟩ Левого Фланга,[80] с его расширенным восприятием времени и пространства идут изнутри, из себя, но вследствие приемов смыкания и смещения, их переживания преобразуются в художественные образы — «искаженные» (заумники, экспрессионисты). Для искусств на протяжении многих веков есть очень простая классификация:

1) воспроизводить, 2) украшать

1) исправлять (природу и человека), 2) воспроизводить,

3) украшать и 4) «искажать».[81]

Это можно наблюдать и в веках и в жизни единой творческой личности. Все-таки и Герасим⟨ов⟩[82] ⟨пролет⟨арский⟩ поэт⟩ пришел к «душе», как к единственному источнику и единств⟨енной⟩ цели худож⟨ественного⟩ творчества и «сознал» необходимость возврата их к чувству, к миру ощущений, что на протяжении веков остается непреходящим и что единственно ценно человечеству.

Левый фланг зовет чувствовать мир,[83] творить его и наполнять природу тем живым, трепещущим в мгновенности духом, который человечество утратило к началу XX века.

[Теперь уже не должно казаться парадоксом выражение — видеть и слышать «затылком».[84]]

Левый фланг в качестве материала берет звук человеческой речи, для которо⟨го⟩ сделана попытка, правда лингвистич⟨еским⟩ путем, воскрес⟨ить⟩ изначальные функции — вызывать то или иное двигательное ощущение;[85] берет слово как таковое, с воскрешением первозданной стихии образа; берет сочетание слов, с устранением обычных соотношений между человек⟨ом,⟩ природой и вещами; делает попытки языковых смыканий в сторону яфетических народов и трансформаций яфетич⟨еских⟩ языков; производит языковые смещения к морфемам праславянского, древнееврейского, санскрита и др⟨угих⟩ языков, и также к народной морфологии языка, пользуется генетической семантикой при воспроизведении эпох, редуцируемых в будущее и обратно — редукцией современности в прошлое, и наконец, во имя совершенства худож⟨ественного⟩ творчества, черпает материал в самой стихии языка при условии соответствия органов артикуляции.

Таким образом, зарождающийся левый фронт в искусстве помимо социальных основ мироощущения, имеет основы физиологические, опираясь на опыты акад⟨емика⟩ Павлова и лингвистические в индоевроп⟨ейском⟩ и яфетическом языкознании.

Так же, как в живописи, в левом фронте поэзии есть уклон и к абстрактно-звуковому творчеству и к конкретно-словесному, но как в тех, так и в других — расширение восприятия времени и пространства.[86]

Абстрактная заумь[87]

Сиинь соон сиий селле соонг се
Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь
Лиий левиш ляак ляй сииньлюк
Ляай луглет ляан лилиин лед...

Здесь нет «никакого смысла», но звуковые аккорды с вызывают ощущение двойного лучевого волнообразного движения, а аккорды л — ощущение волнового линейного направления к подвижной точке.

Экспрессионизм

Ша́вит, шавит за шоломянем
В шорах шает Русь-шуга
Зашумуем мы на ко́монях
И чарынью въедем в гай

Имажинизм

Святослав мой, шило пулемета
Твой висок проткнуло на заре,
Поверните вкось на корабле былинном,
Плачен, — причета плачный рей...

⟨Между 23 и 30 декабря 1925⟩

X

А. Туфанов

СТИХИ О «ЛЕВОМ ФЛАНГЕ»[88]

Лесовала вольница искони
В буйные, привольные, золотые дни
В волоках разбойничьих на стану
Головы не гнула. На кону
У-ух лесовик мой поет без слов,
Свищет, аукает, бьет веслом
Но сполошный колокол на кремле
Разбудил татарина на земле
И пошли под лешеву дудку петь
И пришел татарином из степей
Соловьи татарина из степи
А лесовик мой поет без слов
Свищет, аукает, бьет веслом
Лесовала вольница. Я зимел
А пришли на смену ей только мы
Вилами ладошами бьет нам лесовик
Ухает, аукает

⟨Май 1926⟩[89]

XI

Александру Васильевичу знаме
в руки кол о трех концах
древнерусское сознанье
дремлет ночью и в отцах

Там в окно скакает всадница
ноги тянет в Астрахань
здравствуй марфа ты посадница
ты ныряешь сквозь лохань

Александру Васильевичу колокол
он на вече был пестёр
мы ходили мимо около
тухнут звёзды и костёр

Даниил Хармс

1926 6 декабря[90]

XII

Документы, связанные с попытками вступления И. Маркова в Союз поэтов

В Правление Ленинградского Отделения Всероссийского Союза Поэтов от Группы Левого Фланга

ЗАЯВЛЕНИЕ[91]

Мы предлагаем:

при пересмотре вопроса о приеме в члены Союза члена Группы Левого Фланга *Игоря Маркова* и при окончательном зачитывании рецензий о его стихах,

пригласить на заседание члена Группы Александра Туфанова, в целях информации о характере рецензирования,

так как по имеющимся у нас данным рецензии в 1-ый год существования союза не носили формально-профессионального характера, а справка, данная Эрлихом о рецензиях на стихи Маркова (во 2-ом отчетном году) нас не удовлетворила.[92]

Члены Левого Фланга

А. Туфанов

21/V 26 г.

* * *

Поэзия[93] Игоря Маркова — поэзия «речевых» образов при условии синтаксического их оформления. «Сталью дерево», «В ребрах доски» — два образа, неразложимых на составные части. Такие фразы-образы дают ряды представлений, в общей композиции внешне не связанных:

Всем скорбящим... гимн
Шумом труда напряжен
Рук моих серафим,
Ласковый угол⟨ь⟩ жен...

Последний стих, кроме того, дает образец метафоры, рожденной путем синтаксического сокращения: *Ласковые жены, как уголь*: *как* сокращается, им⟨енительный⟩ пад⟨еж⟩ *жена* превращается в родительный, *уголь* становится подле женщин, к которому переходит определение *ласковый*, стих: *ласковый уголь жен.*

То же построение наблюдается и в прозе Игоря Маркова (см. «Иоанн Златоуст» и др.). Он пишет: «Мудрость — нужда амвона, чудо в словах. Народ молча ждал неверием. Иоанн Златоуст... в откосах оврагов полями бродил...»

Если подходить к творчеству как к эстетическому катарзису, то формальные приемы Игоря Маркова ведут его, несомненно, к субъективной школе (Вейнингер, Липа, Фолькельт, Генекен, Гюйо), т. е. к процессу *расширения* личности художника, расширения амплитуды его творческих энергий в акте освобождения его от гнета порабощающих аффектов, находящих себе выход в эстетическом экстазе и в перевоплощении его в образы творческой фактории.

Воля к жизни, утверждаясь за пределами жизни «Я» художника, дает в речевом образе-фразе совокупное, целостное переживание других, дает *представления* о душевных движениях; отсюда впечатление *искажения* исходного переживания в душе художника.

Таким образом, по методу творчества «расширение субъекта», течение, возглавляемое Игорем Марковым, должно быть отнесено к экспрессионизму.

Материалом его искусства является фраза-образ при синтаксическом оформлении.

Основными *приемами* являются: 1) устранение обычных соотношений между представлениями и 2) пользование методами, возникшими из синтаксического стяжения и перестановки отношений между двумя предметами («ласковый уголь жен»).

Кроме того, к особенностям творчества Маркова надо отнести еще особый языковой жанр — редукцию к народной этимологии и языку, особенно ощутимую в сказке «Колобок-бегунок»:

Закатился колобач
За осиновый пеняч,
За елушник, где медведь
Лесовихе варит снедь...

ДЕКЛАРАЦИЯ[94]

1. Искусство — катарзис — непроизвольный процесс освобождения, разряжения творческих энергий художника и объективации его творческих замыслов и образов фантазии во внезапных вспышках интуиции.

2. Художественное творчество есть акт расширения личности художника за пределами своего «Я».

3. Расширенное восприятие идей от периферического зрения и слуха.

4. Речевые образы вызывают представление о движении, а не само движение.

5. Речевые образы уводят зрителя от исходного переживания и дают искаженные представления.

6. Предметом изображения являются представления предметов.

7. Материал искусства в стихии языка, при условии соответствия органов артикуляции.

XIII

ПИСЬМО А. В. ТУФАНОВА Ф. К. СОЛОГУБУ[95]

Уважаемый Федор Кузьмич,

в Ленинграде существует организация поэтов «Левый Фланг», члены которой, правда, пока не все, состоят членами Союза Поэтов и Союза Писателей.

«Левый Фланг» имеет связи с провинцией, в лице членов-корреспондентов, выступающих с нашими частушками, и членов-сотрудников в Сибири.[96] Имеет секцию «Любителей русского языка», выступающую с докладами о сказках, частушках и т. д.

По каким-то соображениям, на вечере Всеросс⟨ийского⟩ Союза Поэтов и Союза Писателей в память Есенина[97] «Левому Флангу» не дали ни одного места.

Чтобы не быть произвольным в толковании этой «линии», Объединение «Левый Фланг» просит Вас, Федор Кузьмич, не отказать нам в сообщении о (обрыв текста. — *Публ.*).[98]

⟨Начало февраля 1926⟩

XIV

Е. ДЖЕМЛА, Д. ХАРМС, А. ВВЕДЕНСКИЙ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ «ЛЕВОГО ФЛАНГА»[99]

На прошлом собрании мы решили уйти из объединения. Объясняется это тем, что последнее время замечалась известная несогласованность по вопросу о редакционных комиссиях и в некоторых других принципиальных пунктах; разногласия, которые, по-видимому, не могут вырешиться внутри объединения.

Мы считаем, что в воскресенье 31/I с. г. в Ц. Д. П. объединению необходимо выступить в том составе, который был обещан администрации Ц. Д. П., а потому наш фактический уход имеет быть в феврале с. г.

Настаиваем на изменении прошлого постановления об употреблении гонорара с тем, чтобы гонорар был разделен поровну между выступавшими товарищами.

Ев⟨г⟩Джемла
александрвведенский Даниил Хармс

⟨27 января 1926⟩

XV

ЗАПИСКИ СЛУШАТЕЛЕЙ[100]

Скажите, какую цель преследует художественная литература вообще в частности цель и средства «Вашего» Левого фланга

Как вас прикажете понять? Хоть убей ничего не понятно

Что Вы хотели сказать своими произведениями?

1) Почему стихи Туфанова стихи, а не чепуха?

2) Почему председатель «мировой» зауми преподносит смесь Есенина+Каменский?

Какой смысл имеет заумный язык, когда он не является *средством общения* и имеет только звуковую сторону, т. е. пренебрегает содержанием, односторонен?

1) На каком языке написано Ваше стихотв⟨орение⟩, прочитанное первым во втором отделении

2) Что такое «Заволочье»

XVI

Стихотворения

Игорь Марков[101]

СКОРБЬ[102]

(Rus-marche-et Funebre)

Шаг — гроб.
Шаг — стоп!
Ходим шаг за шагом.
— Тянем, что тянем...
Глядь, — столп.
Под безлунным знаком —
Скорбно бренно нем...
Мутятся созвездьи
В вихре млечно путном;
Мечется о девьим
Притяженьи буднем —
Такт — пульс...
Ходит в православии
Ищет истой веры
Так — пусть!
Вечный дух неправый
Скорбник ты не первый...
Шаг — Русь...
К бесконечной цели
С ложа до постели
Ходит вечный странник
Человечий дух,
«Миг — пух».

КОНТ[103]

Два пламени из внутреннего мира,
Две огненных свечи.
Пред божеством факира
Кость рока — «чет» мечи!
«Нечéт — один»
блуждая
беден
«Где кая?»
Темень.
— мелькая
Две свечи.

И пламени пожары разжигают,
А я — мечи.
И кости чет не знают.
Гори! Гори!
    И идолы факира,
    И ночь гори!
И я ори...
    для мира нужды голос
Гори!
Потухли две свечи.
    Молчи!..

9 авг⟨уста 19⟩23 г.

ЗАПАХИ ЛЮБВИ[104]

Гу́мна. У гумна́.
    Тына тьма.
  Сена сини
    — Запахи
  Сани от зимы
Сохи у гумна
  Вяжет лозиной деревянинна...
  Сонно...
    пьянит
  Прелой сонной
  Гуще тьма
«Ганна моя»
«Цельно жгет дочери весна уста)
    — Коханная...
  Пуще...
    Целовала
        сама —
  Ароматы — ромашки
рвала
  Двое — два...

июль ⟨19⟩23 г.

* * *

Вот тебе, вот тебе, вот тебе!..

Недовольно, дав вольно, довольно!
Заикаясь от слов отрекись.
Нехотя отдается больно
На письмо полуфразная мысль.
    Заспеша запиши обрывки,
Что уловит и крикнет душа,
Ты певец времен изловки,
Недыша запиши закружа!
Скрипнет ручка строфы безымянно:
Я пишу, я пишу, я пишу...
Чет и нечет обрачу парно

И за долг уплачу по грошу.
Очинили остро перья,
За чернильное чувство мое,
В пыльном архиве теперь я
Истязает чиновно хамье.
И закрыли за комнатой комнату
Не пускать, запереть навсегда
И труды, источенные в Лету,
Не пускать, не пускать в города!

11 сент⟨ября⟩ 1923 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СУМАСШЕДШЕГО[105]

I. Плоский крик
об ужасе,
Стал на миг
в хаосе...
Все, все с постели вскочите —
Клокочет внутри кровь,
В первый раз воскрешение плоти
И в последний раз боязнь углов...
«Слушайте декларацию сумасшедшего!»
— «Мученически — теменью
Смотрите, смотрите
жаждою захлебнулись.
Болезнь...
Дайте, ах дайте этого
такого, как я...
Пусть это будет железное, —
Я хочу этот угол:
стремительность создания...
Блуждаю. Боюсь.
Туман... Простыни...
— Все закрыто, ненужно...
— Не вижу. — Осязаю...
Все то, все то
Каким было... ким было, бло,
ушло...»
«Голого растерзали, что нет одежд».

II. Были в городе. — Город шатался в мозгу. Серые камни темнели. Смотрели — видели: ...Хождение!

«День, — ночь».
1) «Сумасшедшие выпущены!
— Нет границ»
Очертило — закружилось. Пляшет душа...
Сам сатана — Не поверили?...
Закружились: миллиарды — миллиард, трили — били 1, 2, 3... 20, 70, этажи, пропасти... динамика... кругом...
«Мешенец! Сообрази сколько,
сколько в твоем котелке мозгу?»

«Бесконечно...»
малое... — большое...
«Вы дроблены, — сударь!» — «Да!»

2) Настоящего — настоящего пожрать бы:
магазин — хлеб — тебя — жизнь, все бы —
Настоящее...

3) Посмотреть в глаза
нет классического: любовь, соловья, луны...
Углы выползли.
Воет собака, ветер.
Наткнулись. — Не вижу... знаю — женщина?
«Эх как бы согреться — внутренне».
Ободрали. Желтые обои сползли. Так тут ночевали? Девушки...
Повязка!.. Затянуть бы затянуть бы их... Желтые
круги, звоните! Зеленое, красное — ножка... — «Ля».
— «Што б твою богородицу с неба,
Матрену на небо;
Так растуды ж разъехались сани в горшки!..»
Аа!.. Аа!.. день, а, а, а — полез на дана
У! метет захлебывается... — метель.
Зубы подвязаны... Прическа — умер...
Тень, тень...
Бита!
Крышка и каюк домой.
«Перелезай через плетень!»
Огонь!
Дышло.
Эй, холерик!
задал истерик
На весь свет:
Хлеба нет!..
Дать бы, — поддать бы, — задать бы... направо — перцу в Запад!..

Тронь ка, человека
Наших дней.
Весь он, весь улика
Уголовных идей...

III. Темно. Выли мерзавцы целую ночь... Калитка, — нервы.
Проходила мысль одетая идеалом, хотелось любить так нежно, как в песке ветер.
Нет прошло (несколько слов вырезано. — *Публ.*)

— Теперь берут.
Хотелось, хочется тебя мавзолеем дум своих. Эти
тяжущие уголки, только и воспроизводят тебя одну.
Призрак бродит по свету...
Объятий любви, торжества.
Ай, только бы отворили на задетую струну тем же...

Все, все творимое — разрушаемое от неудовольствия... — рушим.
Нет себя... растерялись...
Миллиарды, миллиарды, миллиарды... зубрежка, сумасшествие.
Небывалое, раздирающее кверхдонное —
Пошлите на голову!
Я хочу и не найду...
И только призрак бродит.
Мечусь, беру, впитываю и всего много — нет одного...
Пусто в миллиарде.
И дайте миллионы реформ: пусты — пусты вне предметов.
Кто даст того, что ответит только одним и затопит
единицей миллиард: скуки, гримас, боли, исканий?
Пара. Однозвучье. Закон — солидарность
Я — мы — меня...
Самум души твоей брошу в оправдание неверующим,
что ты хочешь — ни фраков, акций-векселей, а
голоса человеческого.

Борис Западалов[106]

1. БЛИЖНИЕ

Вот в этой темной комнатушке
Немало близких собралось...
Сюда приходят Гоголь, Пушкин,
Толстой и Тютчев (частый гость!)
Блуждают тени в полусвете,
За окнами ночь тяжела,
И пусть... В пьянительной беседе
Проходит время... Дни, дела...
Дрожит пахучая бумага,
Стихом лихим прошелестев.
Есть люди... жизнь... любовь... отвага.
Поговорим! Зову гостей
— Я враг царя! Я враг закона!
Шипи, бурли стакан вина,
Где профиль буйного Прудона
Упал на лоб Карамзина.
Стихи и думы — карта к карте.
К кинжалу — быстрый пистолет.
Легко забыть тревогу партий
И разницу времен и лет.
Рев пушек, грохоты картечи —
В укромный сумрак вечеров.
Иной народ, иные речи
Иной опишет Гончаров!
Лети, старинная перчатка,
Как вызов. Жизнь жива в тюрьме!
— Ты враг царя, ты враг порядка,
Свой честно путь пройти сумел.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Торжественное слово: — «сметь!»
Пусть прозвучит, как сталь, как медь...

2. НА БАРКЕ ИСТОРИИ[107]

Будет время, но ждать так долго.
Сон кошмарный и тяжесть груза:
Расплеснулася темным шелком
Ночь, лишенная цвета и вкуса.
Тело тлеет в огне и в скверне,
Звериные лики меры и чисел.
Вечер... Тихо сидит Коперник...
Рассчитывает... мыслит...
Гибель права — грохот железа,
Сталь и стрелы в руке зажатой.
Легион к легиону... Шагает Цезарь
Против дряхлеющего Сената.
Слыша хохот монахов и пьяниц
О том, что безумен он, сед и глуп,
На скрипучей барке плывет итальянец,
Испанский данник Христофор Колумб.
Смеются критики семьею дружной,
Чтоб толстым томом в толпу смердеть.
Харкает кровью... «Воздуха!»... «Душно!»
Умирает Белинский, злодей...
В шатре из сучьев, временный пленник
Новые залпы ближайшего часа
Метко взвесил Владимир Ленин
Над цитатами Карла Маркса.
Над ямой глубокой, веками вырытой,
Гуляют тени и сны туманные.
Но солнце вышло... Светлеют поляны
Времени нового и быта...

3. БЫТИЕ

Каждый раз, когда напевы звонки,
Отбивая рифмами с плеча,
Я несусь быстрее вперегонки
С чистокровкой вихря-лихача.
Пусть луна косится с небосклона,
Вялым взглядом тухнущих углей,
Под веселье золотого звона —
Веселее ширь земных полей.
Редок час безмолвного слиянья,
Захиреет и затлеет хмель,
Как лучом полярного сиянья
Озаряя груду облачных недель,
Чтобы вновь с избытком отдаваясь
Целиком уйти в один порыв.
— Здравствуй, рифма — глушка молодая!
— Здравствуй, странник! Будь и ты счастлив!
Но опять застелют небо тучи,
Как осенний полдень непригож!
Лишь стихами сыплет Федор Тютчев,
Этот дождик, злой осенний дождь.
Час пришел... Надоедают шутки,

Сердце сковывается в свинце.
Виден образ скверной проститутки
На любимом некогда лице...

4. НА КОНЕ

Мы любили бешеную скачку
На конях лихих по крутизне:
Не возьму я счастья как подачку,
А возьму с налету — на коне.
Все пройдет: и битва, и усталость,
Зашумит над мертвым темный бор,
А живой вздохнет, что видел мало,
Что врагу не выстрелил в упор.
Дни пройдут, протянутся мгновенья,
Успокоишься и станешь сед.
Где ты, время бега и движенья...
Грусть потерь и торжество побед
Поклониться в тишине мертвящей?
Тихо все уже который год...
Нет! С конем привычным, как и раньше,
Весело смеясь, пойду в поход.
Мы любили бешеную скачку
На конях лихих по крутизне.
Не возьму я счастья, как подачку,
А возьму с налета на коне...

Евгений Вигилянский[108]

ИЗ ПОЭМЫ «О ЛЮБВИ»

Вступление

Она как яд, как запертая дверь,
ложится к сердцу и не умирает,
равно: зима или апрель
поют о возвращенном рае,

равно: мятеж или ненастье,
или в покое над столом
внимаешь строфам дерзкой власти
или слагаешь — все равно;

и вот журчит такою ж песней
теперь, в строю, в сукне, в ремне,
как в годы всех годов чудесней
утайкой напевала мне.

Не Блок, не Пушкин, — это ты
друг убивающий, ты вложишь
строф путеведенье в персты
и в лоб, веками ставший строже.

Мнет огонь пугливые глаза
и летит твое, Мария, имя
сизый дым, о сизая слеза
снится Рим и ты проходишь в Риме,
смотришь Капитолий и, слегка
головой на руки упадая,
мне заслонишь все и буду недвижим.

Все прошло, а мир, не знаю как,
сбивает с глаз густые облака.

Первая глава

Изыскан слог и громок дифирамб,
о жизнь милая, тебя не знаю строже,
я прибыл в полк — какая-то дыра
и на меня все странно непохожи.

Твердил всю ночь тяжелые слова:
дом бурь — твердил — на островах печали,
плыла сквозь стены голова
кресты над окнами качались.

В шинелях, шлемах шли потом,
несли свой скарб; — военный год
вставал в тумане помелом,
грозил в горящее окно,
рвался по лестнице, гудел
навстречу эхом целых рот.

Проклятый год, как он звенел!

День ровно тянется за днем,
не видно ни щелей, ни двери,
все жестче власть — уже кругом
и время перестали мерить, —

к чему? За нас часы следят,
звонки баюкают и будят,
ходя строями не глядя,
куда, зачем, куда, откуда.

Так в ошалевшие просторы,
в обличье смерти сунув нос
по бесконечности ныряет
огнями демон паровоз,

у семафора колесом
из облак давит хлопья снега;
вот утро, вижу пред собой
дома, дворовую телегу,
так сумрак символы несет,
так ночь тревожит и смущает,

зарниц печальный хоровод
поет надвинувшись с окраин;

А утром выступили в явь
простые вещи, стало скучно,
земля подъяла вверх края,
тарелкой опустились тучи.

РУКОПИСЬ ДРАМЫ

Пролог

Музам неродное слово,
острову твердить приветы,
дереву нести тетради.

В драме

Прозираю вкруг и вот
открывают сновиденья
неудачные решенья;
дни минуют между труб.

Заиграют корабли,
поправляя фонари,
берег тянет к вечной зыби,
отраженья парусов
низко кланяются волнам.

Я, в рукопись сжимая путь,
приказываю повернуть,
на строчки пристально гляжу,
свои поверья им твержу.

На обложке

Считает автор — три —
хватает кошка птиц,
чихает в когти кошка
от любви
и прячется в саду

Глава первая

Играет в три игры,
ломает стан и прут;
на комара из севера
глядится в свой лорнет.

Ее не называют,
она — такая — тихая,
и в облаках вокруг
ей истинной порукою
качается любовь.

Звонкие веточки
лезут в окно,
дверь открывают
в сад и в цветы.

Правый просцениум.

Партнер влезает на кровать,
в ночи возникли каблуки,
сверкают на берег реки;
— пустынник обгорает вспять, —
и вот опять стоит кровать,
и лампы зажжены — зима
как водится и как была.

Цветы растут, сияние

Здесь на двери пишут мелом:
море зелень дичь,
бережком ведут умело
лошадей водой поить.
Ты приди, святая ночь,
светлых чисел напророчь,
на горючую беду,
на старушечью избу;
я пою как лань Кавказа
и Непрядвою плеснув,
вынес на берег печальный
день желанья и прощальный,
сон утраты, дальний путь,
дай же вверх теперь вздохнуть.

Глава вторая

Выход героя:

Словно через палисад,
через брызги и муравы,
я несу цветов кусты;
прохожу где Днепр блещет
чтоб мертвячиной скрипел
месяц из глухой листвы.

Через роги Аппенинов
были дни, ступал и я,
там теперь о грешной Нине
плачет грешная земля.

Аннушка

Грешной Ниною умру я,
где же ты, о где же ты?
(убегает вслед)

Первая интерлюдия

О, Фарфвелло, где же ты?
— умер я
в партере я
идите к чаю
идите там

В бинокль открывается прекрасный вид на море:

По морю снуют валы,
вот и лодка, где же ты?

Ремарка на полях о герое

Ему подобает кафтан.

Собственно глава

Видишь маленькая смерть
на слоновой кости пляшет,
вздор, — да маленькая смерть
горбик холит, шейку гладит.

Пыль подъяла паруса
с плачем в улице пустой;
пусть Рогнеда не она,
но в высоком белом платье
девушка прошла.

Как змея мои края
нет огней, кружат, кружат,
в тетради видны мне края,
миндалевидные глаза
принц очертил.

Так автор, проклиная век
штрихует грустно — человек.

Заключительная часть

Половина первая

Загаснет под дождем гроза,
близко опущенная к окнам,
проходит полдня, день и два,
вжигая тополь в ромб окна,
степенно привыкаю к срокам;
взыскуя в мётлах дворник стук
находит хлопоты привычек,
здесь надо ставить две кавычки:
«в ряду орхестиай иду
и белой лентою обвит».

Половина вторая

Эх, заахали,
бубнами били,
сосне говорили
расти, да расти;
выросла рощей,
а тала макушкой,
цветики растут
дорогие, дорогие...
Вот и все,
Но и снова стало:

Половина третья и конец

Сосны пахнут упрямо,
хилая бьет вода;
я не знаю куда ты
и возвратишься когда.
Через доски подмостков растут
люди, вздымая торсы,
злая, английская весна,
запорошила мои берега.

Обед актёров

Ножки и ручки сложили вместе,
кушая, — спят;
быстрые, над головою вейтесь
галерные вымпела.

РЕШЕТЧАТЫЕ ДИАЛОГИ

В листве старушка рой да рой,
в листве Румянцевского сада,
повернут маковкою сад,
ах, лихолетье, жди меня,
иду назад.

Рукой обёрнута перчатка,
смеешься день? — А я — мечты,
я в этом саде полюбил,
небрежность крохотной блондинки.

Исакий лодкой, ты небес
превратный миг за облаками,
я пиль собачий на ветру,
тебя люблю моя Фантана;
невмерный дом протянет грудь
невдалеке.

Любовная томит походка,
подвязка в шелк окружена,
эх, ты ль вязала над землей
перчаткам этим кружева?

Ищи меня, сквозь желтый лист,
я тут, я там. Ищи меня.
я в этом саде
свои желанья обрядил,
я встречу радостно Фантану.

ИЗ ПОЭМЫ «СЕРГЕЙ ЕЗЕРСКИЙ»

Рекрутский сон необычаен,
солдату снится год войны,
война, среди лесных прогалин,
под небом зоркой синевы.

Звенящим глазом дозирают
его блиндаж их облаков,
потом железо хрипло лает
и лают крыши у домов,

потом письмо от стариков,
о том что дома сын готов,
что девок замуж не берут,
а только лапают и жмут.

Вот гриб запел в лесу родном,
про то деды на погосте,
про то что по болотам кости
толкуют о дому глухом;

так пролетаючи, года,
крепят и прядут невода.

ЗИМНЕЕ

Падай снег великий, падай, падай!
на локте приподнялся с земли,
погляжу на белые награды,
что несут оттуда короли.

Как игрушечные колокольни
закачали вздор колокола,
милый друг, я ничего не помню,
даже то что ты вчера пришла.

Короли несут меня на север,
снег лежит и я лежу на нем,
птица — день, взмахнувшая крылами,
залепляет явь мою кругом.

Ох совсем другою видится земля!
Лягу в снег, со мной винтовка ляжет,
день идет палатам короля,
я лежу на воробьиной страже,

В талый сумрак глядя не спеша
открываю мир за миром снизу.
Жизнь, жизнь, ты всюду хороша
и конец твой так с началом близок.

Константин Соловьев[109]

КАК ПОНЯТЬ?

Ночи полог — бездонная яма —
Город злобною тьмой обложил.
Ветер злой, истеричный упрямый,
За окном надрывающее взвыл.

Тополя с ним, с бродягой бездомным,
Тоже взвыли, как будто с пьяна.
Болью страшной, тоской ль неуемной
Что ли стала их жизнь так полна?

Уж кажись ведь чего бы им мало,
Вольной птицею худо ль летать?
Красоты ль тополям не достало?..
Как мне их, безутешных, понять.

Предосеннею песнею горькой
Может быть в эту ночь изойдут.
Может быть, что и с утренней зорькой,
Будут вновь в непонятном бреду.

Пусть ревет, надрывается ветер,
Тополя ему вторят в ответ.
Знаю я, что есть радость на свете —
Оттого так светло в голове.

ЮНОСТЬ И НОВЬ

Там, где юность — дня нови простор,
Там, где новь — значит, юность могуча,
Смело держит решительный спор
С злом укрывшимся в мертвенных тучах.

Юность брызжет на землю дождем,
Новь растет, побеждает, смеется.
И почет и привет им кругом...
Кто при встрече им не улыбнется?

В позолоте осеннего дня
Юность трактором землю обходит
Радость впрямь опьяняет меня,
Когда новь пробивается, всходит.

Юность, други, и мне не чужда,
И в моей ведь груди она бьется.

Потому-то и я мог рождать
И могу, что вот новью зовется.

Как из солнца, лучится из глаз
Юность в наших рядах молодежных.
Кто не скажет про это из нас?
Или скажет с сомненьем, тревожно?

Там, где юность сознаньем сильна,
Всходит новь там всегда веселее.
Кто отдастся весь нови сполна,
Тот об этом не пожалеет.

Юность с новью слилися в одно.
Там, где юность, там новь побеждает.
Пусть все это не кажется сном,
Пусть об этом из нас каждый знает.

ПЕСНЯ

Славно, буйно разыгрался,
Позабылся, как во сне;
Песней звонко рассмеялся,
Рассмеяться б так и мне.

Сколько радости и силы,
Смелой дерзости в себя
Он вдохнул, чтоб всех давило,
Вольность гордую любя.

И в просторах он могучий
Жизнью полнится на миг,
Поцелуем дерзко жгучим
В сердце каждого проник.

И невольно разгуляться
Сердце хочет, как и он,
Песней звонко рассмеяться,
Влиться в ветряной трезвон.

Вольность ветра, радость ветра,
Ну, кому не по душе?
Песням вольным ветра свет рад,
Как от них не хорошеть.

[1] В этом разделе печатаются записи о заседаниях «Левого фланга», оформленные как протоколы. В следующем разделе — существенно дополняющие их записи, делавшиеся по ходу собрания в блокноте (сохранились на блокнотных листах одного формата). Исключение — протокол от 12 ноября 1925 года, записанный на нестандартном листе: он сохранился только в карандашном наброске, но по форме представляет собой протокол и приложен Туфановым к протоколам.

Протокол № 1 сохранился в беловом и черновом вариантах, написанных рукой И. Маркова. Публикуется по беловому автографу. Лакуны и существенные расхождения даются по черновому автографу. Все остальные протоколы написаны А. В. Туфановым.

[2] В беловом автографе протокола пропуск в тексте. Восстанавливается по черновому автографу.

[3] Здесь и далее сохраняются индивидуальные написания имен и фамилий.

[4] В черновом автографе: «Повестка дня: 1) Об объединении литературн⟨ого⟩ течения поэтов левого фронта 2) Об⟨ъ⟩единяющие пункты группы 3) Форма и назв⟨ание⟩ объединения 4) Технические вопросы организации».

[5] В черновом автографе: «Брали слово, характеризуя свое направление».

[6] В черновом автографе дальше: «Программа литературной работы составляется не как синтез, а как сумма программ отдельных участников и указывает на величину амплитуды в работе группы».

[7] Название «Самовщина», предложенное Туфановым, было отвергнуто другими участниками объединения (см. Протокол левого фланга от 12 ноября 1925 года) и впоследствии не применялось. Оно всплыло вновь только в протоколах допроса Туфанова в ГПУ (1931—1932) (*Хармс Д.* Собр. соч.: В 3 т. СПб., 2000. Т. 3: Тигр на улице. С. 307—312). Однако в этих протоколах допроса следователи намеренно интерпретировали термин «Самовщина» как второе название «Ордена заумников» и сдвигали деятельность самого «Ордена» на 1928—1929 годы, стремясь совместить время существования этой организации с периодом работы Хармса и Введенского в Детском секторе Госиздата.

[8] На обороте чернового автографа запись А. Введенского: «Тов⟨арищи⟩. Сообщаем Вам, что в целях борьбы с Консерват⟨ивным⟩ Искусств⟨ом⟩ в Ленинграде состоялось объединение Левых поэтов, в которое вошли предст⟨авители⟩ след⟨ующих⟩ груп⟨п⟩».

[9] См. ниже (раздел VIII) поэтические декларации участников «Левого фланга».

[10] Обрыв фразы.

[11] Обрыв фразы. Вероятно, имелось в виду: «Считать днем следующего собрания: 18 ноября».

[12] Судя по содержанию протокола и предварительным записям к нему, на заседании присутствовали: Туфанов, Введенский, Черный, Вигилянский, Соловьев, Марков.

[13] Протокол заседания 18 ноября 1925 года в архиве А. В. Туфанова отсутствует.

[14] Протокол заседания от 2 декабря 1925 года не сохранился из-за отсутствия на заседании А. В. Туфанова. См. пункт 1 протокола от 9 ноября. На заседании 9 декабря 1925 года, судя по содержанию протокола и предварительным записям к нему, присутствовали: Туфанов, Соловьев, Хармс, Черный, Вигилянский, Марков, Введенский.

[15] Возможно, к составлению этого проспекта имеет отношение запись Введенского на обороте черновика Протокола № 1. См. прим. 8.

[16] Текст А. В. Туфанова «Слово об искусстве» опубликован в кн.: *Туфанов А. В.* Ушкуйники / Сост. Ж.-Ф. Жаккар и Т. Л. Никольская. Berkeley Slavic Specialties, 1991. С. 181—182.

[17] См. раздел IV данной публикации.

[18] См. раздел V данной публикации.

[19] Судя по содержанию протокола, на заседании 16 декабря 1925 года присутствовали 5 человек: Туфанов, Марков, Черный, Вигилянский, Соловьев.

[20] Судя по содержанию протокола, на заседании присутствовали 7 человек: Туфанов, Марков, Черный, Вигилянский, Соловьев, Введенский и Хармс.

[21] Текст проспекта в архиве А. В. Туфанова не сохранился.

[22] Очевидно, речь идет о речи Туфанова на вечере «Левого фланга» в ИИИ 15 декабря 1925 года.

[23] Судя по содержанию протокола, на заседании присутствовали 8 человек: Туфанов, Марков, Введенский, Хармс, Вигилянский, Соловьев и Богаевский. В качестве гостя присутствовал также поэт Д. М. Цензор.

[24] В материалах А. В. Туфанова, отданных им в Гос. институт истории искусств (ИРЛИ. Ф. 172. № 1735), находится автограф и машинописная копия этого стихотворения, датированная 28 декабря 1925 года:

«От Председателя Земного Шара Зауми и от ушкуйников Древнего Заволочья

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Русь Есенина Сергея на лавке
В большом углу обрядила,
И черемуха стихов в день навий
Без окрутки ничет в мерзлом иле.

Уж ты гой еси, Руси Пугачев,
Проснись...
С топорами под гармонь на погост
Торопись!

О, поэт, к Стужайле в домовину
Не рука ль половчина стряхнула

Избяных твоих песен рябинник,
В есень листодера-разгула?

Принимайте, Руси погощане
Поэта с саней под елку:
С Есениным из-под Рязани
Разгулялась вересинок метелка.

Уж ты гой еси, Руси Пугачев,
Проснись...
С топорами под гармонь на погост
Торопись...

Александр Туфанов».

[25] Джемла — псевдоним Е. И Вигилянского, употреблявшийся в период существования «Левого фланга». Принадлежность этого псевдонима Е. И. Вигилянскому, впервые указанная В. Н Сажиным (*Хармс Д.* Полное собрание сочинений. Записные книжки. Дневник. СПб., 2002. Кн. 2. С. 341), подтверждается сравнением почерка в тексте, подписанном Джемлой (см. раздел XIV данной публикации), и автографах Вигилянского (РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 414).

[26] Выступление В. В. Маяковского в Ленинграде состоялось в зале Академической филармонии (4 января 1926 года).

[27] Судя по содержанию протокола и предварительных записей к нему, на заседании присутствовали 7 человек: Туфанов, Марков, Вигилянский, Введенский, Хармс, Богаевский, Соловьев.

[28] Синхронные записи заседаний представляют собой карандашные наброски со множеством сокращений и трудно читаемых и полустертых слов. Выбирая между публикацией этого материала в том виде, в каком он здесь представлен, и использованием его только в комментарии к другим материалам подборки, публикаторы предпочли первый вариант: в будущем, при новых разысканиях и при сопоставлении с ними, существенные темы и линии этих записей могут проясниться, а карандаш уже сейчас стирается и выцветает («затухает»). Некоторые слова пропущены, отчасти они могут быть восстановлены по контексту и общему смыслу. Однако публикаторы отказались и от мысли реконструировать пропущенные смысловые звенья (кроме единичных случаев), оставляя материал таким, какой он есть, для истолкователей и историков. Все синхронные записи, за исключением отдельно оговоренных фрагментов, сделаны Туфановым на вырванных из блокнота листах одного формата.

[29] Напротив этого пункта поставлен «?».

[30] «Не» вписано сверху, вероятно, сначала было: «Принцип отказываться...»

[31] Между строк вписано: «Вигилянск⟨ий⟩».

[32] Андрусон Леонид Иванович (1875—1930) — поэт, переводчик, детский писатель. Знакомый А. В. Туфанова по Архангельску (1918—1919).

[33] Первоначальный порядок пунктов был другим, при изменении его два последних пункта остались под номером 4.

[34] Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт.

[35] Набросок стихотворения, записан наискосок.

[36] В тексте описка: «Соколов».

[37] Эта запись Туфанова, по всей видимости, примыкает к наброскам отзыва о поэзии И. Маркова, сделана во время собрания (см. раздел XII данной публикации).

[38] Первоначально это был пункт 1).

[39] Речь идет о стихотворении Введенского. См. протокол редакционной комиссии от 9 января 1926 года.

[40] Это предложение написано по вертикали почерком Е. И. Вигилянского.

[41] Пропуск в тексте.

[42] Напротив этого фрагмента на полях: «Марков».

[43] Четверг — 11 февраля 1926 года.

[44] Автографы А. В. Туфанова, по всей видимости, синхронная запись во время или сразу после заседаний.

[45] Все перечисленные здесь стихотворения Введенского не сохранились. Название одного из них в несколько ином варианте «Сказание не то о царьках» присутствует в списке Хармса (*Введенский А. И.* Полн. собр. произведений: В 2 т. Т. 2. Произведения 1938—1941. Приложения. М., 1993. С. 98). Названия двух других произведений Введенского («Происхождение Петербурга» и «Божественная комедия») в известных на сегодняшний день источниках не упоминаются.

[46] Рядом карандашная пометка Туфанова: «(пересмотреть)».

[47] Датируется по протоколам «Левого фланга».

[48] В фонде А. В. Туфанова сохранилось три варианта докладной записки в Союз поэтов об организации «Левого фланга»: 1) набросок рукой А. В. Туфанова; 2) список участников Объединения поэтов «Левый фланг» и докладная записка, выполненные И. Марковым и затем

правленые А. В. Туфановым; 3) машинопись (копия, 2-й или 3-й экземпляр). Публикуется машинописный вариант. Разночтения с другими вариантами отмечены в комментариях.

[49] В варианте (2) перед текстом записки приведен перечень участников объединения:

Объединение поэтов «ЛЕВЫЙ ФЛАНГ»
участвуют:

Бугаевский (вставка А. В. Туфанова. — *Публ.*)
Александр Введенский (авто-ритет бессмыслицы)
Джемла Евг.
Заточник Даниил
Игорь Марков (речевок экспрессионист)
Соловьев Кота
Туфанов Александр (заумь)
Черный Борис (конструктивист)

[50] В варианте (1): «Объединение под названием „Левый фланг" состоит ⟨из⟩ представителей левых течений в Ленинграде с их ответвлениями».

В варианте (2): «Объединение под названием „Левый Фланг" состоит из представителей левых течений в Ленинграде — зауми, конструктивизма, речевока и экспрессионизма с их ответвлениями».

[51] В варианте (1): «В Объединение входят: Введенский Александр (Авторитет бессмыслицы), Джемла (вставка. — *Публ.*), Западалов Борис, [Иви] Заточник Даниил (написано над зачеркнутым «Иви». — *Публ.*), Марков Игорь (экспрессионизм), Соловьев Кон⟨стантин⟩, Туфанов Александр (Заумь), Хар[мс Даниил] (взир-заумь), Черный Борис (конструктивизм) — всего 8 человек».

В варианте (2): «В объединение входят: Бугаевский (вставка А. В. Туфанова. — *Публ.*), Введенский Александр (авто-ритет бессмыслицы). Джемла Евг., Заточник Даниил, Марков Игорь (речевок), Соловьев Кота, Туфанов Александр (заумь), Черный Борис (конструктивист), [Борис Западалов (экспрессионист)] всего 8 человек».

[52] Речь идет о библиографическом указателе «Русская устная словесность» (Л., 1924), составленном Н. Л. Бродским, Н. А. Гусевым и Н. П. Сидоровым.

[53] В варианте (1): «Член Объединения Туфанов имеет теоретические работы в области поэтики, напечатанные и заслушанные в Академии Наук (о частушках)». Статья Туфанова «Ритмика и метрика частушек при напевном строе» опубликована в «Красном журнале для всех» (1923. № 7—8. С. 76—81). Републ.: *Туфанов А. В.* Ушкуйники / Сост. Ж.-Ф. Жаккар и Т. Л. Никольская. Berkeley Slavic Specialties, 1991. С. 128—142. Согласно авторскому примечанию, одноименный доклад был прочитан в заседании этнографического отделения Академии наук 20 апреля 1923 года.

[54] В варианте (1) далее: «При устройстве вечера одному из участников предоставляется слово об искусстве, а затем программа распадается на 8 программ.
Прилагается список стихов и рассказов участников вечера».

[55] В варианте (2) далее: «Черный стоит на платформе, опубликованной в „Мене всех".

На вечере [одному] один из участников [предоставляется слово об искусстве] информирует собрание о выступающих, а затем программа распадается на 8 программ.

[Образец прилагается при сем] Примерная программа». Последние слова — рукой А. В. Туфанова. На этом текст кончается.

[56] Сохранилось 4 варианта публикуемого Заявления: три автографа А. В. Туфанова (черновой, промежуточный и беловой) и машинописная копия белового варианта, по которой мы публикуем этот текст.

Перечислим текстологические (и вместе с тем содержательные) отличия между ними:

В черновом автографе состав участников указан следующим образом: «Введенский Александр (Авторитет бессмыслицы), Джемла (вставка. — *Публ.*), Западалов Борис, [Иви] [Вигилянск⟨ий⟩], Марков Игорь (речевок (вставка. — *Публ.*) «экспрессионизм⟨»⟩), Соловьев Конст⟨антин⟩, Туфанов Александр (Заумь), [Хармс] Заточник Даниил (взир-заумь), Черный Борис (конструктивизм), всего 8 человек, из которых Введенский, Марков и Туфанов состоят членами Союза».

Заключительный абзац Заявления в черновом автографе: «А потому члены Объединения просят Правление утвердить Объединен⟨ие⟩ [«Левый Фланг» в качестве филиального отделения, с зачислением Западалова, Иви, Соловьева и Хармса членами Союза,] как отдельную секцию Союза».

В промежуточном автографе список участников совпадает с окончательным вариантом, за исключением одного: в нем не значится К. Соловьев. Его имя вписано между Марковым и Туфановым в беловом автографе.

[57] Из перечисленных лиц членами Союза поэтов состояли только Введенский и Туфанов. От Маркова было лишь подано заявление о вступлении, однако он не был принят, несмотря на неоднократные попытки добиться членства в Союзе.

[58] Термин заимствован Туфановым из работ Н. Я. Марра.

[59] Термин заимствован Туфановым из работ Н. Я. Марра.

[60] О функциях согласных фонем см. книгу А. В. Туфанова «К зауми» (Пг., 1924).

[61] Термин И. И. Маркова.

[62] Термин А. И. Введенского.

[63] На этом текст кончается. В промежуточном автографе указаны «члены организаторы», подписывающие Заявление: «А. Туфанов и И. Марков».

[64] «Проект Устава...» представлен черновым (карандашным) и правленым (не полностью) автографами А. В. Туфанова. На черновом автографе помета: «Проект». Разделы «Общие положения», «Члены объединения» и «Организация» печатаются по правленому автографу, разделы «Цели объединения» и «Средства объединения» сохранились только в черновом автографе и печатаются по нему. Кроме того, отдельные наброски к разделам остались на оборотах листов, содержательные дополнения приводятся далее в примечаниях. «Устав Самого Себя в Самовщине» — карандашный набросок без исправлений.

[65] В черновом автографе: «поэтов и художн⟨иков⟩ (искусстварей)», причем все после «поэтов» — вставка.

[66] В черновом автографе: «[поэты] и художники (искусствари)».

[67] К этому же, очевидно, относится и набросок на другом листе:

«В члены Самовщины вступают (обрыв предложения. — *Публ.*)

Гости приглашаются на общие собр⟨ания⟩, а на орган⟨изационные⟩ и внутр⟨енние⟩ собрания не допускаются.

В члены зачисляются подав⟨шие⟩ ⟨свои произведения?⟩ по ознакомлении с произведениями, и собрание⟨м?⟩ найдется приемлемыми».

Там же: «Внутри „Самовщины" поощряется организац⟨ия⟩ мастерских, литер⟨атурных⟩ школ, [студий и пр.] кружков и пр.».

[68] В черновом автографе первоначально: «одного раза в месяц».

[69] На обороте других листов дополнения, видимо, также относящиеся к порядку проведения собраний: «Для ознакомления с „Самовщ⟨иной⟩" вырабатывает⟨ся⟩ и утверждается программа общим собранием, с диктатором. Кажд⟨ый⟩ мож⟨ет⟩ предлож⟨ить⟩ свою прогр⟨амму⟩ в смысле популяризации и ознакомления, котор⟨ая⟩ утверждается и становится диктатором-инициатором при проведении (обрыв текста. — *Публ.*)»; «На каждом общем собрании предлагается программа и для проведения выбирается диктатор, который (обрыв текста. — *Публ.*)».

[70] Напротив последнего положения стоит «?». Внизу страницы попытка сформулировать это же положение иначе: «Революц⟨ионное⟩ воздействие на массы, в сотрудничестве со всеми идеологически наст⟨роенными⟩ революционными со всеми ⟨последователями⟩ революционной идеологии».

[71] Оба текста («Устав» и «Условия») написаны на одном листе. Автограф А. В. Туфанова.

[72] «членов» — вставка.

[73] Конец текста.

[74] Автографы. Сохраняются особенности написания слов; пунктуация, за отдельными исключениями, унифицирована. Решение о том, чтобы каждый участник объединения представил свою поэтическую декларацию, было принято на заседании 12 ноября 1925 года в связи с выработкой устава и программных документов «Левого фланга».

[75] Теория «расширенного восприятия» представляла собой примененную Туфановым к поэтическому материалу теорию «расширенного смотрения» художника М. В. Матюшина. Согласно Туфанову, «Матюшин — сторонник „расширенного" восприятия по отношению к пространству, я — сторонник „расширенного" восприятия по отношению ко времени» (*Туфанов А. В.* Заумный орден // Туфанов А. В. Ушкуйники. С. 176). На практике это означало смещение временных и языковых пластов, нарушение причинно-следственных связей и т. п.

[76] Речь идет о «пространственно-образном воскрешении функций согласных фонем». См.: *Туфанов А. В.* К зауми. Пг., 1924. С. 14—15.

[77] Весь текст (за исключением пункта III) заимствован Б. Черным из декларации А. Н. Чичерина и И. Л. Сельвинского «Знаем. Клятвенная конструкция (декларация) конструктивистов-поэтов» (М., 1923).

[78] Два правленых автографа; публикуется первый вариант. Второй из них — с меньшей правкой и, вероятно, несколько более поздний — не имеет начала. Наиболее существенные разночтения приводятся ниже.

Как и подавляющее большинство теоретических статей Туфанова, данный текст представляет собой обоснование заумной поэзии через достижения других наук (философия, физиология, языкознание), не связанных напрямую с поэтическим творчеством. Текст является теоретическим докладом, предназначенным для оглашения на вечерах «Левого фланга».

[79] Второй вариант начинается со слов «надо одновременно...».

[80] Во втором варианте: «Вот почему поэты [Левого Фланга], порвавшие с академизмом и со всяким эпигонством в поэзии...» и т. д.

[81] Во втором варианте: «Надо заметить, что для искусств на протяжении многих веков есть очень простая классификация: 1) исправлять (природу и человека), 2) воспроизводить, 3) украшать и 4) „искажать"».

[82] Герасимов Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт. О нем см.: Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1 / Под ред. Б. П. Козьмина. М., 1991. С. 84—86; Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 540—541.

[83] Во втором варианте: «И зарождающийся „Октябрь" в поэзии зовет чувствовать мир...» и т. д.

[84] О «смотрении затылком» писал художник М. В. Матюшин, работы которого оказали влияние на теоретические построения Туфанова по обоснованию зауми.

[85] См. кн. А. Туфанова «К зауми». Петерб., 1924 г. — *Прим. А. В. Туфанова.*

[86] Перед примером из «абстрактной зауми» во втором варианте:

«Народная заумь: Шол кокушак на рубашку.

(См. Акад. Веселовский: «образ эволюционирует к созвучию» — Поэтика)».

[87] Данное четверостишие представляет собой часть стихотворения Туфанова «Весна», опубликованного в его книге «К зауми».

[88] Черновой автограф стихотворения хранится в личном архиве А. В. Туфанова вместе с другими материалами по «Левому флангу» и помещается здесь как еще один штрих к истории Объединения. Печатается по верхнему слою правленого автографа.

[89] Датируется предположительно по положению среди других материалов из архива Туфанова.

[90] Беловой автограф Д. Хармса в блокноте Туфанова с записями о древнем Новгороде. Прописные буквы и пунктуация не соблюдены (здесь сохраняются авторские). Расположение строф сохраняется. Публикуется впервые.

[91] Печатается по беловому автографу А. В. Туфанова. Кроме него, есть черновой карандашный набросок.

[92] В черновом карандашном наброске последний абзац: «Кроме того, Группа Лев⟨ого⟩ Фланга просит устраивать диспуты по материалам рецензируемых стихов».

[93] Автограф А. В. Туфанова с незначительными исправлениями. Вероятно, это отзыв о Маркове, связанный с хлопотами Туфанова о приеме Маркова в члены Союза поэтов, и, точнее, текст планировавшегося им выступления. Отзыв написан на трех листах, вырванных из блокнота, и обрывается с концом третьего листа.

[94] Автограф А. В. Туфанова с небольшими исправлениями. На обороте — карандашная помета: «О Маркове».

[95] Черновой автограф, не окончен.

[96] Речь идет, по-видимому, о Г. Н. Матвееве, который впоследствии упоминал о знакомстве с Туфановым (Из воспоминаний Г. Н. Матвеева // Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991. С. 540).

[97] Вечер состоялся 8 февраля 1926 года.

[98] На основании этого чернового варианта А. Туфанов составил новое письмо Ф. Сологубу, которое сохранилось в архиве Союза писателей (ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1. № 330. Л. 4):

«Уважаемый Федор Кузьмич,

В Ленинграде существует организация поэтов „Левый Фланг", члены которой, правда, пока не все, состоят членами Союза Поэтов и Союза Писателей.

„Левый Фланг" имеет связи с провинцией, в лице членов-корреспондентов, собирающих частушки и выступающих с ними под нашим руководством, и членов-сотрудников в Сибири. Имеет секцию „любителей русского языка", выступающую с докладами о сказках, частушках и т. д.

На вечере Союза Писателей и Союза Поэтов в память Есенина „Левый Фланг" не получил ни одного места.

Члены-учредители: И. Марков, А. Туфанов. 5/II 1926 г.».

Письмо было зарегистрировано в Союзе писателей, о чем свидетельствует входящий № 271 и дата: 16/II-26 г. На заседаниях Правления это письмо не обсуждалось, так как, судя по дате регистрации, поступило в Союз со значительным опозданием. Публикаторы благодарны Т. А. Кукушкиной за указание на чистовой вариант данного письма.

[99] Автограф. Написал текст заявления Е. Джемла (Е. И. Вигилянский), подписали — он, Д. Хармс и А. Введенский.

[100] Орфография сохраняется.

[101] ИРЛИ. Р. I. Оп. 17. № 24.

[102] Правленый автограф. Печатается по верхнему слою, явные орфографические ошибки исправлены.

[103] Правленый автограф. Печатается по верхнему слою, явные орфографические ошибки исправлены. Первоначальное название стихотворения «Факир».

[104] Стихотворения «Запахи любви» и «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!..» — беловые автографы.

[105] Вырезка из неустановленной газеты.

[106] ИРЛИ. Ф. 172. № 591.

[107] Первоначальное заглавие: «Historia».

[108] РНБ. Ф. 1232. № 414. Беловой автограф.

[109] Публикуемые здесь стихотворения К. Соловьева впервые напечатаны в газете «Плуг и молот» (Галич): 1926, № 65 (27 авг.), № 67 (3 сент.), № 72 (21 сент.). Другие стихотворения К. Соловьева см. также в газете «Плуг и молот»: 1925, № 16 (24 февр.), № 28 (13 апр.), № 59 (6 авг.), а также в кн.: Зерна. Литературный и юмористический сборник всех местных авторов. Галич, Костромской губ., 1926.

© *А. Г. Тимофеев*

О НЕИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ БРОШЮРАХ, ИЗДАННЫХ В ФИНЛЯНДИИ

В процессе работы над редакционной перепиской «Журнала Содружества» (Viipuri / Выборг, 1933—1938) за 1932—1936 годы нам довелось обнаружить в составе фонда этого эмигрантского издания в Ленинградском областном государственном архиве (далее: ЛОГА) две редчайшие брошюры, которыми уместно открыть дополнительный список русской литературы, опубликованной в независимой Финляндии.

Как известно, наиболее полным сводом информации о литературе на русском языке, изданной в Финляндии за полтора с небольшим столетия, является библиографический труд Б. Хеллмана и Ю. Челлберга, выпущенный хельсинкской Университетской библиотекой в 1988 году.[1] Важно помнить, что если в отношении книг XIX и начала XX века авторы указанного исследования опираются в том числе на опубликованные труды своих русских предшественников, где учитывались издания, выпущенные на финляндской территории,[2] то по отношению к произведениям печати 1914—1972 годов библиография Хеллмана и Челлберга является единственным авторитетным сводом источников. Сочтя «изданиями» любые «публикации объемом более двух страниц», ее авторы включили в общий перечень «брошюры, в том числе коммерческие публикации и выставочные каталоги, обычно не регистрируемые и не отражаемые в библиографиях».[3] «Целью данной библиографии, — сообщили Хеллман и Челлберг в «Предисловии» к своему труду, — являлась полная регистрация русской литературы, изданной в Финляндии по 1972 г. включительно.[4] Однако собирание и сохранение русских изданий носило порой весьма случайный характер, поэтому восстановить и исправить возникшие пробелы сегодня очень сложно».[5]

---

[1] См.: *Hellman B., Kjellberg J.* Библиография русской литературы, изданной в Финляндии: 1813—1972. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1988. (Publications of the Helsinki University Library; [Vol.] 52).

[2] См.: Финляндия в русской печати: Материалы для библиографии, собранные М. Бородкиным. СПб.: [Гос. типография], 1902; Финляндия в русской печати: Материалы для библиографии. 1901—1913. Пг.: Гос. типография, 1915. (По данным Генерального алфавитного каталога РНБ, автором библиографии является видный юрист Николай Николаевич Корево.) Ранее был издан указатель: *Бородкин М.* Финляндия в русской печати: Материалы для библиографического указателя книг и статей о Финляндии. Вып. I: (А-Е). СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1899, материалы которого полностью вошли в издание 1902 года.

[3] *Hellman B., Kjellberg J.* Библиография русской литературы, изданной в Финляндии... P. 10 (ненум. паг.).

[4] Библиография была доведена авторами до 1972 года, поскольку в дальнейшем, по их словам, «количество малостраничных изданий на русском языке настолько возросло, что сделало принципы охвата материала, принятые в данной работе, практически нереализуемыми» (Там же).

[5] Там же.

Характер не менее случайный имело сохранение редких и весьма любопытных с исторической точки зрения русских брошюр финского происхождения в Советском Союзе. Достаточно указать в этой связи на архивный заголовок дела, содержащего редакционную корреспонденцию «Журнала Содружества», куда было вписано сокращенное название одного из таких изданий: «Переписка с белоэмигрантскими объединениями, союзами и частными лицами о распространении журнала, сборе денег на памятник писателю Андрееву, о представлении статей в журнал, о стройках в Советском Союзе, об условиях работы в СССР, о жизни русских в Финляндии и др. *Устав благотворительного общества „Комитет Матильды Вреде"*. Начато 18 декабря 1932 г. Кончено 29 декабря 1934 г. Фонд Редакция „Журнала Содружества" (орган белоэмигрантов, гор. Выборг)».[6] Сейчас уже не вполне понятно, какими соображениями руководствовались сотрудники архива, давая объемистому делу редакционной переписки журнала столь подробное название, более напоминающее проект оглавления; возможно, стремились подчеркнуть наличие информации о *белоэмигрантских объединениях* и *союзах* в секретном о ту пору деле. Как бы то ни было, экземпляр опубликованного «Устава Благотворительного общества, в Память баронессы Матильды Вреде, под названием „Комитет Матильды Вреде"» (Viipuri: Karjalan Kirjapaino Oy, 1933. 4 с.; на русском и финском языках) сохранился, будучи вшитым в переписку редакции.[7]

Филиал общества был создан по инициативе заведующей начальной школы в пос. Териоки В. Н. Абрамовской (?—1958)[8] в 1933 году, т. е. на пятом году со дня кончины баронессы Матильды Карловны Вреде (1864—25.12.1928), председателя Финляндской группы Международного союза примирения, известной благотворительницы.[9] Информация о возникновении новой организации была помещена на страницах «Журнала Содружества».[10] Однако более подробный рассказ о деятельности териокского Комитета можно найти лишь в современных воспоминаниях: «...В. Н. Абрамовская была председателем филиала Комитета им. М. Вреде, секретарем была Екатерина Антониевна Быстреевская, дочь о. диакона А. А. Быстреевского, которая была очень активна в делах молодежи и в культурной жизни в Териоках. 1934—35 были лучшими годами деятельности комитета. Причиной плодотворной работы было наличие молодежи, которая с душой участвовала в жизни комитета. Деятельность комитета „вредителей" продолжалась до последнего дня существования Териок, еще весной 1939 года работа велась достаточно большая. Общество наше было официально зарегистрировано по всем правилам финляндского законодательства, во главе комитета стояли русские по национальности, но — граждане Финляндии (эмигранты не имели права возглавлять какие-либо организации ⟨...⟩). В чем же состояла деятельность комитета? Практически каждый день

---

[6] ЛОГА. Ф. 508. Оп. 1. № 1. С. 1 обл. архивной папки. Название брошюры выделено нами курсивом.

[7] См.: Там же. Л. 44—44 об., 45 об.—45.

[8] Подробнее о ней см.: «А пришлось в разлуке жить года...»: Российское зарубежье в Финляндии между двумя войнами. Материалы к биобиблиографии 1987—2002. СПб., 2003. С. 24. (С указ. др. ист.).

[9] Подробнее о ней см.: Там же. С. 71. (С указ. др. ист.). Ср.: «Матильда Вреде — своего рода миссионерка, посвятившая всю свою жизнь заботе и помощи угнетенным, имя ее неразрывно связано со всеми угнетенными, проживавшими в Финляндии, независимо от национальности. Человек в высшей степени благородный, идеализирующий заботу о ближнем, Матильда Вреде всей душой откликнулась на тяжелое положение русских в Финляндии, уже в начале 20-х годов она помогала бедным русским, устраивая к рождеству им „подарки". Помню, что сама она приезжала в Териоки в 1923—25 гг. ⟨...⟩ Вскоре ⟨после кончины М. Вреде⟩, в 30-е годы, в Хельсинки был образован Комитет имени Матильды Вреде. У нас в Териоках это дело нашло отклик ⟨...⟩» (*Миролюбов П. Ф.* Разное о жизни в Териоках // http://terijoki.spb.ru/ history/templ.php?page=mirolubmisc&lang=ru).

[10] См.: [*Б. п.*] Териоки: [Информ. сообщение об организации в 1933 году общества «Matilde Wreden Komitea r. y.» и о его деятельности] // Журнал Содружества. 1934. № 10. С. 32—33.

по строго определенному расписанию работали различные кружки — каждый день разные кружки: вторники для шахматистов, среды для хоровых спевок, четверги для литературных вечеров, пятницы — для театральных репетиций, субботы и воскресенья — вне программы недели, т. е. в эти дни устраивались или концерты, или шахматные встречи, или лотерея и т. п. Весь сбор поступал в пользу общества. Молодежь активно участвовала во всех мероприятиях, эта активность даже беспокоила местные власти (тайную полицию), которые интересовались нашей деятельностью, так как Териоки — это пограничная зона, и политическая деятельность поэтому была подозрительной, хотя мы и были полностью аполитичны».[11]

Приводим полный текст русской части брошюры.

УСТАВ

Благотворительного общества, в Память баронессы Матильды Вреде, под названием «Комитет Матильды Вреде»

§ 1. Название Общества — Комитет Матильды Вреде.

§ 2. Местонахождение — Териокский приход.

§ 3. Цель Общества — подача материальной и моральной помощи бедным, особенно детям и престарелым. Средства для осуществления этой цели добываются Обществом, кроме членских взносов, устроением концертов, лекций, спектаклей и вечеров.

Общество может учреждать в своей среде рукодельные, литературные, музыкальные и гимнастические кружки, назначение которых то же, что и у Общества.

§ 4. Член Общества, которым может быть кто угодно, независимо от национальности и подданства, уплачивает Обществу назначенный членский взнос, который, по желанию, может быть ежегодным или пожизненным.

§ 5. Текущие дела Общества ведутся правлением, состоящим из 7-ми действительных членов и 2-х кандидатов; и оное правомочно в составе не менее 4-х членов.

§ 6. Правление собирается по надобности.

На общем годичном собрании, собирающемся в августе месяце,

1) рассматривается отчет правления и обсуждается деятельность последнего, а также решается об освобождении правления от ответственности за истекший год,

2) избираются: Председатель правления, секретарь, казначей и 6 прочих членов, из коих двое, получившие наименьшее количество голосов, в кандидаты,

3) избираются два ревизора и к ним два кандидата,

4) обсуждаются и решаются в повестке упомянутые или на собрании возбуждаемые вопросы — с ограничением упомянутых в законе об Обществах.

§ 7. От имени Общества подписывают Председатель правления и секретарь совместно.

§ 8. Отчетный год Общества заканчивается 31-го мая, и счета заключаются к исходу июня.

Правление обязано представить годовому собранию отчет о своей деятельности за предыдущий год (за истекший), отчет о заключении счетов предыдущего (истекшего) года, а также и отчет ревизионной комиссии.

§ 9. Ревизоры имеют право, по своему усмотрению, когда угодно, проверять счета Общества и ведение дел правлением, и они должны представить заблаговременно, перед годичным собранием, правлению свой ревизионный отчет.

§ 10. Общее собрание созывается Председателем правления посылаемыми членам Общества повестками.

§ 11. В случае прекращения или запрещения деятельности Общества — средства Общества должны быть переданы Териокскому православному приходу.

---

[11] *Миролюбов П. Ф.* Разное о жизни в Териоках.

Министерство юстиции утвердило это
Общество для занесения в регистрационную
книгу об Обществах, и к имени Общества
прибавлены (сокращенные слова буквами):
«г. у.» (что означает: «зарегистрированное
общество»). В Гельсингфорсе, в Министерстве юстиции, 15:го дня мая месяца
1933:го года.
Подписала:
K.J. Wihtinen. Martta Heinonen.
Номер регистрации Общества 22911.[12]
Viipuri 1933
Karjalan Kirjapaino Oy.

Вторая брошюра, остающаяся неизвестной историкам русской печати в Финляндии, — это «Устав „Содружества бывших учащихся Выборгского русского реального лицея"» (Выборг: Типография Viipurin kirja ja kivipaino oy, 1931. 16 с.; далее: Устав Содружества).[13] Напечатанный в брошюре Устав был принят в Выборге 8 декабря 1929 года;[14] его текст «на финском языке» был «утвержден Финляндским социальным министерством» 30 июня 1930 года.[15] В изданной брошюре указано, что публикуемый Устав Содружества является «переводом с финского».[16] В принятом документе — восемь частей: I. Цель Содружества (С. 3—4); II. Права Содружества (С. 4); III. Средства Содружества (С. 4—6); IV. Состав Содружества (С. 6—7); V. Управление делами Содружества (С. 7—10); VI. Общие собрания (С. 11—15); VII. Закрытие Содружества (С. 15); VIII. Общие правила (С. 15—16).

Поскольку параметры настоящей заметки не позволяют привести здесь текст брошюры полностью, мы воспроизведем несколько разделов Устава Содружества, которые позволят читателям составить более подробное представление об организации, впоследствии начавшей выпуск «Журнала Содружества» — собственного периодического издания, в котором русской литературе и ее истории уделялось довольно много внимания.

I. ЦЕЛЬ СОДРУЖЕСТВА

§ 1. Целью «Содружества бывших учащихся Выборгского русского реального лицея» является:

а) поддержание связи между членами Содружества,

б) материальная поддержка Выборгского русского реального лицея,

в) взаимопомощь и

г) общение с другими идейными обществами и организациями.

Местонахождение Содружества — город Выборг.

§ 2. Для достижения вышеупомянутых целей Содружество имеет право устраивать:

а) доклады, лекции, курсы по различным отраслям науки за плату или бесплатно, а также вечера, спектакли, лотереи, получив на это соответствующее разрешение;

---

[12] Далее следует тот же текст на финском языке.

[13] См.: ЛОГА. Ф. 510. Оп. 1. № 1. Благодарю бывшего директора ЛОГА В.Ф. Пантелеева за предоставление ксерокопии этого источника.

[14] См.: Устав Содружества. С. 16.

[15] Там же. С. 3.

[16] Там же.

б) увеселительные и др. экскурсии по стране;

в) библиотеку и читальный зал.

II. ПРАВА СОДРУЖЕСТВА

§ 3. Содружество имеет все права юридического лица, а именно:

а) право владения и распоряжения принадлежащим Содружеству движимым и недвижимым имуществом;

б) заключения всякого рода договоров и условий;

в) наследования по завещанию;

г) защиты своих интересов в суде через своих уполномоченных и т. д.

§ 4. Содружество имеет две печати: одну с надписью на русском языке: «Содружество бывших учащихся Выборгского Русского Реального Лицея р. о.» и другую с надписью на финском языке: «Viipurin Venäläisen Realilyseon entisten opiskelijoiden Ystävyyspiiri r. y.».

III. СРЕДСТВА СОДРУЖЕСТВА

§ 5. Средства Содружества составляются из:

а) членских взносов;

б) пожертвований, как деньгами, так движимым и недвижимым имуществом;

в) сборов по подписным листам;

г) доходов с концертов, вечеров, спектаклей, лотерей, лекций и т. п., устраиваемых с надлежащего на то каждый раз разрешения;

д) из процентов с принадлежащих Содружеству капиталов.

§ 6. Средства Содружества делятся на капиталы основной и расходный.

⟨...⟩

IV. СОСТАВ СОДРУЖЕСТВА

§ 14. Членами Содружества могут быть лица обоего пола, без различия национальности, вероисповедания и подданства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лица, опороченные судом, принимаемы в Содружество быть не могут.

§ 15. Для вступления в члены Содружества необходимо письменное заявление Правлению, которому предоставляется право принятия или непринятия данного лица в члены Содружества, причем в последнем случае Правление не обязано давать никаких объяснений.

§ 16. Все члены Содружества делятся на следующие категории:

а) почетные члены; звание почетного члена дается по постановлениям Общего собрания лицам, оказавшим особенно важные услуги Содружеству;

б) действительные члены; действительными членами являются все лица, обучавшиеся в Выборгском русском реальном лицее, а также бывшие учащиеся Временных классов Реального училища и Женской гимназии, существовавших при вышеназванном Лицее, уплатившие годовой членский взнос и утвержденные в этом звании Правлением Содружества;

в) члены-соревнователи; членами-соревнователями являются все лица, уплачивающие Содружеству ежегодно не менее установленного для действительных членов годового взноса и утвержденные в этом звании Правлением Содружества.

§ 17. Члены первых двух категорий пользуются на Общем собрании правом решающего голоса, а члены-соревнователи — совещательного.

V. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОДРУЖЕСТВА

§ 18. Делами Содружества заведуют:

а) Правление и б) Общее собрание.

§ 19. Ближайшее заведывание делами Содружества возлагается на Правление, состоящее из семи членов, избираемых Общим собранием из действительных членов Содружества, сроком на один год.

§ 20. Выбывающие члены Правления и кандидаты могут быть избираемы вновь, в случае их на то согласия.

§ 21. В составе членов Правления должно быть не менее 4-х лиц, принадлежащих к финляндскому гражданству.

§ 22. Правление состоит из председателя, товарища его, казначея, секретаря и членов Правления.

§ 23. Председатель Правления выбирается Общим собранием; товарищ председателя, казначей и секретарь выбираются Правлением из своей среды.

⟨...⟩

Такой параграф Устава, как обязательное условие пребывания в составе Правления Содружества «не менее 4-х лиц, принадлежащих к финляндскому гражданству», требует дополнительных исторических пояснений.

Следует помнить, что документ, легализовавший деятельность Содружества, был утвержден властями спустя две недели после закрытия в Финляндии всех левых рабочих газет, накануне знаменитого июльского «похода на Гельсингфорс» представителей антикоммунистичесского лапуаского движения (по названию прихода Лапуа, Ваазская губ.), целью которого было побудить правительство к пресечению всякой революционной и т. п. деятельности в стране. По отношению к этому движению советская коминтерновская пропаганда активно использовала термин «финляндский фашизм», а события 1930 года называла «фашистским переворотом».[17] Изменение важнейших законов Финляндии описывалось в СССР так: «Был срочно разработан ряд фашистских законов — о защите республики, о чрезвычайных мерах и изменении закона о печати».[18] В июле 1930 года финляндское правительство распустило сейм, и в следующем месяце были назначены выборы нового сейма, уже по новому избирательному закону. Новым президентом Финляндии стал П. Е. Свинхувуд, бывший главой правительства в 1918 году и остановивший тогда возмущение рабочих.

Оценки произошедшего в Финляндии в 1930 году, конечно, могут быть неоднозначные, но, скорее всего, взгляд с высоты времени позволяет счесть перечисленные события тем переломным эпизодом, который предотвратил разрушение буржуазной страны коммунистической эрозией и в перспективе позволил ей в 1940 году не разделить судьбу раздавленной Прибалтики.

Поэтому заявление делегации лапуаского движения, опубликованное в дни июльского похода на Гельсингфорс и воспроизведенное по-русски советским пропагандистом год спустя, способно обеспечить и Устав Содружества, и всю историю выпускавшегося этим объединением «Журнала Содружества» выразительной исторической подсветкой: «Целью лапуаского движения является внутреннее укрепление финляндского государства и общества. Для осуществления этих целей необходимо: 1) без уступок прекратить руководимую из Москвы противохристианскую и изменническую деятельность; 2) так как опыт показал, что господствующий в сей-

[17] См., в частности: *Спекке Б.* 1) Финляндский фашизм: (Лапуаское движение в Финляндии). [Л.], 1931; 2) Финляндский фашизм: (Лапуаское движение в Финляндии). (2-е значительно доп. и испр. изд.). [Л.], [1931]. На обложках обоих изданий иное название: Фашизм в Финляндии. Ср.: *Вильми О.* Фашизм в Финляндии. Л.; Петрозаводск, 1931.

[18] *Спекке Б.* Финляндский фашизм... 2-е изд. С. 15.

ме партийный дух сделал невозможным действительную борьбу против коммунистов, отравил финляндскую политическую жизнь и помешал созданию сильного правительства, то в народном представительстве необходимо достигнуть такого изменения, которое освободило бы деятельность сейма от ослабляющего влияния партии; 3) согласно здравому правопредставлению, унаследованному от наших отцов, условием предоставления полных гражданских прав необходимо поставить исполнение гражданских обязанностей. Для достижения этой цели необходимо:

1) исключить коммунистов из государственных и коммунальных органов, изменить сообразно этому законодательство о свободе собраний, обществ и печати и, кроме того, в целях пресечения преступной деятельности коммунистов, внести в уголовный закон более действительные карательные постановления ⟨...⟩».[19] Далее, вслед за люстрацией, — изменение «пропорционального способа выборов» и «введение в практику избирательных округов с одним депутатом».[20] И пр., и др. т. п. И ни единого слова о прекращении общественной деятельности национальных меньшинств или же о запрещении печатных изданий на всех языках, кроме государственного.

Думается, поиск брошюр — уставов русских организаций, изданных в независимой Финляндии, может быть продолжен. Так, уже сейчас можно предполагать, что отдельной брошюрой был выпущен и Устав Русского Академического объединения в Гельсингфорсе, который в архиве «Журнала Содружества» не сохранился. О нем известно из письма редактора «Журнала Содружества» Ф. В. Уперова к В. П. Семенову-Тян-Шанскому от 23 октября 1934 года, содержащего просьбу «выслать ⟨...⟩, если возможно, экземпляр устава Академического объединения»,[21] которая была адресатом исполнена (см. его ответное письмо от 27 октября 1934 года).[22] Впрочем, точного подтверждения тому, что данный Устав был издан или все же речь идет о рукописном или машинописном экземпляре, пока что не существует.

[19] Там же. С. 57.
[20] Там же.
[21] ЛОГА. Ф. 508. Оп. 1. № 1. Л. 431.
[22] См.: Там же. Л. 433.

© *Олена Сигал (Украина)*

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «JAPANESE SLAVIC AND EAST EUROPEAN STUDIES» (JSSEES)[1]

Обозреваемый ежегодник — один из ряда японских академических журналов и вестников, где можно прочитать исследования по русской литературе, поскольку российская словесность была и остается важнейшей составляющей литературного процесса Японии нового времени.

И в то же время это издание, без сомнения, уникально. Уникальна прежде всего его цель: расширить круг возможных читателей до, можно сказать, мировых масштабов. В самом деле, зададимся вопросом: могут ли российские литературоведы, специалисты, например, по Чехову, прочитать исследования японских коллег

[1] В данной работе принимали также участие Асаока Набухико и Л. М. Ермакова.

без перевода? Ответ очевиден. А главный принцип этого журнала с момента его создания состоит именно в том, чтобы публиковать работы японских русистов не по-японски, а по-русски или, в отдельных случаях, в переводе на один из западных языков, чтобы их могли прочитать в разных странах мира, и прежде всего в самой России.

Представим себе обратную картину: японские или китайские филологи, изучающие собственную литературу и культуру, тоже ведь не знают и не могут прочитать российских исследований на эти темы, однако в российской ориенталистике пока еще не существует академических вестников, которые выходили бы по-японски, по-китайски, на хинди и т. п. Так что журнал, подобный «JSSEES», свидетельствует о высоком уровне японской русистики в целом и может послужить образцом для организации изданий такого рода в разных странах мира.

Надо сказать, что изучение России в Японии имеет давнюю историю: сведения о России на Японские острова одним из первых, видимо, доставил капитан Дайкокуя Кодаю еще в 1792 году. Его торговая шхуна была прибита штормом к берегам Камчатки, и он, проведя в России в общей сложности лет девять, встретившись даже с Екатериной II, накопил много разных сведений о России, ее языке и культуре. Таким образом, если считать от Кодаю, история японской русистики насчитывает уже третью сотню лет, да и со времени первых художественных переводов русской литературы в Японии протекло уже более столетия.

Деятельность по переводу и исследованию русской литературы в Японии началась в последней трети XIX века, сразу после так называемой реставрации Мэйдзи и открытия страны, и была частью стремительного и широкого потока культурных и научно-технических заимствований, адаптаций и переводов с западных языков. Но и среди всего этого богатства культурных инноваций русская литература скоро заняла в Японии особое место — особое до такой степени, что некоторые японские филологи утверждают даже, что своим становлением новая японская литература обязана прежде всего русской.

Первые переводы делались, возможно, через западные языки и были, скорее, адаптациями: так, первая переделка «Войны и мира» называлась «Плач цветов и скорбь ив. Последний прах кровавых битв в Северной Европе». К нынешнему времени в Японии вышло более десяти полных собраний сочинений Толстого и по меньшей мере четыре разных перевода «Войны и мира». Одними из первых в Японии появились также переводы прозы Пушкина, Тургенева, Достоевского, Гоголя, и работа по изучению русской литературы и созданию новых переводов с тех пор не прекращалась. Неудивительно, что начиная с Фтабатэй Симэй — литератора, критика, переводчика с русского конца XIX— начала XX века — многие выдающиеся японские писатели и поэты, такие как Акутагава Рюноскэ, Исикава Такубоку, Миядзава Кэндзи и другие, находились в поле влияния русской литературы.

В литературной истории Японии следов этого влияния сыщется немало: японские писатели, увлеченные идеями толстовства, даже ездили к «великому старцу» в Ясную Поляну; переводы тургеневских «Записок охотника» произвели настоящую революцию в понятиях о художественном стиле; наследие А. П. Чехова оказалось настолько сродни мировосприятию японцев нового времени, что одна только библиография по Чехову на японском языке насчитывает сотни названий; творчество М. Горького послужило одним из факторов формирования группы японских «пролетарских писателей» и т. д.

Русистика занимает стабильное и важное место в японских филологических исследованиях, и в настоящее время в Японии существует целый ряд университетов и исследовательских центров, где работают филологи-русисты, есть десятки межуниверситетских научно-исследовательских обществ, занимающихся различными проблемами славистики и русистики, а также историей, политикой и экономикой стран Восточной Европы.

Рецензируемый журнал издается одним из ведущих научных обществ Японии этого рода, которое называется «Всеяпонское общество по славистике и восточноевропейским исследованиям» («Japanese Society for Slavic and East European Studies»). Оно было создано в 1980 году в Киото по инициативе ученых-славистов Университета Киото и других японских университетов и с тех пор на протяжении многих лет организует ежегодные семинары и международные симпозиумы по широкому кругу проблем в разных областях культуры, социально-политической истории и экономики России и стран Восточной Европы.

Первый номер журнала «JSSEES» вышел в 1980 году, в настоящее время увидел свет его 27-й номер. Журнал довольно объемистый — каждая его книжка составляет примерно 200 страниц. За прошедшие без малого три десятка лет в нем были опубликованы труды более чем 200 авторов, в том числе исследования, эссе, научная полемика, обзоры и рецензии. Начиная с 14-го выпуска в нем печатаются и доклады, прочитанные японскими исследователями на международных конференциях по русской литературе, особенно международных Пушкинских конференциях, которые оказали и продолжают оказывать большое влияние на японское пушкиноведение.

Скажем несколько слов о структуре ежегодника. Материалы распределяются в нем по трем разделам: в первом публикуются статьи по вопросам теории и истории литературы, по лингвистике и искусствоведению; второй знакомит читателей с исследованиями в области политики, экономики, права и других общественных дисциплин; в третьем разделе представлены статьи по философии, религии, истории и географии изучаемых стран. Кроме того, журнал содержит обзоры новых монографий и переводов, изданных в Японии и связанных с вышеперечисленными отраслями науки, а также ежегодно обновляемые списки новейших публикаций постоянных членов «Всеяпонского общества по славистике и восточноевропейским исследованиям». В своем обзоре мы затронем только литературные разделы издания и только ту их часть, которая лежит в сфере русистики.

Статьи по русской литературе численно составляют почти треть всех материалов журнала. За прошедшую четверть века в поле зрения японских исследователей попадали, например, такие российские авторы, как Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Л. Толстой, А. П. Чехов, Тарас Шевченко, из писателей и поэтов XX века — Велимир Хлебников, А. Белый, И. Бунин, Андрей Платонов, М. Зощенко, А. Ахматова, М. Булгаков и др.

Однако японских исследователей привлекает и древнейшая словесность — назовем работу Мидзуками Норико о выражении «славу поют» в былинах Онежского края (2005) или подробное исследование Накадзава Ацуо «К вопросу об источниках „Рукописания Магнуша, Короля Свейского"» (1999), привлекающее широкий круг текстов в жанре рукописаний, завещаний, летописей и хронографов Новгородской земли. По мнению Накадзава, все источники, лежащие в основе «Рукописания», имеют новгородское происхождение. Кроме того, анонимный автор памятника, несмотря на сугубо религиозные цели, явно стремится достичь определенного уровня повествовательности и подвергает местные устные предания значительной литературной обработке. Перу Накадзава принадлежит и исследование «Юродство в „Житии протопопа Аввакума" — Аввакум в народной культуре XVII в.» (1988. № 9), где в центре внимания исследователя оказывается «ироническое письмо» Аввакума как таковое, его горький смех. С православной точки зрения смех лежит в сфере дьявольского кощунственного поведения, однако автор статьи связывает его с традициями смеховой культуры Древней Руси и интерпретирует смех Аввакума как развитие линии русского юродства.

Пушкинистика на страницах «JSSEES» представляет самые разные аспекты творчества Пушкина. Назовем прежде всего исследование Кимура Такаси «Дво-

рянская культура и А. С. Пушкин» (1995) и опубликованный в № 20 за 1999 год его доклад на Пушкинской конференции «Находясь в плену ориентализма... Образы восточных людей в поэме А. С. Пушкина „Кавказский пленник"». Проблемы ориентализма и европоцентризма в русской литературе XIX века привлекали ученого и раньше — вспомним здесь его работы, появившиеся на страницах того же ежегодника и посвященные российско-грузинским отношениям периода присоединения Грузии к России и трактовке этого события у Лермонтова: «Грузинский вопрос в поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри"» (1982. № 3) и «Лермонтоведение и присоединение Грузии к России» (1985. № 6). Они вызвали большой интерес и оживленную полемику.

Ряд важных и тонких наблюдений содержится в других докладах японских исследователей на Пушкинской конференции. Так, в докладе Асаока Набухико «„Медный всадник" и „Метель"» говорилось о том, как в заботе о «будущности» человека Пушкин стремится освободить «настоящего человека» от разных масок. Асаока Набухико напоминает общеизвестное пушкинское предостережение об опасности «бессмысленного и беспощадного русского бунта», приводя пушкинские слова: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Из области японской пушкинистики назовем также публикацию Сасаки Тэрухиро «Отношение к добру и злу в двух „Фаустах" — Гете и Пушкина» и работу Сугино Юри «Тазит и Татьяна Ларина», устанавливающую сходство этих двух столь разнородных пушкинских персонажей с точки зрения воспитания и формирования личности: оба они — и юный чеченец, и уездная барышня — представляют собой, с точки зрения автора, тип «чужой среди родных». Той же Сугино Юри принадлежат статьи «О наводнении в поэме „Медный всадник"» (1990. № 11) и «К вопросу о соотношении образов Медного всадника и Николая I» (1991. № 12), помогающие представить круг проблем, занимающих автора.

Некоторые исследовательские подходы могут показаться довольно неожиданными для российского читателя, поскольку несут однозначно «японский отпечаток». Таким особым умозрением и колоритом отличается статья Сасаки Тэрухиро «Чаепитие в представлении Пушкина и Достоевского: „чай общения" и „чай уединения"» (1998. № 19). Здесь не только тщательно прослежены все сцены чаепития у Пушкина и Достоевского, но и проведены любопытные параллели с японской чайной церемонией и ее функцией в японской культуре.

Определенная «восточная» специфика привлекает и в оригинальной, призывающей к полемике статье того же исследователя «Vanité в творчестве А. С. Пушкина, или Истоки нигилизма в русской литературе» (1994. № 15). Ученый подвергает новому прочтению французский эпиграф к «Евгению Онегину», привычный для русского читателя еще со школьной скамьи: «Проникнутый тщеславием, он обладал еще особой гордостью...» По мнению японского исследователя, слово Vanité переведено в российских изданиях неточно; его вернее трактовать не как «тщеславие», а как «суета сует» (vanitas vanitatum) по Экклезиасту, притом эту «суету» Сасаки предлагает понимать как проявление русской «всеотрицающей мысли», подпочвы будущего русского нигилизма, а саму эту мысль рассматривает как разновидность состояния отрешенности, переживание «пустотности» мира — аналог буддийского понятия шунья. В связи с последним автор вспоминает буддийскую мировоззренческую основу японского Бусидо, Пути Воина.

Литература конца XIX—начала XX века — предмет изучения многих японских исследователей. Здесь прежде всего нужно назвать многоаспектное исследование Нумано Мицуёси «Двойственность и однолинейность (становление личности Аркадия в романе Достоевского «Подросток»)» (1989. № 10), посвященное столь существенной в творчестве Достоевского идее двойничества и двуполюсности. «До-

стоевский и гипнотизм» — название другой статьи о Достоевском, написанной Косино Го. В ней прослеживается роль «медиков романтической школы» в общественном сознании, возбудивших интерес читающей публики к месмеризму и гипнотизму, и отмечается внимание Достоевского к этой теме, неявным образом проявившееся во многих его книгах. Достоевский, пишет автор статьи, стремился разобраться в заболеваниях мозга и психики, понять взаимосвязь сознательного и подсознательного, и признавал существование месмеризма и гипнотизма, хотя позитивистская наука второй половины XIX века отрицала эти явления, утверждая, что исток всех психических явлений — «в теле».

Новый аспект творчества Л. Толстого разрабатывает Ёкота-Мураками Такаюки в статье на английском языке об «ориенталистском универсализме» Толстого в «Войне и мире». По мнению ученого, Толстой утверждает ориентализм на русский лад, в рамках его христианской разновидности, — в сущности специфический толстовский «руссоцентризм» (1995. № 16). О взглядах Л. Толстого на отношения полов в творчестве и в реальной жизни рассуждает в своей англоязычной статье Оно Митико (1988. № 9). О вишневом саде как центральном «внесценическом персонаже» всемирно знаменитой чеховской пьесы читаем в статье Ватанабэ Тосико (1993. № 14); Кори Синья, чеховед и бахтиновед, говорит о «расширении „я"» в связи с образом усадьбы в творчестве Чехова (1995. № 16).

Русская и советская литература XX века отражена в журнале, разумеется, далеко не полностью, зато подбор статей может дать российскому читателю представление о литературных вкусах и пристрастиях японских филологов и переводчиков (а что такое, в сущности, переводчик, как не самый первый и самый квалифицированный читатель?). Здесь одной из первых назовем исследовательницу Коно Вакана, в 22, 23 и 25-м выпусках опубликовавшую три любопытные статьи — «Культурный контекст образа корабля в „Серебряном голубе" А. Белого», «Пространство „опьянения" в „Серебряном голубе" А. Белого» и «Жизнь города и жизнь человека: образ Летнего сада в „Петербурге" А. Белого». Она пишет о двух возможных локусах опьянения — реального и литературного: это «русское поле» и «чайная», где персонаж встречается с «медовым сладким зельем»; чайная Белого, по мнению автора, противополагается ресторанам в лирике Блока. Любопытен и ее анализ Летнего сада у Белого как символического пространства увядания, декаданса, утраты вечной женственности.

К этим работам отчасти близка по тематике статья Ивамото Кадзухико «Юрий Олеша и фрейдизм» — о драме талантливого писателя советского времени, колеблющегося между механической моделью писателя как «психоконструктора» (выражение Сергея Третьякова), трансформатора «человеческого материала», и представлениями о бессознательном как истоке всякого творчества. В эпоху культа машин («вместо сердца — пламенный мотор») писательский дар виделся Олеше как «машина превращений», и в то же время он отдавал себе отчет в том, что «вымышленный персонаж может убить художника».

Отметим также статьи по теме восприятия русской литературы в Японии и по русско-японским литературным связям. Этому предмету посвящены такие работы, как статья Итокава Коити «Первый перевод Достоевского в Японии», рассказывающая об истории перевода, а также о свидетельствах влияния Достоевского в романе «Нарушенный завет» Симадзаки Тосон (1982. № 3); статья Савада Кадзухико «Гончаров в Японии» (1983. № 4); Мураи Такаюки «Тэйсукэ Сибуя и Тарас Шевченко» (1987. № 6); Камэяма Икуо «Хлебников и Япония» (1988. № 7); Исахая Юити «Набоков в Японии» (1996. № 15) и др.

Все эти публикации содержат чрезвычайно интересные материалы и обобщения, в частности в работе Камэяма Икуо (который через четыре года после этой публикации выпустил в свет объемный труд «Воскрешенный Хлебников») говорится о том, каким потрясением стала для Хлебникова русско-японская война. Ги-

бель российского флота в проливе Цусима, по мнению автора, была осмыслена Хлебниковым как исходный пункт русского авангардистского движения; тогда же поэт предпринял попытку вычислить «закон времени». В статье приводятся многочисленные примеры того, какое место заняла Япония с ее мифами и историей в творчестве Хлебникова.

Литература XX века представлена также исследованиями Мотидзуки Цунэко «Вне пространства и времени. Бунин и модернизм», Кубо Хисако «Тело как метафора. „Котлован" и „Чевенгур"», Тэруо Оки «Образ матери и сына в творчестве В. Распутина» (2005. № 26), Ясуока Харуко «Несколько слов о повести Зощенко „Перед восходом солнца"» (1986. № 7) и мн. др. Единственное, о чем стоит пожалеть, так это о том, что в журнале мало отражена нынешняя литературная ситуация, не представлены наиболее яркие литературные события нашего времени.

В журнале печатаются и иностранные исследователи. Так, В. Гречко в статье «Д. Хармс и А. Введенский. Язык абсурда» (2000. № 21) пишет об основных принципах поэтики обэриутов. В его понимании это единство и взаимопроницаемость всех явлений, «взаимопереходимость», как он это называет. Анализируя язык и механизмы построения текстов этой группы, автор говорит об отмене аристотелевского логического мышления ради переживания единства человека и мира и о «странных сближениях» ряда «поэтических жестов» Хармса и Введенского с логикой ранних буддистов и даосов. Стоит упомянуть глубокое и оригинальное исследование «Бесконечного тупика» Д. Галковского, выполненное покойным японоведом Г. Г. Свиридовым (1996. № 17), а также два эссе поэта В. Казакевича: в первом автор размышляет о стихах рубежа наступившего века на фоне пушкинского поэтического наследия, в другом («Поэты и смерть») сопоставляет два предсмертных стихотворных цикла — Н. А. Некрасова и Георгия Иванова. Еще две статьи российских исследователей посвящены переводам: это работы Н. Тепловой «А. С. Пушкин о художественном переводе» и Л. М. Ермаковой «Японская лирика как разновидность русского литературного мифа: культурологический аспект перевода».

Новая научная проблематика разрабатывается в двух связанных между собой публикациях Т. Смирновой о «прецедентной лексике как элементе российской языковой личности». Несмотря на академизм названий, речь в этих работах идет о том, что понятно каждому носителю русского языка и что, собственно, объединяет этих носителей: о перенасыщенности наших газет, да и обычных разговоров сегодняшнего дня, скрытыми цитатами из общеизвестных фильмов или «школьной классики» вроде басен Крылова или «Евгения Онегина». Эта перенасыщенность уже становится серьезным препятствием для иностранцев, читающих по-русски. Им требуются специальные социолингвистические разъяснения того, что в недалеком прошлом информационный мир российского гражданина был до такой степени искусственно ограничен, что сформировалась навязанная всем сфера некоего «общего знания», постоянно используемая и часто пародируемая нынешними масс-медиа.

За рамками нашего обзора остается еще множество интересных работ. Будем надеяться, что — хотя бы отчасти — мы помогли всем заинтересованным читателям получить представление об этом уникальном периодическом издании и о нынешнем этапе развития японской науки о классической и современной российской словесности.

© *А. И. Рубашкин*

ЕЩЕ О ФЕДОРЕ АБРАМОВЕ (1920—1983). ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

В 2004-м мой университетский приятель критик Л. А. Левицкий (1929—2005), в конце жизни уехавший на Восточный берег Штатов, прислал отклик на книжку моих воспоминаний «В доме Зингера и вокруг него». Левицкий в своем письме кое-что пытался оспорить, вернее, внести «поправки на время». Я писал о тех, кого хорошо знал, а он оценивал известных персонажей с позиций послеперестроечных, когда на литературной карте обозначились во всем объеме А. Платонов, В. Гроссман, Б. Пастернак и еще многие и многие. В письме, в частности, говорилось: «Эта всплывшая Атлантида изменила ландшафт литературы. В ней появилась новая шкала ценностей... Ф. Абрамов, к примеру, уже не кажется таким значительным писателем, как 20 лет назад. И многие иначе, чем в 60—70-х, когда страна была как бы подморожена, когда каждое легкое дуновение свежего ветра воспринималось как крупное, знаковое событие».

Спорить вроде было не о чем, а вот ответить автору я не успел... Я хотел написать ему, что, конечно, понимаю, что означает подлинное возвращение названных выше писателей, да и Дж. Оруэлла с его «1984», А. Ахматовой с «Реквиемом», М. Булгакова с «Собачьим сердцем». Но Федора Абрамова Левицкий назвал не случайно. Он был среди тех, кому я посвятил многие страницы. Это были прежде всего воспоминания, а в них я ничего бы менять не стал. Мне важно было передать непосредственное впечатление об ушедших людях.

Попробую сейчас, через четверть века после ухода Абрамова, сказать о том главном, что он сделал за годы своей работы в литературе (1958—1983). Через свое Пекашино (в нем угадывалась Веркола, протянувшаяся вдоль высокого берега Пинеги), через «безотцовщину», голодуху, оторванность от большой страны он дал неприкрашенную жизнь огромного деревенского материка в дни мира и войны на конкретном материале северной деревни, да так, что эту картину ничем не заменить. Тут и характеры земляков, особенно выразительны портреты женщин, и время — «беспаспортное» и беспощадное. Событием становилась для иного счастливчика долгая поездка в областной центр. Абрамов однажды говорил мне об отношении к землякам и определил главное в нем как чувство долга. Записи я не делал, но за смысл сказанного ручаюсь. Примерно это звучало так: «Вот вы — городской житель, для вас город, его жизнь, библиотеки, театры, общения привычны, естественны. А я поезд увидел впервые в 18 лет. Мои сверстники — кто умер в детстве, кто погиб на войне, кто спился, так и не проявив себя. А я ведь не самый способный, талантливый из тех ребят. Мне все трудом дается. Так я за всех них стараюсь, это мой долг. За них пробивался к знаниям...» Еще он говорил о своей благодарности тем ленинградцам, которые поддержали его на первом курсе университета.

Мне, первокурснику, пятикурсник Абрамов, вернувшийся на учебу после войны, был не по душе. Невысокий, косолапивший из-за раненых ног, всегда мрачный, Федор был непременным членом факультетского партбюро. В 1949—1950-м уже аспирант и активный общественник, один из участников борьбы с космополитами в науке, а значит, с собственными учителями. Много лет спустя, когда мы с Федором сдружились, я спросил его об университетской поре — действительно ли он верил в существование этих самых космополитов. Он ответил, что конечно: «Ведь мы с войны пришли, а тут нам говорят, мол, наши преподаватели ведут себя непатриотично».

Что-то все-таки удерживало Абрамова от резких выпадов. И когда речь зашла о конкретной критике одного из любимейших наших профессоров — Г. А. Бялого,

только и сказал, что тот недостаточно ссылается в своих лекциях на работы революционных демократов. В партбюро остались недовольны. А вот подпись под статьей проработочного характера (вместе с Н. Лебедевым) все-таки в «Звезде» (1949. № 7) появилась, хотя не Абрамов ее писал. Такова была «партийная дисциплина».

Стремление сказать о своем и по-своему сказалось в знаменитой статье Федора Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» в «Новом мире» (1954. № 4). Молодой критик выступил против лакировочной литературы о колхозной деревне. И даже сглаженная, эта статья (в редакции ее выхолостили) подверглась «суровой партийной критике». Федора Абрамова заставили признать под угрозой увольнения из университета ошибочность статьи. В своей книге «Жива Россия» Л. В. Крутикова-Абрамова приводит «разговор-спор» автора статьи с профессором Л. А. Плоткиным, убеждавшим своего коллегу по кафедре покаяться. Вот небольшой отрывок из этого диалога:

«— Но поймите, дорогой Федор Александрович, что сейчас ничего нельзя сделать. Так надо. Раз это идет сверху, от ЦК — бесполезно рыпаться, надо признаться, а про себя думай, как хочется.

— Но ведь моя статья на пользу литературы.

— А кому нужна литература? Литература — это только одна из форм пропаганды — и не больше!»[1]

Ф. Абрамов «как солдат партии» подчинился решению. В последний раз!

И уже потом, какой бы «партийной критике» он ни подвергался, не шел на компромисс. Он уже не служил в университете (между прочим, бросил заведование кафедрой), вообще не служил где-то, а служил своему призванию. В 1958-м вышел первый роман будущей тетралогии — «Братья и сестры». Спустя двадцать лет, в 1978-м, романом «Дом» она была завершена. Лишь первая книга прошла благополучно, а потом шла борьба за каждое правдивое слово. В первом романе все трудности села можно было списать на войну. Но война закончилась, а деревня все не могла подняться. Абрамов понимал — предстоит затронуть сложнейшие проблемы нашей жизни. Но задолго до завершения второй книги («Две зимы и три лета») опубликовал очерковую повесть «Вокруг да около» («Нева». 1963. № 1), вызвавшую бурю в самых высоких партийных инстанциях. Не счесть организованных выступлений против писателя, включая открытое письмо односельчан «К чему зовешь нас, земляк» («Правда Севера». 1963. 11 июня). Как это водилось, письмо сочинили журналисты, но подписи веркольцев были неподдельные. Писателя обвиняли в подрыве колхозного строя, в призыве крестьян к обогащению.

Можно было принять постановление Ленинградского горкома КПСС об искажении современной колхозной жизни в очерке Ф. Абрамова, можно было снять с работы редактора «Невы» С. А. Воронина. Единственно с чем автор согласился — что «недостаточно подчеркнул положительные тенденции в развитии колхозной деревни за последние десять лет». Это власти не устроило, и следующие четыре года Ф. Абрамова не печатали.

Можно только представить, что сказало бы партийное руководство, если бы прочитало тогда дневниковые записи писателя, его размышления о недавнем прошлом, с которым еще не рассчитались. Теперь, благодаря усилиям вдовы писателя, они обнародованы. Приведу лишь несколько выписок: «30 лет кровавого беззакония. Погиб цвет народа. А кто виноват? Где были другие?»; «У нас нет демократических традиций. Сталинский режим окончательно убил в нас представления о нормальной жизни и волю к свободе. Мы отравлены страхом, ибо тридцать лет сто-

[1] *Крутикова-Абрамова Л. В.* Жива Россия. Федор Абрамов: его книги, прозрения и предостережения. СПб., 2003. С. 41.

яли под дулом револьвера»; «Чтобы не повторились недавние ужасы, есть только одно средство: свобода слова».

Более поздние записи: «Чиновники пожирают, как саранча, Пинегу, а значит и Россию... Чиновники все пожирают и ни за что не отвечают»; «Пассивность и равнодушие десятилетиями насаждались в народе. Не смей думать, живи по приказу... И вот плоды. Сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существованию страны».

И наконец, уже в 1982-м: «Читаю Ключевского. Все то же самое, что было 300 и 500 лет назад. Повсеместная отсталость, невежество и бескультурье народа, эгоизм и классовая слепота правящих».[2]

Неужели все это написано более четверти века назад?

То, что стало уже достоянием истории, — и разного рода постановления, и статейки В. Колесова и П. Строкова я хорошо помню, как и реакцию Абрамова. Он переживал, но уже принял вызов судьбы. Второй роман тетралогии «Две зимы и три лета» критики пощипали, но он и поддержку получил. Да так, что уже «Новый мир» готов был выдвинуть писателя на Государственную премию СССР. Но тут возникла коллизия, показавшая твердость Ф. Абрамова, независимость его литературной позиции. В середине 1969 года журнал А. Твардовского решил публиковать, как оказалось, лучшую, но и вызывающую нарекания официозной критики повесть «Пелагея», на которой мы еще остановимся. Редактору журнала стало ясно — публикация этой вещи может отразиться на судьбе премии за роман: «Вот и выбирайте — премия или литература». Абрамов выбрал, к радости Твардовского, публикацию повести, а премия пришла к писателю лишь шесть лет спустя.

В 1973-м после трудных сражений с цензурой «Новый мир» опубликовал третий роман «Братьев и сестер» (общее название) — «Пути-перепутья». Свое состояние во время этой работы (еще в начале 1970-х) автор определил так: «Очень страшно писать, ибо все время чувствуешь себя бунтарем. Все время выдавливаешь из себя раба. Но иначе нельзя. Писатель должен быть впереди во всем». Эти слова Абрамов подтверждал непрестанно, несмотря на предупреждения: «Будут и против шерсти гладить, и даже в зубы бить. А как же? Хочешь жить спокойно — не пиши талантливо».

Легко сказать — «не пиши талантливо» или, что еще хуже, — «пиши с оглядкой». Ему не хватало времени на собственные дела, а он буквально «встревал» в чужие судьбы — от хлопот за коллегу, которого не ставят в издательский план, до поддержки Солженицына, исключенного из Союза писателей. Федор спорил сам с собой, мол, нужно заниматься своим делом, оставаться в литературе. И тут же себя одергивал: «Ничто не научило нас: ни XX съезд, ни последующие события. Мы были и остались рабами, и теперь я знаю: в России все возможно». Да это написано в дневнике. Но письмо-то коммуниста Абрамова было вызовом властям, и ответ мог быть любой силы. Сила оказалась и у этого северянина, потомка русских людей, не знавших рабства. «Решился. Посылаю письмо. Никакими соображениями и доводами нельзя оправдать рабское молчание. И мой голос в защиту Солженицына — это прежде всего голос в защиту себя».

Абрамов не был замшелым в своих взглядах. Однако избегал крайностей. Недавно в петербургском иллюстрированном журнале «Time out» я обнаружил анкету, на которую ответили 80 литераторов (прозаики, поэты, критики). Отвечали, в частности, на вопросы: «Какие произведения литературы, на ваш взгляд, недооценены, а какие переоценены?» Весьма распространенным оказалось понижение в ранге «Тихого Дона». Мне показалось интересным, каким мог бы стать ответ Абрамова, который защищал диссертацию по «Поднятой целине» и, несомненно, испытал влияние «Тихого Дона» в своей тетралогии.

---

[2] Там же. С. 43, 50—51.

Неожиданно резко отозвался Абрамов в набросках статьи «Кого ждет время?» (1974) об «узости исходных позиций» Шолохова и «отсутствии у него духовной культуры»: «Время ушло вперед. А Шолохов остался на прежних позициях. И свою умственную нищету он прикрывал щукарством, либо — бесплодие творческое».[3] Решительно не принял Абрамов публицистические эскапады Шолохова, «нелепую тоску по тем временам, когда вместо закона руководствовались революционным правосознанием». Но «Тихий Дон» Абрамов оценивал объективно и не сомневался в авторстве Шолохова. Более того, в трагичности судьбы Григория Мелехова увидел угрозу, «которую несет революция отдельной человеческой личности».[4]

С дневниковыми записями (набросками) Ф. Абрамова 1974 года перекликается статья «Три „советских" нобелевских лауреата» из недавней книги М. Чудаковой.[5] Если Абрамов писал о том, каким Шолохов стал уже после издания своей главной книги, то Чудакова показывает *процесс* деградации таланта, сопоставляя, в частности, энергичные, протестные письма Сталину с безликими посланиями Н. Хрущеву и Л. Брежневу. Дорого обошлось будущему Нобелевскому лауреату сочетание борьбы против конкретных репрессий на Дону с выражением преданности официальному сталинскому курсу. Исследовательница пишет и о том, сколь «велик может быть разрыв между бывшим *творчеством* и нынешней *личностью*.[6] Это не помешало М. Чудаковой занять ту же, что и Абрамов, позицию по отношению к авторству М. Шолохова.

Федор Абрамов отошел от «братьев-славян», как он называл писателей, упрекавших его в близости к Твардовскому и «Новому миру», не примкнул к узким литературным группировкам. Зато уж — с кем дружил, так дружил. Почти всю жизнь, со студенчества, с художником Федором Мельниковым, «другом № 1», с первых встреч — с молодыми «братьями и сестрами», додинцами, и, конечно, с земляками, для которых оставался не городской знаменитостью, а близким человеком, односельчанином, поставившим свой дом над Пинегой.

Критики Абрамова во время очередной «проработки» (то из-за «Вокруг да около», то из-за романа «Дом») носили разные фамилии, но все были «казенными», заранее знали, что Абрамов — «очернитель», чуть ли не подкулачник. Тогдашний партийный деятель Ф. Козлов корил писателя близостью к Твардовскому, который, дескать, «сам из кулаков». Поддержка друзей помогала Абрамову держаться и когда его годами не печатали, и когда раздавались угрозы защитнику опального Солженицына.

Согревали письма читателей, надписи коллег на подаренных книгах. Почта была огромной, дарений — многие сотни. Приведу лишь три надписи на них.

Алесь Адамович — на своей книге «Каратели...»:

«Дорогой Федор! Надеюсь, отпустят тебя твои братья и сестры на полдня — заглянуть и в нашу волость, „военную"». Мы-то в вашу заглядываем, порой с завистью. А. Адамович. 18. 2. 1981».[7]

В. П. Астафьев — на своей книге «Последний поклон...»:

«Автору романа „Две зимы и три лета", прекрасной и печальной песни о русском народе, Федору Абрамову, мою самую дорогую книгу о самом дорогом — Родине. В. Астафьев. Пермь. 68 г.».[8]

---

[3] Там же. С. 298.

[4] Там же.

[5] *Чудакова Мариэтта.* Новые работы. 2003—2006. М., 2007. С. 225.

[6] Там же.

[7] В мире Федора Абрамова / Изд. подг. Л. В. Крутикова, Г. Г. Мартынов. СПб., 2005. С. 20.

[8] Там же. С. 21.

И еще одна, из соседнего, «журналистского цеха». А. А. Аграновский — на своей книге «Избранное...»:

«Федору Александровичу Абрамову в знак почтения к нему и любви к его великим книгам. А. Аграновский. 22. X. 1980».[9]

Конечно, это отклики из того времени. Ушли авторы, их не спросишь, как они оценили бы творчество своего собрата сегодня. Но Абрамову повезло: его проза (сначала «Дом», а много позже и «Братья и сестры») заняли важное место в репертуаре Малого драматического театра. Повезло и театру: он в пору нового становления нашел своего автора. А значит, все эти годы, с 1980-го, «Дом», а с 1995-го «Братья и сестры» оставались визитной карточкой теперь уже не областного театра, но «Театра Европы». Вспоминаю Федора Александровича после одной из репетиций «Дома» (а он приходил почти на каждую). Необычайно волнуясь, он говорил: «Какие ребята, какой театр. Лучший театр России». А потом, словно вспомнив что-то важное: «Но текст мой, каждое слово...»

Как и другие талантливые художники, Абрамов дал своей прозой импульс к рождению на ее основе театрального действа. Первым был Театр на Таганке. Ю. Любимов в начале 1974-го поставил спектакль «Деревянные кони», глубоко уловив настроение повестей писателя. Выразительным оказалось оформление художника Д. Боровского. Это был первый праздник — встреча со своими героями. Потом разные произведения ставились театрами Ленинграда, Москвы, Архангельска, Новгорода («Пелагея» и «Алька», «Пути-перепутья», «Дом»), но лучшей постановкой своего последнего романа автор считал работу Л. Додина с талантливой сценографией Э. Кочергина. Федор Александрович в полной мере вкусил эту свою новую известность, выходил на поклоны к зрителям. На стенах в его предпоследнем доме и в новом, где он прожил лишь шесть месяцев, висели и висят афиши с автографами артистов.

Все эти годы в последней квартире Абрамовых «живет за двоих» (завет Федора Александровича) жена, сподвижник и публикатор произведений писателя, среди которых оказались и незавершенные. После ухода Абрамова вышло наиболее полное собрание его сочинений, шесть книг и монографий о его творчестве. Театр Европы — Театр Абрамова — давно уже (с 1987-го) вышел со своими гастролями за пределы нашего континента и вслед за Парижем, Берлином, Прагой и Лондоном на различных театральных фестивалях и вне их раскрывал пекашинскую жизнь зрителям Токио, Нью-Йорка, Сан-Диего и Иерусалима. И еще и еще — десятки раз «Братьев и сестер» приветствовали зрители Вены (1995), Антверпена (1998), Милана (2002)... И новые афиши привозили теперь уже в Санкт-Петербург артисты Театра Льва Додина.

Тут ни убавить, ни прибавить. Но все же не уйти от вопроса, поставленного в начале этих заметок, тем более что их поднимает и Л. В. Крутикова-Абрамова. Она прямо спрашивает: «Прошло более тридцати лет со времени тех споров (о «Братьях и сестрах». — *А. Р.*). Отошли в прошлое страшные беды послевоенного лихолетья. Новые беды и трагедии открылись нам. Не затмили ли они суровую правду абрамовского романа? Выдерживает ли книга писателя сопоставление с произведениями А. Платонова, Б. Пастернака, В. Гроссмана, пролежавшими под гнетом цензуры десятилетиями?»[10]

Знаменательно: тут называются те же имена, что и в начале этих заметок. И ответ не кажется убедительным: «Подлинное искусство не стареет. Напротив, оно обогащается, оживает со временем...» Это лишь констатация общего положения. Но ведь очевидно, что в своих дневниках Абрамов свободней, чем в романе. Л. Крутикова обращает внимание на то, что потаенные глубины не-

---

[9] Там же. С. 24.

[10] *Крутикова-Абрамова Л. В.* Указ. Соч. С. 101.

редко «ускользали от современников, оглушенных бьющей правдой верхнего слоя».[11]

Означает ли это, что А. Платонов, В. Гроссман или, к примеру, В. Шаламов лишь оглушали читателей? Дело, думаю, сложнее. Они убеждали высокой художественностью. Поверка временем обнаруживает, что не все произведения Ф. Абрамова прошли это испытание. Обращусь к признанию самого писателя. Вот что он пишет через 16 лет после публикации очерковой повести «Вокруг да около»: «Использовать при доработке... Надо сделать настоящую динамичную повесть». По-моему, произведение ушло со своим временем, его конкретными проблемами. Хотя безусловно прав И. Золотусский: «...из истории уже не литературы, а жизни не вычеркнешь ни очерка „Вокруг да около", ни абрамовского „Письма к землякам"».[12] То же произошло с «Мамонихой», о которой он писал своему другу: «...я переписал бы [ее] сейчас заново». А вот повесть «Пелагея» ничто не затмит. Сложный характер сельской пекарихи, которая борется в этом жестоком мире за выживание, больше говорит о нем, чем констатация любых проблем. Героиня вызывает сострадание, восхищение, жалость. Поистине, «есть женщины в русских селеньях». Не случайно именно Пелагея привлекла к себе Таганку. Ю. Любимову был по плечу характер этой пекарихи.

Узнав, что у Додина «Дом» прошел больше трехсот раз, я не удивился. Это вторая абрамовская вершина. Здесь на первую роль выходит Лизка Пряслина, выделяясь среди других героинь писателя. Он мечтал поставить «памятник русской бабе», и он поставил его. Милентьевна, Пелагея, Варвара, Лизка, Евдокия, Саломея, при всей индивидуальности этих характеров, — еще и коллективный портрет. Некоторые имена, раньше малознакомые даже в России, теперь получили конкретное воплощение. И конечно, благодаря книгам Абрамова его малая родина Верколла-Пекашино стала известна в мире...

То, что пробивал Абрамов с огромным трудом, теперь легко доходит до читателя («Читай — не хочу»). Раньше книга, журнал были светом в окошке. Но вот под руками Интернет, да наше кривое зеркало — телевидение. И все это, конечно, сужает аудиторию не только Абрамова, но и многих писателей, озабоченных духовным возрождением страны. Выросло новое поколение талантливых писателей, не знавших цензуры. И все же лучшие книги бывшей советской литературы (Федор говорил мне, что предпочитает быть не «социалистическим реалистом», а «просто реалистом», как в XIX веке) еще найдут новых читателей. Я прежде всего думаю о Ф. Абрамове, Ю. Трифонове, В. Астафьеве, о том, что они могли бы написать сегодня.

---

[11] Там же. С. 180.

[12] *Золотусский Игорь.* На лестнице у Раскольникова. М., 2000. С. 259.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

© *Е. Д. Кукушкина*

НОВЫЙ СБОРНИК СТАТЕЙ О Г. Р. ДЕРЖАВИНЕ*

Подготовленный Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Музеем Г. Р. Державина и русской словесности его времени третий выпуск сборника[1] содержит статьи, которые заинтересуют филологов, культурологов и историков. Они посвящены как некоторым частным, так и общим проблемам, связанным с изучением творчества Державина и литераторов XVIII века.

Один из самых известных исследователей русской литературы И. З. Серман в статье «Державин в XX веке» исследует причины, по которым в двадцатом веке заметно усилился интерес к веку восемнадцатому. Это были периоды, когда общество переживало эпохальные события, кардинально меняющие судьбы людей. Предощущение кризиса жизни, которое испытывали русские люди в 1790—1815 годы сходно с тем, что они ощущали в начале XX века, с той лишь разницей, что французская революция, а затем наполеоновские войны воздействовали на Россию извне, а революции начала XX века — изнутри.

Предчувствие политического кризиса, неизбежности перемен всегда острее всего ощущалось поэтами. Эти ощущения, пусть даже неосознанные, проявляются как уход в прошлое, в старину. Поэты XX века обращались к опыту старой русской поэзии по разным причинам и с разной целью. И. З. Серман показывает, как происходило их «вживание» в XVIII век. Архаизирующее направление представлял Вяч. Иванов, стилизаторское — А. Белый и М. Кузмин. В. Хлебников в поэме «Хаджи-Тархан» воспроизводил ритмическую структуру од М. В. Ломоносова.

Воздействие XVIII века проявилось и в поэтической практике акмеистов и футуристов. Н. С. Гумилев увидел его в поэзии О. Э. Мандельштама, в «вещности» стихотворений А. Ахматовой. И поэзия, и живопись XX века нашли в культурном наследии XVIII века много тем и художественных достижений, созвучных современности. Литературоведение, начиная с В. Г. Белинского, также преодолело снисходительное, пренебрежительное отношение к литературе XVIII века.

А. А. Левицкий в статье «Г. Р. Державин под влиянием „творца бессмертной Россияды" в 1780-е годы. (Часть 2)» продолжает свои наблюдения о влиянии М. М. Хераскова на становление Державина как поэта и мыслителя, начатые в предыдущем сборнике.[2]

Как свидетельствуют новейшие разыскания, в 1773—1784 годах М. М. Херасков принимал участие в работе нескольких масонских лож в Петербурге и Москве.[3] Не избежал влияния масонских идей и Державин. Его оды «Ключ» и «На смерть князя Мещерского» посвящены масонам. В 1780-е годы Державин находился под особенно сильным влиянием Хераскова. Еще в 1778 году, будучи в Казани, Державин собирал для него дополнительные сведения, необходимые в работе над «Россиядой», и, возможно, тогда задумал, по примеру Хераскова, создать свой вариант эпопеи — перевод «Мессиады» Ф. Г. Клопштока. Однако этот план не был реализован. Вернувшись в Петербург, Державин начал работу над одой «Бог», в которой нашел отражение поэтический опыт Хераскова. А. А. Левицкий убедительно показывает, что Державин переосмыслил идею Хераскова о возможности приближения человека к Богу через просвещение, т. е. в процессе продвижения по степеням масонской иерархии. Уподобив человека «малой капле вод», в которой отражается и Бог, и все мироздание, Державин сблизил Бога и человека. Интересны наблюдения, касающиеся последней строфы оды Державина «Бог», в сравнении с предпоследней строфой его оды «Христос». В них упоминается «слеза», та «малая капля», которая парадоксально символизирует и бессилие, и духовную силу человека и в которой отражается вся сфера мироздания, созданного Богом.

---

* Г. Р. Державин и его время. Сборник научных статей. СПб.: Изд. ЛЕМА, 2007. Вып. 3. 170 с.

[1] Предыдущие сборники: Державин и его время. СПб., 2004 [Вып. 1]; Г. Р. Державин и его время: Сб. научн. тр. СПб., 2005. Вып. 2.

[2] См.: Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. С. 59—72.

[3] *Серков А. И.* Русское масонство. 1731—2000: Энциклопедический словарь. М., 2007. С. 964—965.

Ода «Христос» является одним из последних отголосков влияния Хераскова на творчество Державина. Не разделяя масонских взглядов на необходимые государственные преобразования, Державин постепенно отдаляется от них. Правительственные преследования масонов удерживают его от упоминания М. М. Хераскова в числе своих литературных наставников в автобиографической «Записке».

Статья А. В. Петрова «Идея „органического развития" в трактате Г. Р. Державина „Рассуждение о лирической поэзии, или об оде"» построена на исследовании текста трактата методами философии и логики. Термин «органическое развитие» заимствован автором статьи у С. Ваймана, развивающего идею органического историзма.[4] Подробно анализируя текст «Рассуждения», А. В. Петров пишет: «Акцентируя внимание на органической связи между „древними" и „новыми" жанрами, различными культурными эпохами и т. д., Державин преодолевает механистические концепции литературного развития» (с. 51). Исследователь приходит к выводу об историзме Державина. Однако вывод этот не нов. В. А. Западов, о котором в сноске на с. 45 говорится, что он высказал «близкую мысль», на самом деле сформулировал мысль об историзме в трактате Державина вполне отчетливо: «Принципиальное провозглашение правомерности существования „различных вкусов" (в разные эпохи. — *Е. К.*) означает полнейший разрыв Державина со всеми нормативными поэтиками — как классицистической, так и сентименталистской. Это — утверждение принципа историзма, взятого в аспекте анализа и оценки определенного литературного явления — лирики».[5]

Для выяснения того, в чем состоит державинский историзм, автор статьи обращается к анализу оперы в трактате Державина, причем использует для этого понятия и категории, сформулированные в немецкой философии начала XX века — в книге протестантского теолога, философа, историка и социолога религии Эрнста Трёльча (1865—1923) «Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории», которая была опубликована в 1922 году, а в русском переводе издана в Москве в издательстве «Юрист» в 1994 году. По мнению А. В. Петрова, определить, что понимал Державин под литературным жанром, позволяет понятие «индивидуальность исторического образования», сформулированное Э. Трёльчем и означающее «единичность, неповторимость и особенность предметов истории, являются ли они эпохой, культурной традицией, государством, народом, состоянием масс, направленностью классов или отдельной личностью» (с. 52). По наблюдениям автора статьи, Державин, описывая жанр оперы, выступил как эстетик, историк, политик, зритель и как сочинитель. Развитие жанра Державин связывает с влиянием социальных и культурных факторов. Таким образом, суждения Державина приобретают характер «историзирующего анализа» (с. 52). А. В. Петров задается вопросом, объединены ли построения Державина его представлением о какой-либо цели, к которой в своем развитии стремится литературный процесс? Отвечая на этот вопрос утвердительно, державинский замысел «Рассуждения» он видит в попытке изобразить то, как в ходе истории раскрываются творческие начала человека, как развиваются его чувства, и прежде всего чувство прекрасного (с. 63). Таким образом, А. В. Петров, ссылаясь опять на Трёльча, обнаруживает связь между вдохновением и историзмом: вдохновение, творческий процесс дает импульсы для развития культуры. Эта мысль, сама по себе не новая, вопреки всякому историзму, тут же переносится на Державина: «Свое духовное становление Державин видит как целостный телеологический процесс...» (с. 63). Приведенное в качестве доказательства четверостишие Державина из письма к Е. Болховитинову вряд ли может подтвердить этот вывод.

На наш взгляд, статья А. В. Петрова будет интересна читателям не столько своими выводами, многие из которых уже были сделаны в научной литературе, сколько подробным анализом трактата, некоторыми тонкими наблюдениями, системой доказательств, в ряде случаев излишне усложненной. Использование работы немецкого философа XX века в качестве канвы, на которую проецируется текст державинского трактата, представляется методологически ошибочным.

Исследование влияния поэзии Державина на его современников представлено в статье Д. В. Ларковича «Г. Р. Державин и П. П. Сумароков». Один из самых талантливых эпиграмматистов своего времени, П. П. Сумароков сочинил только две оды. Именно они наиболее полно выражают его мысли и чувства, вызванные драматическими событиями личной судьбы. Ода «Гордость» (1789), написанная в форме диалога с «надменным смертным», была воспринята современными исследователями как полемика с Державиным. Сопоставляя оду П. П. Сумарокова с одами Державина «Бог» и «Успокоенное неверие», Д. В. Ларкович показывает сходство авторских позиций, основанное на неприятии рационализма. Он убедительно доказывает: Сумароков не полемизирует с Державиным, а развивает державинскую идею нерасторжимого единства человека с

---

[4] *Вайман С.* Параметры эстетической мысли. Историзм. Метод. М., 1997. С. 48—70.

[5] *Западов В. А.* Работа Г. Р. Державина над «Рассуждением о лирической поэзии» // Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л., 1986. С. 245. (XVIII век; Сб. 15).

Богом, демонстрирует, что случается с человеком при нарушении равновесия между духовным и плотским, которое возникает при абсолютизации человеком своего «я».

Вторая ода П. П. Сумарокова «Послание к Киргиз-Кайсацкому царю Всемилу...» (1801), написанная по случаю восшествия на престол Александра I, откровенно соотнесена с державинской поэзией. Не случайно она завершается обращением к автору «Видения Мурзы». Сумароков демонстрирует преемственность и идей, и стиля Державина. Используя смелые ритмические новшества, он создает поэтическую интонацию, ориентированную на устную речь. Бесспорными представляются выводы автора статьи, что с 1789 по 1801 год П. П. Сумароков прошел путь от ученичества по отношению к Державину, от сугубо внешнего подражания, до отношений творческого диалога с ним.

Некоторые коррективы в устоявшиеся в филологической науке взгляды на адмирала А. С. Шишкова как неудачного этимолога вносит статья С. В. Иванова «Об этимологических изысканиях А. С. Шишкова».

Труды Шишкова по этимологии по объему уступают лишь его переводам художественной литературы. Их следует рассматривать как часть той сверхзадачи, которую он ставил перед собой — отыскание и реконструкция единого первоначального языка человечества. По мнению Шишкова, все языки содержат в себе элементы первобытного языка. Шишков склонялся к тому, чтобы объявить ближайшим к этому языку «славенский». Следует заметить, что эта теория имеет своих сторонников и в наше время. Профессор В. Худяков утверждает, что русский язык единственный, который сохраняет сакральный смысл праязыка, зародившегося на заре человечества.[6]

Некоторые наблюдения Шишкова обнаруживают тесную связь с более ранним этапом отечественной лингвистики, прежде всего с В. К. Тредиаковским и А. П. Сумароковым.

Многие теоретические и методологические основания исследований Шишкова в области этимологии были довольно шатки, неоправданной была его ориентация на издание, созданное по программе П. С. Палласа «Сравнительные словари всех языков и наречий...» (СПб., 1787—1789. Т. 1—2). Однако в отдельных случаях этимологии, предложенные Шишковым, совпадают с теми, что ныне признаны. Родственными теперь считают слова *вить* и *ветвь*, с глаголом *веять* связывают *ветер* и, гипотетически, *вьюгу*. В некоторых рядах слов, составленных им, можно найти остроумные и верные наблюдения, например: *малый* — *мелю* (т. е. умаляю) — *перемалываю* — *молот* — *молотить* — *мелкий* — *мел* — *молния* (ибо малое время продолжается) — *мелькаю* — *малина* (состоит из мелких частиц) — *меньше* — *мизинец* — *мизерно*. Особенностью этимологического мышления Шишкова был семасиологический подход, т. е. ориентация на связь слов по значению.

С. В. Иванов показывает, что А. С. Шишков, не создавший научно обоснованную базу для этимологических исследований, тем не менее обладал чутьем лингвиста, а его деятельность стимулировала развитие лингвистической науки.

В чрезвычайно интересной статье «„Львова вышла замуж за Львова...": Легенды и факты» С. Д. Дзюбанов на основе архивных документов раскрывает истинные обстоятельства женитьбы в 1810 году овдовевшего Ф. П. Львова (1766—1836), отца десятерых детей, на дочери Н. А. Львова Елизавете Николаевне (1788—1864). Вокруг этого брака возникло много легенд. Согласно им, Державины — Гавриил Романович и Дарья Алексеевна — всячески отговаривали племянницу от этого замужества. Когда надежда получить их согласие рухнула, Елизавета Николаевна венчалась с Федором Петровичем тайно.

Однако неудовольствие, вызванное этим браком в семьях родственников, объясняется, оказывается, серьезными причинами. Препятствием к браку было родство жениха и невесты. Они состояли в пятой степени кровного свойства. Такой брак мог быть заключен только по специальному разрешению архиерея. Елизавета Николаевна была восприемницей при крещении одной из дочерей Федора Петровича, следовательно, между ними было также духовное родство запрещенной для вступления в брак степени. Кроме того, они были связаны двухродным свойством, т. е. родственной связью, возникающей через брак представителя одного рода с представителем другого рода. По действующему в то время законодательству брак между ними был категорически запрещен. Законом предусматривалась уголовная ответственность лиц, вступивших в незаконный брак, а также их родителей, опекунов и поручителей.

Несмотря на это, Федор Петрович Львов обратился к митрополиту Амвросию с прошением о разрешении на брак, в котором указал свое кровное родство с невестой, а о более близком свойстве и духовном родстве умолчал. Разрешение было получено, но свадьба чуть было не расстроилась из-за того, что священник храма при Военно-сиротском доме, куда обратился Ф. П. Львов, был осведомлен о родственных связях жениха и невесты и уведомил об этом митрополита. Опасаясь со дня на день получить запрещение на брак, Федор Петрович и Елизавета Николаевна спешно обвенчались под Петербургом, в церкви села Ульянка. Через три дня после заключения брака Львову было объявлено о запрещении женитьбы.

---

[6] См.: *Худяков В.* Боги меняются // Лит. газ. 2008. № 9 (6161). 5—11 марта. С. 14.

Хотя этот брак, заключенный с нарушением всех законов, мог быть признан незаконным, события развивались благоприятно, Львовы прожили вместе около 25 лет, воспитав 17 детей.

Таким образом, С. Д. Дзюбанов проясняет, наконец, ситуацию, которая обрастала различными толкованиями начиная с 1810 года, и обращает внимание исследователей на положения Российского законодательства XVIII—начала XIX века.

Интересные факты, связанные с многогранной творческой деятельностью Н. А. Львова, читатель может почерпнуть в статье известного музыковеда Л. А. Федоровской «Музыка и музыканты в жизни и творчестве Н. А. Львова. Статья 2».[7]

Как известно, Львов был автором либретто нескольких комических опер, в том числе оперы «Ямщики на подставе», музыку к которой написал Е. И. Фомин. Эта пьеса необычна по композиции. В ней не развита любовная интрига, арии и речитативы заменены народными песнями, персонажи говорят на диалекте. Автор предназначал оперу для исполнения небольшим хором, которым руководил С. М. Митрофанов, человек близкий львовско-державинскому кругу. Сюжет «Ямщиков» полон аллюзий. Действие в пьесе происходит во время поездки Екатерины II по югу России. По мнению автора статьи, несколько эпизодов этой оперы, в частности эпизод в Крестцах с проводами на военную службу, были использованы в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, на которого Н. А. Львов и его окружение оказали определенное влияние. Однако это утверждение остается бездоказательным. Увлеченность Радищева музыкой могла способствовать его сближению с Н. А. Львовым и его единомышленниками, но документальных свидетельств тому нет.

В 1789 году Львов перевел с итальянского языка «Объяснение...» Дж. Сарти к написанной им музыке для пьесы Екатерины II «Начальное управление Олега». Сарти использовал в своей музыке древнегреческие лады. В «Объяснении» он характеризует особенности древнегреческого пения, делает ссылки на изученные им труды древних авторов — Аристотеля, Платона, Цицерона. Переводя «Объяснение», Н. А. Львов объяснил некоторые термины, употребленные Сарти («аккорд» и др.), дал пояснения, касающиеся редких музыкальных инструментов («тибия»). Сотрудничество Н. А. Львова и Дж. Сарти продолжалось много лет.

В статье затронуты и некоторые другие вопросы, связанные с музыкальными интересами Львова.

Об отношении А. С Пушкина к Г. Р. Державину и литературе XVIII века в целом написано немало. Этой теме посвящена и статья Н. А. Кашурникова «Пушкин о Державине». Свою задачу автор статьи видит в анализе всех высказываний Пушкина о Державине, а также в учете всех случаев, когда Пушкин цитировал произведения Державина (приведено в Приложении). Создается сложная, неоднозначная картина. Суждения Пушкина о Державине были то лестными, то резкими. Н. А. Кашурников их комментирует, делает попытки, часто удачные, мотивировать их теми или иными обстоятельствами — личными, политическими, этическими или эстетическими. Однако в целом статья оставляет ощущение недосказанности, что, возможно, вызвано ее небольшим объемом. Анализируемые цитаты следовало бы глубже погрузить в контекст эпохи и литературной жизни пушкинского времени. Хочется надеяться, что в расширенном виде эта статья появится в одном из следующих номеров сборника.

Две статьи рецензируемого издания связаны со спецификой музейной работы. Это статья С. М. Некрасова «Философская ода XVIII века в контексте литературной экспозиции. (К проблеме экспозиционного воплощения литературного текста)», открывающая сборник, и статья Е. В. Морозовой «„Подруга думы праздной..." (О чернильницах Г. Р. Державина)».

С. М. Некрасов рассказывает о том, как решается в Музее Державина его главная задача. Чтобы показать посетителю в образно-эмоциональной форме процесс творческого труда писателя, в экспозиции используются копии рукописей, изготовленные на архивной бумаге и создающие полную иллюзию подлинника. Для того чтобы наиболее адекватно представить в экспозиции философскую лирику Державина, и прежде всего его оду «Бог», в музее была организована временная выставка, которая условно воссоздавала обстоятельства и интерьер, в которых была написана ода, а в витрине были помещены первые ее издания. Музей планирует создание литературной экспозиции, рассказывающей о развитии религиозно-философской традиции в русской поэзии XVIII—XX веков, в том числе в среде русских поэтов-эмигрантов «первой волны», воспитанных на поэзии Державина и религиозно-философских трактатах российских богословов, умерших за границей.

Небольшая, но изящная и очень содержательная статья Е. В. Морозовой дает представление о предметах быта Державина — чернильницах, которыми он пользовался. Одна из них — с подсвечником и экраном — была выполнена по чертежам Н. А. Львова и ныне находится в Национальном музее Татарстана. В доме Державиных на Фонтанке были также одна серебряная и одна бронзовая чернильница и три фарфоровые, в том числе последняя, которой пользовался Державин в Званке. По-видимому, ее привозили

[7] Первую статью см.: Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. С. 104—118.

на лето из Петербурга. Все эти чернильницы были проданы в 1842 году на аукционе, который был устроен в доме Державина по завещанию его вдовы Дарьи Алексеевны. Музей ведет поиск этих или аналогичных им чернильниц, имея их описание, так как чернильница является одним из главных вещественных символов литературного труда в музейной экспозиции.

Публикация Н. М. Корневой материалов Российского государственного исторического архива об установке в 1895 году мемориальной доски на доме Г. Р. Державина завершает сборник.

Сборники научных статей «Г. Р. Державин и его время», а также научных докладов «Державинские чтения», издающиеся Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Музеем Г. Р. Державина и русской словесности его времени, вносят существенный вклад в изучение литературы XVIII—начала XIX века.

© *С. А. Кибальник*

ПРОЗА ФИЛОСОФА В ЗЕРКАЛЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА*

«Если хочешь быть философом, пиши роман». Кто бы мог подумать, что эти слова были девизом не только знаменитого французского писателя-экзистенциалиста, но и замечательного русского религиозного философа А. Ф. Лосева (1893—1988). Помимо хорошо известных трудов по истории эстетики, мифологии и философии, Алексей Лосев писал также и художественную прозу, которая, к величайшему сожалению, при его жизни так и не увидела свет — первые публикации стали появляться посмертно, лишь в 1990-е годы. Большинство лосевских произведений было написано в пору, когда философ был лишен возможности заниматься философией, во время его пребывания в лагере на Беломорканале (1931—1933) и сразу же по выходе на свободу — в 1933—1934 годах, когда об их печатании не могло быть и речи. Последний всплеск прозаической (а также поэтической) активности падает на начало Отечественной войны. Впрочем, в состав художественного наследия Лосева входят не только рассказы, повести и роман, но и стихотворения (1942—1943), переписка (1911—1940), воспоминания и беседы (1970—1988). Все эти произведения были изданы в полном объеме только в 2002 году с обширным введением, написанным доктором филол. наук Е. А. Тахо-Годи.[1] И вот, наконец, первое, но обширное и детальное их исследование!

В монографии Е. А. Тахо-Годи три большие главы: «Основные этапы творчества А. Ф. Лосева», «Художественный мир прозы А. Ф. Лосева», «Традиции русской литературы XIX—XX веков», что, по верному замечанию известного историка философии и культуры проф. А. Л. Доброхотова, написавшего предисловие к книге, удачно высвечивает «важную для эстетики А. Ф. Лосева идею триединства жизни и творчества в традиции».[2] Обозреть, хотя бы вкратце, все содержание этих глав в рамках короткой рецензии невозможно. Остановимся поэтому лишь на некоторых принципиальных проблемах.

Одна из сложностей, с которой столкнулась Е. А. Тахо-Годи как автор монографии, — это небольшое количество предшественников. Отсутствие публикаций и соответственно откликов на лосевские произведения 1930-х—начала 1940-х годов обусловило существенный «археологический» момент работы. Анализируя истоки и художественные основы лосевской прозы, вдвигая писателя в тот или иной ряд, реконструируя, какой смысл художественное наследие Лосева имело в момент его создания и как оно могло бы быть воспринято культурным читателем 1930—1940-х годов, исследовательница могла опереться на минимальное число свидетельств на этот счет (если исключить признания самого Лосева). Материалов о восприятии лосевской прозы в 1990—2000-е годы также немного. Так что утверждение А. Л. Доброхотова о том, что «автору, чтобы соответствовать задаче, пришлось по сути создать особый ансамбль жанров: соединение историко-филологического, литературоведческого и культурологического рассмотрения прозы А. Ф. Лосева в контексте одной из самых драматичных эпох русской культуры: между временными границами Серебряного века и раннесоветской деспотии»,[3] отнюдь не просто слова.

---

* *Тахо-Годи Е.* Художественный мир прозы А. Ф. Лосева. М., 2007. 399 с.

[1] *Лосев А.* «Я сослан в XX век...». Т. 1—2. М., 2002.

[2] *Доброхотов А. Л.* Паломничество в страну Лосева // Тахо-Годи Е. Художественный мир прозы А. Ф. Лосева. С. 6.

[3] Там же. С. 5.

Заслуживает особого внимания то, как в первой главе книги решается вопрос о соотношении художественного и философского в наследии Лосева. Художественная проза создавалась в основном в десятилетие, последующее за изданием в конце 1920-х годов знаменитого «восьмикнижия», объединяющего книги от «Философии имени» до «Диалектики мифа». Вполне логично поэтому, что исследовательница предлагает рассматривать лосевскую философию «как художественный претекст его прозы, как один из источников его художественной системы» (с. 12). Однако еще В. В. Зеньковский отметил присущую «восьмикнижию» «общую недоговоренность»,[4] обусловленную советской цензурой. В такой ситуации не только философия может помочь интерпретировать художественную прозу, но и наоборот. То, что Лосев говорил о своем чисто философском творчестве именно как о писательстве и считал себя в первую очередь писателем, дало шанс разрешить непростую задачу — рассмотреть и научное творчество Лосева 1920-х годов как литературу. В решении этой проблемы автор книги вполне преуспела. Невозможно перечислить все те автореминисценции из философских работ Лосева, которые Е. А. Тахо-Годи обнаружила в его художественной прозе. Важно подчеркнуть, что, хотя сама исследовательница об этом нигде прямо не говорит, ей удалось показать, как в художественной прозе Лосева происходит проверка, своего рода взвешивание на незримых весах феноменологии жизни философских интуиций, высказанных ранее в его научном дискурсе 1920-х годов. Одновременно ей удалось объяснить, почему сам Лосев видел в своем философском творчестве писательство.

Противопоставляя свою позицию некоторым из предшественников, сама автор объявляет задачей книги показать «органическое единство философского, художественного, эпистолярного наследия Лосева, то, что оно основывается на одних и тех же устойчивых образах, что „ранний" и „поздний" Лосев — это отнюдь не „два разных мыслителя", как представляется на первый взгляд» (с. 15).[5] Нельзя не признать, что в основном эта задача выполнена в ее работе успешно.

Другая ценная сторона книги — стремление выявить как метафизические, так и автобиографические метасюжеты прозы Лосева (об этом речь идет в основном во второй главе монографии). Поскольку большинство его произведений посвящено встрече автобиографического героя-философа с гениальной музыкантшей, а основной их целью, как определяет исследовательница, является «узрение существа музыки при посредстве существа женского и безумия артистического»,[6] то такая задача напрашивалась сама собой. Однако выявление повторяющихся изоморфных сюжетно-композиционных конструкций повестей «Мне было 19 лет», «Трио Чайковского», «Метеор», «Встреча» и романа «Женщина-мыслитель» только подчеркивает внутренние различия этих произведений, действие которых происходит то в дореволюционной, то в лагерной России 1931—1933 годов. Вот почему я бы не согласился с мнением автора предисловия, что весь «корпус прозаических текстов А. Ф. Лосева воспринимается как по-своему связный сюжет „интеллектуального романа" с внутренним драматизмом и сквозными темами».[7] То, что это именно так отчасти, несомненно, но, с моей точки зрения, проза Лосева все-таки разнообразнее.

Исследовательница относит писателя Лосева «к постсимволизму, а точнее, к такому его направлению, как неотрадиционализм». Ее выводы звучат так: «Лосевская интеллектуальная, философско-музыкальная проза, как показывает анализ, представляет собой христианскую экзистенциальную антиутопию, поднимающую важнейшие экзистенциальные проблемы: свободы и выбора, существования в условиях пограничной ситуации, осмысленности или абсурдности бытия человека в мире, социально-исторические и эстетические предпосылки его стремления к существованию в мире без Бога» (с. 16). Этот итог, несомненно имеющий теоретическое значение, — осмысление постсимволизма и его разновидностей в русской культуре — в целом не вызывает сомнения.

Не столько сомнение, сколько вопросы вызывает другое. Во-первых, то, в какой мере проза Лосева была связана с советской литературой 1920—1930-х годов, а во-вторых, с зарубежной литературой. Что касается последнего вопроса, то сам Лосев придавал ему особое значение. «Чувствую неимоверную потребность писать беллетристику, причем исключительно в стиле Гофмана (Т.-А.), Эдгара По и Уэльса», — признавался он жене летом 1932 года как раз перед созданием своих первых прозаических опытов. Е. А. Тахо-Годи не проходит мимо этого автопризнания, высказывая интереснейшие соображения о том, какие черты лосевской «экзистенциальной антиутопии» предопределили именно эти авторы (а также Фламмарион, Хаксли и др.). При этом в третьей главе монографии она все же рассматривает творчест-

---

[4] *Зеньковский В. В.* История русской философии. 2-е изд. Париж, 1989. Т. 2. С. 377.

[5] В приведенных словах Е. А. Тахо-Годи полемизирует с М. С. Уваровым (*Уваров М. С.* Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998. С. 197).

[6] *Тахо-Годи Е.* На пути к невесомости или в плену Содома // Лосев А. «Я сослан в XX век...». Т. 1. С. 31—32.

[7] *Доброхотов А. Л.* Паломничество в страну Лосева. С. 6.

во Лосева преимущественно в связи с отечественной литературной традицией (тут и Гоголь, и Достоевский, и Вяч. Иванов). Нет ли здесь небольшого перекоса, особенно если учесть возможность влияния античной литературы на Лосева как на филолога-классика? Хотя исследовательница и пишет об ориентации на диалоги Платона, который был для Лосева *«в гораздо большей степени писатель, нежели философ»* (с. 56), однако о значении этой ориентации для лосевской прозы, вероятно, можно было бы говорить и в более широком плане.

Не так уж маловажен и первый вопрос. Е. А. Тахо-Годи совершенно убедительно показывает, что в основном литературно-эстетическая позиция Лосева сложилась под влиянием русской литературы, и в первую очередь символизма. Тем не менее трудно представить, чтобы, создавая свою прозу, философ оставался совершенно безучастен к бурному развитию советской прозы 1920—1930-х годов. Спору нет — явных перекличек лосевской прозы с Бабелем, Зощенко или «серапионами» нет. Но если анализ будет проделан фронтально, возможно, они и обнаружатся (находит же автор переклички с А. Платоновым, Е. Замятиным, М. Булгаковым или А. Солженицыным!). А некоторые сюжеты сами так и просятся к рассмотрению. Так, «Козлиная песнь» К. К. Вагинова вышла еще в 1927 году, и это также «роман с ключом», где, как и в написанном в 1933 году романе Лосева «Женщина-мыслитель», изображена пианистка М. В. Юдина. Мог ли Лосев не поинтересоваться этой «маленькой бомбой» 1927 года, и не связано ли само создание его романа, тоже, несомненно, «романа с ключом», с нашумевшей книгой Вагинова (тем более что писатель предположительно считается прототипом одного из персонажей лосевского романа)?

Все эти вопросы возникают при прочтении книги сами собой. Но это не оттого, что в работе Е. А. Тахо-Годи что-то упущено, а оттого, что даже в детальном исследовании обширного художественного материала невозможно в достаточной мере осветить все связанные с ним вопросы. Не сомневаюсь, что в ближайшее десятилетие изучение художественного и научного наследия А. Ф. Лосева будет идти с повышенной интенсивностью. И предопределено это замечательным исследованием Е. А. Тахо-Годи, заложившей прочный фундамент для дальнейшей разработки данной темы.

ХРОНИКА

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «И. А. ГОНЧАРОВ И XXI ВЕК: ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ»

15—18 июня 2007 года в г. Ульяновске проходила Международная научная конференция «И. А. Гончаров и XXI век: творческий диалог», посвященная 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Конференция была организована Историко-литературным музеем И. А. Гончарова в Ульяновске. Благодаря усилиям немногочисленного, но исключительно работоспособного коллектива музея программа конференции наряду с научными заседаниями включала в себя разнообразные культурные мероприятия: проведение экскурсий, посещение спектакля «Обломов» в Ульяновском театре драмы, церемонию вручения литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею И. А. Гончарова. Участники конференции были также приглашены на XXIX Всероссийский гончаровский праздник, который традиционно проводится в парке «Винновская роща». А в сквере рядом с «Домом Гончарова» стоит теперь памятник Обломову, выполненный в виде «Философского дивана» с надписью: «„Здесь я окончательно постиг поэзию лени и это — единственная поэзия, которой буду верен до гроба, если только нищета не заставит меня приняться за лом и лопату" Иван Гончаров. Симбирск, 1849 г.». Рядом с диваном — домашние туфли Обломова.

В ходе научных заседаний было прочитано 36 докладов. Помимо российских гончароведов гостями конференции стали ученые из Украины, Венгрии, Германии, Великобритании, Франции, США и Японии. В докладе П. П. Алексеева (Киев, Украина) «Цивилизационный аспект русской духовности во „Фрегате «Паллада»"», открывшем первое научное заседание, рассматривалась цивилизационная модель книги очерков «Фрегат „Паллада"». По мнению докладчика, Гончаров расценивал путешествие как миссию общественного характера, служившую целям уточнения «цивилизационных ориентиров современного человека».

В докладе Т. М. Кондрашевой (Самара) «Изображение друга дома и типология семьи в романе И. А. Гончарова „Обыкновенная история"» анализировалась социальная роль «друга дома» в ее различных аспектах. Особое внимание было уделено биографическому подтексту темы. Далее докладчица выдвинула тезис, что в «Обыкновенной истории» Гончарова интересовали не «природно-архаические (внеисторические) начала русской жизни, а семейственность», и сосредоточилась на типологии семьи. Были выделены три типа семейных отношений: в патриархальном семействе Адуевых, проживающих в Грачах, в «непрочном семействе» Любецких и рационально устроенной семье Адуева-дяди в Петербурге.

Продолжил заседание доклад В. А. Доманского (Томск) «Сады романа „Обрыв": эдем, потерянный и возвращенный рай». В. А. Доманский подошел к роману «Обрыв» как к разновидности усадебного романа, художественное пространство которого во многом определено топосом сада. В докладе рассматривались два образа сада: буколический — сад Марфиньки и романтический — сад Веры. По мнению докладчика, сосуществование двух типов садов в «Обрыве» является одной из опорных конструкций в романе, с помощью которой решается вопрос о новом понимании любви.

В докладе Н. В. Калининой (Санкт-Петербург) «Флоросемантический код в романах И. А. Гончарова» анализировалось применение «языка цветов» в творчестве Гончарова.

Доклад Л. Г. Чичкиной (Оренбург) «Образ пространства как средство выражения авторской позиции в путевых очерках И. А. Гончарова „Фрегат «Паллада»"» был посвящен выявлению роли оппозиции «свое—чужое» в художественном пространстве Гончарова при описании «местности, обычаев, обрядов, традиций других народов».

В докладе О. И. Сердюковой (Самара) «Обломов и Пшеницына: структурный параллелизм презентаций героев» содержались интересные наблюдения, выявляющие композиционно-стилевую схему, использованную Гончаровым для первого представления своих героев. Анализ повествования, учитывающий различные типы «наблюдателей», вложенных в авторское слово, позволил докладчице не только обнаружить родство героев в том месте текста, где оно еще исключено для них самих и скрыто от читателя, но и сделать вывод о том, что последовательный параллелизм в описании этих персонажей, призван «выровнять» стилистический разнобой между первой и последующими частями романа, усилив его внутритекстовые связи.

В завершающем утреннее научное заседание докладе Н. Н. Старыгиной (Йошкар-Ола) «Мотив и ситуация чтения в романе И. А. Гончарова „Обломов"» рассматривался мотивный комплекс «чтения (не-чтения)» в применении к внутренней и внешней жизни заглавного героя. По мнению докладчицы, форма читательского поведения Обломова сложилась уже в молодости и сохранилась до конца его жизни. По преимуществу в романе идет речь о «недочитанной и непонятой книге», «закрытой или перевернутой переплетом вверх». Было обращено внимание на то, что, хотя «мотив чтения возникает в тексте как способ характерологии героя романа», события также могут быть «маркированы мотивом чтения или не-чтения».

Малоизвестные страницы восприятия творчества Гончарова за рубежом осветил Д. Шюманн (Бамберг, Германия) в докладе «Несколько этапов творческого восприятия романа „Обломов" в Польше», открывшем дневное научное заседание. От обзорного сообщения об истории перевода романа «Обломов» на польский язык докладчик перешел к примерам творческой рецепции романа: телепостановке режиссера Т. Юнака (1973), микрорассказу Р. Брандштеттера «Обломов» (1978) и жанровой песне Я. Качмарского «Обломов, Штольц и я» (2002). Докладчик подчеркнул, что история восприятия творчества Гончарова в Польше осложнялась наличием политической конъюнктуры на протяжении всего XX века.

Размышлениям на тему рецепции творчества Гончарова было посвящено и следующее выступление. Автор современного перевода «Обломова» С. Перл (Лондон, Великобритания) выступил с докладом «Некоторые проблемы перевода романа И. А. Гончарова „Обломов" на английский язык». Докладчиком был обозначен целый ряд современных подходов к переводу. Среди этого многообразия наиболее значимыми, по его мнению, являлись выбор между американским и британским вариантом английского языка и определение границ допустимой модернизации языка, необходимой для преодоления культурного разрыва между современной читательской аудиторией и читателем XIX века. Одним из примененных им средств адаптации текста Гончарова к современным языковым реалиям стало введение в английский перевод пласта лексики, восходящей к терминологии Фрейда, широко распространенной в англоязычном мире. Доклад С. Перла был выслушан с повышенным вниманием и вызвал ряд вопросов, связанных с проблемами не столько «литературного», сколько «культурного» перевода «Обломова» на английский язык.

В докладе Е. Н. Строгановой (Тверь) «Миф о Пигмалионе в романной трилогии Гончарова» обосновывалась мысль о том, что миф о сотворении женщины является важной составляющей сюжетной и концептуальной основы трилогии Гончарова, так как в каждом из романов взаимодействие мужских и женских персонажей пропущено сквозь призму этого мифа. Докладчица поставила перед собой задачу проследить динамику развития мифа в творчестве Гончарова с позиций нравственно-философской проблематики гендерных отношений.

В докладе Г. Димент (Сиэтл, США) «И. А. Гончаров и С. Беккет» говорилось о воздействии образно-стилевой системы «Обломова» на жизнь и творчество С. Беккета. По мнению докладчицы, влияние Гончарова «было самым прямым и очень значительным», что легко проследить не только на примере знаменитой пьесы «В ожидании Годо», неоднократно упоминавшейся в этой связи английскими критиками и литературоведами, но и на материале романов «Моллой» и «Малон умирает» из не менее знаменитой трилогии Беккета. Анализ этих произведений показал, что на фоне различных литературных течений XX века у Гончарова «столько же авторских прав на влияние на Беккета, как и у Пруста и даже Джойса». Заключительное замечание докладчицы: «...последняя и очень маленькая деталь: не влияние, а интересное совпадение. Беккет, как и Гончаров, любил начинать названия своих романов с одной и той же буквы, в его случае с буквы „М" — „Мерфи", „Моллой", „Малон умирает"» вызвало большое оживление в зале.

Доклад С. Н. Гуськова (Санкт-Петербург) «„Невидимый миру смех" (по материалам реального комментария к «Обрыву»)» вновь вернул аудиторию к проблемам «культурного» перевода. В одном из предшествующих докладов роман «Обломов» был назван С. Перлом «шедевром юмора», что, по признанию переводчика «Обломова» на английский язык, сильно усложняло его работу. В докладе С. Н. Гуськова об «Обрыве» объяснялось, почему некоторые случаи гончаровской иронии требуют специального комментария и для русского читателя. Природа «смешного» крайне чувствительна к веяниям времени, и историческая дистанция в рамках единой культуры сказывается в той же степени, что и при межнациональных контактах. Комическое употребление имен, вышедших из обихода, или сталкивание заведомо противоречивых фактов, давно утративших всякую актуальность, не улавливаются современными носителями языка. В этом смысле работа комментатора классических литературных произведений вполне может быть уподоблена переводу «с русского — на русский».

Н. В. Новикова (Саратов) в докладе «И. А. Гончаров: личностно-творческое воплощение в трактовке Р. В. Иванова-Разумника» проследила эволюцию взглядов критика на творчество Гончарова. Как известно, в неоднократно переиздававшейся «Истории русской общественной мысли» (первое изд.: 1907), излагающей историю русской интел-

лигенции под знаком борьбы двух философско-эстетических начал — индивидуализма и мещанства, Иванов-Разумник определил творчество И. А. Гончарова как «самое яркое воплощение духовного мещанства в русской литературе». В докладе Новиковой рассматривались критические замечания Иванова-Разумника на эту тему, последовавшие за публикацией новых материалов о жизни и творчестве Гончарова в годы празднования столетнего юбилея писателя. По мнению докладчицы, «ожидаемые коррективы», обусловленные обнародованием информации противоречащей критериям оценки в «Истории русской общественной мысли», были внесены Ивановым-Разумником не в истолкование Гончарова, а в само определение «мещанства».

Завершилось дневное заседание докладом Г. Л. Черюкиной (Ростов-на-Дону) «„Талант быть человеком": роман И. А. Гончарова „Обрыв" как опыт художественной антропологии». В докладе говорилось об особенностях разворачивания системы персонажей в романе «Обрыв», реализующей, по мнению докладчицы, «особый авторский замысел: создать идеальный образ абсолютно положительного человека».

16 июня утреннее заседание открылось докладом В. А. Недзвецкого (Москва) «Тоска Ольги в „крымской" главе „Обломова": интерпретации и реальность». В докладе на эту тему В. А. Недзвецкий, критически рассмотрев существующие объяснения грусти-тоски героини «Обломова» (достигшей, казалось бы, вершины счастья, возможного в земном существовании человека) как следствия якобы неудовлетворенного стремления Ольги к общественно-политической деятельности (Н. А. Добролюбов, Д. Н. Овсяико-Куликовский, Р. В. Иванов-Разумник), или ее недовольства «рассудочностью, эгоцентризмом» Штольца (Н. К. Пиксанов), а также ее «эротической неудовлетворенностью» (А. и С. Лингстеды), или переживаемой ею «экзистенциальной скукой» (Вс. Сечкарев) и, наконец, овладевшими ею «порывами... к Богу» (В. Мельник), предложил свою трактовку состояния Ильинской, строго придерживающуюся, по его мнению, текста романа. Для определения этого состояния докладчиком были проанализированы отсылки Штольца к гётевскому Фаусту и байроновскому Манфреду из одноименных трагедий, и в особенности к древнегреческому мифу о титане Прометее. Остановившись на понятиях «мятежные вопросы» и запросы, «титаны» и «расплата за Прометеев огонь», докладчик обосновал тезис об устремленности Ольги Ильинской к слиянию с бесконечной природой и самой Вселенной и достижению таким образом Абсолюта и физического бессмертия. Далее О. В. Тимашовой был зачитан доклад И. В. Пыркова (Саратов) «Тема сиротства в романах И. А. Гончарова».

В докладе И. Ониси (Саппоро, Япония) «„Литературный вечер" с точки зрения метаслитературы» анализировалась жанровая принадлежность произведения, в определении которого исследователи творчества Гончарова традиционно расходятся между «художественным» и «критическим» очерком. И. Ониси предложил отойти от создавшейся дилеммы, чтобы сосредоточиться на более значимых, по его мнению, стилистических признаках «Литературного вечера», сигнализирующих о включенности очерка Гончарова в обширный контекст «литературы о литературе» (или «металитературы»), предоставлявшей особенно большие возможности для манипуляции с уже существующими жанровыми моделями. По мнению докладчика, эти возможности были реализованы писателем в форме «критического очерка о критике» «не столько для того, чтобы проиллюстрировать современные Гончарову разные литературные позиции, сколько для того, чтобы вскрыть напряженные отношения между критикой вообще и самим творчеством (произведением)». Полемичность «Литературного вечера» была направлена против ожесточенной критики «Обрыва».

С. В. Денисенко (Санкт-Петербург) выступил с докладом «„Я не знаю сам, как и зачем" ... попал в „Горе от ума" (И. А. Гончаров, бенефис Монахова и «Мильон терзаний»)», в котором обстоятельно излагались неучтенные театральные реалии, вызвавшие к жизни хрестоматийно известную статью Гончарова.

А. Молнар (Будапешт, Венгрия) представила доклад «„Сон Обломова" И. А. Гончарова и „Сон смешного человека" Ф. М. Достоевского (соотношение полноты и части в сновидениях о Золотом веке)», в котором сравнивались особенности повествовательной репрезентации целостного мифа из обломочного характера сновидений в произведениях Достоевского и Гончарова.

Далее Г. Г. Багаутдинова (Йошкар-Ола) выступила с докладом «Комическое как средство выражения авторской позиции в „Слугах старого века" И. А. Гончарова». Отметив особенности повествовательной системы всего цикла очерков, докладчица обратилась к средствам создания комического в очерке «Валентин», основными из которых, по мнению Багаутдиновой, являются литературный портрет Валентина и его психологическая характеристика.

Завершилось утреннее заседание выступлением И. Б. Ничипорова (Москва), представившего вниманию аудитории доклад на тему: «Феномен „человека путешествующего" в творческом восприятии И. А. Гончарова: „Фрегат «Паллада»"». Докладчик подчеркнул, что отличительным свойством гончаровского путешественника является его «натура художника, привносящая в оценку и осмысление всего увиденного эстетический критерий».

После перерыва обсуждение различных аспектов творчества И. А. Гончарова было

продолжено. А. С. Волковинский (Каменец-Подольский, Украина) выступил с докладом «Цепочки аллитерационных эпитетов в романе И. А. Гончарова „Обыкновенная история"», в котором выдвинул тезис о том, что детальный фонетический анализ текста «Обыкновенной истории» позволяет говорить о пристальном внимании Гончарова к звуковому конструированию фразы. Выявленные исследователем аллитерационные последовательности (три и более звена) эффективно актуализируют фонические связи между эпитетами и определяемыми словами, а также выполняют функции ритмических и фонических скреп, обеспечивающих формально-смысловую цельность произведения.

В докладе И. П. Ивановой (Москва) «Мотив еды в романе И. А. Гончарова „Обрыв"» была предложена интерпретация семантики «пищевой образности» в «Обрыве». Доклад вызвал ряд вопросов и возражений.

М. М. Егошина (Пермь), основываясь на концепции, выдвинутой Н. С. Бочкаревой в монографии «Роман о художнике как „роман творения"», сопоставила роман «Обрыв» с романом Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» в докладе на тему: «Крейслер и Райский как герои-художники (осмысление романа «Обрыв» в контексте западноевропейской литературы)».

Н. Л. Ермолаева (Иваново) выступила с докладом «Тема судьбы в творчестве И. А. Гончарова 1830—1840-х годов». По мнению докладчицы, в ранних произведениях писателя «в зависимости от их жанра понятие судьба приобретает как вполне традиционный, глубоко драматичный смысл, так и смысл комический». Амбивалентность понятия отличает Гончарова «от современных ему прозаиков — Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского», позволяя разорвать «веками существовавшую в мировой культуре неизменную связь судьбы и смерти».

В докладе А. Ю. Сорочана (Тверь) «Два литературных вечера: Загоскин и Гончаров» говорилось о связи очерка Гончарова с одним из его предшественников — одноименным текстом, вошедшим в книгу М. Н. Загоскина «Москва и москвичи». Помимо общей сюжетной структуры очерки объединены авторской установкой, так как написаны в полемике с «отрицательным» направлением.

Завершилось дневное заседание докладом О. В. Тимашовой (Саратов) «А. Ф. Писемский и И. А. Гончаров: непрочитанные страницы личных и творческих отношений», в котором развитие взаимоотношений писателей рассматривалось на эпистолярном материале. В докладе было также обращено внимание на случаи скрытого цитирования Гончарова в произведениях А. Ф. Писемского «Богатый жених» (1852) и «Фанфарон. Один из наших снобов» (1854).

Вечернее заседание открылось докладом Л. И. Черемисиновой (Саратов) «А. А. Фет и И. А. Гончаров: ненаписанная страница воспоминаний», где говорилось о том, что логика известной статьи И. А. Гончарова «Нарушение воли» (1889) родилась из его переписки с А. А. Фетом, возникшей по поводу просьбы поэта опубликовать одно из писем Гончарова в своих воспоминаниях.

В докладе Т. В. Ушаковой (Ростов-на-Дону) «Эпистолярии И. А. Гончарова и С. Никитенко: отражение внутренней жизни и концепции бытия писателя» был выделен ряд наиболее значимых, по мнению докладчицы, тем, развиваемых Гончаровым в письмах к С. А. Никитенко летом 1860 года.

В докладе М. В. Строганова (Тверь) «Гончаров и воспоминания Фета», проблема восприятия личности Гончарова «мемуаристом» Фетом раскрывалась через «встречное» отношение к нему Гончарова. Выявив возможные точки соприкосновения личных и творческих судеб Гончарова и Фета, докладчик остановился на сопоставлении аргументов, приведших обоих писателей к открытой декларации непримиримой неприязни к И. С. Тургеневу. В завершение вечернего научного заседания П. П. Алексеевым был зачитан доклад В. Я. Звинецковского (Киев, Украина) «Крымская глава „Обломова"».

В последний день конференции в центре внимания нескольких выступлений были связи творчества Гончарова с родным Симбирском. В докладе А. П. Рассадина (Ульяновск) «Симбирский фон в романе И. А. Гончарова „Обломов"» говорилось о том, что местный колорит родного города писателя обнаруживает себя в описании некоторых «петербуржских» реалий. Ж. А. Трофимов (Ульяновск) в докладе «Н. А. Гончаров — брат романиста» сообщил об итогах биографических разысканий, посвященных памяти Н. А. Гончарова. В докладах М. Г. Матлина (Ульяновск) и Л. А. Сапченко (Ульяновск) рассматривались вопросы поэтики. К. В. Лазарева (Ульяновск) сопоставила роман «Обрыв» с романом Д. Рубиной «На солнечной стороне улицы». Е. Л. Райхлина (Тула) поделилась замечаниями о возможных методах актуализации нравственной проблематики «Обломова» при преподавании литературы в школе. Постоянная гостья ульяновских конференций В. Жобер (Париж, Франция), пошутив, что на правах родственницы Е. В. Толстой позволит говорить себе не о Гончарове, прочла доклад «Страдания молодого Мура: дневник Георгия Сергеевича Эфрона».

На этом работа конференции была закончена. В ближайшее время по материалам конференции планируется издать сборник.

© Н. В. Калинина

XXXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕКРАСОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28—29 января 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась очередная XXXIV Некрасовская конференция. По традиции последних лет, в первый день она проходила в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, а во второй — в Музее-квартире Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. В работе конференции приняли участие сотрудники Института и Музея, а также сотрудники Центральной библиотеки им. В. В. Маяковского, преподаватели, научные и музейные работники Петербурга, Москвы, Ярославля, Коломны. Открывая конференцию, члены оргкомитета (А. М. Березкин и М. Ю. Степина) в приветственном слове осветили итоги изучения творчества и биографии Некрасова в Пушкинском Доме и за его пределами за 2006—2007 годы. Присутствующие почтили вставанием память ушедших от нас Б. В. Мельгунова, Н. Н. Мостовской, М. Д. Эльзона и О. Ю. Стройковой.

Программа конференции определялась тематикой исследований наследия поэта и журналиста, ведущихся в связи с подготовкой в Группе по изучению биографии и творчества Н. А. Некрасова Пушкинского Дома справочных изданий «Окружение Н. А. Некрасова» и «Поэтика Н. А. Некрасова».

А. М. Березкин (Санкт-Петербург) свое выступление «Итоги и перспективы академического „некрасововедения"» начал с напоминания о важнейших критериях «академичности» применительно к филологическим аспектам литературоведения. Это, по мнению докладчика, прежде всего точность воспроизведения текстов, полнота учета источников текста и интертекстуальных связей, объективность восприятия значений, образующих смысл, четкое разграничение доказательности и предположительности заключений.

Академическое 15-томное «Полное собрание сочинений и писем» Некрасова в настоящее время является самым полным собранием некрасовских текстов, включая в себя все выявленные художественные произведения, критические статьи, официальные обращения, письма, автобиографические наброски, записи для памяти. В состав Полного собрания вошел также ряд текстов, предположительно атрибутируемых Некрасову. Предположительная атрибуция предполагает дальнейшее изучение контекста, которое является актуальной задачей как литературоведения в общем, так и некрасововедения в частности.

Хотя сжатость комментария в научном издании не обязательно квалифицировать как его недостаток, все же непропорциональность примечаний может быть признана конструктивным недочетом издания. Поскольку наиболее ценной частью художественного наследия Некрасова является, несомненно, его поэзия, комментарий к первым четырем томам пятнадцатитомника представляется недостаточно содержательным в освещении литературного контекста (соотнесенность с литературной традицией, реминисценции и т. д.). В академическом издании, начинавшемся как многотиражное научно-массовое, комментарий и предполагался сжатым, но по мере выхода очередных томов первоначальные ограничения комментариев в объеме фактически уже не соблюдались. В новом научном издании Некрасова весьма желательно восполнить комментаторские пробелы и учесть позднейшую исследовательскую литературу. Исправления и дополнения (текстологического и комментаторского характера) для будущего издания целесообразнее всего направлять в Некрасовскую группу Пушкинского Дома, при этом, естественно, будет неукоснительно учитываться, кем и когда были сообщены корректирующие и дополняющие сведения.

Недавно завершенная трехтомная «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова» представляет собой обширный свод разнообразных материалов, объединяющих в хронологической последовательности имеющие документальное подтверждение факты биографии Некрасова и суждения о нем современников как о литераторе, издателе, общественном деятеле, частном лице. Эпистолярное общение Некрасова с современниками характеризуется в Летописи с максимально возможной полнотой, по существу становясь своеобразным описанием контекста общения. Составление такого рода подробных персональных летописей вряд ли возможно без пропусков и неточностей. И в этом случае сообщаемые Некрасовской группе замечания и дополнительные сведения, касающиеся биографии Некрасова, были бы весьма желательны.

Систематизация знаний о жизни, творчестве, редакторско-издательской деятельности Некрасова, а также о восприятии его произведений в форме персональной энциклопедии дает возможность выявить и ввести в оборот ряд материалов, дополняющих и углубляющих представления о социальном, историко-литературном и общекультурном контексте творчества крупнейшего русского поэта. Более содержательной и удобной для издания формой организации материала является подготовка персональной энциклопедии в виде тематических выпусков: «Н. А. Некрасов и его окружение», «Поэтика Некрасова», «Творчество Н. А. Некрасова» (творческая история некрасовских произведений, их место в социально-культурном контексте; история интерпретаций; Некрасов и мировая культура — прежде всего, конечно, русская; традиции и преемственность в произведениях Некрасова), «Издательская

и редакторская деятельность Некрасова», «Некрасовские места» (подробная характеристика мест пребывания Некрасова и их отражение в его творчестве, маршруты его поездок, в том числе заграничных), «История изучения биографии и творчества Некрасова» (основные посмертные издания, некрасовские музеи, коллекции и архивные фонды, краткие персоналии некрасововедов).

Первый по очередности выпуск, работа над которым уже началась, — справочник «Н. А. Некрасов и его окружение». Цель осуществляемого труда — систематизация накопленных к настоящему времени знаний об окружении крупнейшего отечественного литератора, видного издателя и общественного деятеля, которая обеспечит более удобный доступ к обширному массиву тщательно выверенных разнообразных биографических и историко-культурных сведений. Решение данной задачи не сводится к суммированию ранее опубликованных и введенных в научный оборот материалов, а требует также проверки (в ряде случаев ревизии) и пополнения знаний о личных связях Некрасова и лицах, составлявших его окружение.

Следующим выпуском «Некрасовской энциклопедии» предполагается сделать «Поэтику Н. А. Некрасова», где впервые будет решаться задача системного описания (и, разумеется, аналитической характеристики) поэтики конкретного автора в виде специального справочного пособия. Основу справочника должны составить статьи, посвященные особенностям жанровой системы, языка, стиля, стиха, композиции поэтических произведений, повествовательной организации художественной прозы Некрасова.

В заключение А. М. Березкин упомянул еще об одном проекте Некрасовской группы — комментированном своде материалов «Прижизненная критика о Некрасове», необходимом для конкретного и разностороннего представления о восприятии творчества поэта его современниками.

Н. Н. Пайков (Ярославль) в докладе «Предложения к структуре справочного издания „Поэтика Н. А. Некрасова"» предложил взглянуть на планируемое издание не автономно, а в системе всего корпуса накопленного к настоящему времени знания о личности, жизни и творчестве поэта. Докладчик обратил внимание собравшихся на то, что задачами авторов «Поэтики Некрасова» должно стать не только обобщение и авторизация имеющихся представлений, но и отказ от устаревших подходов, выявление неразработанных областей, рассмотрение всего материала с современных методологических позиций. В этом смысле Н. Н. Пайков предположил вхождение некрасововедения сегодня в очередную, четвертую (системно-творческую) филологическую парадигму. В связи с адресацией планируемого справочника как специалистам-некрасововедам, так и широкой аудитории выступающий поставил вопросы о структуре новой книги, склоняясь к «укрупненно-гнездовому» принципу организации материала и сопровождению его алфавитным и систематическим указателями.

Поэтике некрасовских стихотворений и поэм, разработке некрасовских тем и мотивов в творчестве других писателей были посвящены несколько докладов.

В докладе Ю. М. Прозорова (Санкт-Петербург) «К литературной истории стихотворения Н. А. Некрасова „Родина"» речь шла о поэтических истоках классического произведения поэта. Некрасовское произведение было охарактеризовано докладчиком как переосмысление жанровых форм романтической элегии 1820—1830-х годов, и в особенности одной из разновидностей жанра — элегии ностальгической. Ю. М. Прозоров рассмотрел многочисленные образцы ностальгической лирики русского романтизма, в том числе и в юношеском творчестве Некрасова, акцентируя их ритмико-синтаксические структуры и образно-тематические составляющие. В стихотворении «Родина», согласно наблюдениям докладчика, следует констатировать, при традиционном для элегии «александрийском» стихе, своеобразное отречение поэта от идеализации биографической памяти и поэтизации ностальгической темы. Именно в этой полемике с романтической традицией Некрасов обретал свое творческое своеобразие. В качестве литературного фона некрасовской «Родины» в докладе анализировались стихотворения Жуковского и Плетнева, Пушкина и Баратынского, Языкова и Лермонтова, поэтов «второго ряда».

В докладе Р. Ю. Данилевского (Санкт-Петербург) «„Вооружись небесными громами!" (Некрасов и Шиллер)» прослеживается отношение Некрасова-поэта к наследию Ф. Шиллера (1759—1805). Романтический образ Шиллера-элегика, созданный переложениями В. А. Жуковского и его эпигонов, довольно быстро сменился в некрасовском творчестве более глубоким взглядом на Шиллера как мастера философской лирики и создателя театра обличения и социального протеста. Некрасову удалось соединить два образа Шиллера, существовавшие в русской литературе, — образ лирика и образ «адвоката человечества» (В. Г. Белинский), «гремевшего» против общественной несправедливости. Докладчик проиллюстрировал свои соображения примерами сближения метра, мотивов и образов в произведениях Некрасова (стихотворения из сб. «Мечты и звуки», сатирические стихотворения 1840-х годов, «Последние элегии», поэма «Несчастные», «Кому на Руси жить хорошо»). Особое внимание Р. Ю. Данилевский уделил стихотворению «Поэту (Памяти Шиллера)» (1874).

Т. П. Баталова и Г. В. Федянова (Коломна) выступили с докладом «Мотив русского пути в творчестве Некрасова в контексте русской историософии: К постановке проблемы». По мнению авторов доклада, этот мотив

в поэзии Некрасова 1850—1860-х годов выражает в художественной форме своеобразие русской жизни в ее историческом развитии. Поэт чутко прислушивался к современной ему полемике между западниками и славянофилами, и, хотя он не декларировал свои убеждения, его поэзия точно соответствовала умонастроениям его времени, запечатлев множество моментов развития отечественной мысли.

Т. Б. Трофимова (Санкт-Петербург) в докладе «„Мы были когда-то короткими, близкими друзьями...” (Некрасовские темы в «Стихотворениях в прозе» Тургенева)» указала на отсылки в «Двух четверостишиях» к таким стихотворениям Некрасова, как «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин» и «Уныние».

П. В. Бекедин (Санкт-Петербург) в докладе «О „некрасовском” элементе в рассказе В. М. Гаршина „Художники”» обратил внимание на определенное созвучие в эстетических взглядах и мировоззренческих позициях Н. А. Некрасова и В. М. Гаршина. Рассказ Гаршина корреспондирует с некрасовскими произведениями, посвященными проблеме «Поэт и общество», в первую очередь «Блажен незлобивый поэт...» и «Поэт и Гражданин». Некрасов, создавая обобщенные образы Гражданина и Поэта, в своей эстетической декларации избегал прямолинейности: некрасовские черты обнаруживаются и в характере Гражданина, и в характере Поэта. Гаршин, создавая «Художников», чувствовал, что в новых исторических условиях нельзя ограничиваться прославлением поэта-сатирика, что «карающая лира» нередко таит в себе эстетические издержки. В обоих его героях, как и у Некрасова, запечатлелись черты самого автора «Художников» и тот внутренний разлад, который он ощущал и стремился преодолеть, опираясь на комплекс неоднозначных идей, содержащихся в стихотворениях Некрасова. В своем докладе П. В. Бекедин особо остановился на культурном контексте написания рассказа Гаршина — споры об искусстве в среде современных ему художников.

С этими же размышлениями связан доклад В. Г. Исаченко (Санкт-Петербург) «Поэт и художники (Некрасов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской)», проследившего историю взаимоотношения Некрасова с двумя видными людьми из его окружения — художниками, оставившими наиболее известные портреты поэта. Актуальность темы усиливается тем, что и Ге, и Крамской живо интересовались литературой, знали ее и понимали.

Об окружении поэта и взаимоотношениях в кругу его ближайших сотрудников-журналистов говорилось в докладе М. С. Макеева (Москва) «„Амбиции” или „борьба за справедливость”? (К уточнению позиций сторон в конфликте между Некрасовым и М. А. Антоновичем и Ю. Г. Жуковским)». Докладчик предложил анализ ситуации в ракурсе экономических учений. Некрасов подвергался нападкам не только как личность, в нем видели воплощение несправедливого принципа, лежащего в основе капиталистической экономики, — присвоения капиталистом прибыли от продукта, в то время как рабочий получает только жалованье за свой труд. Настаивая на своем участии в прибыли, Антонович и Жуковский требовали признания права наемного рабочего на часть произведенной предприятием прибыли. Однако «литературная экономика» виделась Некрасову скорее как обмен капиталами между сотрудниками и издателем, а журнал — как общее дело, в котором сотрудники и издатель предстают как своего рода партнеры, вносящие в него свой вклад, в конечном счете товарищи.

Доклад М. Ю. Степиной (Санкт-Петербург) «Принципы анализа и использования мемуарных источников в работе над справочным изданием „Окружение Н. А. Некрасова”» был посвящен основным задачам нового проекта, а также включал соображения более общего характера, связанные с проблемой биографии. Докладчица считает необходимым параллельно с биографиями литератора издавать *«Материалы к биографии»* как самостоятельный труд. Они должны включать в себя *все* найденные факты, как документально подтвержденные, так и дошедшие до нас в виде слухов, не подкрепленных ничем суждений и упоминаний и т. п. Подготовка «Материалов к биографии» предполагает реконструкцию каждого эпизода, т. е., по возможности, проверку факта и временно́й и логической связи его с другими фактами.

Два выступления были посвящены проблемам библиографии Некрасова, поиска и размещения информации о нем в электронных ресурсах.

С первым из них — докладом «Творчество и жизнь Некрасова в Интернет-ресурсах» — выступила М. И. Арефьева (Санкт-Петербург), сотрудница Центральной библиотеки им. В. В. Маяковского. Предложенный М. И. Арефьевой краткий обзор иностранной и русскоязычной литературы, посвященной Некрасову, статистические данные этого обзора, а также рассказ о путях поиска информации о Некрасова в Интернете являются существенным резервом в ведении библиографии поэта.

А. В. Островская предложила участникам конференции свое сообщение «Информационные проекты Пушкинского Дома и проблемы некрасововедения». Речь шла о возможностях информационных ресурсов, входящих в информационно-поисковую систему «Русская словесность» (Отдел библиографии и источниковедения ИРЛИ), а также о принципах построения электронных баз данных для новых некрасововедческих проектов.

В завершение конференции состоялось обсуждение докладов и дальнейших перспектив некрасововедения.

В своем заключительном слове А. М. Березкин отметил, что осуществление «Некрасовской энциклопедии» в форме тематических выпусков в относительно короткие сроки вполне возможно при условии участия в работе (помимо членов Некрасовской группы Пушкинского Дома и сотрудников других академических институтов) преподавателей высшей школы, интересующихся некрасоведческой тематикой, и их учеников — студентов и аспирантов. Что касается начинающейся работы над вторым выпуском «Некрасовской энциклопедии» — «Поэтика Некрасова», — то представляется наиболее плодотворным избрать путь филологического понимания, не превращая системное описание творческого мировосприятия Некрасова в обзор представлений о Некрасове массива исследователей. Главное — дальнейшее выявление семантического потенциала некрасовских произведений, раскрытие Некрасова как живой творческой личности, а не использование его текстов в качестве повода для собственного интеллектуального самоутверждения. В энциклопедии не стоит увлекаться новейшей терминологией и терминотворчеством. При необходимости, естественно, можно вводить термины, не являющиеся широкоизвестными, но в этом случае обязательно надо давать пояснения, определяющие их объем. Путь подлинно филологического понимания ведет не только к умножению и уточнению информации, но и к расширению круга людей, дорожащих творческим наследием Некрасова, для которых его поэтические строки стали частью культурного сознания.

© *М. Ю. Степина*

XXXII МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

7 мая 2008 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН прошли традиционные ежегодные Малышевские чтения.

Начиная свое вступительное слово, посвященное фондообразователям и дарителям Древлехранилища, его заведующий, В. П. Бударагин, напомнил о том, что в грядущем 2009 году созданному В. И. Малышевым Древлехранилищу исполнится 60 лет, а год 2010-й будет ознаменован столетием со дня рождения самого Владимира Ивановича. В связи с этим В. П. Бударагин призвал участников Чтений задуматься над тем, как достойно, в каком месяце и в каком организационном виде необходимо отметить эти даты, а также поразмышлять над издательскими проектами, которые могли бы стать реальными в 2010 году. Докладчик сосредоточил внимание слушателей на одном из элементов «археографического строительства» Владимира Ивановича, указав на то, что до начала 1970-х годов фонды Древлехранилища не содержали личных коллекций. Лишь с этого времени В. И. Малышев внедряет новое структурное разделение: экспедиционные находки начинают поступать в территориальные собрания, а рукописи от собирателей и коллекционеров именоваться коллекциями. Этим, например, объясняется, почему Пустозерский сборник И. Н. Заволоко, получивший всемирную известность под шифром отдельных поступлений, не мог быть включен в состав коллекции И. Н. Заволоко, поступившей в Древлехранилище позднее. Тексты писем В. И. Малышева, адресованные К. П. и А. Г. Гемп, явились иллюстрацией личных взаимоотношений основателя Древлехранилища и его дарителей. В заключение В. П. Бударагин напомнил о предстоящем в августе этого года 100-летнем юбилее В. В. Лукьянова, чтимого в Ярославле, Петербурге и Новгороде Великом, преданного дарителя Древлехранилища.

Доктор филол. наук Н. С. Демкова в соавторстве с доктором филол. наук Л. В. Титовой представили (озвученный Т. Ф. Волковой) доклад, посвященный так называемой «кратчайшей редакции» Жития Аввакума. Представляющая собой интересный и оригинальный пересказ Жития, она, как оказалось, входит в состав обширной компиляции начала XVIII века «О исповедании правыя веры», создатель которой фрагментарно использовал автобиографические и полемические сочинения лидеров старообрядческого движения XVII века — протопопа Аввакума, дьякона Благовещенского кремлевского собора Федора Иванова, соловецкого инока Епифания и московского инока Авраамия. Компиляция посвящена теме массовых репрессий, направлявшихся церковными и светскими властями против сотен и тысяч защитников «истинной», «старой веры». Судьбы новых русских мучеников и «исповедников» рассматриваются (в соответствии с текстом слегка переработанного источника — Послания дьякона Федора сыну Максиму) на фоне событий византийской истории, связанных с преследованием христиан при Юлиане Отступнике и императорах-иконоборцах. Параллельно развивается тема страшной смерти как неизбежного возмездия мучителям христиан, которого не избежал и русский мучитель, царь Алексей Михайлович. Автобиографические фрагменты из сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия выполняют в компиляции особую роль эмоционально

сильных аргументов в полемической и нравственной парадигме оценок компилятора. «Кратчайшая редакция» Жития Аввакума может, таким образом, рассматриваться только как органическая часть общего текста, возникшего на определенном этапе развития старообрядческой литературы, а именно после разгрома движения в 1682 году на базе сочинений «отцов-основателей» и до возникновения кодифицированной литературы Выга.

В докладе И. В. Федоровой «Паломнические „хождения" в собрании Древлехранилища Пушкинского Дома» был представлен ретроспективный обзор ранее не изученных списков восточнославянских «хождений», определено их место в литературной истории памятников, представлен «конвой». Наиболее многочисленны в собрании Древлехранилища списки «Хождения» игумена Даниила и «Хождения» Трифона Коробейникова, что соответствует их широкой распространенности в восточнославянской книжности XV—XVII веков и последующего времени. Списки из Пинежского собр., № 112, Керженского собр., № 92, собр. Отд. пост., Оп. 24, № 42 и № 64 передают — по классификации М. А. Веневитинова — текст Второй редакции «Хождения» игумена Даниила. Списки из Пинежского собр., № 4 и № 440, а также из Северодвинского собр., № 410 содержат различные фрагменты текста этой редакции «Хождения», а список из Пинежского собр., № 9 — сокращенный вариант памятника. 26 списков XVIII—XIX веков воспроизводят «Хождение» Трифона Коробейникова. Три из них (из Керженского собр., № 9; Колл. В. Н. Перетца, № 538 и Причудского, № 11) являются копиями печатного издания памятника 1783 года. Остальные списки передают — по классификации Х. М. Лопарева — текст простой полной редакции со свойственными каждому списку текстуальными особенностями. Особо в докладе была отмечена рукопись из Красноборского собр., № 2. В ее состав включены три паломнических рассказа разного времени: «Хождение» Трифона Коробейникова (а не «Хождение» Василия Познякова, как считалось ранее), «Сказание Епифания о пути к Иерусалиму» и Первая редакция «Хождения» Василия Гагары. Среди всех рукописей Древлехранилища с «хождениями» эта рукопись единственная, которую можно рассматривать как сборник путешествий. «Хождение» игумена Даниила и «Хождение» Трифона Коробейникова в рукописях собрания Древлехранилища преимущественно входят в состав сборников богословского содержания, что для состава сборников XVIII—XIX веков, содержащих эти «Хождения», нетрадиционно. Как отмечено исследователями (М. А. Веневитинов, Н. В. Рузский, В. В. Буш), в этот хронологический период памятники в основном помещались в сборники историко-литературного и смешанного содержания. В докладе были охарактеризованы списки «Проскинитария» Арсения Суханова и фрагмент полной (летописной) редакции «Хождения» Игнатия Смольнянина (Керженское собр., № 92), ранее описаниями не учтенный, а также отмечен список единственного в собрании Древлехранилища переводного памятника — «Повести к пользе слышащим и прочитающим» (Пинежское собр., № 307).

Доктор филол. наук А. Г. Бобров посвятил свой доклад «Жития святых в Прологе Папского Восточного института» рукописи начала XVI века, купленной в 1934 году на аукционе «Международная книга» в Ленинграде. Рукопись, хранящаяся под шифром Slavo 5 и недавно введенная в научный оборот, представляет собой Пролог стишной за март—август. Описание собрания рукописей Папского Восточного института было опубликовано А. Джуровой и К. Станчевым в 1997 году, а в 2002 году рецензию на это описание напечатал в журнале «Славяноведение» А. А. Турилов, пришедший к выводу, что все находящиеся в Прологе краткие жития русских святых неизвестны по другим спискам. Докладчику удалось обнаружить в составе Пролога еще четыре русских жития: Кирилла Белозерского — 9 июня, Иоанна Новгородского — 19 июля, митрополита Петра — 23 августа. Знание автором агиографического цикла новгородской топонимики, использование новгородской по происхождению летописи Авраамки, а также сам состав житий, среди которых находятся тексты, посвященные святым, не имевшим связанных с ними агиографических сочинений (новгородским архиепископам Спиридону, Василию Калике и двум Иоаннам — «от града Орешка» и «от града Ладоги»), позволили докладчику уверенно говорить о новгородском происхождении всего агиографического цикла. Его автор сплетает в своем повествовании три разные традиции: переводных житий, откуда он заимствует текст целыми фрагментами, новгородской летописи и местных устных преданий, из которых автор извлекал сведения об именах персонажей, об их родстве или знакомстве, о пребывании их в той или иной обители. Русские жития в составе Пролога Папского Восточного института нельзя рассматривать как исторический источник, однако, по мнению докладчика, они имеют литературное значение, поскольку отражают народные представления о русской истории в книжности начала XVI века.

Доклад доктора филол. наук Н. В. Савельевой «Писатель XVII века Иван Щепоткин и сказания о мезенских святынях» был посвящен автору, имя которого не успело войти в «Словарь книжников». В этой связи докладчица напомнила слушателям некоторые сведения об этом человеке и древнейшем пинежском роде, которому он принадлежал. Сочинения Ивана Щепоткина, заметно выделяющиеся из традиционного ряда сказаний о местночтимых святынях, демонстрируют его

образованность, отличное знание отечественных и переводных памятников, а также хорошее владение литературным языком. Особой чертой писательской манеры Ивана Щепоткина было использование им греческой лексики, почерпнутой из памятников славянской книжности. Перечислив немногие известные сказания о мезенских святых и святынях, докладчица сосредоточила свое внимание на одном из них, а именно на Повести о строителе Екатерининской пустыни Иване Семенове, известной в единственном и недавно изданном В. П. Бударагиным списке середины XIX века из Мезенского собр. Древлехранилища (№ 94 и № 132). Языковые и историко-бытовые характеристики Повести позволяют предположить, что она была создана вскоре после 1630 года, когда была освящена церковь св. Екатерины близ Усть-Нерманского ручья (поводом для строительства храма и послужили события, о которых рассказывает памятник). На основании историко-топографических реалий, а также литературно-стилистических особенностей, параллели к которым находятся в двух несомненно принадлежащих Ивану Щепоткину произведениях (Повести о Черногорском монастыре и Сказании о иконе Св. Троицы в Лампожне), докладчица атрибутировала ему текст Повести о строителе Иване Семенове. Наиболее ярко свидетельствуют об авторстве Ивана Щепоткина особенности словоупотребления, характерные для всех трех текстов, и, прежде всего, умелое использование греческой лексики. К числу художественных достоинств сочинений этого автора необходимо отнести психологически насыщенные и эмоциональные описания чудесных видений. Повесть о строителе Иване Семенове буквально соткана из таких видений, вплетающихся в сюжетную канву. При этом писательское мастерство Ивана Щепоткина проявляется не столько в следовании традициям, сколько в отступлении от них, что присуще всем произведениям этого автора и наглядно демонстрирует характерный для XVII века процесс трансформации жанров древнерусской литературы. Во всех своих сочинениях Иван Щепоткин, достоверно знавший все трудности, беды и чаяния своих земляков, через историю местных святынь писал историю своего края.

В докладе доктора филол. наук О. А. Белобровой «Об источнике миниатюры с изображением автора Жития Евфросинии Суздальской из собрания Древлехранилища Пушкинского Дома» рассматривался единственный лицевой список Жития Евфросинии середины XVIII века (Оп. 23, № 205) с изображением автора Жития, инока Григория, известного агиографа XVI века. Как оказалось, миниатюрист использовал в качестве образца гравюру с изображением Ефрема Сирина из московского издания Поучений Ефрема Сирина и аввы Дорофея 1701 года. Это издание имело широкое распространение: оно сохранилось в составе многих монастырских и даже крестьянских библиотек XVIII и XIX веков. Очерковый характер украшения рукописи Жития Евфросинии Суздальской (с более поздней раскраской) убедительно подтверждает факт обращения миниатюриста к книжной гравюре.

В докладе «Конклюзия святому Димитрию Ростовскому (и еще раз о дате рождения святого)» М. А. Федотова рассказала слушателям о несохранившемся гравированном похвальном листе (конклюзии-дипломе) на латинском языке, посвященном ростовскому архиерею Димитрию. Конклюзия, выданная митрополиту Славяно-греко-латинской академией и привезенная в Ростов в 1707 году учителем философии Стефаном Прибыловичем, была запечатлена на фотографии Лопатина (1886) и на гравюре Н. Рыжова, выполненной для издания «Летописца» (1892). Похвала Димитрию Ростовскому, составленная на латинском языке и помещенная в конклюзии в барочной рамке-картуше, получила воплощение на русском языке не ранее 1755 года, вероятно, по заказу Арсения Мацеевича, при котором произошло открытие мощей святого Димитрия Ростовского, и встречается самостоятельно в сборниках проповедей святого как похвальное слово митрополиту. Философские же тезисы, положения диспута, являющиеся неотъемлемой частью конклюзий, с латинского языка переведены не были и, скорее всего, заимствованы из философских трактатов Стефана Прибыловича. Как показала исследовательница, данную конклюзию можно назвать классическим образцом жанра конклюзий русского искусства конца XVII—начала XVIII века. М. А. Федотова также обратила внимание на два аспекта в композиции конклюзии. Во-первых, докладчица показала, что в центре конклюзии находится, хотя и выполненный в барочном аллегорическом стиле, прижизненный портрет святого Димитрия Ростовского. Во-вторых, она прокомментировала изображенную на конклюзии фигуру пророка Даниила, небесного покровителя Димитрия Ростовского в миру, что связано с датой рождения святого: 11 декабря 1651 года. Пастырскую и просветительскую деятельность святого Димитрия Ростовского, его проповеднический и писательский талант не только современники, но и потомки рассматривали как пророческое служение, и именно поэтому образ пророка Даниила как небесного покровителя сопровождает Димитрия Ростовского на иконах, в письменных источниках и на рассматриваемой конклюзии. Несмотря на это, есть основание считать, что этим небесным покровителем в миру был не пророк Даниил, а преподобный Даниил, вероятно Даниил Столпник. Это подтверждается фразой, произнесенной Димитрием Ростовским в «Слове на Рождество Христово»: среди персонажей «поклоняющихся новорожденному Христу» находится, как пишет Димитрий Ростов-

ский, «преподобный вашего патронове Даниил и святый Димитрий...». Однако, как полагает М. А. Федотова, даже это авторское, «личностное» указание не позволяет (в отличие от утверждений ряда исследователей) точно ответить на вопрос, когда святой Димитрий Ростовский родился и когда он был крещен. С одинаковой долей вероятности он мог родиться в день памяти преподобного Даниила Столпника, а быть крещеным как на день памяти пророка Даниила, так и на день памяти Даниила Столпника — строго определенного канонического правила относительно имянаречения не существовало.

В докладе Е. Г. Водолазкина «Из истории русских календарных споров» рассматривалась реформа календаря как историко-культурная проблема. Исследователем был проанализирован опыт реформ Петра I, попытки изменения календаря, предпринимавшиеся в XIX веке, а также всестороннее обсуждение календарной реформы на рубеже XIX и XX веков. В докладе обосновывалась глубинная связь календарной системы с церковной традицией. Особое место в календарном вопросе всегда занимала пасхалия. Докладчик показал, что пасхалия, средство для определения времени Пасхи в том или ином году, сыграла значительную роль и в истории культуры в целом.

© *Е. Д. Конусова*

XI НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА ПУШКИНСКОГО ДОМА «ПАМЯТИ Л. Н. ИВАНОВОЙ»

15 мая 2008 года в Большом конференц-зале Института русской литературы состоялись XI Научные чтения Рукописного отдела Пушкинского Дома, посвященные памяти филолога, архивиста Ларисы Николаевны Ивановой (1948—2006), приуроченные к 60-летию со дня ее рождения. Лариса Николаевна Иванова была человеком, для которого Пушкинский Дом и Рукописный отдел составляли смысл и центр жизни. Маленькая хрупкая женщина с детским, лучистым лицом занималась важнейшим участком работы, связанным со всем объемом документации архивных фондов. Кроме высокой профессиональной ответственности Лариса Николаевна естественно и деликатно транслировала замечательный стиль профессионального общения, столь памятный и дорогой многим из нас. Она умела относиться к задачам каждого исследователя, приходившего в Рукописный отдел, с полной заинтересованностью, стараясь создавать максимальные условия для того, чтобы научные занятия в архиве оказались продуктивными и информативно насыщенными. Ее призванием была профессиональная помощь людям, поэтому во многом именно благодаря доброжелательности Ларисы Николаевны стали опровергаться сложившиеся некогда стереотипы восприятия Рукописного отдела Пушкинского Дома как закрытой институции.

Программу Чтений составили доклады на темы, близкие научным интересам Л. Н. Ивановой. Т. В. Мисникевич, специалист по творчеству Федора Сологуба, взялась завершить начатую Ларисой Николаевной публикацию писем поэта-эгофутуриста Игоря Северянина к мэтру символизма и его жене. В своем докладе «Последняя творческая работа Л. Н. Ивановой (Письма Игоря Северянина к Федору Сологубу и А. Н. Чеботаревской)» Т. В. Мисникевич представила обзор исследований архивиста, касающихся рукописных и эпистолярных документов Игоря Северянина,[1] обрисовала методы и круг источников, которыми пользовалась Л. Н. Иванова для подготовки своей последней публикации. Эти материалы являются важным дополнением к истории русского авангарда, в изучение которого Л. Н. Иванова внесла большой вклад, составляя научное описание фондов Елены Гуро и Михаила Матюшина, а также участвуя в подготовке ряда литературно-художественных выставок, проходивших как в России, так и за рубежом. Вместе с тем доклад Мисникевич продемонстрировал, как профессионально выполненная подготовительная работа стимулирует дальнейшие самостоятельные исследовательские проекции на историко-литературную ситуацию 1910-х годов, сложившуюся вокруг неожиданного и недолгого тандема Сологуб—Северянин.

Б. Ф. Егоров предложил вниманию аудитории материалы к своей новой книге, посвященной феномену «обмана» в русской культуре. В начале своего выступления докладчик заметил, что, хотя образ Ларисы Николаевны и совершенно не корреспондирует с заявленной темой («Обман в студенческой среде»), именно этот подход от противного позволяет вспомнить ее внимательное отношение к изысканиям коллег. На конкретных примерах Б. Ф. Егоров описал фено-

[1] Библиографию творческих работ Л. Н. Ивановой см.: *Кукушкина Т. А.* Лариса Николаевна Иванова (1948—2006). Некролог // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год. СПб., 2006. С. 636—643.

мен обмана как нравственную проблему, зачастую продиктованную различными объективными социальными причинами.

Доклад Л. Е. Мисайлиди был посвящен статье В. А. Жуковского «Воспоминание», впервые опубликованной в 11-м томе «Сочинений В. А. Жуковского» (1857). Подготовленная к печати самим поэтом, статья не увидела свет при его жизни, так как подверглась цензурному запрещению из-за упоминания прусской королевы Луизы — матери императрицы Александры Федоровны. В докладе выявлены две допечатные редакции этого текста (дневниковая запись Жуковского от 16 (28) февраля 1821 года и автограф поэта в альбоме Александры Андреевны Воейковой), проливающие свет на мотивы создания этого глубоко лирического произведения. С одной стороны, статья пронизана трепетным отношением Жуковского к своей воспитаннице — вел. кн. Александре Федоровне, а с другой — раскрывает тонкую ассоциативную связь, объединяющую образы почившей королевы Луизы и Святого Иоанна с картины Доменикино Цампьери (1581—1641) «Святой евангелист Иоанн». По наблюдениям Л. Е. Мисайлиди, статья содержит экфрастическое описание живописного шедевра, ставшего для императрицы Александры Федоровны символическим напоминанием как о матери, так и о Жуковском. Не случайно полотно Доменикино позднее было приобретено Николаем I для Александры Федоровны и ныне хранится в Эрмитаже.

Плодотворным продолжением деятельности Л. Н. Ивановой, связанной с обработкой архива Вяч. Иванова в Пушкинском Доме и Риме, стал доклад Г. В. Обатнина «Вяч. Иванов и молодые поэты». Докладчик внес существенные дополнения в описание и атрибуцию отдельных материалов Фонда 607 (в частности, в характеристику черновиков писем Вяч. Иванова, адресованных В. В. Гиппиусу (1913) и Н. Павлович (1918), а также дневника М. Кювилье (1915), написанного в форме ежедневных посланий к Иванову). Значительная часть выступления Г. В. Обатнина была посвящена комментарию и датировке письма поэта к Игорю Северянину (1913 или 1914 год).

К. М. Азадовский, упомянув работы Л. Н. Ивановой о писателях-самоучках (И. А. Белоусове, С. Д. Дрожжине и др.),[2] подробно рассказал об эпистолярном наследии А. А. Коринфского (1868—1937). Л. Н. Иванова посвятила этому известному в свое время поэту, прозаику и переводчику статью в третьем томе словаря «Русские писатели».[3] После 1917 года Коринфский оказался вытесненным из литературной жизни. Его письма к современникам передают мироощущение писателя, остро осознававшего свою несовместимость с советской действительностью и глубоко сожалевшего об ушедшем времени. Активный участник столичной литературной жизни 1890—1900-х годов, Коринфский после 1917 года неоднократно порывался записать свои впечатления о встречах с известными писателями, придать им литературную форму. Однако этот замысел остался неосуществленным. Литературные mémories Коринфского сохранились лишь в виде фрагментов (подчас весьма пространных), рассыпанных по его письмам советского времени. По мнению К. М. Азадовского, эти фрагменты складываются в единый «литературный» текст мемуарного характера в силу своей тематической направленности и по яркости и качеству стилистики. Докладчик привел ряд отрывков из писем Коринфского к С. Д. Дрожжину и И. П. Малютину, содержащих воспоминания о Федоре Сологубе, Ф. В. Черниговце-Вишневском и Н. Минском.

П. В. Дмитриев, предварив свое выступление «Заметки на полях комментариев» несколькими впечатлениями о своих встречах с Л. Н. Ивановой, остановился на истории возникновения стихотворения М. Кузмина «Олень Изольды» (1926). Это стихотворение, относящееся к позднему «герметическому» периоду творчества поэта, уже дважды подвергалось толкованиям. В сообщении докладчик привел текст автографа, отметив разночтения и ошибки, возникшие при публикации текста, а затем предложил собственную трактовку некоторых «темных» мест в стихотворении Кузмина.

В докладе Т. А. Кукушкиной была освещена история 1922 года, связанная с берлинской газетой «Накануне» («Литературное приложение»), в которой А. Н. Толстой опубликовал адресованное ему письмо К. И. Чуковского. В связи с содержащимися в нем обвинениями петроградских литераторов (и лично А. Л. Волынского и Е. И. Замятина) в антисоветских настроениях в петроградском Союзе писателей разразился скандал. Этот небольшой сюжет обнажил сложный контекст сосуществования эмигрантской и советской литературы, советской литературы и литературы так называемых «попутчиков».

---

[2] Белоусов Иван Алексеевич // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 224—225; Дрожжин Спиридон Дмитриевич // Там же. Т. 2. М., 1992. С. 186—187; см. также: Дрожжин Спиридон Дмитриевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. М., 2005. Т. 1. С. 652—654.

[3] Коринфский Аполлон Аполлонович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 70—71; см. также: Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Т. 2. С. 260—262.

Доклад московской гостьи, Е. Ю. Литвин, сказавшей о Л. Н. Ивановой теплые поминальные слова, основывался на материалах архива М. Горького и был посвящен истории литературных отношений М. Горького и одного из авторов популярной книги «Республика ШКИД» (1927) — А. И. Пантелеева. Приведенные Е. Ю. Литвин фрагменты переписки свидетельствуют не только о литературном наставничестве Горького, но и раскрывают некоторые биографические сюжеты из жизни Пантелеева.

Лирическим завершением заседания Научных чтений стало выступление Т. Л. Никольской с очерком личных воспоминаний о Л. Н. Ивановой под названием «Бессребреница».

Когда в зале погасили свет и на экране появились фотографии Ларисы Николаевны, ее друзей, коллег, пейзажи, сохранившиеся в домашнем альбоме, перед собравшимися снова встали годы, проведенные еще *вместе*. И тогда особенным, для каждого личным смыслом наполнились слова В. А. Жуковского, процитированные в докладе Л. Е. Мисайлиди: «*Нет* и *были* — какая разница! В первом потеря, в последнем воспоминание; *нет* — значит исчезли, *были* — значит оставили след бытия своего. Прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освящает для нас и землю, и жизнь нашу».

© Е. Р. Обатнина

ОТВЕТ НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА», ОПУБЛИКОВАННОЕ В «КНИЖНОМ ОБОЗРЕНИИ»

В открытом письме группы ученых, опубликованном в газете «Книжное обозрение» (2008. № 24—25), выражается протест по поводу помещенной в нашем журнале (2008. № 1) полемической статьи Д. М. Буланина «Дух празднословия». Как ни странно, в письме совершенно игнорируется содержание статьи. Писавших его взволновали не опасения, выраженные Д. М. Булаиным и касающиеся состояния нашей науки в условиях давления массовой культуры, а та форма, в которой эти опасения высказаны. Что же, отвечаю обидевшимся. Если говорить о содержании, то подчеркну, что я не обязан принимать всю аргументацию и соглашаться со всеми выводами Буланина: статья помещена в разделе «Полемика». Если говорить о форме, то считаю, что при всей резкости выражений инвективы автора никогда не выходят за рамки приличий, как может показаться на основании оборванных (а значит, не вполне добросовестных) выдержек, приведенных в открытом письме. Замечу, например, что выражение «не пометайте бисер ваших перед свиньями» принадлежит не Буланину, а евангелисту Матфею, что высказывание о «забранных в участок выпивохах» поставлено в оригинале статьи в сослагательном наклонении («как если бы»), и проч. А сравнение столицы с болотом завершается утверждением Буланина, что в «столь гиблом месте осталось нечто подлинное. В том числе подлинная наука и подлинные ученые». Вольно же было составлявшим письмо отрезать конец цитаты и самим исключить себя из числа «подлинных».

Буланин, наверное, не пребывал в заблуждении насчет того, что его «Дух празднословия» останется без ответа. Недаром он видит себя героем сказки, раскрывшим глаза на очевидное: «Король-то — голый!» Между прочим, задавался ли кто вопросом, что было дальше со сказочным персонажем, отважившимся подать голос? Андерсен умалчивает. Но догадаться нетрудно. Не странно ли сравнивать Буланина с исполнителями указов Сталина, если сплоченным рядам из тридцати профессоров (главным образом РГГУ), поставившим под письмом свои подписи с указанием всех регалий, противостоит один человек, который посмел выразить личное мнение? Не он ли и является тем вольнодумцем, которого выбрали объектом «проработки»?

Последнее и весьма существенное. Статья Буланина не является рецензией на книгу А. Л. Юрганова, как утверждают оскорбленные, подменив в письме настоящий подзаголовок работы на свой собственный («о книге» вместо «в связи с выходом книги»). На самом деле книга служит только предлогом для далеко идущих заключений. Заключений, ставящих под сомнение само существование «сообщества», от имени которого обрушиваются на нашего полемиста тридцать титулованных особ. Прав Буланин или нет — судите сами и обращайтесь к инициатору спора. Успехов вам в дискуссии!

© Н. Н. Скатов

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 2008 ГОДУ

	№	Стр.
СТАТЬИ		
Быстров В. Н. Генезис и семантика противоречий в сознании и творчестве А. Блока	2	28
Виролайнен М. Н. Филология в информационном обществе	1	67
Галаган Г. Я. Юбилей журнала «Русская литература»	1	3
Горелов А. А. Лев Толстой и народное слово	3	3
Грякалова Н. Ю. «Жизнь, какова она есть на самом деле...»: трагикомическое в поздней драматургии А. П. Чехова	1	58
Еремина В. И. К истокам исторической поэтики фольклора (Ф. И. Буслаев)	1	7
Ильинская Т. Б. «Алеутский духовидец» в контексте «спиритической» темы у Лескова	2	16
Кибальник С. А. Буддистский код романов Гайто Газданова	2	42
Киселёв В. С. «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе» и альманахи-антологии начала XIX века	2	3
Киссель В. С. (*ФРГ*). О немецких пфеннигах и русском золотом фонде: тема денег в романе В. Набокова «Дар»	4	23
Лопачева М. К. Радость отраженья (Иннокентий Анненский в художественном сознании Георгия Иванова)	4	3
Лощинская Н. В. «Жизнь — без начала и конца...»: проблема «авторской воли» и практика академического издания лирики А. Блока	3	13
Подоксенов А. М. Психоанализ Зигмунда Фрейда в жизни, мировоззрении и творчестве М. М. Пришвина	3	36
Рак В. Д. «Капитанская дочка» в неосуществленном собрании «Романы и повести Александра Пушкина» (1837)	1	21
Шульц С. А. Философия имени и смерти в «Несмертельном Головане» Лескова и «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого	1	39
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ		
Бобров А. Г. «Заколдованный круг» (о книге А. А. Зимина «Слово о полку Игореве»)	3	65
Жирмунская-Аствацатурова В. В. Германия и немецкая культура в юношеских дневниках В. М. Жирмунского (1903—1905)	1	80
Тураев С. В. Мои встречи с В. М. Жирмунским	1	99
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. К. АЗАДОВСКОГО		
Азадовский М. К. «Онежские былины» Гильфердинга (вступительная статья и подготовка текста К. М. Азадовского)	4	41
Горелов А. А. Подвижник фольклористики и литературоведения	4	37
Еремина В. И. Сказочный сюжет «Путешествие за царской короной» в его исторической перспективе	4	64

Иванова Т. Г. М. К. Азадовский и Б. Н. Путилов (преемственность научных традиций в фольклористике) 4 89
Рифтин А. П. Отзыв о труде М. К. Азадовского «История русской фольклористики» (публикация А. И. Васкул) 4 79

ПОЛЕМИКА

Азбелев С. Н. Напрасная попытка уберечь от критики анонимное сочинение о Валаамском монастыре (по поводу статьи А. Г. Боброва) 4 99
Буланин Д. М. Дух празднословия (в связи с выходом книги А. Л. Юрганова «Убить беса») 1 105

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Александров А. С. А. А. Измайлов — реформатор «Петроградского листка» (1916—1918) 4 134
Балакин А. Ю. Коллективные коммерческие сборники середины XIX века как источник текста (к издательской истории очерка И. А. Гончарова «Иван Савич Поджабрин») 2 114
«Бог дал мне встретиться с Вами...»: письма Г. А. Горышина к И. С. Соколову-Микитову (публикация А. Г. Гродецкой) 3 215
Буданова Н. Ф. Паломничество «русского скитальца» 1 205
Велижев М. Б. «Моя метафизика» Н. В. Станкевича: к истории текста . . . 2 102
Ветловская В. Е. Литературные и реальные прототипы героев Достоевского («Мещанин в халате» в «Преступлении и наказании») 1 194
К истории «Левого фланга» Ленинградского отделения Союза поэтов (вступительная статья, подготовка текста и комментарии Т. М. Двинятиной и А. В. Крусанова) 4 149
Громова А. В. Из истории литературы русского зарубежья. Сборник Л. Ф. Зурова «Марьянка» в отзывах читателей и критики 2 203
Данилевский Р. Ю., Тиме Г. А. Карл Нётцель и его «Разговоры с русским другом» 2 172
Денисенко С. В. «Мильон терзаний» И. А. Гончарова в театральном дискурсе 2 122
Дмитриев П. В. «Пчелы и осы „Аполлона"». К вопросу о формировании эстетики журнала 1 222
Добрицын А. А. Апологи И. И. Дмитриева 2 68
Иван Коневской — полемист (предисловие и публикация А. В. Лаврова) . . . 1 211
Иванова Е. В. О текстологии и датировке одного стихотворения Ахматовой в связи с его историей 2 159
Из переписки редакции «Журнала Содружества» (1933—1938) с В. П. Семеновым-Тян-Шанским (вступительная заметка, подготовка текста и комментарии А. Г. Тимофеева) 3 184
Ильин П. В. Новое свидетельство о взаимоотношениях В. А. Жуковского и декабристов 2 93
Карцовник В. Г. (*ФРГ*). Душа, отечество, чужбина. Стихотворение Пушкина «19 октября» (1825 года) и раннехристианское «Послание к Диогнету» 2 80
Колесникова Е. И. Жизнетворчество и метатекст: случай Зощенко 2 188
Корконосенко К. С. А. А. Смирнов как теоретик художественного перевода (на материале статьи «О переводах „Дон Кихота"») 3 211
Кочеткова Н. Д. Кружок Н. И. Новикова как явление русской культуры . . 1 170
Кошелев В. А. «Рука Всевышнего» и «Российский Бог» 1 181
Кузьмина И. А. А. А. Фет и «действующие лица „Кактуса"» (по неопубликованным письмам А. Л. Бржеской) 2 131
Легких В. И. Святитель Николай Мирликийский в славянской гимнографии 2 61
Львов А. Л. «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича и генезис русского сектантства 1 159
Материалы к биографии И. А. Гончарова (вступительная статья, подготовка текста и комментарии А. В. Романовой) 3 140

Неизвестная рецензия О. Ф. Берггольц на сборник стихов А. А. Ахматовой 1946 года (публикация В. В. Перхина) 1 258
«Опрокинутый шеврон»: неизданная книга стихов Лидии Аверьяновой (вступительная статья и публикация М. М. Павловой) 1 236
Пасевич З. В. Пушкинский юбилей 1937 года в русском Китае 2 86
Переписка В. В. Розанова и С. Ф. Шарапова (1893—1910) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко) 4 110
Письмо внучатой племянницы К. Н. Батюшкова Е. Л. Шейбер (вступительная статья, подготовка текста и комментарии И. В. Чекаловой) 2 106
Письмо Д. П. Святополк-Мирского В. М. Жирмунскому (1922) (публикация В. В. Перхина) 4 143
Понырко Н. В. Житие боярыни Морозовой — литературный памятник и историческое свидетельство 1 154
Розанов Ю. В. «Северная химера» Алексея Ремизова: генезис и эволюция образа 3 174
Рубашкин А. И. Еще о Федоре Абрамове (1920—1983). Взгляд из XXI века 4 219
Руди Т. Р. Из комментария к рассказу Н. С. Лескова «Александрит» 3 119
Семячко С. А. Старчество и сборник «Старчество» на Руси 1 144
Сигал Олена (*Украина*). Русская литература на страницах журнала «Japanese Slavic and East European Studies» (JSSEES) 4 213
Смольянинова Е. Б. Тропический рай Ивана Бунина (стихотворение «Цейлон» («Окраина земли...»)) 2 143
Тимофеев А. Г. О неизвестных русских брошюрах, изданных в Финляндии . . 4 207
Фетисенко О. Л. К. Леонтьев и Ив. Аксаков о двух типах христианства . . . 3 129
Фомичев С. А. «Слово о полку Игореве»: поэтическая обработка исторического сюжета 1 137
Фризман Л. Г. М. Л. Гаспаров о «статистической литературометрии» 3 222
Черемисинова Л. И. Кто познакомил Тютчева и Фета? 4 106
Четыре письма Г. В. Адамовича к В. В. Рудневу (1933—1934) (публикация И. А. Ренфро (*США*) и В. В. Перхина) 2 185
Экспедиция А. В. Маркова на Зимний берег Белого моря 1899 года: письма из архива ученого (публикация Н. Г. Комелиной). 3 163

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Бухаркин П. Е. Собеседник русской литературы (Бочаров С. Г. Филологические сюжеты М.: Языки славянских культур, 2007. 653 с.) 3 227
Гродецкая А. Г. Живая жизнь в контексте вечности (Зверев Алексей, Туниманов Владимир. Лев Толстой / Вступ. статья В. Я. Курбатова. М.: Молодая гвардия, 2006. 782 с.) (Серия «ЖЗЛ») 1 271
Данилевский Р. Ю. Искусство русского поэтического перевода (Европейский интерлингвизм в зеркале литературы. Картина мира в немецкоязычной поэзии и ее русских переводах. От романтизма к модернизму: Материалы российско-германского семинара 24—28 апреля 2006 г. / Отв. ред. О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова. Томск, 2006. 237 с.) 1 269
Данилевский Р. Ю. Современность В. А. Жуковского (о сборнике работ к юбилею проф. Ф. З. Кануновой) (Жуковский и время. Сб. статей / Ред. А. С. Янушкевич, И. А. Айзикова. Изд-во Томского ун-та, 2007. 360 с.) 3 233
Двинятина Т. М. «Мир Ивана Бунина»: идеальная проекция (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. 272 с.) 2 216
Дёмин А. О. Литературная культура XVIII века 2 212
Иванова Т. Г. Русский фольклор в странах Балтии 3 235
Канунова Ф. З., Прозоров Ю. М. В. А. Жуковский в исследованиях и изданиях томской филологической школы 1 263
Кибальник С. А. Проза философа в зеркале филологического дискурса (Тахо-Годи Е. Художественный мир А. Ф. Лосева. М., 2007. 399 с.) . . . 4 229
Кукушкина Е. Д. Новый сборник статей о Г. Р. Державине (Г. Р. Державин и его время. Сборник научных статей. СПб.: Изд. ЛЕМА, 2007. Вып. 3. 170 с.) 4 225

Лаппо-Данилевский К. Ю. Поэтика в союзе с историей (о сборнике статей Стефано Гардзонио) (Гардзонио С. Статьи по русской поэзии и культуре XX века. М., 2006. 368 с.) 2 215

ХРОНИКА

Александров А. С. Международный научный семинар «Писатель в маске» . . . 2 228
Запевалов В. Н. Научная конференция, посвященная юбилеям В. Белова, А. Вампилова и В. Распутина 3 248
Иванова Т. Г. Третьи Философовские чтения 1 283
Калинина Н. В. IV Международная научная конференция «И. А. Гончаров и XXI век: творческий диалог» 4 232
Кибальник С. А. Чтения, посвященные памяти Ю. В. Стенника. 3 255
Конусова Е. Д. XXXII Малышевские чтения 4 239
Корконосенко К. С. 50-летие Отдела взаимосвязей русской и зарубежных литератур 2 240
Кукушкина Е. Д. Научная конференция «Ревнители российского Просвещения» 2 238
Лебеденко Н. П., Савоськина Т. А. Первые «Славянские чтения» в Измаильском государственном гуманитарном университете 1 275
Луцевич Л. Ф. (*Польша*). Международная научная конференция «Дневники, письма, записные книжки русских писателей» 1 278
Любомудров А. М. Первые Антониевские чтения (к 135-летию со дня кончины А. П. Бочкова) 3 245
Нечаева М. Н. Семинар «Соцреализм сегодня: новые подходы к тоталитарной эстетике» 3 239
Обатнина Е. Р. XI Научные чтения Рукописного отдела Пушкинского Дома «Памяти Л. Н. Ивановой» 4 242
Ромодановская В. А. Чтения памяти Ольги Петровны Лихачевой 2 242
Соколова Е. Н. Международная научно-практическая конференция «Наследие А. М. Ремизова и XXI век: актуальные проблемы исследования и издания текстов» 2 233
Степина М. Ю. XXXIV Всероссийская Некрасовская конференция. 4 236
Тверьянович К. Ю. Первое расширенное заседание стиховедческого семинара ИФИ СПбГУ «Метрико-строфические справочники как стиховедческая проблема» 2 224

Иванова Т. Г. Памяти Кирилла Васильевича Чистова 2 245
Малевич О. М., Порочкина И. М. Памяти Зденека Матгаузера 1 286

Скатов Н. Н. Ответ на открытое письмо главному редактору журнала «Русская литература», опубликованное в «Книжном обозрении» 4 245

Технический редактор *О. В. Новикова*. Корректоры *Н. И. Журавлева*, *Л. Д. Колосова* и *А. К. Рудзик*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 27.10.08.
Формат 70 × 100 1/16. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.2.
Уч.-изд. л. 25.0. Тираж 725 экз. Тип. зак. № 654. С 231

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru
Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12